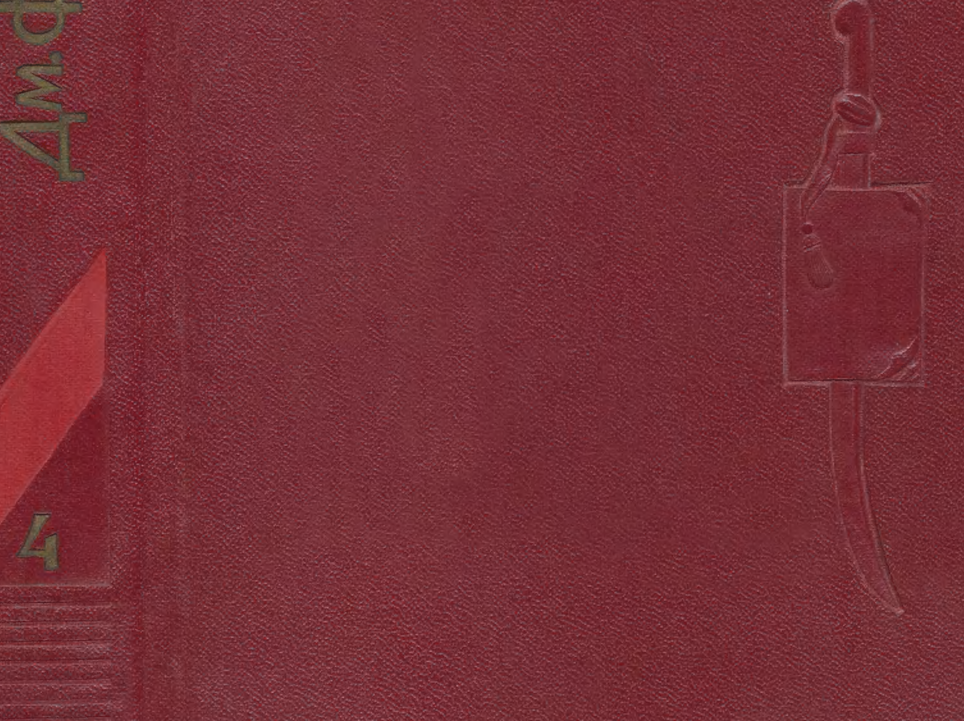
Дм. Фурманов

Дм. Фурманов

4



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Том четвертый

ДНЕВНИКИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

ПИСЬМА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1961

Под общей редакцией
А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, Е. И. НАУМОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВА

Составление и подготовка текста
М. Н. СОТСКОВОЙ

Примечания
П. В. КУПРИЯНОВСКОГО

Оформление художника
В. МАКСИНА

Д А. ФУРМАНОВ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В творческом наследии Д. А. Фурманова значительное место занимают дневники, литературные записи, письма. А. М. Горький говорил, что «каждая бумажка, каждый листочек из архива Фурманова представляют собой огромную историческую ценность» [1]. Н. Островский в беседе с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» сказал: «Дневник Фурманова, его черновые записи — большая ценность...» [2]

В дневниках Фурманова как в зеркале отражаются настроения, переживания писателя, его пытливая, вечно ищущая натура. В свои записные книжки Фурманов заносил все, что волновало, что привлекало его внимание. Здесь и размышления о жизни и впечатления от прочитанных книг, наброски и планы возникающих творческих замыслов, зарисовки различных эпизодов и сцен. Большая часть дневниковых записей имеет заголовки, это также характерная черта Фурманова — давать точное название тому, что содержится даже в самой коротенькой беглой зарисовке. Иногда в дневниках даже нелегко отделить законченное, готовое к печати произведение от простой записи.

Дневники Фурманова сосредоточены по преимуществу в рукописном отделе Института мировой литературы им. Горького, а также в Государственной библиотеке им. Ленина, в Центральном государственном архиве литературы и искусства, в Пушкин-

---

[1] А. Фурманова, Дмитрий Фурманов, Ивановское областное государственное изд-во, 1941, стр. 110.

[2] Сб. «Советские писатели (Автобиографии в двух томах)», т. II, Гослитиздат, М. 1959, стр. 163.

ском доме (Ленинград). Это и толстые школьные тетради в кожаных переплетах или клеенчатых обложках, и конторские книги большого формата, переплетенные или сшитые рукою Фурманова, и полезые блокноты, и записные книжки самых разных размеров — большие, средние и совсем крошечные.

Нередко в разных записных книжках встречаются записи под одной и той же датой. Очевидно, одновременно Фурманов вел несколько дневников, в один и тот же день пользовался разными книжками: одной — на ходу, в полевых условиях или на заседании, другой — дома, в спокойной обстановке.

Все материалы тома подготовлены по рукописям автора. Несмотря на то что многие записи сделаны карандашом, они в основном хорошо сохранились. Затруднения представляет только тот текст, в котором Фурманов прибегал к разного рода сокращениям и обозначениям.

В настоящем издании дневники Фурманова даются в наиболее полном по сравнению с предшествующими публикациями виде. Дать все дневники не представляется возможным уже в силу того, что они заняли бы много томов. «Запишу все, что знаю о гражданской войне — там романы и повести, а на старости — дневники свои буду обрабатывать: тут материалу на сто лет!» — писал Фурманов 14 ноября 1923 года.

Здесь собраны в хронологическом порядке те дневниковые записи, которые дают возможность понять, как шло формирование мировоззрения писателя, проследить процесс его идейного и художественного становления. Главное в них — стремление осознать происходящие великие события войны и революции, размышления о путях творчества, об общественной значимости искусства, о «месте поэта в рабочем строю».

На первый взгляд кажется, что Фурманов заносил на бумагу все, что привлекало его внимание. «Без плана, без определенной цели беру все, что дергает за душу»,— записал он 7 июля 1916 года. Но уже в ранних дневниках ощущается будущий писатель. «...В душе моей живет художественное начало,— пишет Фурманов,— ибо я жил все время как художник, мыслил и чувствовал образами».

В ранних дневниках, открывающих настоящий том, записи чисто личного характера, раскрывающие моральный облик юноши Фурманова, его чувства, мысли и переживания перемежаются с его отзывами о прочитанном, оценками отдельных художественных произведений. Часть из этого материала приводят в своих мо-

нографиях о Фурманове исследователи Г. Владимиров, Е. Наумов, В. Озеров, А. Бережной, но многое представлено впервые.

Несмотря на то что эти заметки написаны в юношеские годы Фурманова, в них отразились его определенные литературные привязанности и достаточно ясное эстетическое кредо.

«Искусства для искусства» нет,— пишет Фурманов в 1913 году,— есть только искусство для жизни».

Мало известны читателю дневники, которые вел Фурманов — журналист и брат милосердия — на фронте во время империалистической войны. Они были собраны женой Дмитрия Андреевича — Анной Никитичной Фурмановой — и впервые опубликованы в 1929 году в издательстве «Московский рабочий».

Мы поместили в томе те из этих дневников, которые помогают понять, как под влиянием нарастающего рабочего движения изменялись взгляды Д. Фурманова, как революционизировалось его сознание.

Дневники 1914—1916 годов дают представление о том, как шел процесс рассеивания иллюзий у значительной части демократической интеллигенции, стоявшей в первое время после объявления войны на позициях «защиты отечества»; как близость к народу, непосредственное столкновение с действительностью помогали росту сознания этой интеллигенции, вели ее в лагерь революции.

С каждым месяцем и днем растет критическое отношение Фурманова к общественному строю дореволюционной России. Дневники 1916 года уже отличаются от дневников 1914—1915 годов своей резкой критической направленностью, своим обличительным пафосом.

Среди дневников этого периода, отражающих наблюдения Фурманова над жизнью русских солдат в окопах, в тылу, встречаются разнообразные сценки с натуры, рассказы и новеллы. Эти зарисовки в ряде случаев являются эскизами, набросками к художественным произведениям писателя. В этих его первых опытах читатель почувствует художника-реалиста, будущего автора «Чапаева» и «Мятежа».

Особый интерес представляют дневники 1917—1918 годов, в которых нашли отражение важнейшие исторические события 1917 года, Октябрьская революция. Часть этих дневников была издана в 1927 году под названием «Путь к большевизму».

Это правдивая повесть о социально-психологическом росте Д. А. Фурманова, о его пути в партию большевиков. Вместе с

массами он проходил ту политическую школу, которую принес 1917 год. Фурманов-интеллигент, подобно многим другим, не сразу понял истинный смысл происходящих событий. В поисках своего настоящего места в революции он переходил от одной партии к другой, прежде чем пришел к большевикам. Этот период напряженных исканий, недолгий, но полный глубоких раздумий над происходящим, явился для писателя серьезнейшей школой политического воспитания.

Не щадя себя, стремясь дать как можно более трезвую и объективную самооценку, Фурманов рассказывает о тех сомнениях и колебаниях, которые переживал он в эти грозные и торжественные дни. Критика собственного поведения ведется в тонах исключительно резких и беспощадно разоблачительных. В том, как Фурманов, не боясь осуждений, попеременно порывал со всеми партиями, к которым формально принадлежал, а затем решительно заявил о своем переходе в партию большевиков, сказалась исключительная честность и прямота его натуры. «Произошло со мной событие колоссальной важности,— записал он 5 июля 1918 года.— Я причастился того учения, которое не осмеливался назвать своим, выполняя его самым усердным образом в течение всей революции».

Записи 1919 года, представленные в этой части тома, освещают период пребывания Фурманова — военного комиссара — в 25-й Чапаевской дивизии. Большая часть этих дневников была впервые опубликована в 1936 году в издательстве «Молодая гвардия» в качестве приложения к роману «Чапаев».

Эти дневники отражают наблюдения, которые делал Фурманов на фронтах гражданской войны, и интересны как тот подготовительный материал, который помог писателю в создании его лучшего и значительнейшего произведения. Воспоминания о Чапаеве, встречах и разговорах с ним, бойцах и командирах Чапаевской дивизии, зарисовки отдельных эпизодов, военных сценок и картин перемежаются с записями, раскрывающими мысли и думы писателя.

Фурманов не знал, использует ли он когда-нибудь свои заметки. 26 декабря 1919 года он записал в дневнике: «Я все еще не теряю надежды рано или поздно заняться писательской деятельностью и ради этого веду, собираю все свои записки, подбираю материал, продумываю разные сюжеты. Когда, при каких условиях только стану я писать и вообще придется ли это когда-либо делать?»

К дневникам 1919 года примыкают записи периода пребывания Фурманова в Семиречье и на Кубани.

За фронтовыми дневниками следуют записи о жизни Фурманова в Москве, о его литературной работе. Дневники за октябрь 1920 — февраль 1922 годов отражают период литературного самоопределения Фурманова и становления его как писателя. «Рад я без ума, что прикоснусь теперь к литературному труду»,— написал он 3 июня 1921 года. Записи, которые вел Фурманов после возвращения с фронта в Москву, показывают его литературно-общественные интересы, свидетельствуют о том, что он находился в центре литературной жизни Москвы, литературных споров и дискуссий. Здесь читатель найдет размышления Фурманова о его призвании, творческих замыслах, замечания по вопросам искусства. Записи Фурманова о литературе — свидетельство его живого, вдумчивого отклика на события современной литературной жизни, огромного желания помочь движению нашего искусства вперед. Некоторые из этих заметок: «В раздумье», «Как я пишу», «Нужно много читать» — знакомы нашему читателю по третьему тому Собрания сочинений 1951—1952 годов. Несколько шире этот материал был представлен в Собрании сочинений 1928 и 1936 годов и в книге «Из дневника писателя» 1934 года.

Большое место в томе занимают дневники, освещающие процесс работы Фурманова над его крупнейшими произведениями — «Чапаевым» и «Мятежом». Они дают возможность представить себе этот трудный, а иногда мучительный процесс создания художественного произведения, помогают раскрыть творческую лабораторию писателя и понять, как отбирались, трансформировались в его воображении действительные факты и события. «...Воспоминаниями следует активно овладеть,— писал Фурманов.— Из всего воспоминаемого отобрать самое ценное и важное, отбросить второстепенное, как бы навязчиво ни толпилось оно в мыслях, как бы тебя ни волновало. Больше всего опасайся к крупным событиям подходить с мелким масштабом; приподымаясь на цыпочки, глядеть через плетень и воображать, что видишь целый мир» [1].

Первоначальные наброски Фурманова к его романам, заметки к ним дают возможность представить себе те «муки слова», которые испытывал Фурманов, его напряженные поиски в определении жанра своих произведений, попытки найти художественную форму, способную выразить новое революционное содержание. Чи-

---

[1] Архив ИМЛИ, II — 62, 731.

татель узнает о том, как Фурманов, решительно отказавшись от установившегося и привычного, размышляет о правомерности своего художественного метода. Представляя собой трудные поиски подлинно реалистических путей в искусстве, эти записи дают возможность понять новаторство Фурманова, в период становления советской литературы утверждающего эстетику социалистического реализма.

Заканчивается раздел дневников записями, характеризующими деятельность Фурманова как секретаря Московской ассоциаций пролетарских писателей, свидетельствующими о его страстной и непримиримой борьбе за пролетарское искусство, за большевистскую идейность и народность литературы. Вместе с этими записями приводятся и тезисы Фурманова о родовщине, которые по своему содержанию и времени написания близко примыкают к дневникам этого периода и помогают более ясному и полному освещению его литературных позиций. В этот же раздел вошли заметки о встречах Фурманова с А. Толстым, Вс. Ивановым, Дм. Петровским и другими писателями, сделанные им за несколько месяцев до смерти.

Второй раздел тома составляют так называемые «Литературные записи». По своему содержанию и форме они тесно примыкают к дневникам, и иногда их трудно выделить. Чаще всего эти записи не имеют датировки, и можно только предполагать, к какому году они относятся.

Частично заметки Фурманова о литературе публиковались в IV томе Собрания сочинений 1928 года, в книге «Из дневника писателя», 1934, в Собрании сочинений 1951—1952 годов («О современном писателе», «О содержании», «Художник к себе — чем дальше, тем строже» и т. д.), но с большинством публикуемого здесь материала читатель по существу познакомится впервые.

Материал этого раздела можно разбить на три группы.

В первую входят заметки Фурманова об общих целях и задачах литературы и искусства, его размышления по вопросам литературного творчества.

Вторую составляют конспективно-тезисные, краткие записи о творчестве многих русских писателей предоктябрьского и послеоктябрьского периодов, начиная с Горького, Куприна, символистов и кончая писателями, активно работавшими в советской литературе в 20-е годы. Одни из этих записей сделаны на основе определенных источников (например, в основу заметки о Бунине положена статья о нем В. Воровского; влияние критической лите-

ратуры 20-х годов чувствуется в заметках о Горьком, где говорится, что «босяки — рупор горьковских идей»); другие включают в себя как формулировки самого Фурманова, так и формулировки авторов тех критических работ, с которыми он знакомился (запись о Замятине); третьи, очевидно, целиком идут от Фурманова (заметка о Сейфуллиной).

Записи о писателях свидетельствуют о том, с какой серьезностью и основательностью изучал и осмысливал Фурманов литературный процесс дооктябрьских лет и в современных условиях, как широк был круг его интересов.

Об этом же говорят и материалы о литературных течениях, литературных организациях и литературной борьбе, которые составляют третью группу.

В этот же раздел включены наброски к роману «Писатели», который должен был отразить всю сложность классовой борьбы в литературе первой половины 20-х годов.

Оценки Фурмановым явлений литературной жизни тех лет, нашедшие отражение в его литературных записях, еще раз указывают на партийность его позиции в литературе. Беспощадно резкую критику он дает разного рода отщепенцам — врагам советской России (Д. Мережковский и другие). Он хорошо видит, что в литературе начала 20-х годов есть еще чужеродные и вредные примеси, которые засоряют ее и мешают ее развитию (Е. Замятин, Б. Пильняк, Н. Клюев, С. Клычков, группа «ничевоков», имажинисты).

Весьма содержательны характеристики Фурмановым тех писателей, которые уже тогда внесли значительный вклад в литературу, обогатили ее подлинными ценностями (А. Толстой, Л. Леонов, Вс. Иванов, С. Есенин).

Вместе с тем в некоторых записях Фурманова чувствуется «дань времени». Фурманов с огромным вниманием и нескрываемой симпатией относился ко многим писателям-«попутчикам», о чем говорят его положительные оценки творчества А. Толстого, С. Есенина, Л. Сейфуллиной и некоторых других писателей. Но иногда в оценках Фурманова слышались отзвуки тех предвзятых характеристик, которые исходили из журнала «На посту». Именно этим объясняется то обстоятельство, что в записях Фурманова встречаются не совсем точные, а иногда и односторонние утверждения (Н. Тихонов, И. Эренбург и др.).

Последний раздел тома составляют письма. В предыдущие Собрания сочинений письма Фурманова не входили, за исключением письма А. М. Горькому от 9 сентября 1925 года и двух писем

начинающим авторам, которые были напечатаны в 1952 году в третьем томе сочинений Фурманова, изданном Гослитиздатом. Отдельных публикаций его писем существует очень мало. В настоящем издании делается первая попытка дать небольшой свод эпистолярного наследия писателя. Из двадцати семи писем — восемнадцать публикуются впервые. Письма дают возможность узнать Фурманова не только как писателя, общественного деятеля, воина, но и как нежного сына, чуткого и внимательного мужа, прекрасного, душевного человека.

Письма Фурманова начинающим авторам, его советы и указания говорят о внимательном и доброжелательном, требовательном и принципиальном отношении к молодежи, пробующей свои силы в литературе. Вдумчиво и обстоятельно разбирая присылаемые ему произведения, Фурманов давал им строгую, но в то же время объективную оценку. Многие из этих отзывов выходят за рамки оценки отдельного художественного произведения. В них содержатся ценные замечания Фурманова, раскрывающие его эстетические позиции.

«Пиши, чтобы понимали»,— подчеркивал Фурманов. И советовал молодым поэтам: «Надо писать нужное и важное, надо писать просто, серьезно и искренне. Для этого надо много читать и работать над своим политическим развитием». «Надо учиться ленинизму, глубокому и верному пониманию жизни и человеческих отношений, иначе всем вашим писаниям будет грош цена, раз не поймете и не усвоите себе основного: науки о жизни, о борьбе, обо всем, что найдете в книгах Ленина и в других книгах, освещающих и разбирающих его учение».

Дневники, литературные записи и письма, собранные в настоящем томе, представляют Фурманова как талантливого писателя, литературного критика и организатора литературных сил.

М. Сотскова.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я свое раннее детство помню в жалких обрывках: годов до восьми. А тут пристрастился читать. И с тех пор читал много, горячим запоем, особо усердно Конан Дойля, Жюля Верна, Майн Рида, Вальтера Скотта и в этом роде.

Ученье: городское шестиклассное в Иваново-Вознесенске, там же Торговая школа, потом на Волге, в Кинешме, за три года окончил пятый, шестой, седьмой классы реального.

Засим Московский университет. Закончил по филологическому факультету в 1915 году, но не успел сдать государственные экзамены — братом милосердия с поездами и летучками Земсоюза гонял на Турецкий фронт, по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на Западный фронт под Двинск, на Юго-Западный, на Сарны-Чарторийск.

В половине 1916 года приехал в Иваново-Вознесенск и вместе с близким другом по студенчеству, Михаилом Черновым [1], работал преподавателем на рабочих курсах.

Ударила революция 1917 года.

Пламенные настроения, при малой политической школе, толкнули быть сначала максималистом, дальше анархистом, и казалось, новый желанный мир можно было построить при помощи бомб, безвластья, добровольчества всех и во всем...

А жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в пар-

тию к большевикам, в июле 1918 года — в этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе: беседы с ним расколотили последние остатки анархических иллюзий.

Вскоре работал секретарем губкома партии, членом губисполкома.

Потом с отрядом Фрунзе на фронт. И там: комиссаром 25-й Чапаевской дивизии, начальником Политуправления Туркестанского фронта, начальником политотдела Кубанской армии, ходил в тыл к белым на Кубани комиссаром красного десанта, которым командовал Епифан Ковтюх [2]. Тут контужен в ногу. Вместе с другими шестью за этот поход награжден орденом Красного Знамени. Потом в Грузию, из Грузии на Дон, с Дона в Москву. И здесь с мая 1921 года.

1917—1918 годы писал в «Рабочем городе» и «Рабочем крае» (Иваново-Вознесенск); годы 1919—1921 много писал публицистических и руководящих статей в военно-политических журналах; в то же время сотрудничал нерегулярно в газетах («Известия ВЦИК», «Рабочий край», «Красное знамя», «Коммуна» и др.). С 1921 года, приехав в Москву с фронта, написал «Красный десант» («Красная новь»), «Чапаев» (Госиздат), «В восемнадцатом году» («Буревестник»), начал сотрудничать в московских журналах.

В начале 1925 года вышла новая моя книга — «Мятеж» (Госиздат), посвященная гражданской войне в Семиречье летом 1920 года. После «Мятежа» вышло еще несколько книжек. Теперь вот года четыре литературную работу считаю главной, основной. Писал я и раньше, писать начал давно, но тогда это было словно между делом. Теперь — иное. Даже совсем иное.

Дмитрий Фурманов.

Москва, 7 января 1926 года.

ДНЕВНИКИ

1910 год

26 июня

Наконец-то сижу я с ручкою в руке и строчу давно жданный дневник свой... В дневнике своем я намерен писать все то, что в данный момент бродит у меня в голове (хотя это и всегда так бывает), безо всякой проверки, систематизации или особенной последовательности: есть возвышенная мысль — катай ее сюда; вспомнилось, как в детстве яблоки воровал — вали пиши!.. Я в душе тоже поэт: я пишу стихи, интересуюсь литературой, терзаюсь за русский язык и очень ревную порой к нему приближающихся, но, по-видимому, недостойных.

...На свое будущее я смотрю очень и очень спокойным взглядом: меня в нем ничто не волнует особенно и не страшит. Мне думается почему-то, что *я должен сделаться писателем и обязательно поэтом...* Великое дело любовь!.. Я говорю о той любви, которая больше походит на уважение, на сострадание, на понимание чужих нужд и вообще на гуманное отношение к человеку, да, именно гуманное...

...Гуманизм — это направление (так говорил наш учитель истории), особое культурное направление (говорил он с растяжкой), проникнутое уважением к человеку, к его потребностям, способностям, наклонностям и т. п. и т. д. Вот именно этого-то гуманизма я и придерживаюсь: я уважаю человека, кто б он ни был, я смело могу даже сказать о себе, что «я могу полюбить даже человека единственно за то, что он беден». И это я говорю чистую правду, ничуть не рисуясь и не хвалясь своими чувствами,— я бедных люблю более,

нежели богатых. Бывают со мной часто такие случаи: говорят что-нибудь о человеке хорошее, достойное уважения, подражания и любви, говорят о его добродетелях... Слушаешь, узнаешь, что он богат, а в душу как-то невольно вкрадывается сомнение в чистоте дела; или подозреваешь аферу, или в крайнем случае рисовку... Мало, очень мало верю я богачам... Но стоит сделать бедняку из этого хотя бы сотую долю, как сердце мое уже пылает к нему любовью и уважением; я возношу его в своих мыслях, представляю его себе необыкновенным даже человеком и вижу в нем золотое сердце...

5 июля

...Вчера прочитал Рылеева Кондратия. Он мне очень понравился. Читал я только лирику, заметку его относительно классической и романтической поэзии [1] да несколько писем. Нравятся мне такие натуры: открытые, свободные, энергичные, любвеобильные, готовые идти на самопожертвование.

Читал я о нем случайно в рассказике о декабристах. Хорош он там рисуется вместе с Пестелем; я так и представляю себе эти два умные, мужественные лица: седой старик, приветный, деловой Пестель, и молодой, сухощавый, немного нервный, самолюбивый и до крайности деятельный Кондратий. По-моему, часть своих мнений он вложил в идеи «Войнаровского»; хотя Войнаровский и не проповедует ничего особенного, но фигура его рисуется довольно ярко: есть нечто общее с Рылеевым.

...Стих «Войнаровского» — гладкий, прекрасно обработанный, а главное — чуден самый сюжет. Из первых его произведений в моей памяти сохранились: «Олег Вещий», «Мстислав Удалой», «Дмитрий Донской», «Святополк», «Боян», «Михаил Тверской», «Смерть Ермака», «Иван Сусанин», «Курбский», «Богдан Хмельницкий», «Димитрий Самозванец» и «Борис Годунов»[2]...

В детстве Рылеев был, по-видимому, резвым, остроумным, задорным парнем, хорошим товарищем и, одним словом, «душа нараспашку», или «парень-руба-

ха». Вот таких товарищей я люблю: он все весел, шутит, часто с болью на сердце, и грустит в уединении — таков именно был Кондратий.

...Я Рылеева считаю одним из лучших передовых людей своего времени...

...Я хорошенько еще не усвоил себе взгляда на религию и бога нашего великого писателя Льва Николаевича Толстого, которого, нужно признаться, я считаю за величайшего как из предшественников, так и из современников писателя, за истиннейшего мыслителя и проповедника своих высокогуманных идей.

...Человек только тогда истинно высок, когда, свято исполняя обязанности человека и гражданина, он кладет все свое достояние, материальное и духовное, исключительно на благо — общественное...

...Эх, Кондратий, далеко же ты угнал меня; о тебе-то я уж было и кончил, а нужно еще сказать, что ты был великим патриотом, в то же время будучи и великим революционером, кандидатом и соперником современных, конечно, деятелей России, на поприще государственном.

4 августа

...Действительно, как будто бы замерло мое страстное желание писать стихи, пропало рвение к звонким рифмам, надолго ль это? Неужели навсегда? Не думаю, ибо цель-то жизни моей умереть над третьей строфой какого-то «крупного» творения в стихах...

...Хочется создать что-нибудь крупное, порядочное; есть на несколько вещиц и сюжеты и материалец, да взяться-то все не могу, как не мог взяться за сей дневник. А как хочется писать! Как чувствуешь себя на что-то способным, немного подготовленным даже к чему-то...

Я о себе могу теперь сказать, как сказал некогда Пушкин: а теперь я мог бы многое написать, чувствую в себе свежие силы. Это сказал (или что-то похожее) он незадолго до роковой дуэли, но со мной, надеюсь почему-то, в ближайшем будущем ничего не должно стрястись особенного...

Кончил сейчас «Евгения Онегина». В чертах Пушкина я, право, нахожу нечто общее с собою (или наоборот). Такая же пылкая натура, действующая более под влиянием чувства, нежели ума... То же презрение педантизма, формальностей; когда 18 ноября мы ездили покупать подарок директору, то одна из гимназисток, ехавших со мной, М. Зернова, сказала мне слова, поразившие меня: «Митя, в тебе, право, есть что-то пушкинское, как ты похож на него многими замашками».

Да!.. Год назад я был совсем другой человек. Тогда меня прельщала более внешняя сторона в человеке, а не внутренняя, как теперь... Открыть какое-нибудь доброе качество в душе другого, какую-нибудь незаметную хорошую черту — вот мое блаженство!

20 августа

Я в Кинешме... Комнатка дышит чем-то поэтическим... Только не знаю, дыхание ее навеет ли на меня что-нибудь из «писомого»... А писать вот как хочется!

...Милый мой Тургенев! Как я люблю читать твои убаюкивающие творения. Каждое словцо обработано, каждая фраза, каждая мысль продумана — мягко, деловито, умно, приятно... Помню, лежал у меня на столе том, кажется второй, какие-то рассказы... Я расстроился с чем-то, взял его, начал читать, успокоился, на душе сделалось как-то тихо, радостно... Почитал... и сел писать... А желание писать, сильное желание у меня является лишь в минуты полного душевного покоя или же в порыве сильного, охватывающего чувства...

7 октября

Сегодня кончил «Санина» Арцыбашева...[1] Санин как-то нагло равнодушен; что это за истукан, видящий и слышащий о позоре своей сестры и относящийся к этому совершенно безучастно: услышав разговор ее

с Зарудиным — он лишь улыбнулся и побрел по саду... Взгляд его на женщину — взгляд извращенный, сальный, чисто животный... Сальность, цинизм, сладострастие да, пожалуй, кутеж и бесшабашность, беспринципность — вот характерные черты этого декадентского героя. В лице Санина современный яркий тип разочарованного бездельника схвачен довольно правильно, но, пожалуй, преувеличенно...

26 октября

...Как-то все не хочется верить, что мне пошел двадцатый год. Двадцатый год... двадцатый год!!! Как это много! Подумаешь: уж девятнадцать лет я отжил — уже половину, треть или, может быть, четверть своей жизни. Боже мой! Как это много!.. Теперь года полетят быстро — мне кажется почему-то, что эта «мимолетная» детская и юношеская пора и идет всего дольше: так лето в начале для нас как-то нехотя отдает день за днем, а как остался, глядишь, месяц до ученья — так и не увидишь уж, как он промелькнет. А к жизни-то привязываешься все крепче да крепче; правду сказал Тургенев: «Чем дольше мы живем, тем сильнее привязываемся к жизни, как к старинному другу». Вот теперь уж и жалко детства, жалко первой юности, коли видишь их только по отражении, как бы по следам, оставляемым ими...

Но будь я дитятей, будь я мальчиком в летах перелома (12—16) — я, конечно, мечтал бы сделаться скорее реалистом, студентом, как теперь мечтаю о студенчестве, о писательстве... Такова природа человека — вспоминать прошлое в розовом свете, тосковать по нем, сокрушаться, не довольствоваться настоящим (в большинстве случаев) и надеяться на «что-то», что должно быть непременно лучше даже золотого прошлого... Так и я: вспомнил сегодня свое детство, разобрал его по частичкам в уме своем, невольно сладко погрустил, как будто даже пожалел в нем чего-то, но не затужил, не напал на свое настоящее, а благословил его, радовался за него и за него благословлял свое детство, подго-

товившее мне такую милую, мирную жизнь... Много в моем детстве хорошего... много! Мне что-то все представляется таким добрым, приятным... Даже и горе-то, черные дни детства представляются мне драгоценнейшими показателями моего духовного роста, как бы его отрицательными исправителями, то есть своею неприглядностью они заставили меня тем более отдалиться от мрачного к светлому, от злого к доброму; они, эти дни, показали мне, что в жизни хорошее стоит рука об руку с дурным (за которое и приходилось терпеть наказание), что это дурное может прикрыться личиною доброго, фарисейскою личиною... И я бежал этого; старался исправлять себя (сначала, может быть, и не вполне сознательно), но старался не забывать и об этих черных днях.

Исправление, сначала бессознательное, постепенно стало принимать форму определенного стремления к самосовершенствованию, к самоулучшению... Чтение помогло мне в этом — оно и было главным двигателем этого стремления, оно и подняло меня на высоту того взгляда, на высоту того понятия, которое теперь (вполне уже сознательно) имею я на жизнь... Жизнь теперь кажется мне далеко не такой простой и совершенной, как прежде... Детские идеалы разлетелись в прах (как, может быть, в зрелых летах обратятся в дым и мои юношеские идеалы); кумиры, воздвигнутые мною в пору чуть не младенчества умственного, низвержены теперь мною, и вместо боготворения я презираю их...

Жизнь в прошлом кажется мне бесчисленным рядом взбираний, остановок, падений и снова и снова подниманий и взбираний все выше и выше... да оно так и должно быть: часть лестницы жизни теперь пройдена; на оставленный путь сверху взглянуть и как будто бы жалко и приятно, а вверх — и таинственно что-то и страшновато... Брел, брел я и наконец добрел до зрелой юности... Как-то пройдет она — эта золотая и чудная пора, столь много дающая и столь много сулящая мне?..

1911 год

13 марта

...Писать страх как хочется... В душе так и роятся новые и новые образы, новые картины. Встаю почти каждый день с одной и той же мыслью — что-нибудь написать, да получше, покрупней... В душе уж давно создался план «Юности»... В ней думаю описать и нашу жизнь и причины, толкающие нашего брата на ту или иную дорогу. В «Юности» думаю поставить центральное лицо, имеющее в некоторой степени черты и Онегина и, главным образом, Штольца... Хочу вывести и причину «обломовщины» в нашей среде, тем более — такая масса наглядных примеров...

2 августа

Страшный перелом совершается в душе моей. Все, во что я верил доселе, неколебимо чтил и уважал,— все это теперь как-то иначе осветилось, помутнело, уступило место иному, еще незнакомому. Нет уж более неопределенного, безотчетного преклонения перед «тихими наслаждениями», перед миром и покоем «душевной радости». И вижу и знаю я, что резко и холодно расстался я с прошедшим, но что будешь делать!.. В душу запало сомненье. Душа трепещет, борется — не хочет верить в новое, да не может не верить в него, не может не признать его правоты и осмысленности.

Писарев и Добролюбов перевернули вверх дном все мои мечты, все убеждения.

Я знаю, что ничего еще нет во мне основательного, твердого, но зачатки чего-то уже есть.

Вот как будто наткнулся я на острый, острый нож. Режет он меня, сильно режет, но я терплю. А почему? Да потому, что мне как-то и страшно и приятно в то же время видеть, как этот страшный нож уничтожает все, чем я жил до сих пор, но он не только сокрушает... Он ищет что-то новое, неведомое, жадно стремится вглубь... Вот дойдет он до основы, до главной жилы прошлой жизни, ударит по ней с размаху — и не будет уже ее никогда... Явится новая жизнь, явится новое сознание, новые стремления и мечты...

Теперь еще нет этого нового, нет определенности... Смутно бродит моя мысль... То туда, то сюда бросается она...

Кинется в прошлое и как-то жалобно, как-то виновато ищет с напряжением в нем хорошего, высокого, идейного... Каждую мелочь я разбираю со всех сторон, каждому порыву прошлого стараюсь придать благородное значение, но все выходит как-то слабо, наивно... Вся моя жизнь доселе представляется мне каким-то веселым, жизнерадостным, далеко не глупым, но далеко и не умным лавированием между мечтами и приятной действительностью. Я разбирался во всем попросту, по-ребячески... Окрашивал все в один цвет — и, признаюсь, это окрашивание много радостного вносило в мою жизнь.

Я чуть не проклинал Аристотеля и благоговел перед Платоном. Я думал даже написать статью об их взаимоотношении, думал разнести в прах Аристотеля за его сухой взгляд на жизнь...

Но теперь почему-то благоговение к Платону сменилось недоверием и даже насмешливостью мысли, а презрение к Аристотелю — равнодушием, все же близким к уважению, но ни в коем случае не к презрению. Так-то вот меняюсь я.

И жалко мне прошлого, и горько разбивать его, да сознание работает и беспощадно сокрушает его ку-

кольность и излишнюю игривость. Мысли так и ходят, так и ходят. Писарева разбираю по строкам — он страшно влияет на меня и задевает за самые больные места.

Я был поэт бессознательности и думал, кажется, навеки сделаться таковым же, теперь я понял всю гнусность этого ремесла, да и слава богу, что мало еще работал по когда-то выбранному пути... Недавно думал я идти по чистой словесности, то есть по разбору чисто художественных творений, теперь сознание их незначительной пользы заставляет меня призадуматься. Что дельного в поэзии? — задаю я себе вопрос. И тут же отвечаю: «Ровно ничего»... И только уже так ответив, начинаю думать, что в ней есть действительно полезного и дельного и во многом, очень во многом схожусь в мнениях по этому вопросу с великим критиком.

Один приятель говорил: «Что писать зря. Я лучше хорошенько подумаю, чем запишу непродуманное». Теперь я с этим согласен. Заносить на бумагу непродуманные бредни и причудливые, безжизненно-отвлеченные звуки поэтической лиры — занятие действительно непохвальное. Теперь я предпочитаю подумать хорошенько или почитать, чем повышенным тоном поэтически ложно изливать на бумагу свое настроение. Но, может быть, это только теперь? Что же возьмет перевес: сухое ли, безотрадное грядущее или милое, игривое, беззаботно-веселое прошлое... Писать я все равно, конечно, буду... Буду писать и о своем настроении, о восторге и печали, буду писать и стихом и прозой,— но я постараюсь по возможности исключить из своих писаний все ложное, придуманное...

Часто пишешь, бывало, и думаешь: а что? так ли уж волнует меня описываемое? Да так и замнешь этот резкий вопрос совести, так и не ответишь на него.

А после почитаешь — и доволен... И вправду, мол, так я чувствовал и меньше уже, слабее чувствуешь в словах ложь и фальшь переживаний...

Писать буду, может быть, и по-старому возвышенно, но прежде всего постараюсь быть искренне правдивым и непреувеличенно чувствительным...

24 августа

...Было сегодня вечером у нас литературное собрание. Читали критики Рудина [1] и спорили о нем. Оттуда шел я с приятелем А. В. [2]. Он между прочим сказал мне, что нет во мне ничего своего. Хорошенько этого я не понял. Чего своего? Если под «своим» он подразумевает индивидуальные проявления, оригинальность, то природа мне в этом, кажись, не отказала. Об оригинальности, о самобытности мне многие говорили даже прямо в глаза, да и сам я признаю в себе наличность оригинальности. По крупным вопросам, как, например, вопрос о боге, я не делаю конечных, бесповоротных убеждений. Я теперь еще «формируюсь»; я стараюсь больше читать, сопоставлять противоречивое, но свое среднее рискую принять не больше как за гипотезу. Рано и бесполезно решать, не зная жизни, о ее содержимом. Я думаю еще доразвиться до этого посильней.

У меня есть сейчас одно непоколебимое убеждение — это уверенность в необходимости делать добро и радость другим, быть ближе к правде. Вот я и стараюсь в жизни осуществлять пока эти два нерушимые начала. Они для меня и были и, верно, будут неиссякаемым источником духовных наслаждений, высокого блаженства, обусловленного сознанием сделанного доброго дела или сделанной или сказанной правды.

Пока довольно двух начал. Разовьется ум с сердцем — тогда можно встать и на другие, можно разумно на них опереться.

20 сентября

...По-моему так: чтобы читать дельно, умело, со смыслом — для этого нужно иметь хорошую опору, крепкий фундамент в прошлом... Нельзя же сразу постичь философию — это немыслимо совершенно. Для того чтобы разбираться в Спенсерах, Адам-Смитах, Шеллингах и т. п.— для этого нужно приучить голову поработать над чем-нибудь более простым, более понятным.

Хорош и Пушкин, хорош и Тургенев, но оба хороши они в свое время.

Смешно, конечно, на старости читать «Цыган», смешно на старости злиться над Пандалевским[1] — всему свое время. Простые писатели — необходимый элемент нашей, как и всякой, литературы. Не читая ничего — не поймешь философии.

На первых же шагах нас сбивают почтенные советчики. Не узнав положения вещей, не узнав, что ты знаешь и что понимаешь,— суют они тебе непостижимо умные книжки.

Вот хоть бы взять настоящее положение молодежи. И туда и сюда сунется, лезет за новинками, тратит попусту время — и в результате не имеет никаких положительных знаний. Чтобы понимать хорошо настоящее — нужно хорошо знать и прошедшее. А они хватят макушки, постигнут современность, по-своему конечно, да и ну шуметь. Я!.. Я!.. А что, спросить, я? Ведь ни черта не знает человек, а гремит — так и сыплет именами... Познав верха — к корням-то уж и неохота подбираться, ну и живут без основ. Я придерживаюсь плана постепенных познаний.

По-моему, с самого корня нужно начинать дело — вот почему я и не чуждаюсь незнакомых писателей... Теперь, пройдя большую часть классиков и подступая к таким крупным единицам, как Толстой и Достоевский, я чувствую себя способным понять их, потому что я понял их предшественников. Пойму, быть может, не вполне, но думаю, что основное — пойму.

5 декабря

Как полюбил я делиться с дневником всем, что есть на душе. Книги не так, пожалуй, успокаивают меня, как эти записки. Там читаешь, конечно, то, что есть, и приходится невольно жить двумя жизнями — своей и жизнью книги, а так как в минуты горя своя жизнь берет перевес, то и чтение не вполне плодотворно. Много у меня утех в минуты горя — и дневник и размышление, то есть успокоение себя путем логики, но нико-

гда — друзья. С письмом как-то легче переживается горе. Выльешь тут всю боль — ну, и нет недоразумений, пока пишешь, все и продумаешь...

6 декабря

...Как я буду жить? Чем буду заниматься и способен ли вообще я к какому-нибудь занятию? Такого любимого занятия нет! Люблю я читать, люблю писать... но для этого ли я создан. Куда закинет меня судьба, что даст мне в руки и как я сделаю то, что даст она? Даст... А разве все еще не дала?.. Ничего, ничего не вижу... Только одно кажется мне верным — это то, что для денег, для богатства я не буду жить. Это убьет родителей. Они кормят, учат для того, чтобы я мог хорошо зарабатывать, покойно жить и помогать им. Но этого-то они и не дождутся. Быть может, я и буду помогать им, но чем? Зарабатывать, в полном смысле слова, я, кажется, не могу. Я буду только получать затем, чтобы жить, а заботы об них, право, уж не знаю как удовлетворить. Передо мной рисуется моя будущая литературная жизнь; не такая, правда, грозная, как жизнь Белинского, Писарева, Добролюбова, но какая-то удивительно плодотворная и в то же время тихая. Совместимо ли это? Пожалуй, что нет, а я вот все думаю и верю. Уеду в Москву (я думаю попасть именно туда), которая сулит много-много нового, и там уже отдамся вполне своему делу. Там так много людей, с которыми и интересно и необходимо сблизиться, и вот я жду не дождусь ее, красавицы Москвы. Нет, правда, того безотчетного верованья в ее полную прелесть, всестороннюю прелесть, которое живо разбивается по приезде туда, но все же жду я многого.

Москва для меня — центр, «откуда выходят гордые и сильные, как львы», откуда разливается свет и надежда молодой России. И я верю в этот свет, еще не видев его, верю, что и мой дух просветлеет и окрепнет, увидев его...

1912 год

16 мая

...Прочитал сейчас Белинского «Менцеля»[1]. Какая душа, какая логика!

Ну, Белинский! Велик же ты в своем непостоянстве. Сейчас впечатление осталось доброе, полное. Нашел много родного, особенно знакомого и понятного...

6 июня

О, прощай, прощай, дорогая моя юность. Я благословляю тебя, я благодарю тебя, я тоскую по тебе, я рыдаю над тобой... Ушли друзья. Все ушли. Вот роща: последняя, прощальная пирушка... Вино, дурманящий шум и гам. Не так пьяны, как кажемся. Все стараются придать себе что-то разгульно-широкое, глубокое, печально-прощальное. Ходим, обнявшись, по лесу, толкуем больше дело (коли вдвоем), несем чепуху, если втроем, и решительно попусту гремим, если больше.

Сколько сердечности и заунывности в прощальных, почти могильных поцелуях. Разойдемся... Разошлись. Да, да... разошлись уж и не сойдемся так,— так вот, как было теперь,— так не сойдемся никогда... Ни на миг... Хоть одного, да недостанет... Что-то даст нам матушка-столица... Решили там устроить свое общество, родное землячество, на правах простого товари-

щеского общения... Цели явной не намечено... Но, думается, никто-то из нас твердо не верит, что все сойдемся так, как думаем, как предполагаем... Но все ж — говорим, спорим, ждем и надеемся...

Юность, юность! Ушла ты! Прошли золотые дни. Добром, одним добром вспомянул я их. Сколько тут было чистого, доброго, искреннего, бесшабашно-необдуманного, но, главное, искреннего, искреннего... Мятется душа, скорбит — а не затаишь: так или по-другому, а дашь знать, что делается с тобой... И вот минуло все... А давно ли, давно ли, кажется, я шел сюда — новый, незнаемый, незнавший... То было три года назад. Я был иной, но я был все тот же... Та же страсть, те же порывы; только прямоты меньше было, да то было лишь от робости. И шел я, полный надежд, полный веры и в ученье и в жизнь. Минуло три года: вера не умерла — она окрепла, стала сознательней, просто умней; жизнь не рвала, но гнула постепенно. Одно сменялось другим, все было как-то в пору, вовремя. И я не страдал. Я пережил ровно много, пережил то, что другие живут скачками, и потому я не состарился рано душой: она все так же юна в двадцать лет, как юна была в первую юность мою. Ворота! Золотые широкие ворота: разомкнитесь, покажите, что за вами кроется то диво, которого так жаждем мы, которое близко и понятно нам, которое выросло из нас, которое довело нас до того, чтоб мы поняли его...

Что писать на могиле твоей — замирающая моя молодость?! Душа полна, все созвучным аккордом звучит внутри, но не может вырваться сюда, на волю... Друзья... Друзья мои! С некоторыми — бог знает — навсегда, быть может, разошелся... Через долгие, долгие годы встретишь вдруг знакомое лицо — и все пирушки, прощальные вечера оживут, заживут перед тобою... Разошлись друзья мои... Ушли мои милые... Поплелись так тихо, так невесело — кто куда... Ведь расстались, ведь это молодость свою в последний раз подняли мы на крыльях счастья и веселья — ведь проводили мы свою ясную зорюшку, свою утреннюю звезду... Надежды, мечты наши... Разобьетесь ли вы, или только изуродуетесь — как знать: все равно не вопло-

титесь вы в будущность нашу — только дивным светочем будете вы из светлого прошлого озарять наш, быть может, тяжелый, неведомый путь...

6 июля

Боже мой, боже мой: как я рад! Первый раз в печати... Взял газету, смотрю: нет, нет и... вдруг вижу: «Мне грустно осенью холодной»... Новий [1]. Боже, какая радость! Давно я ждал, с замиранием просматривал я каждый номер — все нет и нет... Я смеялся от радости... Слава богу: начало есть!

28 июля

...Я не знаю, как мне назвать то, о чем хочу писать,— тут и мечта, почти несбыточная, и жажда жизни, разнообразия, полноты... Пройдут года... С высоким буду образованием... Пойду по народу, не «в народ», а по народу: есть страстное желание пережить как можно больше чужих жизней, чтоб знать жизнь мира... Это желание родилось давно — теперь оно преследует меня и днем и ночью... Я — дворник, сапожник, лакей, портной, народный учитель, крестьянский работник, ломовой извозчик... и много, много дел встает передо мной... Это не пустая мечта — это серьезное желание, во всяком случае теперь...

30 июля

Скоро, очень скоро... Так скоро, что даже самому не верится. То будет крупный шаг в моей жизни, решительный шаг. Столица, университет, жизнь. Да! Там — жизнь... И мне как-то не верится, что я буду жить, жить тем, что каждому прежде кажется лишь мечтой... Но буду ли я жить, как пойдут мои дела, как латынь, как университет?.. И я жду, мучительно, с сердечным замиранием жду... Часто в свободную

(утаенную) минуту я лечу мыслью туда, к этому свету, к этой новой желанной жизни... Все думаю, все мечтаю, гадаю и жду...

Ну, что-то будет... Вывозите меня, молодые силы, летний труд да ты — глупое счастье...

1 августа

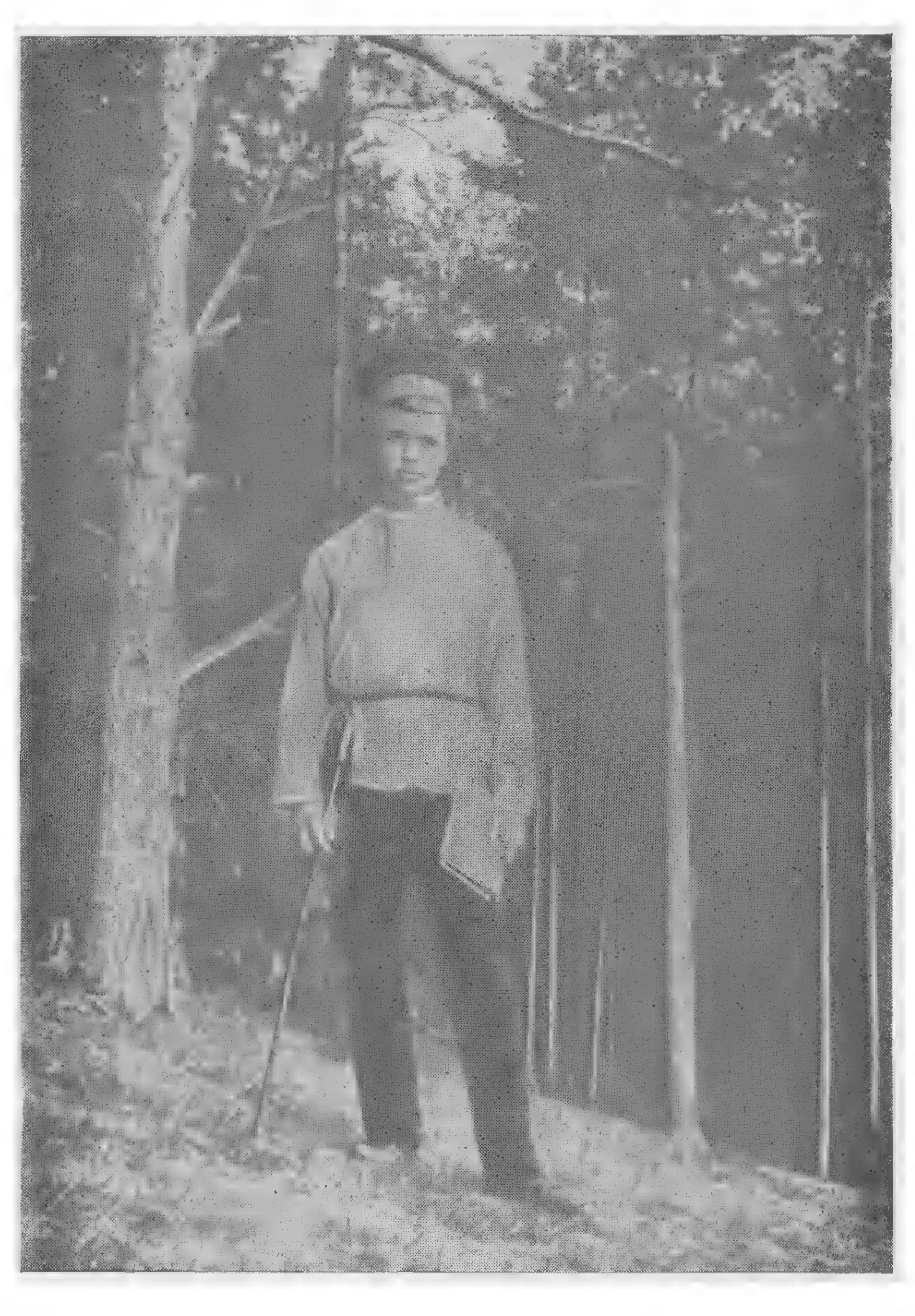
Легко сказать — через 3—4 дня еду. Вот мучительный вопрос: выдержу или нет?[1] Что если выдержу? И что — если не выдержу?.. Как поступать, коль пролечу... Думал, много думал и на этот случай, да ничего не надумал, не знаю все ж, как быть... Но — в Москву, в Москву, в Москву! Во что бы то ни стало надо ехать туда... Здесь не могу, не могу я жить: мало мне здесь простору, мало друзей душе...

3 августа

...Вот рвемся все в столицу... Рвение просто стихийное, эпидемическое. Все юное только и спешит туда — там рай, там живо, там истинная нужда, там истинный голод... А как рвется юношество, как оно рвется!!! Все к свету, к свету... Столица — очаг знанья; не диво, что все рвется на огонь... Многое обожжется, но многое и окрепнет... Ну, Марта[1], летим к огню... Неужели мы сгорим?.. Нет, нет — не сгорим, дорогая...

26 сентября

А в сущности студенческая жизнь — одна прелесть. Как ни плохо, как ни приходится разочаровываться на каждом шагу, а все ж она — прелесть. Я теперь, пожалуй, бедности и не вижу — я переживаю одну лишь поэзию бедности. Мне приятны эти 15-копеечные обеды, приятны скудные завтраки. Придешь в столовую, поешь на 15 коп. одно первое блюдо, подумаешь о втором и пойдешь... Утром — фунт черного — и он на вѐсь



Д. А. Фурманов. Ученик Кинешемского реального училища. 1909 г.

день. Так пока идет... Ну, кв[артира] с керосином 8.50, завтраки — 1.50 (максимум), значит 10; столоваться по 15 коп. 30 дней 4.50, ну куда ни шло — 5 руб.; рубль на баню (максимум); рубль на стирку — вот тебе и все прожитие. Итого выходит 17 рублей... Нужно, конечно, и театр иметь в виду и разные там мелкие расходы, ну да уж на двадцать-то можно легко управиться. Только вот катаром стращали... Неужели он действительно может появиться от такой пищи? Она, в сущности, проста и здорова... В студенческой наешься — просто прелесть. Тарелки две выхлебаешь... Хлеба поешь за троих — ну второе-то уж и лишнее. Хоть не лишнее, положим: завистливо как-то смотришь на эти котлеты да творожнички, что едят вокруг тебя... Вспоминаются домашние обеды из 2-х да 3-х блюд... Птенчика семьи сильно огорошили бы те условия, при каких живу я теперь: комната плохая, близкая к кухне (часть ее, отгороженная тонкой перегородкой). Часто слышен запах из кухни; постоянный говор; плач и крик детей; громкие сплетни разных кумушек — заниматься крайне неудобно. Да вдобавок ко всему по стене довольно свободно разгуливают клопы... Плохо, что и говорить: нужно при первой же возможности уйти от этих скверных условий... Только попаду, верно, из огня в полымя... Где тут подыщешь за 8-то рублей? Но мало меня расстраивает все это: или молодость тому виною, или спокойствие здоровое я нажил себе, живя вдали от семьи?.. Бог знает что, но вполне легко и безропотно несу все, что посылается мне на пути... Посылается много и тяжелого, очень тяжелого. Этот черный луч вкрался в меня глубоко. «Но молодость свое взяла»,— как говорил Пушкин... И у меня молодость победила тяжкие думы... Теперь легко...

25 ноября

«Живой труп»... А недавно еще — «Гамлет»... Раек какой-то этот Художественный театр — так вот маленький раек, теплое, уютное и глубоко-нежное жили-

ще нежного и чуткого божка. Это все что хотите, но только не театр — да, это не театр.

Что театр? — Игра артиста.

— А тут что? — Тут жизнь.

Тут простота жизни, ее правда, слезы и смех радости. Не могу я много говорить о нем. Во многословии нетрудно и солгать, а мне так жутко за это возможное кощунство... Москвин... Федя... [1] Простота... Дух ты чистый, милый дух... А эта «Вечерняя...»? [2] Тоска, похороны... Да, сам ты Живой труп! Сам ты, художественный мир правды, оживший труп прошлой мертвечины и коверканной жизни...

1913 год

27 января

Здесь работа, может быть, и есть, да слабая. Интенсивности нет. То ли было в Кинешме. Там жалел и дорожил каждым десятком минут, а здесь теряешь часы — и ничего. Боль есть от этого и здесь, но работы интенсивной нет как нет. Вот скоро два экзамена, а занимаюсь из рук вон плохо. Да и куда ни посмотришь, нет упорной работы нигде: час занимаются, два ни черта не делают да три гуляют. Я хоть, ладно, не гуляю, все, мол, извиненье(!) Подыскал-таки себе извиненье. Но шутки в сторону — занимаюсь плохо. Не читаю пока ничего — времени-де нет: экзамены скоро.

Поэзия бьется в груди. Писать могу. Верно, создан для того. Дума и желанье живут непрестанно. Нет-нет, да и выльются в маленькую формочку.

13 марта

Когда будет у тебя тяжело на душе, когда непонятная, безотчетная тоска надавит в грудь и защемит мысль — возьми Вересаева... Да, возьми Вересаева. Он так хорош, так чист в своем художестве, что грешен ты будешь вдвойне, когда не проникнешься за его хотя бы порывом и этой чистотой и художественностью простой жизни. Так просто, искренне и правдиво...

Я чувствую каждое движенье лица, вибрацию голоса, движенье того, кто говорит у него... Эти карти-

ны — полевые, лесные... Эти лунные, наши русские лунные ночи — переданы бесподобно. «Без дороги»... Встает дорогой образ Наташи, мощный дух Петьки...[1] И вспоминается другая Наташа, другие Наташи, целый сонм женщин — добрых, умных... Богатырь Петька — этот будущий Базаров — просто уморителен в своем олимпийском величье, в своем недетском юморе...

Каждое движенье, каждый звук — все передано так живо и уместно, что картина получается словно вживе... Ну, просто очарован, зачарован я...

25 марта

Что делать? Философия или литература? Одна — глубже, ценнее, другая — другая роднее, ближе. Куда пойду? Так тяжело, мучительно — жалость, жажда. Спуталось все... Кто определит меня, кроме меня? А сам не могу — слаб, дух слаб... Ничего не делаю: колеблюсь, жду... А откуда ответ? Откуда? Нет его — молчит все... Пишу — это бред пустой, красивое слово самому себе. Гимн душе.

26 марта

. . . . Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...[1]

Но для меня вопрос стоит совсем иначе. Видите ли, я уж не просто говорю, куда влечет меня мое призванье, дарованье, как хотите назовите. Вопрос стоит иначе: где глубже, где больше пользы. Ну, положим, у меня есть и призванье и некоторое дарованье к поэзии. Но достаточно ли этого? Разумна ли, содержательна ли будет жизнь одной поэзией? Оставит ли эта жизнь по себе след? Дает ли что кому? Это будет не жизнь-польза, а жизнь-самоудовлетворение — легкое, приятное, по-своему красивое и ложно-содержательное. Я думал так: подойду к Пономареву[2] (у него такое доброе, умное и честное лицо), подойду и скажу

ему: «Товарищ, разрешите мои колебания...» И стану выкладывать ему соображения за и против:

I. К литературе без философии подходить опасно: хорошего писателя не поймешь. К философии без литературы — можно. Она самодовлеющая.

II. Философия решает общие, человеческие, мировые вопросы; литература — частичные, часто единичные, исключительные, редко повторяющиеся.

III. Философия равнодушно-холодна, объективна к разбираемым вопросам и потому более достоверна. Литературное произведение всегда отражает задушевные мысли данной личности, индивидуума.

IV. Изучив философию под руководством опытного преподавателя — литературу всегда успеешь изучить; она дается и сама по себе, без особых указок и наставлений. (Экспериментальная психология требует лаборатории, литература — только бесшумной комнаты.)

V. Философия по абсолютной объективности превосходит все роды творчества вообще и мышления в частности; она лежит в корне всего и потому начинать нужно именно с нее, чтоб понимать связь всей массы звеньев. Литература своим основным началом имеет эмоциональную сторону — ненадежно-переменчивую, случайно-беззаконную, зависимую и потому дающую развитие не пониманию, не мышлению, а широте эмоциональных метаморфоз.

Но что ценнее — изучение ли философских вопросов или же самой жизни — непосредственной, язвенной и потому не должной быть объективной? Нет, литературы мне не только жаль — она ценна, ценна именно потому, что берет жизнь, а не ее схемы и обобщения.

Философские проблемы — одни гипотезы, а жизнь — факт. Может, это философия «золотой середины»?

Потому говорю (говорить надо голую правду: попадет в руки хорошему человеку — поймет), потому говорю, что отбросил всяческие мечты о гениальности, даже талантливости.

Мало во мне наблюдательности, проникновенности — много мещанского тупоумия и недальнозоркости. Посмотрю я — в мои года люди уж делали немало, а

что сделал я? «У тебя, брат, больше *кнут*, чем воля»,— сказал Владимир Николаевич [3]. Тут промолчал я, а понял всю правду: он, может, и случайно обмолвился, а для меня это хорошо, ценно. Окинул я все взором — один кнут. Упорности, волевых стремлений нет в прошлом: все шло под кнутом. Порой я забывал о нем, о кнуте-то, но это была только инерция. Стоило выйти из колеи — и волевым импульсом я не мог вдвинуть себя на старое место: ждал (и жду) или счастливого случая или просто надеялся на время — вдвинет само. И так пришло сознание почти бесполезности: подошло незаметно, крепко засело в голову.

Философия — но к ней нейду и из-за того, что вижу заранее, что не гожусь в философы чистой воды (у меня выйдет мещанская философия) и потому нейду, что страшусь громадной работы: с литературой легче справлюсь. Да, вот эта именно боязнь огромного труда — держит. Могу работать сильно, много, но, кажется, только тогда, когда вижу конец работе, задаче — когда она относительно коротка. Здесь в философии область безгранична, много надо приложить труда — конкретного труда со всеми мозолями — и я бегу. Не пойду к философам, останусь с литературой...

27 марта

Вчера праздновали 10-летие, юбилей нашего художественного кружка [1]. Будем надеяться, говорили нам, будем надеяться, что и наш кружок даст своих Белинских и Станкевичей. И сердце клокотало, вздымалась грудь: хотелось рыдать, рыдать, рыдать... «Даст!» — звучало в воздухе, и молодые, умные лица заглядывали вдаль, щурились и крыли свои затаенные мысли. Хороший был вечер...

20 июля

Дневник мой утратил свой старый смысл: редко берусь я за него, редко изливаю в нем нагоревшие думы, мечты и желанья... кто-то за кем-то не успевает ид-

ти... Быстроты развития в себе не ощущаю, но чувствую, как все начинает сплачиваться, соединяться, уплотняться в душе моей. В этой душе много сырого, набитого бог знает когда и зачем... Теперь выбрасывается хлам, предмет долгой любви и заботы, выбрасывается — и оставляет массу пустого места. Но то, что остается,— тесно сближается и единится в какую-то хорошую, новую душу души моей... Старые боги умерли, а новые не родились еще, и тяжело мне в сумеречной, переходной пустоте.

10 сентября

...Ах, кабы на волю из этой ученой духоты... То ли дело естественные науки — плохо зная, уж чувствую какое-то благоговение и уважение к их мелочам, к их кропотливым, мучительно долгим трудам. То ли дело литература, философия — да все, все... Но только не мертвый классицизм. О, как устал я от него.

13 сентября

...Лучшие умы не глумились над человеком. Они страдали и своим страданьем прокладывали и указывали путь, или они любили и показывали, как надо любить,— таковы Толстой, Достоевский, Горький и Тургенев.

15 сентября

Я больше понимаю красоту и боль человеческих переживаний, нежели величественность и тонкость поэтических вымыслов. Я люблю поэзию потому, что она отражает часто правильно именно душевные перемены, но не потому, что она создает образы, типы и направления. Я больше человек, нежели поэт.

18 сентября

Черт его знает почему, но достаточно мне пробыть в университете час или два, как самые мрачные мысли охватывают меня и просто приводят в ужас. Мне хочется и кончить с собою, хочется крикнуть кому-то, проклясть кого-то невозвратно, злобно, жестоко.

На душе тяга... Чувствую какое-то ужасное одиночество, чувствую свое ничтожество. Никто не обращает на меня внимания, а сам — сам я не пойду. Все как-то вдруг делаются противными и злыми в моих глазах. Нет дружбы, нет единения. С какой завистью смотрел я сегодня утром на медиков. Идут в клиники — близкие, дружные. Идут, переговариваются — видно, что товарищи все. А гурьба большая... Ну, а мы? А, черт! Противно думать, противно вспоминать, как провожу несколько проклятых часов в университете. Нет, нет,— скорей отсюда, вон отсюда, дальше... И реже, реже, как можно реже заглядывать сюда. Прочь, проклятый, разъединяющий дом, где ум поглотил живое, человеческое чувство...

12 ноября

Выходки и требования «свободы» наших футуристов, кубистов, эгоякобинцев [1] и вообще названных новаторов жизни напоминают мне дикую, неудержную форму требований и самообличений Ипполитового кружка [2] зеленой молодежи, бродившей не на дрожжах, а на чем-то искусственном и фальшивом.

[*1913*]

Художественное впечатление от чтения Достоевского громадно. Помимо того что создаются высокие порывы, жажда помощи, сострадания и желания отдать себя за чужое горе,— помимо всего этого чувствуется какая-то огромная правда. Правда во всем. И в том, о чем он говорит, и в том, как и для чего именно го-

ворит он так, а не иначе. Как-то доверяешься каждому его слову, доверяешься потому, что чувствуешь душу глубокую, любящую и страдающую. Истинное художество в том и состоит: в высоте подъема, в полноте переживания и в доверенности — к художнику и изображаемому им миру. «Мертвый дом» родит живые, здоровые мысли. Чего-чего не передумал, не перечувствовал я над ним? А общая мысль получилась та,— что идти надо, идти любить и помогать.

[*Конец 1913 г.*]

«Г.-бов и вопрос об искусстве»

Достоевский разбирает вопрос об искусстве [1]. Мне кажется, что основное положение его доказательств — ложно. «Искусство всегда современно и действительно, никогда не существовало иначе и, главное, не может иначе существовать». Современно оно и отвечает постоянно наинасущнейшей потребности — это правда, но только правда эта действительна для данного лица, для творца. Ему искусство и необходимо, с ним оно и неразрывно, как живая часть души. Но отсюда нет того вывода, что оно современно и всем. Если человек современен обществу хронологически, это не значит, что и деятельность его будет современна в культурном смысле передовой части общества.

«Частный человек не может вполне угадать вечного, всеобщего идеала — будь он сам Шекспир,— а следственно, не может предписывать ни путей, ни цели искусству». Здесь, пожалуй, и есть правда, если только рассматривать человека со стороны его бессилия. Но мы лучше посмотрим на его силы, посмотрим, насколько продуктивно он может располагать ими. Пусть не знает он этого вечного, далекого идеала — его и знать не следует, ибо идеал по существу своему неопределенен и недостижим — в противном случае он обращается в досягаемую цель.

Но дело-то ведь вот в чем. Имея идеал как нечто бесконечно совершенное и немыслимое в реальных формах, как двигатель, светильник и очиститель —

имея его в душе своей, не должно терять из виду и земного идеала, цели, чисто человеческих, житейских поисков и желаний. В сущности, ведь у высоко развитого человека — у человека живой жизни, а не кабинетного труженика — эти два идеала живут дружно, мало того: необходимо слитно, живут, питаясь друг другом и осмысливая взаимно стремления.

Вот, говоря о бессилии-то человеческом — Достоевский и опустил из виду этот земной идеал, который отнюдь не исключается наличностью вечного и прекрасного идеала. Добролюбов, конечно, здесь более прав. У него сжились эти идеалы, и он только более трезво смотрит на жизнь, признавая, что земной идеал не нарушит, не повредит тому, что движет душу своей необъятной и туманной красотой.

Вот и об искусстве: свободно оно, не принудимо, но бесспорно возмутительны эти лиссабонские стихи или антологические картины, которые ведь тоже можно допустить в какое-либо горячее время — ну в эпидемию чумы, в военное время и проч. [2]. Тут уж если уж не помешательство самого певца — так оскорбление, кровное оскорбление. Вы можете сказать, что тут исключительная любовь, фанатизм, поклонение тому, кто живет в душе подобно богу,— но ведь в этом-то вот и все дело.

Здесь узость непомерная, здесь близорукость кабинетная и эгоизм здесь сатанински невозмутимый. С одним идеалом вечного, не коснувшись живой жизни, человек остается мечтателем — не более.

Вот и эти певцы — фанатики, так бесцеремонно третирующие окружающую жизнь,— разве они члены общества? Разве в них человеколюбие движет духом? Нет, здесь боязнь жизни — ведь бренчать всегда легче, чем говорить. «Когда что-либо уж слишком глупо для того, чтобы быть сказанным,— оно поется»,— приводятся у Достоевского слова Вольтера («Вечный муж»). Здесь ведь слишком много правды для данного положения.

Эти певцы поют лишь потому, что петь, оказывается, безопаснее и спокойнее, а под прикрытием высокого идеала, под идеей бесконечного поклонения своему

богу — это ведь и извинительно, прощается. И поют они, поют... Может, их песни через 50 лет и с наслаждением прочтут, но ведь тогда уж не будет горячей потребности прошлого исторического момента, тогда уж волнения прошлого будут только обозреваться, а не переживаться. Это дела не меняет.

Мы говорим о ценности художника, помимо ценности вообще,— и для данного времени, для времени творчества. А ведь то творчество ценнее и выше, которое помимо вечного ответило и насущному. Совместить — это, конечно, дело таланта, может быть, даже одного гения. Может, даже в том и разница, что творения гениев и современны и ценны в веках, а плоды деятельности таланта — ценны лишь для потомков.

...Жизнь настолько полна и разнообразна, что невозможно петь обо всем, что придет на ум, надо выбирать только ценное, а чтоб уметь выбирать его — надо иметь глаз. «Искусства для искусства» нет, есть только искусство для жизни. Художественность произведения, конечно, необходима, помимо наличности идей и взглядов — «художественность,— как прекрасно говорил сам Достоевский,— есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понятный для массы способ представления в образах именно самого дела».

Искусство, конечно, не род публицистики, хотя сама публицистика — тоже искусство, но оно должно биться в унисон с жизнью — только в этом случае оно может обнять оба идеала. Степень ценности художественного произведения неисчислима, но она может все-таки измеряться продолжительностью и силой производимого впечатления.

1914 год

5 января

День со днем все глубже презираю подлеца бога. Кощунство? Какой черт, кощунство? Над чем? Его или нет совсем или же он величайший подлец... А он, мерзавец, этот хваленый бог, и земную жизнь наполнил гадостью, чтобы страсть свою утолять.

* * *

Прав Вересаев — невозможно одновременно любить Достоевского и Толстого [1], то есть любить в том смысле, чтобы принимать их миропонимания зараз. Но высоко ценить, уважать и благословлять за силу порождаемых чувств — должно и того и другого. Уважать ли за страдания и достойны ли любви и высокого уважения страдания сами по себе — не знаю, пожалуй, нет — скажу я, но только скажу...

В душе благоговейный трепет и преклонение перед величием страданья, хоть и не скажу я с Мюссе, что «люблю величие человеческих страданий». Нет, Толстой бесконечно ближе мне со своей теплотой, лаской, цельностью душевной и свободным проявлением души, далеким от ярма аскетизма.

7 января

...Толстой требует, вернее, желает, чтобы жизни давали ход, не опутывали ее, не раздражались ее мелочами. Я живу так, чувствую что так, и люблю, понимаю Толстого, близок он мне — верю, что слишком хорошо то, о чем он говорил, но моя-то невыстраданная жизнь смущает меня.

* * *

Я не могу все придумать критерия для художественных произведений... Лучше, может, то, что будит больше мыслей, что создает сложнейшие эмоции и в результате оставляет мысль — хотение, намерение, порыв, осознание себя... Лучше то, что красивее, доступнее, проще... Лучше то, что заставляет искать ответов, создает настойчивое требование удовлетворения, что раздражает примиряюще и примиряет, понукая искать новые пути.

Лучше то, в чем видна согревающая душа, горевшая, волновавшаяся и творившая все из себя — без тлетворных соображений, без умысла. Творя, она сознавала, что это искусство, но что оно не ради себя родилось, но ради жизни.

Искусство для искусства — абстракция, удаленность, мертвый мир, самодовлеющая ничтожность. Искусство имеет цель — не выдуманную, не деланную, но рождаемую его полнотой и чистотой. Искусство будит мысли, а пробужденная мысль, воспрянувшая мысль — всегда горячее, чище и глубже мысли живой постоянно. Искусство рождает порыв, а порывы рождают святые дела...

26 января

...В Карамазовых[1] та же жажда жизни, которою захлебывался, страшно в то же время томясь от нее, Некрасов. Вспомним стихи:

Что враги? Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу...
. . . .
И влекла меня жажда безумия,
Жажда жизни — вперед и вперед![2]

Одолеваемый тем, как выражался Д[остоевски]й, демоном, который пристал к нему с юных лет, поэт готов был искать спасения в том, чтобы, если уж не

дается разумная жизнь, отдать ее разом всю за что-либо высшее. Утопая в омуте жизни, он восклицал:

От ликующих, праздно болтающих,
...За великое дело любви...[3]

Часто приходит и мне эта мысль — отдать себя разом на святое дело. На какое? Это все равно,— только бы головой вниз — и конец. Не отчаяние, нет, но жить для увядания нет смысла. Пусть и солнце вижу, знаю, что есть, существует оно,— но мало, слишком мало этого сознанья, чтобы ценить жизнь, как мало одного мига счастья герою «Белых ночей»... Жизнь не в случайной радости от солнечного луча, а в ощущении самой себя — сознательном или бессознательном — все равно, но ощущении понятном, крепком верой в расцвет, красивом своею надеждой...

10 июля

Оскорбляет до боли то, что песни наши, любимые народные песни, полные чувства и огня,— постепенно вытесняются разной пошлостью.

Дети не знают народных песен, но распевают разные гадости, вроде:

Я директор Варьете,
Театра Зона, театра Зона...[1]
Я в помощницах была
У Пинкертона, у Пинкертона...

С большой охотой поют «Мариэту»:

Мариэта... Люблю за это,
Что ты к нам вышла без корсета...

А о «Пупсике»[2] уж и говорить нечего, на нем все словно помешаны. Поют его и рестораны, поют и дружеские компании, поют дети... Когда музыка кончает мелодию песни или оперы — публика молчит, сочувствия не видно; когда же кончается «Пупсик» — вся окрестность гремит рукоплесканьями, все дышит сочувствием. И долго-долго еще слышатся мурлы-

канья в толпе: то бесконечно жуют все того же «Пупсика».

Как-то в ночной чайной, в студенческом кругу, наперекор народным песням — один запел было «Пупсика»... Ну, его, конечно, разом одернули — после я не слыхал ни разу. Меня просто тошнит, физически тошнит, когда слышу эту пошлость. В душе накипает злоба, хочется кому-то мстить, мстить жестоко.

19 июля

Манифестация

Был я в этой грандиозной манифестации Москвы 17 июля, в день объявления мобилизации [1]. Скверное у меня осталось впечатление. Подъем духа у некоторых, может, и очень большой, чувство, может, искреннее, глубокое и неудержимое — но в большинстве-то что-то тут фальшивое, деланное. Видно, что многие идут из любви к шуму и толкотне, нравится эта бесконтрольная свобода — хоть на миг, да и я делаю что хочу — так и звучит в каждом слове... И скверно особенно то, что главари, эти закрикивалы, выглядывают то дурачками, то нахалами. «Долой Австрию!» — крикнет какая-нибудь бесшабашная голова, и многоголосое «ура» покроет его призыв, а между тем — ни чувства, ни искреннего сочувствия. Ну что вот этот парень все пытается сказать что-то во всеуслышание? Ведь рожа глупейшая, ничего толком не сумеет, а тянется... Ну а вот этот молокосос — оратор у Скобелевского памятника [2] — чего он пищит. Ведь его насквозь видно: поза, поза и поза... И все так, и вот этот оратор, что сначала замахивается через плечо своей соломенной шляпой и потом, после непонятного, но исступленного лепета — красиво описывает ею в воздухе полукруг и ждет продажного «ура». Глупое, никчемное «ура» глушит его слова, но что тут толку? Никто ничего не слыхал и не понял, многие ведь смеются даже... И что они кричат? Я тоже кричал, когда только присоединился, но тогда ведь я весь дрожал, я не мог не кричать... Теперь я уже остыл, я даже озлоблен на их рев.

Может, где-нибудь в глуши, на чистоте и глубоко чувствуют обиду славян, но эти наши манифестации — это просто обычное, любимое проявление своевольства и чувства стадности. Вы посмотрите, как весело большинство идущих. Ведь вот музыка только что кончила гимн — какой-то дурак крикнул: «Пупсика»!» И что же: засмеялись... Ведь рады были остроте. Разве это чувство? А этот вот чудак, что повесил шляпу на палку и высоко мотает ею над головой,— что он чувствует? Ведь он хохочет своей забаве... И встреться какое-нибудь зрелище по пути — непременно забудут свою манифестацию и прикуются к нему — во всем, во всем только жажда обыденной веселости и свободного размаха. Вон навстречу, прорезая толпу, идет чин; он уже знает заранее, что ему будут громкие приветствия, если он сделает под козырек и улыбнется... Он так и делает — и ему чуть не хлопают... Ведь задор, один задор. А все эти требования: «Шапки долой», «Вывески долой» — ведь это не по чувству, не по убеждению, а по хулиганству все творится. Я слышал и видел, кто тут командует. Глупо, чрезвычайно глупо... Может, тут и есть высокий момент в этой манифестации, но момент — и только. Дальше одна пошлость и ложь. Я оскорбился этим извращением такого высокого чувства, как любовь к славянам. Подло, гадко было в эту манифестацию.

День ангела 26 окт[ября] 1914

Уж этот день своего ангела провожу как-то совсем не по-привычному, не по-обыкновенному.

Я— брат милосердия...

22 ноября

Еду в санит[арном] п[оезде]. Путь — Вятка, Вологда, Екатеринбург. 2 доктора, 2 брата, 3 фельдшерицы, 5 сестер. Знаком мало, узнал мало.

Прежде всего и сильнее всего поразила меня расточительность на персонал. Закупаем бог знает что —

даже моченые яблоки. Обед из трех блюд: компоты, яблоки, кисели, желе... Возмутительно. Там, где-то, чуть не Христом богом умоляют принести огарки свеч, худые штаны, дребедень разную, а здесь — из трех блюд. Интеллигенция, конечно, но все знают, на что едут, до какой степени можно сократиться.

Можно и (верю) согласились бы все уменьшить бюджет по крайней мере наполовину. Масса идейных, серьезных работников, вначале и не помышлявших о вознаграждении, но отказываться в одиночку нет сил, да и смысла мало — не поможешь. На передовых позициях платят громадные деньги, в то время как у дверей всех союзов стоят целые кадры желающих работать добровольно и бесплатно. Откуда-то свыше санкционированы все эти шальные расходы, и масса денег уплывает попусту. В союзах прекрасные обеды, опять можно бы обойти или сделать проще, от голода. Надо понимать общее положение дела до дна, а тут все как-то поверху. Затей много — крупных, необходимых, целесообразных, но форма как-то всюду неумна. Чужие деньги. Этим все объясняется. Приходят бог знает откуда и бог знает где эти страдающие. Мы ведь воочию-то не видим страданий, только слышим о них да читаем. А где ж тут прочувствовать все?! Отклики. Отзвуки. Грустно видеть, как все эти добрые дела обрастают какой-то шелухой, загрязняются, утрачивают красоту своего существа, своей первоосновы.

1915 год

10 февраля

Подъем спал. Работы слишком мало. Вот уже третьи сутки стоим в Александрополе[1] и бог весть сколько простоим еще. Я уже на деле три месяца, а между прочим, всего сделал лишь четыре рейса, включая сюда и Уральский.

Поразительно мало приходится работать и стыдно как-то совершенно ни за что получать деньги. Конечно, можно бы обежать этот стыд — не брать их совсем, но это уже вопрос другой. Наше житье самое блаженное: долго спим, сытно едим, читаем, поем, веселимся. Вообще нет и намека на тот труд, которого я ждал, отправляясь сюда. Это скорее какая-то увеселительная поездка, товарищеская экскурсия, чем земская работа на театре военных действий. Но все-таки быть в университете теперь я бы не смог. Душно там.

С весной ждем работы. Должна усилиться эпидемия. Теперь уже масса тифозных. Во всяком случае, тогда работы будет больше. Да и военные действия должны развиться и идти активнее, нежели теперь. Это еще мирит чуть-чуть, но настоящая жизнь — возмутительна.

Об университете не думаю, не жаль мне его. Но созрела и новая мысль. Положим, она не совсем новая. По окончании своего факультета надо будет кончить медицинский. Земство за что-то я полюбил и хочется будущую деятельность пристроить именно здесь.

А медицина мне дорога и по другим соображениям. Я их отлично знаю. Интересен отдел психических за-

болеваний и детских болезней. Пробыв года два-три учителем, я прочитал достаточно медицинских книг. Легко будет работать в университете. А потом, что ни говори — университет люблю, хоть и задыхался в нем последнее время...

13 февраля

Бегли-Ахмет

Где-то, далеко-далеко на Кавказе, в маленьком селении Бегли-Ахмет стоим и скучаем по работе. Ночь. Тихая кавказская ночь... Темно-синее небо слилось с горами, налегло на белую ризу снегов и пропало вдали темной дымкой... Пусто кругом, скучно. Только собаки воют где-то вдали и усиливают тоску. А потосковать так хочется. Вспоминается семья, вспоминаются дорогие знакомые лица. И сердце все щемит больней и больней. Прошел воинский санитарный поезд из Саракамыша. Завтра и мы едем туда.

— Дядюшка, чего ты?

— Ничего, хожу, родимый... Скоро поедем...

— Куда?

— Воевать едем, на позиции...

И сделалось скучно, тоскливо вдвойне от этих простых, привычных слов, сказанных как-то уныло солдатиком в эту светлую, тихую ночь, где-то далеко-далеко, в забытом людьми и богом местишке. Верно, вот и он ходит здесь один около вагонов ночью да вспоминает... Дома-то ребятишки... Хорошо там, тепло... Да и ночь-то выдалась такая светлая, тихая... Думы так и плывут одна за другой... Где-то там, еще дальше — позиции... Там холодно, там морозы... Выкопали себе ямки, обернулись в обледенелые шинели и лежат... Спят... Тихо кругом... Только часовые похаживают, словно ночные привидения... Жутко там, в горах... С первым лучом зашумят, загрохочут чудовища... Закрутятся, завизжат тучи пуль, зарявкает и заухает пушка, задребезжит и быстро-быстро зачирикает пулемет... И польется снова кровь... Снова стоны... Вон, я вижу, как облокотился солдатик в снегу

и устремил свой прощальный, тревожный взор к небесам... А в небесах так хорошо... Солнце поднимается, серебрятся вершины, горит, горит снег... Утоптали равнину, залили кровью, забыли товарищей и бросились вперед. «Ура!» — грозно прокатился по горам призывный клич, и серые массы бросились куда-то вперед... А там уж испуганные крики, суматоха. Бегут, кричат, бросают все по пути, и все бегут, бегут... А вдогонку им сыплются градом губительные снаряды и один за другим падают уставшие... Кончился бой... Снова все вместе... Все... Нет, всем вместе уж не бывать... Не собраться снова у одного котла, не поболтать в свободную минутку... Там, на снежной поляне, стонут и мучатся от боли старые друзья... Изуродованные, разбитые, бессильные...

И у нас — словно похороны... В эту тихую, светлую ночь как-то становится больнее в дикой, глухой стороне... Два товарища лежат... А мы вьемся около них, дрожим, молим о чем-то... И сделалось всем невыносимо тоскливо... Их перевели в другой вагон... И жутко смотреть на опустелые места... Вчера еще они были здесь, болезнь захватила разом, понадобилось удалить... Мы все с ними, мы не можем расстаться, оставить их одних... Скучно, нудно, жутко...

15 марта

...Не дай бог никому, особенно свежему человеку, очутиться в офицерской среде, во всяком случае в кругу праздных, скучающих офицеров. В вагоне их было человек 10. И что это за народ — боже ты мой: словно на подбор. Один другого чище, один другого смешнее и глупее. Было, правда, двое, по-видимому, очень порядочных людей, но один почти всю дорогу молчал, а другой в сильных случаях коротко и дельно унимал разгоревшихся товарищей и не принимал участия в общем разговоре. Они и не разговаривали, мне кажется, они даже вообще не способны разговаривать. Они острили сплошь, старались перехитрить, перещеголять и, главное, перекричать друг друга. За

весь разговор я не нашел у них ни одной мысли, были только затверженные шаблонные, в зубах навязшие фразы, были свои соображения, но настолько тупые, что лучше было бы и их заменить шаблонными формами. Острили они настолько тупо, тяжеловесно и неуклюже, что не было возможности слушать, не краснея. Они совсем не чувствовали этой тупости и упивались своим огромным словоизлиянием. Потоку не было конца, и я удивлялся, откуда только у них берется такая масса слов? Они задевали друг друга, задевали иногда грубо, но не сердились, потому что уже как-то решено было между ними, что теперь все позволено и обижаться не след. Да они, пожалуй, и не могли бы обижаться, потому что один едва ли слышал, что говорил другой. Они совершенно не слушали друг друга и старались только как можно скорее, обильнее и громче высказаться перед другими. В сущности, они даже и не пикировались — в том смысле, как обыкновенно понимают пикировку — удачное и тонкое отражение или предупреждение удара. Нет, они не отвечали на вопросы, а каждый молол, что придется — без начала и конца, без связи с предыдущим. Тяжело и стыдно было слушать их.

...Наконец я избавился от милого общества офицеров. Яша[1] привез меня в наш земский лазарет. Приехал я сюда какой-то прокислый, опущенный, расслабленный, на что-то озлобленный. Приехал, сел на постель и весь как-то разом опустился. Раздели, уложили. Яша все время крутился возле и исполнял самые незначительные поручения. Вообще заботливость и предупредительность его были изумительны. Я о нем много говорить не буду. Скажу только, что более теплого товарищеского чувства, более внимательной нежности и заботливой тревоги я еще не встречал. Он все эти дни был для меня дорогой няней. Он приносил и выносил судно, он не спал со мною ночи, следил за приемом лекарств, убирал, оправлял меня — словом, все дни ходил за мной так, как только может ухаживать добрый, искренний товарищ или убитая горем мать за единственным умирающим ребенком. Первые четыре ночи я не спал совершенно. Томительны были

эти ночи. Лежишь и считаешь минуты за минутой... Вон звездочка мигнула, другая, третья... Это ночь занимается... Облачка поплыли, темно сделалось... А что это шумит? Ветер? Ох, господи, зачем он? Вот нагонит к утру дождь, и солнышка не будет... А ведь так хорошо с солнышком — легче как-то, веселее... Тучи темнее. Нет, это так... Это они только по краю, не будет дождя... А глаза так устали, устали... Обессилел я весь... Вот и ресницы упали, закрылись глаза. Холодно что-то... Закутаться, прикрыться надо. «Яша».— «Что тебе, Митя?» — «Закрой меня...» Он вскакивает и — весь белый, огромный, неуклюжий — странен и смешон как-то в темноте. Он схватывает два-три одеяла, греет их у печки и укрывает меня... Он запихивает их мне под бока, закрывает ноги, укладывает и пристукивает около подбородка. Вот и тепло стало, не тепло — жарко... Вот на лбу уж появились капли, потекли они и попали в рот. У, как солоно, как противно... А двинуться, утереться не хочется, да и сил нет двинуться... Так и лежишь: течет, каплет всюду, а ты лежишь как бревно, как высохший, негодный цветок. Вот Ницше говорит, что не надо больных, что должны жить одни только здоровые, а больных надо стирать с лица земли. Да если только он вправду это говорит, так какой же он должен быть идиот. Во-первых, уж потому, что самого его нужно было стереть в первую голову, как больного (а он ведь был страшно болен и долго болен), а во-вторых, где вы тут проведете границу между сильно и слабо больным? Всех? Но это дичь. Вот ведь я через четыре дня снова здоров, я снова ликую и люблю жизнь, да так люблю, что дрожу весь от любви, больше люблю, чем прежде. Так неужели нельзя было переждать эти 4 дня, чтобы воротить человека к славословию жизни? Ну, а другому, быть может, надо подождать не 4, а 14 дней, так разве уж это невозможно? 10 дней лишку невозможно? Стереть его? Чушь, дичь. Да разве я дам свою жизнь? Да я сам скорее задушу, чем отдам ее через насилие. Добровольно — ну, это уж другая плоскость, там я не знаю, а тут — да тут я не знаю что сделаю за свое право жить. Может, тай-

но? Но эдак можно задушить кого угодно из ненависти, благо можно сослаться на усиливавшуюся болезнь. Нет, нет, это не из жизни взято, если только я правильно понял положение Ницше. Я за него не стою, я о нем знаю со слов, а не из подлинника. Но это все равно: не Ницше, другой кто-нибудь мог выставить рано или поздно такое положение, потому что оно «логично», оно вытекает необходимо из проповеди здоровья, абсолютной силы и лучезарности жизни. Оно логично, но нежизненно. Ему жить лишь между небом и землей, но никак не на земле. И тут, в долгие часы ночных размышлений, я понял, вернее, почувствовал, как дорога мне жизнь. Я вспомнил Ивана Карамазова, любившего «зеленые, клейкие весенние листочки», и увидел, что сам я теперь люблю все-все, что только вижу. Мне страшно дороги стали и эти тени двигающихся незнакомых людей, и кричащие на крыше скворцы, и эта вот бьющаяся в окне муха. Люди двигались, конечно, днем, скворцы кричали поутру, но теперь, ночью, я припоминал все, что только двигалось и трепетало жизнью за день. Любовь жизни сказалась во мне с какой-то животною силой. Но странное дело, когда приходила мне мысль о смерти (а она приходила неоднократно, серьезно и по-своему не беспричинно), когда я думал, что вот-вот все оборвется,— эта мысль не страшила меня. В те минуты мне только делалось невыносимо тяжело за маму. Я представлял себе ее горе, изумительное по глубине и количеству горе,— и мне делалось больно. Я ощущал тогда по всему телу холодный пот, а зубы отчаянно стучали. И тут же мелькала мысль: я зауряднейшая личность. А логика была такова: все крупные личности как-то непременно порывали с семьей, даже Иисус (по Ренану) [2] бросил семью и жил с нею в больших неладах. «Они» приносили в жертву своему делу свои семейные привязанности, семейный мир, родительскую радость. А я вот не могу. Мне слишком близка и дорога мать. Я не хочу ей дать лишнее, незаслуженное горе. Напротив, напротив: я хочу дать ей как можно больше радости, хоть чем-нибудь, хоть какой-нибудь, но радости. И я сам бесконечно рад, когда знаю, что она

радуется. Да и бог с ним, с величием. А то и его не достигнешь, и в гордыню опустишься с головой, да и семью-то разобьешь понапрасну, ни за что. Мысли земные, человеческие, робкие, но я люблю, ценю их, потому что сам я слишком земной и слишком тяжело мне бросаться такими огромными живыми кусками. Если что должно получиться — доброта никогда не встанет по пути. Что хочется оставить след — это факт, это, мне кажется, мысль, присущая всем, только не высказываемая, затаиваемая из боязни злого смеха на случай фиаско. Ну, а я уж не так боюсь смеха, я говорю — в том вся разница.

Мне дорога моя семья — вот почему целые ночи она и мерещилась мне во всевозможных положениях. Я видел, ощущал их нужду; я видел иногда их маленькую радость, и мне самому делалось радостно от этого видения. Вот почему я ходил радостный весь тот день, когда послал домой деньги. Им ведь это целое состояние, 50 рублей. Да при такой-то нужде! Ведь у меня изболелось сердце, пока я читал это последнее письмо. Мама там пишет, что заняла тут вот 5 руб., тут 2... Да ведь это уж граница, коли по 2 рубля приходится занимать. А зато детям-то какая школа, как за них-то я радуюсь. Уж не избалованные выйдут, с детства нужду-то увидят да прочувствуют. Вон они уж и теперь спрашивают — не просят, а спрашивают — есть ли у мамы 3 коп. на тетрадь, а нет — так как-то там обходятся без того. Они уж и теперь радуются, если мама купит фунт черносливу: значит, деньги есть, заключают. И этот фунт черносливу — ведь радость, праздник для них.

Так как же не любить, не жалеть мне эту дорогую, столь близкую, бедную семью? Я должен, должен любить ее и заботиться о ней. Всякие морали в сторону, тут сама жизнь вышла на дорогу, сама указывает, куда и как надо идти. Тут дело, живая помощь нужны, а не философская система, не отвлеченные теории разума.

Теперь вот масса беженцев. И нам уж конечно не книги нужны об этих беженцах, не история их страданий, а хлеб, хлеб нужен прежде всего, чтобы накор-

мить скорее. Так и у меня с семьей. Как-то рушатся все теории об эту скалу настоятельной необходимости, о нужду, о реальную, живую нужду. Так вот почему долгие ночи перебирал я в памяти дорогие воспоминания семейной жизни; вот почему при мысли о смерти передо мною прежде всего вставала мать, ее нужда, ее неутешное, незаслуженное горе.

...Была еще мысль о себе: упругая, настойчивая, неотвязная. Она явилась не ночью — в том вся ее сила. Пришла она средь бела дня — свежая, здоровая, чистая и ясная; пришла с явным сознанием своего права и силы, пришла, чтобы встревожить, показать себя во всю и уйти неразгаданной. Это была мысль о моем будущем. Почва была хорошо подготовлена издавна; душа вот-вот ждала прихода такой новой, сильной мысли. Давно уж я стал задумываться над тем, правильно ли выбрал свою дорогу, достойно ли мое будущее поприще того, чтобы отдать ему все силы, и вообще годен ли я на ту работу, в которую пошел столь добровольно, легко и охотно? Филология? К ней уж конечно я совершенно не способен. Раскопки, ученые исследования, терпеливое сосредоточение мысли на мелочах, из которых, правда, получаются крупные и полезные труды,— такое сосредоточение мне и не под силу и не по нутру. К чистой науке я непригоден. Этот отдел приходится совершенно отбросить. Остаются два. Официальное применение дела — в гимназии, в реальном училище. Из года в год придется долбить, повторять одно и то же — тоска, скука, ненужная усталость. Мне жизнь хотелось бы устроить по-другому. Мне в труд свой хотелось бы вложить душу так, чтобы в труде был своеобразный отдых, чтобы была в нем радость, сознание, постоянное, неумаляемое сознание его полезности и счастье этого сознания. В официальном применении труда я не найду этой радости. Уже теперь пугают меня рамки, в которые могут упрятать мою душу, уже теперь страшно мне за свою душу и свободу. Нет, и тут не дорога. Остается третий путь — путь свободного творчества, путь литературной работы, художественного творчества. Но на этот путь, столь благородный, любимый и обоготворяемый мною, нет силы

вступить, нет веры в себя, нет данных, что буду я на нем не лишним. Пнем, глупым и ненужным украшением торной дороги я не хочу быть, а если уж есть данные расцвести, дать почки, дать плод — это прорвется само собой, тому поможет время. И очутился я со своими смутными мыслями на распутье. Я увидел ясно, что есть тут что-то недоброе, что сомнения эти пришли не напрасно, и правды в них больше, чем ошибочной тревоги. Мысли пришли днем, но мучился ими я целые ночи. Мысли густые, липкие, сосущие мысли. А тут еще жизнь кинула на эту вот незнакомую, новую дорогу. Медицина... Да, вот она — жизненная, нужная, хорошая работа. Я увидел воочию такую массу страдания, что мысли заходили сами собой, получился какой-то крупный, основной пересмотр всего старого.

Здесь, лежа больной, я понял яснее и неотразимее ту степень трудности и страданья, которую молча и терпеливо переносят солдаты. Мы истрепаны, мы постоянно взвинчены, и я вот боюсь теперь прикосновения к больному месту, не выношу и раздражаюсь светом электрической лампочки, обижаюсь на Яшу, когда он неосторожно ударит своей огромной ногой по полу и всколыхнет мою кровать,— я нервен, я избалован уходом и требую почти невозможного. А они?.. Припомнились мне наши постоянно молчаливые герои. Трудно, уж видно, что тягостно, тяжело ему,— а молчит, не жалуется. Солдат мне еще никогда не жаловался, он говорил и просил, но никогда не выставлял своих претензий. Мне думалось и верилось, что через свою болезнь я приму и много хорошего. Я теперь уж буду сразу, по лицу буду замечать, насколько ему трудно, буду стараться проникнуть в самую глубь его молчаливой, застывшей в терпенье души и скорей, скорей помогу ему. Лишь только мне становится трудно, я жду и прошу помощи. Жду — и каждая минута ожиданья кажется мне тогда невыносимо тягостной. А им? Им часто мы забываем поторопиться. Вот просит он что-нибудь — идешь, чтобы сделать; по пути другой, третий просит. Сомнешься, забудешь половину — и бывает, что вместо утра удовлетворяешь его лишь вечером. Но теперь уж этого не будет. Каждое

движенье, каждый взгляд я буду ловить, следить и понимать. Я буду забегать вперед его желаниям, буду выполнять их прежде, чем сам он попросит о них.

И в этой помощи — необходимой и непосредственной, столь очевидной по результатам, моя душа находила свою дорогу, видела свой призывной огонек. И как далек этот путь живой помощи от того книжного, узко отвлеченного пути! Как смешны и ненужны казались мне теперь все эти заучивания готовых формул и долбежка давно известного и пережеванного материала. А тут вот — тут всегда новое, полное одним собою, встреченное лишь раз в жизни в полноте данных условий.

Мысли горячились; все мои желанья перекинулись теперь в одну лишь плоскость — живой, необходимой помощи...

Но чему помощи — телу? Да, да, говорил я себе смело: телу, потому что больше чем полмира нуждается в одной лишь этой помощи, да и она уже в себе самой заключает косвенную помощь душе, духу, развитию данных природою качеств.

Я влюбился в медицину, увлекся ею. Я думал уже о том — сейчас ли бросить свой факультет и перейти на медицинский или это устроить как-нибудь иначе? После целого ряда сомнений и внутренних споров я пришел к такому решению: сейчас не брошу потому, что года через два при хорошей работе могу кончить свой факультет. А кончить его надо, во-первых, затем, чтобы, сделавшись учителем, года на 2—3 иметь возможность помогать семье, и, чтобы, приехав снова учиться, иметь возможность преподавать где-нибудь на вечерних курсах, а след[овательно], одновременно и себя содержать и помогать снова семье. Эту помощь, независимо от размера ее, мне хотелось бы устроить непрерывной, а то, поступив непосредственно с факультета на факультет, я отрезал бы свою семью еще на 5—6 лет от своей помощи. А она ведь так нуждается в ней. Я права не имею не дать ей эту заслуженную, долгожданную помощь. Эта сторона дела решена, оставалась другая — какую именно область медицины взять за специальность. Терапия, но это как-то слишком рас-

плывчато, и я не смогу здесь быть хорошим медиком. Хирургия, но она всегда страшила меня своей колоссальной ответственностью, да едва ли я и выдержу все ее страшные искусы. Область венерических болезней, но здесь, если уж сделаться врачом — значит сделаться машиной, потому что лечение слишком однообразно, а если работать для науки, так я уже сказал, что микроскоп — не мое дело. Оставалась еще сфера внутренних болезней, детских болезней и психопатология. Я не говорю о других специальностях, потому что они мало меня привлекали и интересовали. Особенно влекла меня последняя сфера — трудная, но удивительно интересная и широкая. Ей отдал я всего больше своих мыслей. Я не остановился ни на чем и думаю, что время еще покажет, куда я больше пригоден. Эти годы не пройдут даром, мысль свою я не брошу и думаю, что за это время приду непременно к окончательному и твердому решению. Перед неотступными мыслями о медицине меркли огни литературной работы; они меркли, но не потухли совсем. Я не уронил, не унизил ее. Я не отнял у нее своего смысла и значения — я только отставил их на задний план...

...Читал; «Детство» Горького оставило какую-то неопределенность в душе своей раскидистостью и эпизодичностью. Получилось недовольство — не то книгой, не то жизнью, которая киснет в ней, словно гнилое болото. Но бабушка, эта милая круглая бабушка,— она дала мне много истинно счастливых и радостных минут. Теплая, мягкая, круглая... Вот она вошла, и не вошла, а вкатилась, словно мягкий, черный шар: рыхлая, черноволосая, с большой головой, с лаской и ворчливой добротой... Вспомнился Каратаев... Тут вот все олицетворение круглого начала — мужского и женского... [3] А когда я думал о ее милом, добром боге, мне все вспоминался неумолимо суровый и грозный Иегова Бранда [4], и я видел, насколько приемлемей и ценней светлый бог земной бабушки. Это бог жизни и земли, а бог Бранда — владыка мысли, теории и неба... Больше всего меня захватил мальчик, сам Алеша... Я понял только одно: в душе его от природы или там от самых первых впечатлений младенческих лет

заложено было столько чистого и надежно-непоколебимого, что он выдержит любую борьбу, не задохнется и не испортится в любой атмосфере. Даже, может быть, чем хуже, тем лучше — тяжелая обстановка только закалит его:

Лишь в пылающем горниле
Закаляется металл.

А уж это было поистине пылающее горнило, когда ребенку приходилось за бабушку схватываться со стариком дедом, когда приходилось бросаться с ножом на вотчима, чтобы отнять истязуемую мать. И ничто, ничто не проходило у него даром: прогнали его со двора богатых соседей, и он это сохранит в душе и по-своему остережется впредь; бьют его — он делается Остапом; приласкают — в душе его пробуждаются мягкие чувства Андрия [5]. Пример жизни благородного и сильного духом отца дал свои плоды в рано пробудившемся сознании ребенка и приготовил в нем достойного преемника. Вот пошел он в люди. И чувствуешь, что не пропадет дитя. Душа полна благородства, ум полон стремленья, много непочатой силы, много горького опыта и терпенья. Видно, что жизнь, если уж и будет ему сплошным страданьем, так не сумеет она заполонить, умертвить его душу, не сможет его втиснуть в то самое болото, которое он проклял в душе еще с раннего детства. Есть в нем инстинкт живой жизни, есть непонятное стремленье, пришедшее бог весть откуда, стремленье цепляться за корень и не дорожить тем, что прилипает, приклеивается по сторонам. Душа и чистая мысль будут для него краеугольным камнем, будут и маяком и берегом, зовущим лишь на свою твердыню. Хорошее дитя — надежное, умное, с радостью жизни в душе...

20 марта

Нечего делать. Опустились руки, перестала работать мысль и скорбно сделалось на душе. Пусты целые дни, пусты долгие вечера. С камнем на сердце ло-

жишься в постель, с непроглядным туманом в душе, со страхом перед ужасающей пустотой просыпаешься поутру. От завтрака до обеда, от обеда к чаю, от чая до ужина. И так целые месяцы. Изредка мелькнет работа, мелькнет, словно привидение, маленькая, короткая, растравляющая — и скроется вновь. За три месяца было всего пять рейсов — коротеньких, малодневных. Все, все померкло. Первоначальная идея не то исчезла, не то затуманилась временно от этой убийственной безработицы,— я не знаю. Высокий, благородный подъем, жажда дела, помощи, самоотверженной работы до устали, до поту в лице — все это тревожит и вызывает краску в лице, как далекие, милые святые пожелания, разбитые в прах. Мы ехали сюда словно окрыленные, мы ждали простора истомившейся душе, ждали полного утоления. И что мы нашли? Пустую, скучную, разлагающую жизнь, ряд житейских будничных недоразумений, по временам захватывавший нас за живое, ряд ссор самых возмутительных и примитивных, ряд наслаждений и удовольствий самых мещански-обыденных, самых притупляющих и глупых...

26 марта

...Ходил в церковь, чтобы хоть в последний раз послушать пасхальную службу. Молодой дьякон, с милыми, кроткими глазами, отрастил бородку и пытается казаться солидным. А остриги ему бородку, остриги волосы — право, можно дать 18—19 лет,— такое у него детское, милое лицо. Он все еще не потерял способности подолгу удерживать смех и потому выходит из алтаря не совсем серьезным... Я пришел с хорошей мыслью — пережить в храме то, что когда-то переживал в пасхальные дни. И не мог. Никак не мог уловить в душе ни одной нотки старых переживаний.

А тут еще эта анекдотическая служба. Вместо певчих тянет какой-то козел в пристяжку с захудалым попишком целую службу. Козел даже взялся читать евангелие, но тут уж судьба покарала его, и покарала жестоко. Когда на конечной ноте он вздумал забрать

неимоверно высоко — что-то лопнуло у него в певчем органе и оттуда вместо обворожительной трели выскочил и зашипел гнусавый фальцет. Козел поднялся и другую половину службы уже значительно осторожнее брал на верхах. А вот и дьякон, когда стал читать, заробел очень заметно. Чувствовалось, что ему дух сомненья все время нашептывал, что может и его, дьякона, постичь горькая участь сорвавшегося козла. И видно было, как волновался дьякон, как неуверенно и необычно низко для своего положения взял конечную ноту. Тут дьякона обыкновенно уже не знают меры и ревут, словно голодные быки, а этот вот заробел, мне было как-то смешно.

Да и много тут было смешного и грустного...

Я стоял каким-то козырем, руки назад, грудь колесом: не молился, не хотелось лгать...

2 апреля

Нет сил. Опустились руки от безработицы. Размякла душа и не хочется палец ударить о палец. Для того ли мы ехали сюда? Где наши крылья, где подъем, который бросил всех нас бог знает куда, оторвав от дела? Мы словно завялые цветы — притихли, опустились.

И чувствуешь, как день со днем все грязнее, мелочнее делается душа, а выхода нет. Куда мы кинемся, где ухватим живую работу? Нудно, гадко. Решили послать в Москву, в главное наше управление Земского союза. Не то жалоба, не то мольба — не знаю что. Мало надежды, что помогут, вытащат нас из омута. Словно тина, сосет эта безработная, животная жизнь. Пьем, едим, спим, собираемся петь и играть. Устали ото всего, появились нежелательно-мелочные осложнения, от которых несет какой-то затхлой, противной мелочностью. Мы — живые трупы. Мы еще не похоронены, но уж и на дело не годимся — на то дело, которое свято лишь благородством и высотой порыва, которое одухотворяется внутренней жаждой и ею одной питается...

19 апреля

Георгиевские кавалеры

...Когда рассказывают солдаты, как их обучали, как обращались с ними за все время службы — не верится; думается, что все это было когда-то, но ушло, ушло в вечность, не воротится. Но то, что слышишь на каждом шагу, волосы подымает дыбом, душу вывертывает наизнанку. Обращение офицеров настолько грубо, дико и невежественно, что можно подумать, будто это какая-то специально подобранная банда жестоких и наглых притеснителей. Самые невероятные вещи, самые дикие расправы, по теории допустимые лишь в давно отошедшую эпоху крепостничества,— здесь еще заурядный, малозначащий факт. Солдат бьют, как собак, беспричинно и произвольно выдумывают бессмысленные наказания, развита целая система взаимозащиты офицерства от жалоб; впрочем, жалобы могут и доходить, но для того надо иметь, во-первых, большую настойчивость и смелость, а во-вторых, и немалую злопамятность. Солдат подает ротному, ротный — батальонному командиру и т. д. И если подает он на ротного, то жалоба, проходя через руки последнего, как-то невольно задерживается, особенно по первому разу.

Бывают случаи, что солдаты жалуются лично и словесно генералу,— тогда дело идет ходом, но тут все-таки много риска попасть живым во щи. Один служивый рассказывал:

— Взводный у нас был такая скотина, что поискать. Посадит на словесность, спросит и тут же кричит на тебя, не дает ответить. А у нас все были прямо из деревни, робкие такие, несмелые... Ну, запугается, сразу-то и не ответит ничего, а ведь уж все мы знаем, что ответил бы он, если бы покоен был. Один, другой не ответит... А который ответит, тому велит бить по щекам всех неответивших. Ну, как же ему своих товарищей бить?.. Подойдет да ударит для виду, а сам старается, чтобы не было больно. А взводный-то глаз

с него не спущает, все молчит да смотрит за ним... Кончит, отойдет солдат в сторону — и стыдно-то ему и злоба-то берет. А тут взводный встанет, да и говорит: «Да разве так-то бьют? Ты, дубина, и ударить-то не умеешь хорошенько, вот как надо бить»,— да и начнет с него самого по всем бить. Стоишь — молчишь, потому ничего не можешь тут сказать. Место глухое, далекое (стояли мы в Персии тогда), до начальства не доплюнешь, ну, и терпишь всякую напраслину. А то новобранцев под кровати запрячет, да и приказывает петь оттуда: «Смело, ребята, в ногу ступайте»,— а сам стоит да хохочет. Ну, пожил-то он, правду сказать, немного: подстерегли его как-то в отхожем месте, да вниз головой и пустили; только через месяц нашли... То да другое, кто да почему, ну, а все-таки ничего не узналось, потому рядовой за рядового всегда стоит, как за брата...

В мирное время житья прямо нет, а теперь вот полегчало — не ровен час и придушат в горах-то. Да, вот в 7-м полку был случай-то: замахнулся офицер на солдата, так тот его на штык и посадил. Забрали солдата, расстреляли, а острастку-то он дал все-таки большую, бояться стали.

20 апреля

...Некуда приложить силу, некому отдать еще уцелевший порыв самоотверженной заботы и помощи. Этот порыв уж побледнел, жалок стал, но все ж еще сохранился, и я уверен — расцвел бы он, если б только другую атмосферу дали. Мы ушли в свою маленькую, личную жизнь: скудно выказываем душу, скучаем, не знаем, что делать, о чем говорить и думать. Другое дело, если бы приехали мы сюда не с такой благородной целью — тогда легче переносилась бы тоска, многое бы тогда извинил себе, от многого бы не отказался... А теперь стыдно как-то, несоответствие душит.

4 июня

Необходимая ложь

Война создает много положений, необходимо вызывающих ложь, потому что до спокойного принятия полной правды мы еще не доросли. У Самсонова [1] разбили тысяч 250—300, объявляют 75—80. У германцев получилась задержка в доставке провиантов — объявляют о поголовном голоде едва не по всей Германии. Прием понятен как подбадривающее средство, но лишь в умеренном количестве, подобно тому, как часто принимаемое лекарство теряет свою полную силу.

Мы все время только и читаем о пленении тысяч и тысяч германцев или австрийцев, читаем, что нас «потеснили», к нам «пытались пробраться, но смелой контратакой...» и т. д.

Словом, неуклонная и непрерываемая наша победа — без потерь, без лишений, а между тем нет-нет да и выскочит фактик, вроде того, что оборона Галиции при отступлении от отобранного германцами Перемышля стоила нам ни много ни мало, как 1 000 000 людей.

А теперь вот совокупите и эти факты:

1) В Москве скандалы, грабежи, пожары. И здесь ведь не одно озлобление против немцев, здесь, несомненно, основа экономическая.

2) Улицы в Москве в течение летних месяцев освещаться не будут.

3) Рогатого скота в Москву поставляется крайне мало (1500 голов).

4) В Калужской губ. недосев по отношению к прошлому году достигает 25—30%.

5) Брат прислал мне письмо, где пишет, что бьют торговцев, повысивших цены; фабрики бастуют [2].

Все идет к тому, все указывает на то, что голодно всем и жутко.

Можно со дня на день ожидать крупных взрывов, больших осложнений. Плоды жестокой войны не может победить даже сила подъема и всяческих организаций.

23 июня

Из рассказа солдата

Всюду в военных лазаретах и поездах обращение с солдатами самое возмутительное. Недовольство и глухой протест растут чем далее, тем более.

Теперь вот попало на войну множество самой настоящей, коренной интеллигенции. Солдаты уж конечно подмечают всю разницу между доморощенными укротителями и этими новыми начальниками-товарищами, подмечают и, сами того не желая, подготовляют свою душу бунтовать. Появятся протесты, определятся требования, будут бунтовать против скотского с собою обращения.

30 августа

Нудная работа

На такую вялую, урывочную и нудную работу — чувствую, вижу — совершенно не гожусь. Уже десятый месяц работаю я на Кавказе и доволен был своей работой всего 5—6 раз, когда приходилось принимать раненых и делать массовые перевязки. Здесь действительно был у дела, работа спорилась, и тело не знало устали. Охотно проводил я целые дни в теплушках, и душа только радовалась. Тогда самая малость занимала настолько, что из головы вон нейдет за весь рейс. А тут вот, за этим бесконечным переписыванием, перекликанием, измерением температур — да притом с одним градусником на 56 человек — тут болит и тело и душа. Я чувствую даже физическую усталость несмотря на то, что ничего не делаю. А про самочувствие и говорить нечего. Но плевать бы еще на все это,— мне печально другое: эта унылая работа как-то распылила мою восторженность и рвение.

16 сентября

...Пошел бродить по Киеву! [1] Первым долгом уехал в Киево-Печерскую лавру. Видел Успенский собор, видел пещеры и был в них. А там с трехкопеечной свечой

осматривал, а иногда и ощупывал мощи — на ощупь получается отдаленное впечатление человеческого тела, тело должно быть мягче. Все мощи закутаны в красные покрывала, и меня ни на одну минуту не оставляла мысль сорвать одно из них и раз навсегда — или поверить, или плюнуть в негодовании. Но на всех перекрестках черными привидениями стояли монахи и зорко следили за проходящими. Один из святых, кажется великомученик Иоанн, перед кончиною зарыл себя в землю, что он делал неоднократно и прежде во время молитв, зарылся в землю да так и умер, а потому и мощи его сохраняются стоя, наполовину закопанные в землю. Видел мощи Антония, Нестора-летописца; у Нестора даже остановился дольше обыкновенного, ощупал его довольно основательно с головы до живота. Много навернуто, много навздевано и наложено, определенного не узнал ничего. Ну, словом, ходил я по лавре без тени религиозного воодушевления, без капли веры, даже без должного уважения, хотя бы и к ложной, но все ж ведь многовековой святыне. Монахи косились на меня, видя студенческую шинель и атеистическое, не благолепное, не молитвенное поведение, а перекрестился я и вправду лишь тогда, когда вспомнил об этом, при самом выходе. За все же время блуждания по пещерам я больше был охвачен сомнением, недоверием и какой-то двойственностью чувств и мыслей. Все-таки ведь надо сознаться, что атеист-то я еще не вполне убежденный, а следовательно, и колеблющийся при малейшей преграде. С лаврой покончил. Пожертвовал я ей, правда, мало — всего 6 копеек, но будь я и при деньгах — больше все равно не дал бы: не люблю я давать на монастыри и все прочее в этом роде. Много слишком у нас и без того самой настоятельной нищеты, на которую и следует поберечь свою щедрость... Из лавры — на Крещатик. Видел памятник П. А. Столыпину. Стоит он во весь рост — со свитком в правой руке. А сбоку надписи. Одну я запомнил: «Вам нужны великие перевороты, а нам нужна великая Россия»,— красивая, но бессмысленная фраза, потому что великую Россию могут создать лишь великие перевороты, а для великих переворотов в свою оче-

редь нужны и великие люди, а потому и выходит, что великие люди лишь те, которые так или иначе воплощают в себе крупинки великих переворотов и событий...

19 сентября

Канонада не умолкает. До поздней ночи, как отдаленный гром, сотрясает она тишину. Звуки трудно передать междометием. «Б-б-бах... б-бум... тр-ра-та-тах...» — все это дает очень слабое представление о сущности звука... Отсюда вот, за 4—5 верст, впечатление получается подобное тому, как от чужих, тяжелых шагов по крыше соседнего дома в тихую-тихую ночь; как от раскатывающихся бревен на расстоянии 30—40 сажен; как от замирающего далекого грома. Иногда кажется, что стучат в ворота то и дело раскачиваемым бревном, иногда кажется, что сотни топоров ударяют в одну душу — крепко, отрывисто, будто со злобой.

Гремит и гремит. А здесь, в 5 верстах, спокойно. Солдаты кучками сидят у костров, пьют чай, варят картошку... По полю безмятежно, склонив головы, бродят лошади; офицеры не знают, что делать, стоят кучками и горячо спорят о чем-то ненужном и всем им неинтересном. Вечером часть приходит в теплушку,— тут они рады семейной обстановке и оживают, как мухи по весне.

Под гром канонады слышны песни, слышна гармоника... а сердце бьется, словно перед экзаменом или перед выходом на эстраду... Под горло подступает что-то вязкое и круглое, катится, словно шарик, душит слегка. А в сосновом бору мелькают фигуры солдат, лошадей, беженок в цветных костюмах. Их здесь немного, в Сарнах больше, а в Гомеле и совсем много.

Это новое чувство, новое ощущение близости боя захватило меня всецело. Сердце колотится, словно ждет чего-то. Сюда стягиваются наши силы, предполагается подвести корпус не сегодня-завтра и начать наступление, пока австрийские силы не пополнены

германскими. Если будет наступление или отступление, вообще что-либо активное — наши летчики соединятся вместе, как и было все время до последних дней, когда было так много работы. Сестра рассказывала, как им однажды пришлось работать три дня и три ночи, как в три дня было перевезено до 4 тысяч раненых. Ночью ставили в поле стол, а по полю были разложены раненые, прямо на земле, едва прикрытые.

Тихо, темно было... Только сплошной стон рвался от живого поля к небесам... Раненые ползли к столу, молили о помощи, но не было возможности помочь сразу многим... Как символ спасения, белел во тьме этот одинокий белый столик, на него были устремлены все напряженные взоры, его лишь близости все жаждали и ждали с нетерпением.

23 сентября

Костры

Полночь. Тихо-тихо. У костров сидят засыпающие солдаты и мерно качаются взад и вперед. Где-то солдатик вспоминает родину и поет унылую, протяжную песню о том, как:

На родную на сторонку
Мне хотелось бы глянуть...

Трещат костры, разлетаются во все стороны золотые искры и освещают темные морды лошадей... Вспоминается тургеневский «Бежин луг».

Пальба притихла. Завтра она возобновится с удесятеренной яростью.

Подошел новый эшелон. При разгрузке слышна свежая, здоровая брань: она как-то чище и естественнее нашей полубрани с постоянной оглядкой по сторонам. Летят из вагонов винтовки, шинели, ранцы... Все это, спутанное и смешанное, каким-то образом живо расходится по рукам, и за временной суетой скоро снова наступит могильная тишь.

Жутка эта тишь. Чудится в ней что-то зловещее, недоброе — не здесь, так за несколько верст, за несколько десятков верст.

26 сентября

Наших теснят. Медвежье, станция Чарторийск, Цмины — все это в руках неприятеля. Всего два-три дня назад проезжал я по этим местам. Думалось, что все это вернулось снова, и предположение это подтверждали беженцы, тянувшиеся на свои пепелища. Надо отдать справедливость этим несчастным: они не только не вносят паники, наоборот, уходят от своих халуп лишь в самый последний момент, когда по деревне начинается жаркая пальба, и возвращаются туда, лишь только прекратится обстрел. Все время толкутся они по полям, помогают солдатам в работах, идут даже в окопы — таскать доски, бревна, носить воду, рыть землю...

Словом, паники среди них и следа нет. Объясняется это, я думаю, огромной любовью к своим белым халупам, покидая которые они словно все счастье оставляют позади. Нас теснят, теснят немилосердно. За эти два дня неприятель продвинулся на 20 верст. Полонное еще в наших руках, но по ту сторону реки, по левому берегу Стыри, уж неприятельские окопы. Переправы нет. Мост — ни наш, ни их. Козлюничи горят, подожженные нашими снарядами. Я только что приехал из Заболотья. Там стоит наша артиллерия — шесть, восемь трехдюймовых пушек.

В Заболотье уж падают неприятельские снаряды. Два из них разорвались всего в 80—100 шагах от меня. Сразу охватила какая-то жуть. Кругом визжит, ухает, хлопает. Наша артиллерия палит по неприятельским окопам, что за Стырью, в сторону Полонного. Гул стоит невообразимый. То и дело появляется то здесь, то там белый дымок. Но в деревне удивительно спокойно; так и видно, что притерпелись, пригляделись люди ко всему. Солдаты ходят с хлебом, картошкой, к колодцу за водой; бегают с бадьями, чинят рубахи, сидят на траве. Бабы или стоят у палисадников, или толкутся около халуп — кто с чем. Спокойно, обыденно, как будто ничего и не происходит необыкновенного. А между тем каждую минуту, каждое мгновение висит над головой смерть. Привыкли, освоились. Сегодня

только полковой врач говорил, что утомление перешло в напряженную тревогу, нервность, попросту боязнь. Полковые лазареты выставляются на самый перед, тогда как штаб полка за ними в 3—4 верстах. Из лазарета создают какой-то заслон. Нервность настолько сильна, что при разрыве снаряда можно ждать криков, истерики, паники — всего, что вам угодно! И это неправда. То спокойствие, которое приходилось наблюдать в окопах или местности, находящейся в линии огня,— это спокойствие удивляет. Люди не думают о смерти и опасности. Выполняют свое дело как неизбежность, и стараются лишь возможно быстрее и ловчее выполнить его, невзирая ни на препятствия, ни на возможные беды. Два дня назад здесь, в Полицах, высадилась в течение 2—3 дней полностью 2-я стрелковая дивизия. И вот о ней ни слуху ни духу. Наши старые части, сравнительно небольшие, продолжают свои демонстрации, переходят, уходя за Стырь, кружатся в одном месте, вызывая неприятеля на усиление и явно удерживая неприятеля в одном месте. Я так и думаю: вся эта стрелковая дивизия делает теперь какой-нибудь замысловатый обход и скоро ударит неприятелю в тыл. А неприятеля здесь имеется полдивизии немцев и целая дивизия австрийцев. Кроме того, имеются польские легионеры — господа, купленные по 25 рублей за штуку в завоеванных губерниях — Люблинской, Варшавской... Сегодня перебрались через Стырь 25 неприятельских разведчиков, переодетых в крестьянскую одежду. Поймали только одного, остальные успели куда-то скрыться. Наши ряды настолько сильно поредели, что 77-я дивизия насчитывает в своем составе всего 3,5 тысячи человек, а за год войны через нее прошло 72 тысячи. Потери исчисляются, таким образом, в 250% номинальной цифры. Ужасно.

К выражениям военного времени: «врет, как очевидец» и «врет, как раненый», следует еще прибавить: «врет. как корреспондент». У меня есть пример такого враля, прямо-таки захлебывающегося во всякого рода цифрах, соображениях и выводах. На моих глазах офицеры подбирали ему узду настолько круто, что стано-

вилось даже неловко за то, что присутствуешь в качестве слушателя. О какой-нибудь части он рассказывает целую историю, скрепляет цифрами и, наконец, объявляет, что видел, присутствовал сам. Офицер случайно оказывается именно из той самой части, о которой была речь. Дальше следует скорбная, смешная и позорная картина сногсшибания. Так-то уж, право, неловко, гг. корреспонденты!

Сейчас бой идет всего в 4 верстах, а здесь все та же безмятежная картина: солдаты сидят у костров, бродят вокруг лошадей, сваливают и наваливают мешки с мукой, строгают, пилят бревна, крутятся около вагона. Снаряды ухают и рвутся совсем недалеко. Бухает и отдает в окна. Стены содрогаются. Лошади прядут ушами и при каждом вздохе тяжелого снаряда пятятся боком. Крестьянки в цветных костюмах бегают со своими неизменными котелками...

27 ноября

Скука

Скучно везде. Скучно и у огня при этой неумолкаемой канонаде, при непрестанном движении серых масс. Не скучно — только страшно сказать! — при человеческом страданье. Тогда загораешься весь этой болью чужого человека, загораешься состраданьем и жаждой во что бы то ни стало помочь ему. А теперь скучно. Боев нет, нет и страданья. Оно есть, но маленькое, не волнующее, не убивающее тоску по жизни. Я везу на Сарны из Рафаловки больных. Кто чем — то живот болит, то голова. Диагноз ставить некогда: больные приходят часто перед самым отходом поезда и еле-еле успевают забраться в теплушку. Вот станция Желудек. Да какая это станция — так себе, крошка: тут и начальник станции живет в теплушке, тут и жилья человеческого поблизости нет. «Слушайте, долго мы будем здесь стоять?» — «Час постоим». — «Ждем чего-нибудь?» — «Из Сарн поезд идет. Когда будет здесь — и мы тронемся». Ну куда я буду девать этот час? Так

скучно-скучно. Заложил руки за спину и тихо побрел возле состава. И состав какой-то скучный, только и живого, что наши теплушки с больными, а то все грязные, пустые, проплеванные вагоны. Вот этот открыт настежь. И за дверьми виден ободранный, осиротелый лес. Сучья голые, черные, колючие; по желтым, пересохшим листьям, качаясь с боку на бок, идет солдат, и листья хрустят, и хруст отдается в тишине. Как-то странно тихо. А тут вот, совсем рядом, выстроились серые колонны солдат. Подошел офицер — здоровый, коренастый, с зычным, душу раздирающим голосом. «432-я рота!» — «Она здесь, ваше благородие».— «Шагомм-марш! Ась-два, ась-два... Левой... Левой... Ась-два!..»

И масса заколыхалась, застучала котелками, затопала по сухой глине. А офицеру как-то не шлось спокойно. В руках был длинный прут, и он этим прутом то и дело ударял по земле, с каким-то упоением выкрикивая: «Ась-два, ась-два...» Сам он не шел, а странно резво и торопливо подпрыгивал и был искренне рад каждой канавке — он ее непременно перепрыгивал, а не проходил, как делали солдаты. Все тише и тише. Вот они скрылись за опушку, и снова мертво кругом. На лугу догорают костры, валяются поломанные чайники, лежит на бревне чей-то старый, переношенный сапог. Два солдата спорят возле черномазой и худой клячонки, сколько ей лет, и спорят как-то нехотя,— видно, что им нечем занять досуг. Подвели молодого солдата. Все лицо было залито кровью, и под глазами были огромные синие отеки. На него упало подрубленное дерево и пришибло по лицу. Мы его обмыли и уложили на первую свободную койку. Ну, что ж дальше? А осталось еще 40 минут. И снова хожу я мимо пустых, грязных вагонов. А ехать несколько часов. Потянулись болота — затхлые, грязные, тоскливые...

С зеленью здесь было веселее, а теперь не на чем остановиться — все грязь, вода и туман. Издали глухо доносится орудийная пальба, и далеко-далеко приветливое эхо уносит по оголенному лесу эти умирающие раскаты.

Полицы, 30 сентября

Я сидел у себя в купе. Окно было занавешено. Вдруг раздался знакомый оглушительный треск — один, другой, и пошла работа. Я откинул занавес — солдаты и беженцы мчатся в паническом ужасе бог знает куда. Кругом трещит, лопается, и слышно, как что-то ломается, падая с грохотом на землю. Треск поднялся ужасный. Я лег на пол и всунул голову под диван. Тело дрожало, горло захватывали спазмы. Пальба и треск не прекращались. Я только после понял, что это наши казаки палили по аэроплану, а он бросил всего две бомбы. Но чувство страха было настолько сильно, что первое время я не мог отличить частую залповую и одиночную ружейную пальбу от разрыва бомбы. И упали они, оказывается, шагах в 150—200, так что и грома-то особенного не должен был я слышать, во всяком случае такого, как вчера в Сарнах. «Господи, да скоро ли это кончится?» Так хотелось, чтобы затихла пальба и треск, что я даже взмолился про себя. Стало стыдно. Вылез, закурил папироску и вышел из вагона. Все бежали на поле, куда упала одна из бомб. Там была высверлена ямка, кругом можно было найти осколки.

Атмосфера грозная. Целый день стоит адский грохот, по-видимому, работает тяжелая артиллерия. Снаряды рвутся где-то совсем близко. По небу подымаются целые облака серого дыма от горящих деревень. Горит где-то за Маюничами и в сторону Полонного. Как будто пальба стала слышнее, явственнее, а следовательно, и ближе. В воздухе стоит гроза. Жутко. Сердце колотится, не может успокоиться до сих пор. Представляю, как издергается душа, когда придется целые месяцы пробыть в такой перетасовке.

«Мы все теперь полунормальные,— сказал мне один офицер,— и первое поколение за нами несомненно отразит на себе эту ненормальность». И действительно, пожив в этом ужасе несколько месяцев, изнервничаешься до края.

«Знаете, мы так отвыкли от мирной обстановки,— говорят офицеры,— что попади теперь в цирк, в театр

или куда-нибудь в этом роде, где лавки были бы амфитеатром,— мы не ручаемся, что не приняли бы их за окопы и не открыли бы пальбу».

Только вчера вечером была еще такая мирная картина. Приехало пять батальонов 4-й стрелковой дивизии, и солдаты устроились вокруг костров на поляне, как раз перед нашим поездом. Была зловещая картина. Десятки костров горели по всему лугу и освещали то хмурые, то ясные и приветливые лица стрелков. Где-то жалобно пели,— это уже всегда так: хоть от одного костра, но донесется до вас унылая, тоскующая, жалобная песня солдата. Вспоминает ли он, жалуется ли — бог его знает, только слушать эту песню и тяжело и отрадно. Бродили меж костров понурые лошади и наклонялись к самому огню прямо через головы стрелков, словно грея свои холодные морды. От костра к костру — и так целый вечер, целую ночь. Я ложился поздно — часа в два. Все так же вокруг костров сидели стрелки и так же наклонялись через их головы лошадиные морды. Это было вчера, а сегодня с утра — отчаянная пальба, грохот, неумолкающий режущий свист. То здесь, то там покажется белый дымок,— это рвется шрапнель. Голубое, чистое небо, с той вот стороны, от неприятеля, словно запачкалось темно-серой, медленно ползущей кверху тучей дыма. Жители оттуда бегут на станцию, к нам. А отсюда — отсюда бог знает куда. Они теперь кочуют, как бедуины. За день не знают, куда их наутро кинет судьба. Раскидывают в лесу шатры, ночуют у костров, лепятся, как мухи, к солдатам. И солдаты ласково, по-дружески принимают эту несчастную голь — делятся, якшаются с ними у общего котла.

10 октября

Наши генералы

Их больше тревожит личная слава и забота, как бы один не приписал себе победу другого. Согласованности никакой. Зависть, злоба, всяческие подвохи. Ге-

нерал Володченко на ножах с генералом 10-й кавалерийской дивизии, а работают бок о бок. Исключением является Радко Дмитриев.

(Из рассказа офицера)

14 ноября

Любя треск и бесцельную болтовню, они создали Игоря Северянина, не в силах превозмочь ни единой главы Достоевского. Скоро движение. На Игоря плюнут, а может, не удостоят и плевка — куда же эта шатия уйдет? По привычке кидаться сообразно моде — не ударятся ли в народ? То-то им нагреют там вместе с Северянином!

1916 год

13 января

Лютый враг

Вот он, лютый враг, сидит против меня. В бою он захвачен в плен нашими молодцами. Он враг, но если вы придете со стороны, вы подумаете, что это наш общий приятель, русский же солдатик. Он поет на родном нашем русском языке, говорит с малороссийским припевом и никто не поверит, что это пленный враг. Русин, исповедующий нашу православную веру, он силой, как и все, оторван был от земли и семьи. Да разве это враг? Это злая насмешка, что они идут против нас, а мы против них. Недаром он со 150-ю товарищами сдался 30 нашим.

16 февраля

Ужасы дисциплины

Дисциплина необходима. Но это утверждение слишком часто является только стеною, за которой истязают и насилуют солдата. Этой необходимостью отговариваются и оправдываются изверги, бессердечные тираны, сладострастники мученья. Они мешают жестокость с дисциплиной, камень принимают и выдают за хлеб, не понимают истинного смысла дисциплины. У нас уже как-то так случилось, что издевательство и дисциплина

сделались синонимами. Свою безответственность в деле дисциплины принимают за право на издевательство и зверство и в широком размере на деле применяют это мнимое свое право. Дисциплина должна держаться не кулаком и плеткой,— она дело не подневольное, а добровольное, то есть она должна родиться сама собой, из совокупности фактов, ее не нужно делать, склеивать из черепочков — саморожденная, она крепче сделанной. Дисциплина крепка уважением к авторитету начальника, верой в его силу, знание и уменье. Недостаток этих оснований истинной дисциплины бессильные и наглые пополняют грубостью и бессердечным издевательством. Солдат рассказывает:

— Мы стояли шеренгой, а он спрашивал... Хохол был, злой, горячий такой... «Махметов, что такое дисциплина?» А Махметов — татарин, он и по-русски ничего не понимает, какая тут ему дисциплина. Сначала надо было выучить говорить, а то где же ответить? «Ну что — не знаешь, мерзавец! Сеньков, покажи-ка ему дисциплину, дай в шею, да крепче!» Да как же я его ударю? Мы ведь товарищи были с Махметовым, спали рядом... Ну я размахнулся, шибко размахнулся, а ударил не крепко... А тот как вскочит. «Так ты, говорит, и бить-то не умеешь?» — да раз мне со всего размаху. «Вот как надо бить!» Ну что же... съел и пошел молча... «Куда? Дай ему, как я тебе дал!» Что ж тут будешь делать, стоит рядом, не ударь я — меня изобьет, так и пришлось Махметова ударить, больно ударил... А потом сошлись мы с ним, стыдно обоим, в глаза-то не смотрим...

Вот дисциплина. Вот где закладывается порох под нашу армию. Таких именно начальников на Кавказе пристреливали из-за первого отрога; здесь такому посылают в бою первую пулю, и только вторая летит к неприятелю. Подобные факты, конечно, замалчиваются, но солдаты про них знают и вполне одобряют и оправдывают убийц. Растет недовольство и возмущение — заслуженное, необходимое и непреклонное. Народная масса питается этими слухами, и потому в ее представлении солдатская служба не просто тяжелая служба, а именно сплошное издевательство, мучитель-

ство и надругание. А ведь случаев, подобных рассказанному, не перечесть. Другое дело, если наказывают за грабеж, за насилие... В германской армии с такими тоже не церемонятся. В занятой немцами деревне на глазах беженцев были расстреляны два немецких солдата, уличенные в насиловании девушек. Тут наказание необходимо, вопрос только в форме и степени самого наказания. Но у нас ведь самое обыкновенное дело — врезать солдату 20—30 розог за что бог послал... Уж, кажется, чего проще растеряться в бою, когда не только соседа не видишь, а и самого себя перестаешь чувствовать и понимать. Люди мечутся во все стороны в поисках чужой и собственной смерти, мчатся, словно на крыльях, теряют рассудок, забывают все на свете, кроме необходимости куда-то стремительно мчаться. И вот отставшие, потерявшие свой полк, возвращаясь к своим частям, получают розги вместо георгиевских крестов. Ну где же тут последовательность, здравый смысл и законность? Да ведь это полное надругательство над человеком, этим уже ясно говорится, что «раз отставши — не возвращаются, если не хочешь быть битым».

Так и делают. Месяца два назад, говорят, уже зарегистрированных беглецов в нашей армии считалось до миллиона. Тогда именно был издан указ о строгом надзоре за солдатами на станциях, в трактирах и проч. В нашей дисциплине — яд разложения такой терпеливой и удивительно молчаливой армии. Ведь наши солдаты удивительно молчаливы и переносливы. Они еще не судят за первые две пощечины, они возмущаются только третьей, когда видят, что это не случай, а определенная система. Жаловаться некому, некуда и опасно. На ротного надо подавать через самого же ротного, а он не пропустит; надо быть очень и очень настойчивым, чтобы довести свою жалобу до кого следует,— это могут и умеют сделать немногие.

Таким образом, вся система мнимого правосудия военных грубиянов сводится к нулю, не применяется на деле или возвращается каким-то неведомым путем на самого же пострадавшего, искавшего защиты.

Д. А. Фурманов. Студент Московского университета.
1913 г.

Все это солдаты прекрасно знают и возмущаются глубоким, молчаливым возмущением. Недалеко то время, когда прорвется молчание — и начнется большое дело, дело «О безответственности российских Скалозубов».

24 февраля

«Сотрудник»

Был сегодня в редакции «Русского слова», получил гонорар за «Братское кладбище на Стыри»[1] — 17 р. 75 к. Значит, уж все по-настоящему, за строчку положили 20 к. Не знаю — что это: много или мало. В тайны гонорара я еще не посвящен.

Посоветовал присылать статьи, только, говорит, «не душите», «помните, что на первом месте у нас должны все-таки быть сообщения и отчеты, да потом еще попрошу вас писать на одной стороне — это для набора; а потом (вы уж не обижайтесь!) пишите, пожалуйста, с твердыми знаками...»

Хорошо...

И так уже просто, свободно говорил я об этом, словно о давно знакомом, привычном деле. (А ведь по существу это дебют.) Когда-то печатал — и то один раз — в «Ивановском листке» свой стих на смерть Ефремова[2], но и только.

Я все-таки думал, что будет больше волненья от этого настоящего дебюта. Но нет, спокойно, то есть сравнительно спокойно.

На душе огромная радость, удовлетворение и много-много надежд. Теперь только и думы, как бы утвердиться на этом посту. От этой первой напечатанной вещи вдруг почувствовал я в себе уверенность, твердость и смелость. Начало есть. И, главное, напечатано почти полностью, удержки самые незначительные. Теперь, несомненно, буду серьезнее относиться к делу, потому что писать придется... для широкого круга читателей. Газета ведь широкораспространенная, популярная.

28 февраля

От этой первой статьи во мне как-то все перевернулось. Я почувствовал силу, сделался серьезнее. Другую статью — «Фельдшера и фельдшерицы» — писал целый день, осторожно, медленно, ощупывая и обдумывая каждое слово. Прежде так никогда не писал. А это ведь большой плюс. За каждое написанное слово в этой второй статье — отвечаю головой. Позвонил [1]. Пойдет ли моя статья? Не знаю... но, кажется, нет...

«Вы взяли там публицистический тон, вышло какое-то поучение. А впрочем, я еще не дочитал. Надо картинку, а не поучение».

— Того не имел в виду...

— Не имели, а вышло так... Позвоните дня через два...

Вот и вторая статья. Живо ошпарили, на втором шагу обжегся. Впрочем, упадка нет — на душе какая-то неловкость... Жаль, что статья, которую так долго обдумывал и писал, не погодилась...

Я не ангел, но уже была мысль о гонораре... Мысленно я прикинул, сколько выйдет строк, если напечатают целиком... Выходило что-то около 200 строк. А ведь это 40 целковых... Впрочем, это соображение обусловлено: надо посылать маме да надо отдать долгу полтораста рублей... Ну, а все-таки примечательно — жилка заговорила...

7 июля

Настоящая жизнь

Когда же придет настоящая жизнь? Такая, за которую будет можно сказать: «Теперь живу, работаю и счастлив работой, потому что к ней шел, ее одну ждал...»

А теперь какой-то черновик жизни, даже книги читаю с мечтою перечитать и разобраться как следует «потом»... А сейчас — это лишь знакомство «в общих чертах». Когда же придет это таинственное «потом»?

Быть может, никогда, быть может, и в третий, в пятый и десятый раз буду перечитывать книгу все с тою же мечтой, буду ждать, что грань близка и за этой гранью — новая жизнь, новые мысли, перерождение, обновление. Все время эта грань тянет к себе и обнадеживает, уверяет, что широкие черновики лучше крошечной беловой тетрадочки — шире, обильнее; множь и пытай! — вот лозунг последних лет наблюдательской жизни.

Собираю материалы — и записываю и запоминаю, все для чего-то, для неизвестного будущего труда. Без плана, без определенной цели — беру все, что дергает за душу...

Сырые материалы... Суждено ли воплотиться вам в форму, дорогие сердцу, долго бранные сырые материалы? Али умрете — безвестно, в шкафу, вместе со старыми книгами? Все реже стихи, все меньше туманности и красивой лжи; все меньше вольного и невольного обмана. Душа ищет правды — открытой и простой. Душа приземлилась, смахнула чары волшебные и лживые, из вечности перекинулась в настоящую минуту и полюбила, застрадала этой минутой.

Настоящей борьбе надо платить и дань в настоящем — по фундаменту стройка. И насколько прежде был далек я от увлечения работой [по-]настоящему — настолько теперь мне стыдно за эту недавнюю, сонную жизнь. Руль повернут. Наметились иные желанья, родились иные цели, пришла большая охота сбросить тяжелую и фальшивую хламиду прошлого — от выспренней мечты, от паренья — проникнуться тягостью настоящего.

6 августа

Уеду в Москву — там знакомая университетская работа, там зароюсь я в любимые книги, приникну к дорогому, единому святильнику... так сильно желание упорной, настоящей, все поглощающей работы. У меня больше нет силы жить так бесплодно и скучно.

Нет живого материала, нет пищи уму. Сердце ко-

лотится и звенит по-старому на каждый звук, а ум заскучал. Мало ему этой бессистемной, разбросанной толкотни, мало ему постоянного ожидания чего-то великого и значительного.

* * *

Непротивление

Непротивление мне как-то не к лицу. Когда я долго держал перед собою образ Алеши Карамазова и пытался в каждый свой поступок призвать его — выходило какое-то юродство во имя смирения и прощения. Есть много положений, где смирение преступно, где оно граничит с безразличием или — больше того — согласием. На каждый вопрос должен быть свой ответ, как на каждый удар струны родится свой, и особенный, звук. Смиренность была во мне всегда неестественна, потому она и казалась смешной, потому долго не жила... В минуты горя или злобы, наоборот,— приходило желание бороться, отстоять себя, объявить себя, испробовать скрытую силу. Была жажда борьбы — самая ценная струна жизни.

26 октября

Я накануне отъезда. Завтра ночью оставляю 30-й транспорт и еду на родину, заниматься с рабочими [1]. Занятие почтенное... В душе и гордость и восторг... Работа есть постоянная, но не та, на которую мы шли,— и потому — бежать, бежать и бежать... Там, с рабочими — я у литературы. Не пошел бы я к ней от горячки, но от такого застоя бегу с радостью... Где-то застанет меня 26-е число будущего года. Неужели в мирной, успокоенной Москве? Неужели к тому времени все уже кончится и снова наладится наша студенческая жизнь? Москва будет еще бурлить от пережитого горя, но это будет рокот утихающего вулкана.

А может быть, одну бурю сменит другая, и я сам умчусь в этом новом вихре, в водовороте еще более неудержимом и страстном...

8 ноября

Неужели поздно?

Теперь, когда стали ускользать возможности непрерывной, огромной работы, я почувствовал непомерную жажду знания, ощутил небывалую потенцию — жаркую, сильную, устремленную...

Осторожно, робея и не доверяясь,— час за часом пьешь жадными глотками всю эту безмерную, красивую книжную мудрость. И не насытишься. Чем глубже, тем жарче, неутомимей благословенная жажда. Я окреп, я воскрес духом, я почувствовал, как выросли у меня белые голубиные крылья. Ожил. И понял вдруг, что вера в себя не должна умирать ни на единый миг. Это путь растления и окончательного изнеможения. Пусть даже лишку, пусть перебор, но только дальше, дальше от бессмысленной, убивающей покорности.

...Громко, смело зову молодую свою жизнь на яркий солнечный путь. Там радость, там праздник, там гордость от осознанной и объявленной силы. Слава тебе, живая вера в живой источник живой души!

15 ноября

Предсмертная агония

Это агония, разве вы не видите, это отчаянная и последняя попытка — назначение Трепова[1]. Разве не знаменательно, что Милюков[2] с думской трибуны так открыто говорил о государыне? Глупость или измена — этот роковой вопрос давно взбурлил непокорные массы.

...Слышите, как сильно бьется пульс русской жизни? Взгляните широко открытыми алчущими глазами, напрягитесь взволнованным сердцем—и вы почувствуете живо это могучее дыхание приближающейся грозы.

Новыми наборами хотят ослабить Русь, чтобы *некому* было поднять революцию, чтобы было *кем* ее придушить. Но велика наша матушка-Русь и много осталось в ней честного люда!

Есть кому поддержать дорогое, поруганное знамя. А те, кем вы думаете придушить движение,— те не пойдут за вами: они еще сохранили и честь и тоску по свободе. Вы одни. И потому вас сокрушат. Казаки откажутся бить нагайками, солдаты откажутся колоть родных братьев и стрелять в них. Вы одни. А дыхание все жарче, все ближе.

Молодая сила уж громко заявила свое могучее: пора!

Вверху заметались, сбились в паническом ужасе. А в глубине бурлит. И вот-вот прорвется оттуда огненная лава, помчится, загубит, изничтожит все наше видимое фальшивое богатство. Она остановится, и на себе — такой обширной и крепкой — на себе будет строить новое здание...

18 ноября

Тревожные вести

Пришли из Москвы тревожные вести. Комиссия по устройству Студ[енческого] союза просила передать представителей своим землячествам [1], что время подымать революцию, что надо готовиться, быть настороже каждую минуту.

В студенческой столовой продают Маркса, лавровские письма...[2] Все знаменательные симптомы... Неужели близко? И хотелось бы приподнять краешек тяжелой, непроницаемой завесы, взглянуть туда...

Что-то будем делать мы — беспрограммные, беспартийные, но всей душой преданные свободе и братству? Зажигать не диво, а что мы будем строить на пепелище? Когда подумаю об этой практической стороне — чувствую и вижу, что бессилен и жалок. Пусть другие, те, которым ясны пути и цели,— пусть строят они это желанное, долгожданное здание. А мы, люди чувства и надземных желаний,— мы будем помогать только сочувствием да жарким, расплавленным словом. И довольно. Большего не можем. Дальше безрассудство. Без программы, без партии, без плана — по вдохновению, по яркому, по случайному порыву —

будем мы строить и крепить это неведомое, зацелованное и слезами и кровью омытое здание близкой новой жизни.

Пробуждайся, крестись, молодая сила! Черные тучи все ниже, все гуще охватывают тебя, но воспрянь, рванись — победа всегда за тобой!

* * *

Новый труд

После той жизни — каскадной и бестолковой, после двухлетней кочевки — с какой радостью, с каким подъемом ухватился я за старые, полузабытые книги. Сами по себе, если хотите, они не дают мне радости. Светит лишь через них дорогая цель... Изо дня в день идет упорная, систематическая работа. У меня ведь и к университету большой любви нет, во всяком случае учебная его часть — дело второстепенное. Все эти индоевропейские языки, сравнительные грамматики и мертвые языки — все это трупы, через которые надо перешагнуть, чтобы полноправно вступить в светлый храм. Ведь я живу теперь и работаю совсем не над тем, о чем мечтаю, на чем хочу построить здание жизни. Теперь вот идет благодарная, благородная групповая работа, но... это не главное: *всю* жизнь посвятить этому делу я не могу, а наполовину, кое-как, есть ли смысл, да и будет ли кому от того настоящая польза...

Литературная работа — вот они, магические слова, над которыми я и смеюсь и плачу. Теперь поскорей кончить университет. Пройти эту посрамленную прихожую, эту паперть, вводящую в светлый храм. Но в светлый храм попадают через паперть не потому, что это лучший и единственный путь, а лишь потому, что привыкли косо глядеть на тех, которые проникают через крышу, через окна — прямо с высоты, с простора. Чтоб не было лишних, бесцельных мук — пойдемте через паперть. Так скорей же, скорей!.. Эта бесконечная «предварительность» может надломить. Но скоро придет главное — тогда отдам ему все силы.

1917 год

1 марта

Беспокойные вести

Ходят слухи, как волны в море, будоражат, волнуют могучую зыбь. Где-то там, в далеком, чужом Петербурге совершается родное — там революция. Поднялся народ, а с ним — четыре полка. Это особенно сильное обстоятельство, оно ходит из уст в уста, передается с жаром, многозначительным тоном — войско идет с народом! Там тысячи жертв, там стреляют, убивают. Есть даже слухи, что сменили правительство. Но слухи так слухами пока и остаются. Все ждут. Напряжение величайшее. «Перейдет в Москву, подымется белокаменная, а там и мы пойдем»,— говорят обеспокоенные.

...Пока тихо. Но уж так накалилось кругом, так стало душно, что гроза неминуема. Теперь уж никто не сомневается в том, что она будет. Спрашивают другое: когда? Так спрашивали прежде, а теперь еще выразительней: в какой день. Ждут, когда пламя перебросится и зажжет горючие материалы.

...Беги, стремись, волна. Я знаю, что ты и меня увлечешь с собою.

10 марта

Сегодня великий день — день нашей революции. Море флагов, море восторженных, упоенных лиц, неумолчный поток бестолковых, но порою прекрасных речей. Гимны, и песни, и скорбь о погибших борцах за свободу переплелись с речами, полными твердой веры

в зарю новорожденного счастья. Шлем привет нашим братьям — тем, что томятся в далекой Сибири, в холодных далеких окраинах, в глубоких рудниках, в смрадных тюрьмах,— всем, кто еще до сих пор томится в неволе! Мы под сенью скорбного черного флага поем в честь павших героев свои скорбные песни! Но те, что томятся до наших дней,— пусть верят они, что близок, уж мчится и к ним час освобожденья! Неужели не чует ваше сердце, далекие братья, что свобода несется к вам, словно белый голубь, символ очищения и новой радости?!

Вы скоро вернетесь. Вы вернетесь в поредевшие ряды своих братьев-борцов и украсите, как венцом, борческую главу демократии. Скорее-скорее, дорогие братья: огненный пурпур зари скоро претворится в тепло, и вы не увидите, не поживете восторгами первых революционных дней.

11 марта

Впечатления дня

Еще ранним утром можно было беспокоиться за судьбу поднявшегося народа, но вчерашние газеты окончательно спасли положение. Когда узнали, что обе столицы в руках революционеров, что все войско на стороне народа,— руки были развязаны, сердце еле держалось в груди.

Местный полк целиком перешел на сторону народа; офицеры поклялись честным словом стоять за народ. Полковник с ними, но ему никто не верит: такой подлец может нарушить даже честное слово. Потому упорно всеобщее желание его ареста. К вечеру, говорят, арестовали. Жандармы и полиция обезоружены. Совершилось небывалое в летописях событие: 15 человек полицейских, во главе с полицеймейстером, осененные пятью красными флагами, подошли к думе с громкой, возбужденной марсельезой. У них на груди красные бантики, на устах — слова равенства, братства, а главное, свободы. Но, конечно, им никто не верит. Их щадят, потому что вообще настроены все против эксцессов. Тихо, торжественно и величественно

проходит странница-революция. На площади все время огромные народные толпы. Уходят манифестации — на их место приходят новые. Оживление могуче-спокойное. На лицах у всех светлый праздник, и не простой праздник — а именно светлое вокресенье, когда уж греют солнечные лучи, когда говорит без умолку пробужденная природа. Вот и теперь льются речи, как голоса пробужденной природы, скованной долгим, мучительным сном. Все пробудилось и так обрадовалось сознанию, что сон не окончился смертью, так обрадовалось солнцу, что заговорило — заговорило словно милое, но болтливое дитя. Поэтому речи ораторов бестолковы. Много в них чувства и наружу прорвавшейся жажды борьбы, но еще больше беспомощности и неуменья все поставить на свое место: и слово и дело. Поэтому слушать ораторов тошно. У них общие, надоевшие места. Ораторский состав весьма бледен и он никогда не смог бы здесь что-либо сорганизовать сам по себе. Теперь он только в словах изливает все то, что уже совершилось на деле. Солдаты, даже раненые солдатики с сестрами идут под сенью красного флага. Идут и поют святые песни освобождения. И эти свободные песни бьют по сердцам чутких прохожих: они вынимают засаленные платки и спешно трут воспаленные, красные очи. Детишки бегают с красными бантами. Девушки одели красные платья, окрутили косы красными лентами...

Всюду небывалое торжество. Поздравляют друг друга с новым годом; верят, что пришло и новое счастье.

Уже ясно, что дело освобождения встало на твердый грунт единения народа и войска. Момент по сочетанию обстоятельств — единственный в своем роде, повторяющийся один раз в тысячи лет.

19 марта

Я вел новую беседу о текущих событиях в кругу рабочих Воробьева и Глинищева [1]. Правда, собралось немного — большинство «набивало погреба» [2], но впе-

чатление осталось хорошее,— у меня от их внимательности, а у них — от животрепещущих вопросов, которые излагались возможно просто и толково.

Очень и очень просили повторить на ближайших днях... Вечером собрались у товарища — слушателя курсов. Всего было пятнадцать человек.

Разбирали программы партий эсдеков и эсеров[3]. Разбирали подробно, одну в связи с другою. Прения были весьма оживленны. В обсуждении, впрочем, принимали участие пять-шесть человек, остальные задавали только отдельные вопросы. Я формально не причисляю себя ни к одной партии, но перевес симпатий, кажется, на стороне эсдеков. Смущает только их основное положение о сосредоточении крупной промышленности в руках отдельных, крупнейших единиц. Здесь что-то слишком теоретическое, мертвое и гадательное. Всех деталей программы партии я еще, правда, не уяснил и потому нигде себя не фиксирую.

Вполне осведомленным по данному вопросу и убежденным эсдеком из нас был один лишь В. Я.[4].

20 марта

Вчера, 19-го, было учредительное собрание клуба «Рабочий». Оглашен был устав, произведены выборы членов правления, ревизионной комиссии, кандидатов... Неоднократно обращались с призывом жертвовать книги. К сегодняшнему утру уже было получено четыре письма с приглашением прийти за книгами. В ближайшие дни будет обставлено здание и, бог даст,— через неделю-другую клуб откроется. В первый день записалось не более ста членов, многие пришли без копейки и обещали записаться при первой же возможности. На собрании присутствовало свыше шестисот человек — исключительно рабочих. Факт отрадный и знаменательный. Сочувствие живейшее. Вот где раскрывается воочию, что тьма наша и невежество были созданы силою, а не естественно вытекали из косной природы русского человека. Отношение сердечное, внимательное. Настроение торжественное, почти

благоговейное. Многие еще не понимают, но уже вещим сердцем чуют, что в этом клубе можно будет отдохнуть по-настоящему. Радость большая, светлая, всеобщая.

21 марта

Все окончательно выбиты из колеи. Работать систематически, спокойно решительно нет возможности. Всюду собрания, советы, организация разрозненных сил. Все спешно сплачивается: одни сознательно, видя в этом единственную опору еще неотвердевшему новому строю; другие инстинктивно, увлеченные самим процессом организации, находя радость в самой близости, разрешая и утоляя ненасытную, никогда не умирающую жажду соединения. Объединяются рабочие, объединяются крестьяне, ученики, педагоги, интеллигенция, фабриканты, служащие, торговцы... Всех увлекла мечта о нравственности или широкой выгоде организованности. У каждого проявилась какая-то заботливость, каждый куда-нибудь торопится, что-нибудь замышляет, советует, опровергает. Жизнь забила ключом. Только старушки окончательно перетрусили и все спрашивают, вернется ли батюшка-царь. В отдельных местах фабрикуется погромная литература, держатся еще приспешники разбитого режима, пытаются что-то сделать. Но все напрасно. Вспоминается Некрасов, говоривший о русском народе, что он:

...вынесет все и свободную, ясную
грудью дорогу проложит себе...

Вот и проложил... Только жаль, что ты, заступник народный, не увидел, не дожил до этой прекрасной поры...

26 марта

Почетное звание «общественного работника» удесятеряет силы, безмерно увеличивает жажду настоящей, положительной работы, обязывает быть в высшей степени осторожным, рассудительным и строгим, при-

учает к сознательности, личному самосуду и личной самооценке. До сих пор я как-то мало верил в свои силы, не представлял себя на общественном поприще, сомневался, колебался, не допускал возможности выработать в себе что-либо путное и твердое. Волна [революции] выбросила меня из болота, заставила призадуматься... А после раздумья, после краткого колебания и сомнения расправились крылья, бог знает откуда появились свежие силы, и я полетел... И вдруг пришло то самое, чего напрасно ждал так долго я в смрадном болоте сомнений и колебаний. Пришла бодрость и неугомонная жажда работы. В этой новой школе вырабатываются принципы, закаляется воля, создается план, система действий.

Теперь одновременно приходится работать во многих организациях, по многим вопросам, до которых прежде страшно и жутко было касаться: тут и библиотечное дело, и курсы, и просветительная комиссия, и общество грамотности [1], и рабочий клуб, и кружок пропагандистов. Особенно по сердцу именно эта последняя работа — работа пропагандистская. Я впервые увидел, что могу стройно, уверенно, а порою и жарко, передавать свои мысли, верования и надежды. Я видел многих на этом поприще неуверенными, неподготовленными, слабыми. А их авторитет непоколебим... И разом явилось сознание, что в новой области каждому необходимо начинать с азов, что стыдиться тут нечего, что больше надо верить, чем сомневаться, и проч. и проч. Эти простые мысли как-то прежде не приходили на ум. А теперь они меня подняли, утвердили, дали жизнь...

Теперь и то бесконечно дорогое, то единое и светлое в жизни — литературное творчество,— теперь и оно как-то стало ближе, стало понятнее, осуществимее, достижимее... Я наконец поверил в себя... Эта великая революция и во мне создала психологический перелом. Она зажгла передо мною новое солнце, она дала мне свободные, могучие крылья... Многого еще не знаю, ко многому только стремлюсь, но это уж не убивает меня, не заставляет опускать беспомощно руки. Я вижу, что и многие-многие другие так же беспомощны,

как я, что они так же горят одним лишь желанием, при скудости содержания... Горят — и что-то совершают. Я с ними... Я тоже что-то делаю, я тоже кому-то помогаю, я тоже облегчаю движение чему-то огромному, светлому. Радость такого сознания безмерна и неповторяема.

28 марта

Сегодня в разных местах состоялись беседы об Учредительном собрании [1]. Я, между прочим, вел беседу на общую тему: «Смысл совершающихся событий». Характерно то обстоятельство, что после каждой подобной беседы рабочие останавливают, благодарят и просят снова и снова прийти потолковать с ними. Слушают внимательно, сосредоточенно, но вопросов задают мало. Больше слушают. Теперь, на страстной неделе, кажется трудно было бы кого-нибудь заманить на какую бы то ни было лекцию. А на деле иное: приходят и просят еще поскорее прийти снова. Жажда к политическому знанию — огромная. Литературы хорошей до сих пор нет. Приходят устарелые, мало пригодные книжонки, макулатура разная, а хорошей книги все еще не видно. И как ее ждут, эту хорошую, свежую книгу! Спрашивают друг у друга, бегают, ищут, устраивают очередь на чтение. Готовиться к беседам приходится бог знает по каким источникам — потому и передаешь только основные мысли, безо всяких статистических данных — безо всяких сравнений... Все это устарело, все не годится. На завтра есть приглашение прийти побеседовать к солдатам в лазарет, а другой лазарет просит «пожаловать» на следующий день. Словом, всюду просят, всюду зовут — зовут каждого, кто мог бы хоть что-нибудь рассказать, хоть что-нибудь объяснить и растолковать.

2—9 апреля

...Теперь такая масса всяческих вопросов, что голова кругом идет. Отовсюду вопросы. Надо быть в курсе партийных работ, помимо знания программы и разно-

гласий; надо быть готовым на массу вопросов по поводу предстоящего Учредительного собрания; знать профессиональные союзы, историю революций, революционную литературу, постановку библиотек, аграрный, рабочий и крестьянский вопросы, городское и земское самоуправление, историю взаимоотношения держав, формы государственного строя... А все ведь это новое, мало или совсем незнакомое. Начинать приходится с азов, а перед тобой многочисленная аудитория со всем ужасом темноты, со всей неожиданностью вопросов. Котел очищающий — не спорю; закалка богатая, страха и робости нет, но порою стыдно за это самое бесстрашие и решимость. Ночью познакомишься с историей профессионального движения, а днем уж надо излагать и объяснять его другим. И когда сыплются благодарности, сочувствие и довольство,— невольно поднимается вопрос: «А что и все-то наше общественное строительство,— не так ли случайно оно росло и создавалось? Не в этом ли, не в нашей ли пассивности причины российской тьмы?» Ведь наша политическая подготовленность худшего желать не оставляет. Мы застигнуты врасплох. И не диво, что при таком руководительстве есть и будет так много греха.

19 апреля

Жгучие вопросы

Этих вопросов так много, что ни один из них не продумывается до дна, ни к одному нет спокойного, объективного отношения. На сцене новая чехарда, только не чехарда министерская, а чехарда вопросов современности. Война, Временное правительство, Учредительное собрание, рабочий, крестьянский, аграрный вопросы,— вот неполный перечень мучительных вопросов, скачущих друг через друга. Положение чем далее — тем запутанней...

...Интеллигенция должна собрать всю свою духовную мощь, напрячь до крайней степени работу мысли, выступить смело, твердо, определенно. В ее руках сосредоточилась сила знания, в ее руках вся многовеко-

вая работа человеческой мысли. К этому алтарю пробивались только отдельные счастливцы из темных рабочих масс. Им некогда было думать о небе — за спиною стоял мучительный голод и пригибал свободную мысль к земному уделу, к заботе о хлебе насущном. В руках интеллигенции весь опыт всемирной борьбы угнетенных против своих угнетателей; в ее руках все протоколы бедствий, приходивших на смену благородной мечте, когда эта мечта сбивалась с пути, ошибалась земною ошибкой — в ее руках вся эта сила и весь этот ужас непоправимых земных ошибок, источников сугубого народного горя. Интеллигенция молчит. Она или прячется пугливо от позорного ярлыка буржуя, или робко поддакивает возбужденному народному гулу. Мы знаем, отчего гудит народ: он перестрадался, у него терпенье порвалось, как давно рыдавшая струна; он уж много раз касался к светлой мечте и много раз темные силы сталкивали его обратно в черную бездну невежества и горя. Теперь он снова вырвался из бездны и снова боится сорваться на дно. Ему страшно. Его терзают воспоминанья, и как же не понять его страстное желание единым ударом сокрушить вековое зло, в счастливый миг утвердиться на новой грани — на грани пропасти. Как не понять его жгучих лозунгов, его слез, его негодования! Он идет напролом, терять и жалеть ему нечего, в прошлом одно только горе, одно мученье. Но борьба за лозунги требует большой осмотрительности, большого такта, большого уменья. Ослепленный нахлынувшим счастьем, разъяренный ненавистью к старому злу, народ не может спокойно принимать этот крутой перелом. Он как пущенный шар мчится по склону горы и куда его вынесет тайная сила — в бездну или на горный хребет — кто нам скажет?...

1 мая

...До сих пор я еще не зафиксировал себя за партией, но теперь, уезжая беседовать по деревням, со спокойной душой беру мандат эсеров.

16 июля

Надо уж говорить откровенно: до революции ничего-то мы не знали про политическую борьбу, ничего-то мы не понимали в политических лозунгах, потому что нельзя же считать политическим образованием нашу «эрудицию», почерпнутую в «Русском слове». И вот с первых дней мы дело себе представляли весьма просто: свергли царя, поставили новых министров, ну и дело с концом.

Как будто черная сотня разбита, как будто у демократии с буржуазией одинаковые цели, как будто Англия и Франция нам истинные друзья, как будто спокойствие, а не углубление революции — теперь главная цель текущего момента. Да тут еще надо присовокупить, что по старой привычке почитывали одно только «Русское слово»... Из совокупности всех этих причин для нас, безграмотных политически, и вырисовывалась лишь одна дорога — тихого дожидательства, всяческого доверия и сладкой радости по случаю свержения царя Николая. Собственно, дальше свержения наша мысль не работала, остальное мы готовы были поручить устроить тем лицам, которые взяли главенство в первые дни революции...

Мы тогда еще ничего не знали, мы тогда ничего не понимали. Да простит нам бог первоначальное неведение! Теперь, почти через 5 месяцев постоянной, напряженной работы, постоянных споров, бесед, чтений и лекций,— теперь многие стали примечать свои первоначальные ошибки, стали сознаваться, хотя бы перед самим собою, в политической безграмотности и отрекаться от того, что по неведению исповедовали 3—4 месяца назад.

И нечего стыдиться, друзья! Смело заявляйте о своем переломе, это только засвидетельствует ваше честное отношение к исповедуемой истине, вашу искренность и благородство. Вы не могли остаться безучастным зрителем с первых же дней революции. Вам хотелось дать и свою лепту на постройку огромного нового здания...

Мы понимаем этот священный порыв, но ведь, кроме порыва, у вас не было совершенно никакого багажа. Вы рванулись к делу, движимые только благородным порывом. Теперь вы многое видели, многое слышали — неужели же и теперь вы остались все тем же близоруким, ощупью идущим добродеятелем? Будьте откровенны, прежде всего!

Я смотрю на себя и поражаюсь той перемене, что совершилась за этот, главным образом, последний месяц. Как нарастал, как собрался этот перелом — я все еще не уясню себе окончательно, но ужасаюсь крайностям.

Два месяца назад я уехал по деревням. Взял мандат и от местного оборонческого комитета социалистов-революционеров. В этой плоскости я и вел свои беседы в течение первого месяца. Но вот совершилось наступление 18 июня [1]. В те дни я был в Лежневе [2].

Помню, подбежал солдатик и заявляет впопыхах:

— Товарищ, сегодня пришла весть, что у нас громадная победа. По этому случаю устраиваем благодарственный молебен. Скажите, пожалуйста, речь после молебна, чтобы поднять дух.

— Нет,— заявил я,— не могу. Радоваться тут нечему: мы ли побили, нас ли побили — горе одинаковое, страдания одинаковые, для меня тут нет никакой радости...

Сказал я это как-то машинально, потому что до того дня еще мало размышлял об интернационале. Но сказав, начал упорно думать. И увидел, что правда именно в этой стороне. Стал приглядываться к взаимоотношениям крестьян и пленных и увидел, что они совсем не враги, что кто-то жестоко нас обманул и умышленно натравил друг на друга. Я сделался в душе интернационалистом. И в соответствии с переломом изменил сущность своих бесед... Когда приехал сюда и высказал свой взгляд на войну — местный оборонческий комитет просил меня выйти из состава партии как не согласного с его основными положениями. Я ушел. Теперь встает задача организовать на месте комитет с[оциал]-р[еволюционеров] интернационалистов [3].

18 августа

Кто я?

Отколовшееся *«левое крыло»* не подает о себе вести. У него нет своего органа.

Кто же им руководит, какова тактика вождей, какова сила? Мы решительно ничего не знаем.

Я говорю *«мы»*, потому что за этот последний месяц в местной эсеровской организации произошел раскол. Оказалось много интернационалистов. И теперь перед нами задача: основать ли свою отдельную фракцию или работать совместно и только реорганизовать комитет? Дело в том, что травля партии на партию и фракции на фракцию достигла кульминационного пункта. Рабочий устает, растеривается, не знает, куда приклонить голову, потому что «все же социалисты». Или, вдаваясь в крайность, начинает презирать все иное, кроме своего. Необходима какая-то перестройка — не соглашательство, а уяснение бессмысленности дальнейшего раздора, имея перед лицом общего врага — надвигающуюся контрреволюцию, которая заявила о себе открыто на московском совещании...[1] Весьма понятно, что первые дни мы поклонялись героизму Родзянко[2], «положившему голову на плаху», рисковавшему жизнью. Мы даже удивлялись — почему не он назначен премьером?

Затем взошла звезда Керенского. Мы плакали от радости, мы слепо верили его беспредельной честности и государственной мудрости, памятуя жгучие речи в последней думе. И когда шаг за шагом, вглубь и вширь размахивалась революция, когда мы усвоили политическую азбуку,— мы поняли, что Родзянко стоит на другом краю, что Керенского мало...

«Война до конца»... Мы готовы были тогда поддерживать даже этот преступный клич, мы тогда еще не знали, не понимали суровой всемирной подоплеки безжалостной резни, не подозревали в числе иных причин войны наличности вековой классовой розни, сознательной тяги, выгодной одним, губительной другим. Когда

мне стали ясны скрытые пружины мировой трагедии, когда я с ужасом оглянулся на только что пройденный путь, полный жестоких, преступных ошибок,— я бросился бежать без оглядки и примчался к крайнему левому берегу [3].

Я все же не знаю — кто я. Только ли социалист-революционер интернационалист или максималист.

У меня нет никаких руководств, я ничего не знаю об органах, потому что и «Трудовую республику» [4] закрыли. Мои письма пропадают даром. Сегодня послал М. Горькому [5], прося навести возможные справки. Я кидаюсь во все стороны, ловлю слухи, вырезаю и записываю что только можно, и все-таки не имею перед собой общего, ясного плана работы.

И всегда завидую большевикам, которые имеют руководящий орган.

Местный совет рабочих и солдатских депутатов кооптировал меня в Исполнительный комитет. Интернационалистские взгляды позволяют мне вести пропагандистскую работу в контакте с большевиками. Местный эсеровский комитет с Советом в раздоре.

И вот теперь, организуя максималистскую фракцию-партию, мы стоим на распутье...

7 сентября

Совет

...Целый день Совет кишит приходящими, целый день надо успокаивать, разъяснять, помогать [1].

Взволнуется ли народ из-за голода, не хватает ли на фабрике подмастерьев, забастуют ли типографщики, начнут ли вырубать окрестные леса, появятся ли в городе погромные слухи,— все эти нужды и требованья стекаются в Совет, все это ищет здесь разрешения. Доверие к Совету огромное. За полгода революции не было еще здесь эксцесса, который можно было бы объяснить непредусмотрительностью или преступной ха-

латностью Совета. А все потому, что во главе стали слишком честные, слишком бескорыстные люди [2]. Они уже забыли про свою частную, личную жизнь, они оторвались от «старого мира» и кроме Совета ничего не знают. В данный момент лишь такая преданность и может отстоять молодую, чуть созревшую, вседемократическую организацию...

23 сентября

...При Совете начал я большую работу: читать лекции для всех фабрик поочередно. Кроме фабрик — для полка и тт. железнодорожников. Социализм, партии, конституции — вот приблизительный цикл лекций. Надо приучить всех к Совету, заставить полюбить Совет, почувствовать свою кровную связь с ним.

Только сотрудников не вижу, а одному работа не оказалась бы непосильной. Сегодня провел первую лекцию-беседу с дербеневскими рабочими [1]. Из 800 было около 100 чел. Оповещена была вся фабрика.

3 октября

Елюнино [1]

Сюда пригласили меня присутствовать на выборах Земской управы. Были настолько внимательны, что прислали на станцию лошадь и подкатили прямо к правлению. Из 26 гласных 18 большевиков и только 8 эсеров. Как ни странно это с первого взгляда, а на деле очень понятно и вполне естественно. Я видел мужиков, годов под 50 — в лаптях, в изодранных тулупах и нахлобученных шапках, и когда спрашивал: «Вы, тов[арищ], какой партии»,— крестьянин, чистокровный землепашец, отвечал: «Большевик!» Согласитесь, что странно это слышать от темного крестьянина, до сих пор инстинктом тянувшегося к партии социалистов-революционеров. Здесь причину и вину следует искать в тактике самой партии. Крестьянину стало ясно наконец, что там, наверху, что-то неладно, что настрое-

ны там слишком мирно, что, голосуя вместе с ними, «можно проголосовать и землю», как выразилась Мария Спиридонова[2], предупреждая демократию на петербургском совещании о голосовании за коалицию.

И вот темные хлеборобы силою вещей должны были порвать с той партией, которая утеряла былой революционный дух, силою вещей вынуждены были идти к большевикам. Кругом они видели, что эсеры — это наиболее податливая, наименее революционная, самая зажиточная часть крестьян, что туда же вошли и лавочники и даже механики, не говоря уже про обеспеченных квалифицированных рабочих, которые даже расстались с эсдеками. Эсеры в Кохме[3] на выборах Земской управы блокировались с кадетами. Правда, на довыборах они выставили в числе кандидатов и несколько человек большевиков, но этот факт блокирования окончательно раскрыл глаза бедному крестьянину и заставил его отшатнуться от эсеров.

В Кохме гласных большевиков 22 чел., остальных 28, и вот эти 28 отказались от работы в управе, желая все взвалить на большевиков и дискредитировать их окончательно, всячески вредя и не помогая им в повседневной работе. Такая же картина наблюдалась и в Елюнине, где эсеры отказались дать своего представителя в управу несмотря на то, что большевики предлагали им одно из трех мест.

Говоря о личном впечатлении, замечу, что все эсеры, которых я там слышал, произвели на меня, прежде всего, впечатление людей с коммерческой жилкой, буднично практических, совершенно не одухотворенных какою бы то ни было высшею идеей, жалких на скудных мыслях и возмутительных на явно саботирующей практической работе.

Они, собственно говоря, самые определенные мелкие кадетишки, примкнувшие к эсерам лишь потому, что тактика эсеров совершенно не отличается от тактики кадетов и не грозит ввергнуть их в пучину борьбы.

Впечатление было у меня тяжелое и вместе отвратительное.

...И вот крестьянская Россия раскалывается. Отовсюду слышим, что крестьяне то здесь, то там провели в волостное земство большевиков. Это слишком характерно, симптоматично и показательно для оценки эсеровской тактики, которая даже Землей и Волей, писанными на бумаге [4], не может удержать крестьян в своих рядах...

14 октября

Клуб коммунистов

Только вчера произошло открытие клуба коммунистов — его назвали именем Ленина. Присутствовало человек до 700. Атмосфера дружная, теплая, товарищеская. Затянулись с песнями до глубокой ночи. Обстановка великолепная, но расставлена довольно безвкусно. Кто во что горазд — тем и занимается: поют, декламируют, возятся в библиотеке, с граммофоном, с чаем. Первый вечер был определенно хорош. Как-то пойдет там наша работа...

26—30 октября

Надвинулись грозные события. Два месяца назад мы переживали такую же горячку в корниловские дни [1]. Теперь, по-видимому, дни Керенского.

Передаю только самое-самое главное. Вчера было заседание Совета. Последние дни и в рабочих массах и в полку мы подготовляли товарищей к событиям, которые можно было предвидеть с точностью до одного дня. Часов в 8 я звонил в Москву. Редактор «Известий Совета» сообщил:

«Временное прав[ительство] свергнуто...»

Примчался я как оглашенный, сообщил. Неистовый взрыв радости, аплодисментов, несмолкаемых криков восторга. Словом, все то, что было при свержении Николая II.

Только диву даешься: свергли «социалиста» Керенского, Александра IV, как говорят солдаты,— и радость у всех настолько яркая, искренняя и огромная,

будто свергли вампира, злейшего изо всех царей. Пришла снова к нам — уже знакомая горячка тревожных дней.

Выбрали Революционный штаб из пяти человек. Между прочим, я состою в нем председателем.

1) Всюду поставлен был немедленно контроль и караулы.

Полк с нами и целиком стоит на защите Совета.

Намечен ближайший порядок работы штаба.

2) Реквизиция средств передвиж[ения].

Немедленно запросили автомобильную команду. Ответ получили тот же, что в корниловские дни:

«Автомобили все поломаны» (позже оказалось, что они разобраны).

Начальником автомобильной команды является фат-офицеришка, ненавидящий Советы. Его постановлено отправить на фронт или арестовать на месте.

3) Связь с областью.

Отовсюду запрашивали по телефону. Мы сообщали, что узнавали сами.

Между прочим, поздно вечером местный ж[елезно]-дорожный комитет обратился с просьбой убедить Шуйский совет снять свой контроль на станции.

От имени штаба, на свой риск, я снесся по телефону с Шуей, объяснил Совету, как обстоит дело с железнодорожниками у нас, как мы работаем в тесном контакте и считаем лишним свой контроль. Я предложил им снять контроль немедленно. Через полчаса местный железнодорожный комитет был извещен о том, что контроль в Шуе снят.

Забастовка почтовиков

Почтово-телеграфные рабочие и служащие прекратили работу 27-го в 10 ч. утра. Прекратили потому, что считают абсолютно, принципиально неприемлемым рабочий контроль.

Мотивировали уклончиво, неопределенно; соглашались, что главная причина не в технических неудоб-

ствах, не в том, что наши контролеры мешают работать, оскорбляют и прочее.

Проскальзывала мысль о том, что Временное пр[авительство] является единственной властью и иной власти они не признают. Они — частичка общего союза, а ЦК [2] в Москве распорядился прекращать работу немедленно, лишь только Советы поставят контроль. Они, след[овательно], подчинились постановлению ЦК, подчиняясь дисциплине, исполняя профессиональный долг. Но было тут что-то другое. Несколько человек главарей с кадетским образом мыслей подбивали, застращивали, вели за собою остальных. Надо было торопиться и принимать экстренно решительные меры. Они предъявили свой ультиматум о контроле еще 26-го числа, обозначив срок 12-ю часами дня. В 3 часа у нас было советское собрание. На это собрание мы и призвали их представителей дать точный, ясный, окончательный ответ.

Представителя они выбрали, по-видимому, неудачно. Многие потом от него открещивались и не считали для себя обязательными и приемлемыми его заявления. Он заявил, что:

1) поддерживает целиком Вр[еменное] прав[ительство];

2) работать на обе стороны;

3) отсылать каждую телегр[амму] по принадлежности, не извещая о том Совет.

На всех трех пунктах его разбили и поставили в такое положение, что он должен был признаться, что стоит не в лагере рев[олюционной] демократии.

Совет был возмущен до глубины.

Приняли суровую резолюцию: поручить пятерке принять самые репрессивные меры, вплоть до ареста. Под репрессивными мерами можно было понимать что угодно, если только представить себе все негодование, которое овладело членами Совета, когда он поставил все ведомство в другой лагерь.

Поручили им снестись с ЦК и известить о результатах Совет, который соберется на завтра, 27-е, в 6 час. вечера. Но почтовики, не известив Совет, кончили работу 27-го в 10 час. утра.

28-го они все были арестованы на собрании и препровождены в Куваевскую[3] столовую под стражу.

Ночью 28-го мы пошли вчетвером, все члены Штаба революц[ионных] орг[анизаций], объяснить им серьезность положения.

Говорить пришлось главным образом мне.

Главной целью я поставил себе разъяснение разнородности интересов в их собственной среде. Разбил их на высших и низших, противопоставил интересы одних интересам других и внес таким образом дезорганизацию.

В горячке советских прений 27-го многие отрицали в почтовиках демократов. Но, разумеется, они в большинстве своем такие же пролетарии, что и рабочие.

Другой вопрос, разумеется, их общественный вес, степень пролетарской сознательности и активность в революционную эпоху.

Беседа, по-видимому, подействовала.

Под утро они прислали в штаб резолюцию, где указывалось, что они встанут на работу в 9 час. утра, если только мы к своему рабочему контролю позволим им прибавить свой контроль. На этом согласились, и они встали на работу.

Но беда в том, что Иваново отрезано, изолировано и работать нет возможности, кроме текущей возможной работы.

Вечером 30-го посылаем делегацию в Моск[овский] ЦК их проф[ессионального] союза из трех членов: одного — от почт[ово]-телегр[афных] служ[ащих] и раб[очих], второго — от Совета, третьего — от Ц[ентрально]-стач[ечного] комитета.

Пока на этом остановились.

Полк

Полк с нами. За несколько дней до переворота мы уже ходили по ротам и подготовляли солдат.

Полных рот здесь всего три — 11-я, 12-я, 14-я. Из них вполне обучена и готова к бою одна лишь 11-я.

27-го сместили и арестовали начальника гарнизона. Поставили нового, молодого штабс-капитана, который перед семеркой ходит на цыпочках.

27-го устроили общий полковой митинг. Там единогласно вынесли резолюцию о полном доверии и всемерной поддержке Советов.

Солдаты с нами; рабочие с нами; железнодорожники с нами. Объединились три огромные силы. Здесь, на месте, ничего серьезного не предвидится, так как по первому требованию семерки полк расстреляет толпу, идущую против Совета.

В эти последние дни близость Совета с солдатами особенно очевидна. Все время от штаба идут распоряжения в полк, и распоряжения немедленно выполняются.

В полку был избран Военно-революционный штаб из пяти человек.

Теперь его раскассировали и власть исполнительную (по приказанию семерки) передали комиссару, который информирует обо всем нач[альни]ка гарнизона.

Солдаты держатся отлично.

В городе полное спокойствие.

Чувствуется, что власть в крепких, надежных руках солдат и рабочих.

Ходят всяческие слухи, но они разбиваются действительным положением вещей.

Штаб революц[ионных] орг[аниза]ций (семерка)

Пятерка, созданная Советом, была временным исполнительным органом. Она существовала всего два дня с небольшим — 25-го и 26-го.

27-го были созваны президиумы соц[иалистических] партий (макс[ималистов], б[ольшеви]ков, м[еньшеви]ков, эсеров), железнодорожного комитета, полкового ком[итета], городская управа in corpore, Ис[полнительного] ком[итета] Совета in corpore.

Меньшевики и эсеры отказались принять участие в работах нового органа. Меньшевики заявили о своем выходе из Исп[олнительного] ком[итета] Совета.

Заявив, те и другие ушли...

Пятерка передала свои полномочия штабу в ночь на 28-е.

Штаб является высшей властью в городе. В его распоряжении, полном и непосредственном, находятся все вооруженные силы.

Лишь только почтовики прекратили работу,— мы немедленно мобилизовали свой штат из рабочих. Это была торжественная, незабываемая и курьезная картина.

Нам необходимо было установить связь Совета по городу и с Москвой.

Звонишь в центральную:

— Эй, кто там?

— Я, Синюха... А это кто спрашивает, ты, что ли, Дм[итрий] Андр[еевич]?

— Я... я... Поторопись-ка, восемьдесят восьмой номер.

— Ладно, устрою... А что у вас там, все ли в порядке, в Совете-то?

— Все, все, ты поторапливайся...

Слышишь в трубку, как он отойдет и начнет переговариваться с товарищем: 88-й просят... Дм[итрий] Андр[еевич] говорит. Надо будет соединить...

— Вали, втыкай вон эту...

— Какую эту?.. Не ее, вот эту надо... Тут неправильно...

— Вот чертополох, говорят тебе, втыкай. А ты уж не бойся, я знаю... Это она самая и есть...

Долго ищут они, где ткнуть, куда нажать... Наконец минут через пять, звонят:

— Ты слушаешь, Дм[итрий] Андр[еевич]?

— Слушаю, слушаю! Да поскорее вы, черти... Чего вы там копаетесь?..

— Эка, копаетесь — тебя бы посадить сюда... И то все время словно волчок кружусь с боку на бок...

— Ладно, ладно, поскорее, Ванюха...

— Сейчас нажму, а ты звони...

Что-то зашумит, защелкает... Звонишь...

— Откуда говорят?

— Центральная комната...

— Ванюха, ты?

— Я...

— Какого же черта не соединяешь?

— Соединяю, да еще не вышло...

— Ну, поворачивайся, брат, поворачивайся...

— Ладно, постараюсь, товарищ...

Таким образом путаешься иной раз минут 10—15. Наконец добьешься, кончишь говорить, а Ванюха только и ждал — тут же звонит из центральной:

— Что, поговорил?

— Поговорил, Ванюха, спасибо...

— Вот то-то и дело-то, а ты, белый черт, все бранишься.

— Ну, прощай, прощай — мне некогда...

Таким образом идет работа. Рабочие вынуждены хвататься за все.

Есть мысль начать учить рабочую армию почтовому, телеграфному, телефонному, а может, и железнодорожному делу, чтобы в нужную минуту пустить эту армию в дело. Разумеется, в данное время нет возможности, но дело верное.

Судьи

В Совете шло заседание, когда арестовали почтовиков [4]. Необходимо было допросить их немедленно и оставить только главарей. Было уже часов 9 вечера. Заседание кончилось, рабочие сходили по лестнице.

В штабе в это время вырабатывался план допроса почтовиков. Печатались вопросы.

Почтовиков всего до двухсот человек. Судей тут потребуется немало.

— Товарищи,— обратился я к рабочим.— Почтовиков мы арестовали. Но большинство из них попало по недоразумению. Их надо допросить и большую часть отпустить. Помогите, товарищи. Дело общее, давайте

вместе и разрешать. Останьтесь здесь человек пятнадцать — двадцать. Разумеется, нужны грамотные, осторожные и прочее. Я объясню вам, в чем дело.

Мигом записалось шестнадцать человек. К тому времени вопросы были напечатаны. Я разъяснил им, как нужно вести следствие (хотя руководствовался больше здравым смыслом, а не юридическими тонкостями), как следует вести себя во время допроса. Было уже около 10 часов.

Допрос порешили снять сегодня же ночью, чтобы наутро часть выпустить.

Потом перерешили, допрос отложили на утро, а беседовать с почтовиками пошли мы сами.

О результатах переговоров я уже писал. Допрашивать не пришлось. Но это не важно, здесь важно другое: изумительно дружно откликнулись рабочие; заявили о готовности проработать ночь, только помочь бы чем-нибудь Совету.

Взялись за дело совершенно новое, за дело ответственное. Верят тому, кто их ведет. На этом доверии здесь построено все.

Рабочие за октябрь получили всего по пяти фунтов муки, а молчат.

Иные давно бы взбунтовались. Здесь положение другое. Все держится авторитетом Совета.

Власть у Совета фактически была во все время революции, теперь она только оформлена и оглашена.

1 ноября

Соглашение

«На 24 часа заключено перемирие между социалистическими партиями, чтобы положить конец братоубийственной бойне и столковаться о создании социалистического министерства — от большевиков до народных социалистов включительно».

Это же позор! Какое тут может быть перемирие и что тут за «братоубийственная» бойня. Кто кому брат? Тут сошлись враги — злейшие, непримиримые враги, и они должны кончить вражду своей борьбой. Один

должен погибнуть, вместе жить невозможно. Что вы понимаете под братом? Русского? Брата по нации?

У нас нет никакого братства. У нас есть только братство по нужде. Так и скажите прямо, что вы боитесь гражданской войны, что этим «перемирием» вы хотите достигнуть мира в стране во что бы то ни стало. Если вам хочется только тишины — тогда, разумеется, вы правы, но если вам дорога народная победа — не бойтесь гражданской войны, она неизбежна, без гражданской войны мы никогда не сломим упорного внутреннего врага — она неизбежна.

И нечего закрывать глаза на подлинную стоимость всевозможных оборонцев. Нам не по пути с ними, и тут о соглашении не может быть речи. Все должно решаться в пользу народа.

Все средства допустимы, если вы честный, бескорыстный революционер и работаете единственно для трудовой массы.

Пусть еще прольются целые потоки крови — она очищает, искупительная кровь.

Ведь, в сущности, безразлично, сколько человек погибнет: один или сто. Каждый страдает лишь сам по себе; увеличение или уменьшение страданий у других — ничуть не изменяет суммы его страдания. Вместо одного будет сотня страдающих. Это неизбежно, то есть массовое страдание при массовой борьбе. Это и лучше, так как сознание солидарности утишает человеческую боль.

Вы боитесь гражданской войны и этим самым отвергаете внутреннюю войну вообще. Но ведь для того чтобы прекратить внутреннюю войну вообще — надо заключить соглашение со всеми воюющими. А воюющей является буржуазия. Значит, и с ней соглашение? Значит, опять старая песня? Нет-нет, к черту ваши мирные переговоры. Борьба должна быть беспощадной, и вожди обязаны до конца стоять на крепких позициях.

Если мы победим — мы не пустим буржуазию в Учр[едительное] собрание. Что ей там делать, что отстаивать? Фабрики и заводы перейдут в ведение общин, и фабрикант может поступать на работу, как

всякий рабочий. Какие классовые интересы отстаивать пойдет он в Учр[едительное] собрание?

Мы не должны допускать туда буржуазию. Ведь хуже, чем рабочему,— не придется жить ни одному фабриканту, ни одному помещику. А за критерий мы и должны брать рядового работника. Если считаться с заводами буржуазии — тут никакие Учр[едительные] собрания ничего не создадут. Каждому и в каждом отдельном месте хорошо известно, по какому списку проходит буржуазия [1]. Этот список надо аннулировать. Как будто мы нарушаем этим самым четвертую форму выборов? [2] Выборы будут не всеобщие? Да, не всеобщие. Но это в интересах трудового народа, и мы имеем нравственное право отбросить и отбрасывать буржуазию до тех пор, пока не народится и не окрепнет рабочая интеллигенция.

Буржуазии там делать нечего. Для нас не существует ее особых интересов.

13 ноября

Штаб рев[олюционных] орг[анизаций]

Штабу приходится выдерживать на своих плечах неимоверную работу. Я уж не говорю о времени — мы целые дни в Совете, едва только успеваем сбегать отобедать. Целые дни, а посменно и ночи. Ни единой минуты штаб не остается без дежурного. Количество рабочего времени еще можно было бы принять, если б только работа соответствовала наличным силам. Но приходится нести ведь совершенно непомерную тягу.

Я не знаю — какой только вопрос не касается теперь штаба. Нам приходится быть универсальными, ибо нет специалистов, по которым можно было бы распределить различные отрасли выполняемой нами работы. Укрепление наших завоеваний, борьба с темными силами, успокоение рабочих масс, борьба со спекуляцией, продовольственный и мануфактурный вопросы, организация Красной гв[ардии], реорганизация милиции и уголовно-розыскного отделения, борьба

с хищнической порубкой леса; всемерная поддержка все еще продолжающейся стачки; поддержание контактной работы общественных организаций; снабжение рабочих оружием; выработка подготовительных мер и плана захвата рабочими фабрик; борьба с саботажем почтово-телеграфных служащих; заботы о пополнении банковских касс; регулирование внутренней жизни в городе... Да ведь их безмерное количество — отраслей нашей работы...

* * *

Естественная смерть Штаба рев[олюционных] организаций

Фактически он уже умер — Штаб рев[олюционных] орг[анизаций]. Он выполнил свою боевую роль в первые дни Октябрьской революции и притих. Теперь, когда нужна не только борьба с врагом, не только усмирение и первоначальное утверждение завоеванных позиций, когда нужна работа планомерная, созидательная по существу, не катастрофическая по форме — теперь вполне естественно видеть, что функции штаба мало-помалу переходят к Исполнительному комитету. Назавтра поставлен вопрос о распределении функций между этими двумя органами, а может быть, и об окончательной ликвидации штаба. Горячка первых дней прошла. Разумеется, это совсем не значит, что вообще миновала опасность, что теперь можно почить на лаврах.

Ликвидация штаба — отнюдь не призыв к полному успокоению. Но уже миновала пора, когда необходимо было всю силу власти сосредоточить в руках крошечного коллектива — подвижного, решительного, немноголюдного.

Надо утверждать и выше подымать авторитет Совета. Штаб что? — Пустой звук! Минует острый период и с ним умрет штаб. А Совет останется жить. Он по-старому будет сердцем рабочей массы.

И его авторитет надо подымать как можно выше.

28 ноября

«Герой нашего времени» [1]

В этом фельетоне говорится про меня. И рассказываются такие вещи, про которые знают всего 2—3 знакомых. Я думаю, что писал Майоров, а материал ему дал Авенир, так как с Авениром у нас была беседа и про Кавказ и про стихи. Одно стихотворение даже помещено было им в «Зеленом шуме». Словом, тут повинен Авенир.

За это, если бы узнать окончательно, я возненавидел бы его как старого предателя.

То, что передано в интимной беседе,— несколько неудобно из-за партийных разногласий отдавать в газету...

Но почему мне не было зло от самого фельетона? Почему он не уязвил меня, хотя и был написан исключительно с этой целью? Да потому, что все сказанное в нем — правда. Только правда эта представлена в смешном свете, рассчитана на хохот читающего, на полное изничтожение самого героя. Но что останется от этого фельетона, если я сам отвечу искренне на все поставленные здесь вопросы? Ведь я лукавить не буду, я откровенно расскажу правду о себе.

1) Упоминается про «томик стихов» — абсолютно ничего дурного здесь не вижу. Кому дорога поэзия — тот сотни и сотни раз открывал эти томы и томики, вздыхал, грустил, страдал и радовался вместе с ними, вместе с ними и засыпал...

2) «Одинаково служивший прежде пролетариям и буржуям Морфей — теперь явно саботировал».

Только почему — Морфей? Ведь Морфей бог сна. Как же он мог вообще кому-либо служить? Может быть, автор хотел сказать Муза или Орфей? Словом, хотел назвать кого-либо из причастных к поэзии богов? Это еще можно было бы понять: дескать, прежде писал совершенно нейтральные стихотворения, а теперь и они не удаются,— Муза, мол, саботирует. Ну, это все-таки второстепенное.

А вот относительно буржуев и пролетариев следует поговорить. Да, прежде мы жили как птицы небесные и до революции не знали даже, какие там существуют партии и какая там имеется классовая борьба. Мы решительно ничего не знали — мы, что стоим теперь у кормила правления. А что же с остальными, которые и до сих пор не прикоснулись к живой жизни? Они ведь и теперь не знают ничего, потому и смотрят на борьбу с мещанской точки зрения. У меня есть товарищ, он выставлен теперь кандидатом в Учредительное собрание, выставлен на 5-м месте по списку меньшевиков (М. Чернов) [2] и, может быть, пройдет. Ведь туда уж соберется самый цвет революции, туда придут не только борцы, но и созидатели. Там нужны большие познания, нужен большой, многосторонний опыт. А он, мой товарищ, до революции сам не знал ни партий, ни извечной борьбы. Но я радуюсь, что он теперь вознесен на гребень революционной борьбы, потому что ни на секунду не сомневаюсь в его высокой честности, в бескорыстной преданности народному делу. Пусть он иначе понимает эту великую борьбу; пусть ищет иные пути, но мы думаем с ним об одном, за одно боремся и, может быть, будем страдать. Я уважаю и чту его как честного, бескорыстного труженика на пользу народа.

Но ведь прежде он тоже служил одинаково пролетариям и буржуям. У него есть дядя-миллионер, и у этого дяди он занимался с детьми, обедал, чаевничал — словом, был свой человек. Теперь, если бы все повернулось по-старому,— я уверен, что он не пошел бы к дяде-миллионщику. А ходил потому, что решительно не понимал ничего в политической борьбе. Так чем же были мы все виноваты, что не попали работать в подполье? Многие из нас даже и не слыхали об этой неумирающей, подземной, святой работе. Ясно, что мы не прикоснулись к ней только по незнанию, а не по каким-либо иным причинам. Напр., скажу откровенно о себе: не мог бы я с таким горячим темпераментом удержаться в какой-нибудь умеренной группе. Я оставил бы все — работу, университет, как оставил их теперь, если б только представлял

себе ясно всю великость и значительность борьбы. Я же ничего не знал, потому что узнать было неоткуда.

Если рабочий никогда не услышит и не узнает правду о движении небесных светил — разве вы будете винить его за это? Не вините и меня, нам неоткуда было узнавать.

И правильно говорит мой зложелатель, что Муза (Морфей!) моя одинаково служила буржуям и пролетариям. Я даже не представлял себе ясно эти два класса и раскалывал людей на два лагеря по совершенно иной линии: хороший человек был хорош для меня безотносительно к классу, безотносительно к своему происхождению.

У меня не было заклятых врагов, с которыми борьба неизбежна. Я слишком верил в честное, убедительное слово и думал, что словом можно повернуть весь мир. Если в этом находите мою вину — судите. Только знайте, что таких нас было 99 на сотню. Отдельные счастливцы-мученики и тогда работали в подполье — слава им, старым работникам, но когда-нибудь и они ведь были молодыми, когда-нибудь и они делали первый шаг по пути страданья за народ. Так неужели тогда глумились над первыми, неуверенными их шагами? Нет, тогда силы ценились дороже, и я думаю, что поседелые в работе с восторгом смотрели тогда на юных помощников, радовались их приходу, жали им по-товарищески крепкие, молодые руки.

Мы этого мучительного счастья не узнали. Мы не видели подполья и в нем не работали. Но не глумитесь же теперь над нашим пробуждением. Мы еще слишком юны и, может быть, сумеем доказать свою преданность угнетенному народу. Мы теперь ненавидим желтую прессу и боремся с писаками «Русского слова». Мы даже прекратили у себя в городе продажу этих газет[3]. И я понимаю, что вы очень ко времени, мой недоброжелатель, упомянули о сотрудничестве моем в «Русском слове». Но знаете ли вы, что это было за сотрудничество? Я там всего-навсего поместил один крошечный очерк: «Братское кладбище

на Стыри»[4]. Вещь совершенно безобидная, очерк художественный и каких-либо симпатий или антипатий политических совершенно не отражает.

Да ведь художественные вещи в «Русском слове» помещал и Максим Горький. Куда же было деваться в ту пору? А Максима Горького разве мыслимо причислить к сонму буржуазных писак? Так что чего-либо «разоблачающего» я здесь совершенно не вижу.

3) «Мечты о литературной славе...» Да, были они, мечты о литературной славе! Да и теперь они лишь потому притихли, что некогда мечтать.

Захватила и унесла меня революционная волна. Разве тут есть что-нибудь смешное, когда даже самый маленький поэт думает прогреметь на весь мир? Если хотите — это неизбежно, присуще каждому мечтателю, особенно поэту.

«Каждый солдат должен верить, что рано или поздно он будет генералом». Так что и в этих мечтах ничего для себя обидного не нахожу.

4) «Пленительный Кавказ, стихи, любовь...»[5]

Об этом я часто мечтаю и люблю подолгу останавливаться мыслью на дорогих воспоминаниях. Для вас, господин злюка, это ведь пустые слова, ничего не говорящие ни уму ни сердцу. А для меня здесь целая эпоха жизни с богатейшим содержанием, полная чудных, поистине пленительных картин. Того богатства переживаний, что было у меня на Кавказе, никак нельзя назвать фактом отрицательным. Я про Кавказ вспоминаю с любовью, с трепетом духовным, с сердечным замиранием. И не вам говорить о Кавказе... Сначала полюбуйтесь на него, а потом и богохульствуйте.

Там расцвела любовь... Но какое вам дело до моей личной жизни? Мы теперь судим друг друга по степени ценности в работе общественной. А какое же имеет отношение к общественной работе моя любовь? Странный, мелочный и недалекий, по-видимому, вы человечишко! Не люблю я таких комаров: подкрадутся, подлетят втихомолку и крошечным жалом начинают понемногу высасывать горячую кровь... Все это за спиной, негласно, а на людях и руку тебе подают

и разговор заводят по-приятельски. Скверно, нечестно, подло-трусливо.

5) «Почувствовал, что он чистокровный эсер». А как же иначе, спрошу я вас? Как же вообще вступают в партию? Да вспомните, как вы некогда вступили в эсеровскую партию. Вы думали, взвешивали, узнавали, расспрашивали... А когда в общих чертах разобрались — тогда только, разумеется, и вступили в партию... Так именно было и со мной, да так должно быть и со всеми. «Страна левела». Да, страна левела, только вы вот до сих пор являетесь каким-то анахронизмом. Ну что значит теперь оборонец — теперь, когда почти объявлено всюду перемирие?

Вы какое-то недоразумение, и это уж ваша собственная вина, что «страна левела», а вы правели, что вы не поняли знамения времени. Вначале, только что записавшись в партию, я не мог еще предвидеть, какой она будет держаться тактики в эту революцию... У меня перед глазами стояли образы Сазонова, Балмашева, Марии Спиридоновой [6] и многих-многих страдальцев революционеров.

Позже, в революционной работе, я увидел, что с правыми оборонцами идти нога в ногу абсолютно немыслимо. А близость к максималистам заставила нас целой группой уйти из местного эсеровского комитета. Между прочим скажу, что на 2-й конференции максималистов было зарегистрировано довольно много подобных случаев, когда максималисты выделялись из эсеровской группы в самостоятельную.

И вообще скажу о переломе сознания, что с психологической точки зрения это вещь почти необъяснимая, катастрофическая, стихийная. Предпосылки, разумеется, должны быть в наличии, но самый момент перелома — непостижим. Помню, как сам я внезапно, совершенно неожиданно для себя — ощутил и осознал в себе в единое мгновение интернациональное устремление, которое, вот уже целые месяцы, руководит всею моей работой.

6) Небезынтересен вопрос и относительно моей работы в Совете. Если хотите — я попал туда наполовину случайно, но только наполовину. Я думал во-

обще работать при Совете, но работать лишь в области культурно-просветительной. Иной работы я еще не представлял себе вначале. Но вся советская работа спаяна в единое целое и, делая одно,— никак не обойдешь другое. Так случилось и со мной.

Культурно-просветительная работа втянула меня в работу общеполитическую, и в этой работе мне захватило дыхание. Вы спрашиваете, что у меня общего с рабочими? Революционное сознание,— отвечу я. Бескорыстная борьба на благо трудовому народу никогда не может считаться недостойной, как бы ошибочна она ни была. Можно указывать, можно поправлять, но глумиться над тем, что я иду с рабочими, по крайней мере глуповато. Здесь проскальзывает зависть и больше ничего. Оборонцам рабочие затыкают глотку и прогоняют с собрания.

Вот вам и отгадка злому выпаду. Много товарищей студентов шляется попусту, совершенно без дела, и никто из них нейдет в ряды трудового народа.

Мы бедны силами — это хорошо знаем и сами. Но у нас много смелости и революционной решительности. Одним этим не победишь, но и без этого не победишь. А интеллигенты прибывают, хоть медленно, но прибывают. И характерно то, что, познав советскую работу, прикоснувшись к ней вплотную, человек словно перерождается и уходит к левому крылу. Туда его толкает сама жизнь, если только не держат в тисках иные партийные цепи. Вот и все ваши «улики» против меня. Я ответил чистосердечно, искренне, за что же теперь вы будете обвинять меня? В сущности ведь ни одно обвинение не устояло, потому что это были даже и не обвинения, а извращения и содомное глумленье... Этим нас не обидишь. Это уж не первое нападение. Но я молчу и своим презрением и брезгливым невниманием, надо думать, заставлю примолкнуть и вас.

Когда ребятишки начинают дразнить — самое лучшее не обращать на них никакого внимания. Они угомонятся, ибо протест их только разжигает понапрасну. Именно таким же образом думаю я поступить и с вами, седые и тучные младенцы.

30 ноября

...Полагаться приходится лишь на собственную силу, на собственное мужество и собственное знание. Мы одиноки. В этом трагизм, но согласитесь, что в этом достаточно и самоотвержения, достаточно грозного величия. Рабочий, темный и уставший, истерзанный донельзя непосильной борьбой, кует счастье будущим поколениям.

17 декабря

Максималисты

У нас в группе всего человек 18—20. Когда спрашивают сторонние: почему вас так мало,— спокойно, гордо и даже высокомерно мы отвечаем:

— К нам не так-то легко попасть. У нас подбор идейный. Для количества мы не подбираем. Это лишь у вас прием торговцев. «Приходи, записывайся в нашу партию, наша лучше всех других». Разве это достойно социалистов? У нас так не принимают. Мы строго процеживаем. Нужна рекомендация, убежденность, согласие взять на себя определенную функцию, работать для партии. Двери мы никому не закрываем: милости просим, приходите,— по вторникам и воскресеньям у нас очередные собрания, изучаем политическую экономию и разные дела, свои дела разрешаем,— приходите и слушайте; числитесь кандидатом в члены, а когда мы увидим, что вы готовы,— запишем и в члены. Как все это хорошо!

Когда говорим — мы и сами верим, что все именно так обстоит, что подбор у нас идейный, и т. д. Но если присмотреться — идейных максималистов нет. У одних неопределенно-анархические склонности и никаких знаний; другие — самые заурядные мещане, мало пригодные на боевую, кипучую работу за максимализм; третьи — просто политические младенцы, попавшие «по знакомству» через 2—3 членов, уже состоящих в группе. Записались потому, что куда-нибудь надо же записываться, иначе какой же и пролетарий. Созна-

ния групповой связанности у очень и очень многих недостает.

Самому работать мне некогда, а можно сказать без автопохвал, что Дм. Фурманов является стержнем местной группы максималистов. Об этом они постоянно говорят мне сами, и ничего не могут поделать, когда почему-либо я не смогу прийти на собрание: помнутся, потолкуют о своем бессилии и разойдутся... Так было каждый раз, когда я не приходил на собрание.

А советская работа, как более крупная и ответственная, не дает мне возможности оторваться на партийную работу. Где важнее быть: в Совете или в партии? Я думаю, что в Совете.

1918 год

16 января

У Скорынина[1]

С рабочими (а их собралось около $1^1/_2$ тысячи) беседовал часа полтора. После товарищи только удивлялись на своих рабочих:

— Вот полтора часа говорил — а кашлянул ли кто? Никто... А почему? Да потому, что некогда было, за душу брало...

Они меня хвалили в глаза и ничуть не стеснялись, хотя видели, что мне стыдно за них.

— Товарищ Фурманов — лучший оратор среди рабочих,— почему-то вдруг заявил на собрании председатель фабрично-заводского комитета. Я хотел одернуть, но было уже поздно. Разумеется, все это и льстило в должную меру, но больше было стыдно, нежели лестно и приятно.

Рабочие слушали удивительно внимательно, я поразился и сам. За истекший месяц они получили всего 4 фунта ржаной, а сахару получили только в ноябре по 1 фунту. И молчат. Это ведь просто поразительное явление. Как же не поклоняться нашему рабочему?..

17 января

Максималисты и печать

Вот уже два с лишком месяца, как мы не видели, не читали своих максималистских газет и журналов [1]. Да и прежде-то мы читали их из пятого в десятое,

Воспитание наше идет через большевистскую прессу. Мы воспитываемся на «Правде», «Социал-демократе», ну, бывает, и «Новой жизни» [2]. Нам, разрозненным, не имеющим совета и указания от старых партийных работников, от вождей,— нам слишком трудно разбираться в вихре событий. Но эта безнадежность получить совет (не наказ) сверху имеет и хорошее последствие: она укрепляет сознание в духе самостоятельности, решительности, быстроты и личной инициативы.

Вехи предначертаны. Дорогу пробиваем сами. Форму борьбы создает сама жизнь, сама сложная комбинация отношений и фактов. Мы — чернорабочие в революции и не гнушаемся прикоснуться ко всякой грязи, лишь была бы уверенность, что прикосновение это целесообразно...

23(10) февраля [1]

Губис[пол]ком

Первое пленарное было 18(5) сего месяца. Из 30-ти званых собралось около 20-ти. Потому «около», что некоторые «здешние» приходили и уходили по иным делам.

Председателем собрания избрали Фрунзе [2]. Это удивительный человек. Я проникнут к нему глубочайшей симпатией. Большой ум сочетался в нем с детской наивностью взоров, движений, отдельных вопросов. Взгляд — неизменно умен: даже во время улыбки веселье заслоняется умом. Все слова — просты, точны и ясны; речи — коротки, нужны и содержательны; мысли — понятны, глубоки и продуманы; решения — смелы и сильны; доказательства — убедительны и тверды.

С ним легко. Когда Фрунзе за председательским столом — значит, что-нибудь будет сделано большое и хорошее. Быть может, губис[пол]ком и не сделал

многого и хорошего, но без Фрунзе не было бы и того, что есть.

На двух предварительных к пленарному заседаниях были распределены доклады между членами райсовета и нового губис[пол]кома. В пленуме доклады были заслушаны, обсуждены и приняты с некоторыми поправками: продовольствие, промышленность, труд, просвещение, финансы, земледелие, администрация, военный, редакционно-издат[ельский]. Прения были оживленны. С глубоким интересом, вниманием и усердием следили мы все за претворением в дело наших собственных мыслей. Когда обсудят, сойдутся, выяснят и зафиксируют основные тезисы — словно гора с плеч свалится. Тяжело не только потому, что некому работать, но еще и потому, что нет у нас определенного плана в работе, что постоянно сбиваемся, путаемся, останавливаемся на полпути. А тут, посоветовавшись коллективно, уяснив себе план дальнейших работ, окрыляешься и чувствуешь, что руки стали крепче, грудь просторнее, а голова светлее. Таково именно действие подобных «деловых» собраний. Пустословия не было, к нашей чести. Правда, тут не только «наша честь», а и уменье руководить у Фрунзе. Без него было бы нечто иное, может быть, не на много, но — худшее.

Мне поручено было сделать доклад по просвещению. Губисполком состоит из комиссариатов с комиссарами, членами губисполкома во главе. По этому подобию будет организован и Комиссариат просвещения. Но «просвещение» в широком смысле нам теперь еще не по силам, да и не ко времени. Я больше освещал поэтому работу чисто культурно-просветительную среди рабочих и крестьянских масс: вечерние курсы, лекции, беседы, библиотеки, распространение газет, популярных брошюр — вот на первое время наша работа. Большего не сделаем. Реорганизация школ и принятие под свое крыло школ средних практически не даст больших результатов.

Ясного плана конструкции комиссариата — не имею. По-видимому, он создастся в процессе работы.

28 февраля

Изгнание правых с[оциал]-р[еволюционер]ов

25-го было экстренное, внеочередное заседание Совета. Обсуждался вопрос о войне и мире. Собрание было закрытое, публику удалили.

Два эсера, заядлые оборонцы, внезапно высунулись из толпы рабочих и предъявили какие-то удостоверения. Наши эсеры до сих пор галдят за Учредительное собрание, за Керенского, за свое излюбленное примирение и соглашение. Советы они ненавидят, хотя и притворяются иногда непротивленцами. Народных комиссаров считают — как и вся мещанская тина — захватчиками и разбойниками. В Советах они с нами не работают уже в течение многих месяцев [1]. Кажется, все было порвано.

И тут вдруг — пожалуйте бриться: свалились как снег на голову. Меня возмутили эта подлость и лицемерие. Когда мы изнывали от непосильной тяги, когда мы готовы были перестреляться от переутомления в припадках нервности — они стояли сложа руки в стороне, смеялись, глумились, проклинали, плевали на нас. А теперь, когда мы, усталые, собрались, быть может, в предпоследний раз, чтобы решить, которая смерть славнее и нужнее великому делу — на фронте или здесь,— когда мы, еще теснее сомкнутые грозной опасностью [2], хотим, быть может, в последний раз поговорить о своих победах, о своих завоеваньях, а назавтра выступить в неравный, в опасный бой с полчищами германских белогвардейцев,— теперь они, как крысы, прокрались к нам сюда, в наше святилище, прокрались подслушать, подсмотреть, «собрать материалы», чтобы потом бросить нам в лицо неизбежные ошибки и на этих наших ошибках утверждать свою подлую клевету. Я первый восстал против присутствия этих лицемеров в нашем святилище — Совете.

Поднялись горячие прения. Оппортунисты заколебались. Соглашатели поднялись за эсеров. Но ясно было, что живая речь проникла глубоко в душу рабо-

чим Совета и решение их было можно предусмотреть. Эсеры заметались, зашуршали бумажками, что-то пытались доказать, в чем-то хотели убедить. Все было тщетно: рабочие с позором прогнали их с советского заседания, заявив, что здесь им не место, что мы принимаем в свою среду и критиков, но критиков, способствующих творческой советской работе, а не шипучих, как змеи, колючих, как терний, зловредных и злокозненных, приходящих с худыми и темными желаниями...

25 марта

Мы — анархисты

На одном из недавних заседаний наша группа максималистов голосовала за и против государственности. За — ни одного, против — четырнадцать, один воздержался, так как не считал себя достаточно подготовленным к ответу. Таким образом, вся группа определенно сказала:

— Мы — анархисты.

К истории перехода скажу: т. Фурманову в этом деле принадлежит не последняя роль. В течение последних трех — пяти недель он все больше и чаще думал о свободной коммуне и наконец признался перед собою, что стал в душе анархистом...

27 марта

Что делать анархисту в Совете

Мало ли дела теперь в Совете! Только зачумленные голой теорией, слепые «принципиалы» — только они могут сказать, что «власть» советскую надо игнорировать, Советы оставить, а потом... А потом — остаться, видимо, по отношению к Совету в состоянии полной лояльности. Положение абсурдное. Советы можно или поддерживать или свергать всемерно — тут «лояльности» не может быть в смысле равнодушия, безразличия и прочее.

Мы, анархисты местной федерации, по этому вопросу раскололись. Я стою за советскую работу.

...В Совете работать необходимо. Вы скажете, что он — власть, что анархисту в нем не место. Очень может быть, что отдельные проявления его смежаются с проявлениями власти, но наша задача — эту власть обратить в способность к координации. Ведь наша роль, как губернского центра, должна сводиться именно к координации волевых проявлений с мест; к учету этих фактов, выводам из них и советовании местам наиболее целесообразно затрачивать свои силы, сообразуясь с нашими выводами. Мы не власть приказывающа, а центр координирующий. Во всяком случае, мы им должны быть. Необходимость существования координирующих, жизненно необходимых центров признается и анархистами. А Советы — органы, во-первых, жизненно необходимые, во-вторых, исключительно трудовые, не парламентские... Критиковать со стороны и умывать руки, когда Советы в смертельной опасности,— разумеется, легче, нежели оставаться в них и работать. Но мы ведь ценим труд не по легкости, а по тяжести. И, отбросив голую анархистскую теорию, мы анархисты-практики, не только чтущие идею, но и стремящиеся провести ее в жизнь,— мы остаемся в эти трагические минуты [1] на своих постах, будем исправлять кривую, по которой идут политические партии, и прилагать максимальные усилия к тому, чтобы наши идеи утверждались одновременно в умах и делах.

2 апреля

Анархисты и власть

...Группа 9-ю при 3-х воздержавшихся признала необходимым остаться работать в Советах...

В группе имеются ура-анархисты: беги, хватай, забирай, отнимай... Просто любители острых ощущений. А один так и определенный трус. Он все рекомендовал занять «особняк» (это слово ему особенно нравилось).

Но я уверен, что сам он занимать «особняк» не пойдет — крикун и пустомеля. Говорили и о захвате имения, и про эксы [1], но как-то некому всем этим заняться — дела остаются без движения.

...В группе нет прежнего единения. Налицо глухой ропот, недоверие, назревающий конфликт... В одном из последних заседаний настолько закипело..., что хотел бросить все, уйти и увести за собою сочувствующих товарищей. Сдержался, не ушел, но разрыв очень и очень возможен. Последние заседания проходят без председателя — запись ораторов ведет секретарь. Получается порядочный беспорядок...

18 апреля

Анархисты

Все она же — старая, знакомая тема. Она измучила, истерзала вконец: оставаться анархисту в Совете или нет? Работать вместе с лучшими из рабочих или слиться с бесформенной массой, склонной отречься не только от власти, но и от любой организации вообще? Раскол главным образом по этому вопросу — все остальное имеет второстепенный, привходящий характер.

На повестку дня я поставил девять вопросов. Среди них был, между прочим, и вопрос о захвате скорынинского дома [1]. По этому вопросу прения были весьма интересны и весьма же продолжительны — более двух часов.

Чтобы начать практически проводить свои идеи в жизнь, утверждал я, необходимо, во-первых, товарищам быть достаточно убежденными и действовать не только под наплывом чувств. Ура-анархизм, к сожалению, в нашей революции преобладает над учением, строго, продуманно, последовательно проводимым в жизнь.

Во-вторых, начиная большие дела, необходимо иметь под ногами твердую почву, надо опираться на рабочую массу, которая бы нас знала, которая бы нам сочувствовала, которая поднялась бы за нас в нужную минуту.

Знает ли нас масса, вступится ли за нас, сочувствует ли нам настолько, чтобы мы могли опереться на нее в нужную минуту? Нет, нет и нет. Во всяком случае, пока этого нет. И очень понятно почему: группа наша молодая, сравнительно малочисленная, агитаторских и пропагандистских сил она не имеет и заявляла о себе до сих пор по всем этим причинам недостаточно громко. Нам необходимо сначала проявить себя, заявить о себе, растолковать, что мы из себя представляем и чего добиваемся, и только после этого, заручившись сочувствием масс,— начинать работу практическую с надеждою на успех и не опасаясь, что затея эта выльется в самую будничную авантюру. Это — во-вторых. А в-третьих, необходимо довести до сведения Совета о том, что мы занимаем особняк, ибо в Совете, несмотря ни на что, сидят наши товарищи. Это не просьба, это не унижение — мы лишь доводим до сведения.

Вы удивляетесь и спрашиваете, к чему нужна эта глупая процедура — «к чему, дескать, тебе мой паспорт, когда я сам перед тобой?» С внешней стороны вы совершенно правы. Но посмотрите вглубь. Как бы там ни было, но Совет представляет собою ту организацию, которая приняла на себя все функции, всю созидательную работу, сосредоточила в себе, как в фокусе, все нужды и запросы пролетарского населения. Ведь пролетарского — поймите это. Ведь не буржуазия, не соглашатели-социалисты засели в Совете — там засели наши же товарищи, те товарищи-большевики, с которыми рука об руку мы шли целую революцию.

Эта организация ведает распределением всяких благ среди рабочего люда. Вы говорите, что она дурно, неумело выполняет свои функции? Что ж, я ведь согласен с вами, но виновата ли она в этом?

Ведь не профессора сошлись в Совете — идемте туда, давайте им помогать.

— Так вот мы и помогаем, захватывая особняк,— утверждаете вы.

— Это, товарищи, худая помощь, говорю я вам. Ибо назавтра же группа хулиганов человек в 15—20

захватит бурылинский дом, выгонит Бурылина [2], а все добро оставит себе. С точки зрения анархистов-пистолетников это будет, разумеется, правильно, но мы ведь не совершаем трехрублевых экспроприаций у рабочих в свою пользу, как то делают пистолетники, мы ведь держимся с вами иного плана, иной тактики. Вы вот еще отказались от мягкой мебели и приказали заменить ее другою, более простой и удобной, а кучка хулиганов ведь не будет проделывать эти ненужные операции, она ведь не только мягкую мебель — она захватит и ложки, и чашки, и всякую штуку.

А потом у одного окажется 15, а у другого 20 тысяч наличными, как это было в Москве.

Ведь это уж не сказка, не выдумка, что в Москве под черное знамя пробралось море всякой нечисти — воров, громил, хулиганов и прочей гадости. Да и у вас, при обсуждении вопроса о захвате дома,— разве у вас не разгорелись глаза и зубы? Разве об этом неясно говорится в протоколе: одному хочется перебраться на спокойное житье; другой говорит, что корову следует оставить, ибо «найдется, кому пользоваться».

Тут был налицо личный, низменный, корыстный элемент.

Одним этим вы уже исказили, испохабили свою идею, свой верный план. Под этими желаньями я не подпишусь.

Так что вы скажете той группе хулиганов, которая захватит бурылинский дом и назовет себя, положим, анархо-индивидуалистами, или чем хотите? Положение самое нелепое: мы создаем прецендент для хулиганства.

Нет, сначала давайте составим кадр честных, надежных работников; сначала встанем тверже на ноги, а тогда и за большую, за верную работу.

Совет — организация, которая держится авторитетом и верою масс. Если этот авторитет будет поколеблен — знайте, что положение используется не нами, а нашим врагом — буржуазией.

По этим трем соображениям:

1) что мы недостаточно уяснили себе учение анархо-синдикализма,

2) что мы не имеем достаточно широкой и твердой базы,

3) что в Совете сидят наши друзья, а не враги — я считаю необходимым, для поддержания и утверждения советского авторитета, дать туда сообщение о том, что мы особняк занимаем для собственных нужд, для нужд группы.

Я знаю, что Совет санкционирует эту весть по-товарищески. А ежели нет? — спрашиваете вы. А тогда другой вопрос. Тогда у нас будут козыри в руках, тогда мы сможем заявить рабочим, что Совет оставляет дома буржуям и не дает их занимать тем группам, которые борются за рабочих. Этим козырем мы, несомненно, побьем советскую карту и побьем через протесты самих рабочих, а не ружейными залпами. Мы не смиренники, не непротивленцы, мы будем первыми стрелять в наших классовых врагов, но мы никогда не будем плодить себе врагов в среде пролетариата, в среде своих же братьев, ибо на эту удочку, пожалуй, попадется и вся наша трудовая революция.

Совершается какая-то огромная провокация; закинута умелою рукою тонкая, хитро сплетенная сеть. В эту сеть ловят одновременно большевиков и анархистов — ловят всю социальную революцию. Надо быть максимально осторожным. Буржуазия заходит с заднего хода. Она разбита в открытом бою и решила обойти нас в тыл. Нет никакого сомнения, что кадры черной гвардии вербовались не без ее участия. Вот положение.

Ты, Александр (Черняков) [3], утверждаешь, что морально мы несомненно правы и имеем за собою основание утверждать, что и фактически мы будем достаточно сильны? Откуда у тебя эти иллюзии? О моральной стороне не будем говорить, против этого никто не говорит, а вот что касается проведения — это для меня значит вот что: в субботу, когда особняк будет освобожден, лягут костьми несколько человек красных и черных гвардейцев, то есть несколько пролетариев-рабочих.

Что бы там ни происходило наверху — давайте здесь хранить максимальное единение, давайте хранить рабочее дело, а не свою партийную мантию. Пусть она несколько позапачкается, эта пурпурная мантия,— пусть, нам бы только сохранить и довести до конца рабочую победу.

Ведь если логически рассуждать и московские события[4] перекинуть на периферию,— ведь революция сгибла!

Неужели это для вас неясно? Анархисты живут по всей России, и по всей России поднялась бы эта резня. Что будет тогда? Ведь свои своих начинают губить!

К горю нашему, в Воронеже и некоторых других местах повторяются в миниатюре московские события. Давайте же хоть здесь, у себя держать это единение до последней границы. Он, Черняков, говорил, разумеется, о власти, что Совет тут виноват больше, нежели мы, что он нас всех знает и в честности нашей сомневаться не имеет никаких оснований... И все эти соображения бледнеют перед возможностью раздора среди рабочих.

Проголосовали. Мы, пять человек, высказались за извещение Совета, двое воздержались, 12 человек против.

Таким образом, вопрос разрешен в отрицательном для нас смысле. Я глубоко взволнован, возмущен и озадачен. Дальнейшая работа в группе, по-видимому, невозможна. Разумеется, не из-за этого случая — он лишь один из многих, но вот эти-то многие мне и не дают покою. Прежде приходил я в группу с радостью. Тогда не было оппонентов, тогда все шло мерно, и время использовалось продуктивно.

Читали, беседовали, спорили,— все это было, но было и огромное единение. Мы были поистине как братья. Дисциплина была строгая, истинно товарищеская. Правда, было трудно, ибо, кроме меня, некому даже было вести собрание, но дух товарищества, политическое воспитание, утверждение в своих убеждениях, все это, несомненно, было налицо. Приехал Александр. Человек несомненной честности; предан делу до глубины души; любит подсыпаться под

психологию темного человека каламбурами и плосковатыми остротами, легкими и дешевыми, любит погеройствовать и разжечь страсти; сам он боевик по натуре; душа и мысль просят живого действия, а я чувствую в себе более именно синдикального элемента.

Анархо-синдикализм мы с ним как бы поделили пополам. Он взял «анархо», а я «синдикализм». Вот почему он и против Совета, и за немедленный захват домов. И выходит, что двум петухам в одном курятнике не жить.

Ставя на первом месте работу среди рабочих и для рабочих — я, разумеется, групповые занятия ставлю позади советской работы.

Об этом сообщил и группе. И вот сегодня т. Мусатов сообщил мне, что некоторые члены за это именно ко мне и «охладели», перестали по-старому уважать и считаться со мною. Это сообщение полоснуло меня прямо по сердцу. Дальше ждать не было терпенья. Я чувствовал, что мои друзья, с которыми работал всю революцию, что они уходят, ушли от меня. Это тяжело до боли. Я уж не помню, по какому поводу и после чего случилось все что случилось: я вскочил, схватил стул, ударил его с силою о пол, разбил на части и, схватившись за голову, выбежал из комнаты. Все повставали, засуетились, зашумели. Через две минуты я вернулся. Старался взять спокойный тон, сообщил даже о своей поездке в Москву, но все уже было потеряно: я заявил о своем уходе из группы... Решили закрыть собрание и собраться в воскресенье в 12 часов исключительно по этому вопросу: работать вместе или разойтись.

Я, признаться, стою в раздумье. Группа гибнет. Может быть, она по-своему и цветет, но в известном смысле она, несомненно, погибает. Начинают притекать новые члены — незнакомые, чужие люди. Строгость подбора начинает ослабевать. Еще нет жестоких ошибок, еще не проползла гадкая нечисть, но чувствую, вижу я, что жадные ее взоры устремлены на нашу группу, что скоро она пожалует к нам.

А прежняя строгость, товарищеская дисциплина — все это, несомненно, ослабело; все мы как-то распус-

тились, многие поняли до безумия по-ребячески идею безвластия. Дело рассыпается. Оно еще не рассыпалось, но на пути к тому. И мне тяжело присутствовать при этом падении, при развале той храмины, которая строилась при моем ближайшем участии. Сколько тут было положено труда; сколько тут было затрачено усилий! Наконец она создалась. И вот теперь начинает рассыпаться...

26 апреля

Лекторская смелость

Смелость нужна во всем, даже в лекторском деле.

Приехав из Москвы, я на следующий же день сделал доклад-лекцию о московских расстрелах;[1] через два дня повторил. Народу оба раза была масса и успех был полный.

Теперь взялся и приготовил другую: «Парижская коммуна и Советская Россия». Материалу много, а главный взят из Лиссагаре и Артура Арну[2]. Материал вчерне, а начисто я его отделываю уже в процессе импровизации. И нельзя сказать, чтобы выходило неудачно. Я за собою слежу строго и могу ценить беспристрастно. Смелость нужна во всем. Она помогает и мне развернуть возможно широко потаенные силы. А они есть, я это чувствую.

* * *

Анархисты и Совет

Нам в помещении отказали. Это звучит нелепо: отказали анархистам. Я сам больше склонен бороться в Совете, нежели против Совета, и потому реагирую на этот факт недостаточно остро, жду, когда приедет Александр[3].

Он, несомненно, что-то будет делать, а мне и браться неудобно, ибо завтра уезжаю недели на две,

на три. Заварить кашу — не штука, а расхлебывать ее придется товарищам.

Здание опечатано, поставлена стража. От кого, что они оберегают? Скороходов[4] на пленуме говорил о том, что Скорынина «дрожала, волновалась», когда передавала Совету о захвате дома. На этом я сыграл и жалость к буржуям выставил в жестоком виде. При голосовании я сделал громадное упущение: не настоял на закрытом голосовании.

Разумеется, многие открыто не заявили о своем неодобрении Ис[полнительного] к[омите]та по нашему делу, но, несомненно, в душах многих я заронил сомнение в правильности действий Исполнительного комитета: 25 человек воздержалось. Это большое дело. Я думаю, что они при закрытом голосовании решили бы дело в нашу пользу, а с ними и многие другие.

Теперь дальнейший путь мне представлялся бы следующим образом. В особняк все-таки идти. Нас оттуда выгонят — пусть, мы не будем сопротивляться. Но рабочие будут знать, что нас выгоняют из дома буржуя. Мы находим другой, извещаем Исполнительный комитет о том, что хотим его освободить для себя, и смотрим, что будет. Я уверен, что Исполнительный комитет этот новый особняк для нас найдет. Если же нет, то у нас будет новый козырь за то, чтобы этот особняк находить самим. Вам тут чудится унижение, капитуляция, компромисс... Да, со своей точки зрения вы правы, ибо считаете Совет вражьей организацией. К врагам идти на поклон — несомненно, компромисс, несомненно, капитуляция и унижение. Но в том-то и разница, что Совет, невзирая ни на что, я до сих пор, да и впредь буду считать товарищеской, дорогою для себя организацией, оплотом революции, органом, который с некоторыми видоизменениями может стать почти совершенным (для нашего времени) органом рабочего движения. Совет заблуждается, Совет ошибается... Правда. Но значит ли это, что Совет — вражеская организация? Для меня этого вывода нет.

Все-таки должен быть этот стальной, могучий орган, который в переходное, как наше, время — вынужден проявлять свою диктатуру, свою беспощадность

к врагам со всех сторон. Мы, анархисты, бродим вокруг да около, а открыто не хотим признаться в том, что для наших дней централизованная защита выгоднее, нежели децентрализованная.

Большевики этот орган называют властью, мы его назовем организацией защиты. Но в словах ли дело? Смысл ведь остается один и тот же.

Я все больше и больше убеждаюсь, что, проповедуя идеал анархии и претворяя его где возможно в жизнь,— отнюдь не годится во имя этого идеала кидаться на стену, отказаться от централизованной защиты и тем самым загубить дело. Я об этом еще не заявляю во всеуслышание, но переворот (да и переворот ли? Не было ли этого убеждения и все время?), несомненно, имеется. Может быть, это будет новое течение в анархизме, но это течение наиболее жизненно, оно ответит нуждам рабочих.

1 мая

В Совете

Я еще остался на советской работе, сняв с себя звание члена губернского исполнительного комитета, остался в качестве приглашенного членом коллегии по просвещению. Но чувствую все большую и большую тяжесть. Как-то потерялись глубокие коренные связи с Советом [1]. Я тут стал чужим — работником и только, а не своим человеком, которого касается, которого тревожит всякая мелочь. Я чужой. И хочется мне вернуть старое, но уже нет возможности. Все чаще и чаще приходит мысль об окончательной разлуке. Оставить все, уйти, уехать... Разумеется, уехать можно, но страшно, тяжело расставаться с рабочими: к ним я привык, с ними я сжился. Теперь уж и не работаю — влачу существование... Как повернется дело — сказать трудно, но едва ли оно будет оставаться в таком положении.

С Советом порываются последние связи.

Вероятно, придется уйти. Что пересилит — не знаю, но уход бесконечно тяжел.

7 июня

Дела просвещения

Признавая работу в Совете более важною, нежели работа в группе, я львиную долю времени отдаю именно Совету.

А там теперь кипит работа. Уже проведено 13—15 лекций с инструкторами-внешкольниками. Скоро их выпускаем на работу. Да и теперь уж началась у них живая работа. Распределили между собою 12—14 рефератов и ежедневно делают доклады, устраивают дебаты, обсуждают; распределили между собою клубы, детские дома, кружки молодежи и проч. Собирают и там материал, делают доклады о виденном и слышанном. Сорганизовались. Избрали председателя, через которого сносятся с нами. Избрали библиотекаря, взяли на свою ответственность библиотеку. И все это по собственной инициативе, безо всяких указок. Они, несомненно, пойдут в ход.

Вчера, 6-го, беседою об эволюции и революции открыл я занятия на курсах для общественных работников. Приехало пока человек 25, да ивановских столько же.

Съехавшиеся — все рабочие, публика молодая, любопытствующая, жадная до познанья. Набрали книг, углубились в занятия. Через 2 недели открываем учительские курсы. С ними тоже бездна хлопот. А там еще идет работа с политехникумом, рабочим университетом, учительским институтом, библиотеками, книжным складом и проч. и проч., пожалуй, до бесконечности.

А ведь работать ответственно приходится только двоим — с Исидором Евстигнеевым [1]. Ну он человек прямо гениальный по части всяческой организации. Мне у него есть чему поучиться. Работа нас затрепала напропалую, только успевай повертываться. В ближайшие дни как будто из Москвы будут еще товарищи, которые разделят с нами работу. Благодарная, хорошая работа, только тяжело, становится невмоготу, приходится разом о десяти делах помнить и думать.

10 июня

Ная[1]

И эту книгу хочется кончить думою о тебе. Много в душе хранится нежных слов и чувств для тебя, много скорби от долгой неизвестности, много и надежд притаилось там на близкое свидание... Мне все чудится, что ты уже здесь. Мне верится, что летом ты приедешь ко мне, приедешь надолго, и мы уедем в деревню: мне пора отдохнуть, я заслужил, вероятно, этот отдых.

И уехать бы с тобою, всею семьей, уехать отдохнуть, на время позабыться, успокоиться. Порою невыносимо, хотя бодрость сохраняется неизменно при любом деле. Ная! Любимая невеста! Что же ты молчишь долгие месяцы! Ведь никаких вестей, совершенно никаких, кроме этого письма, посланного почти 5 месяцев назад. Что в нем — оно старо. А теперь где ты и что с тобою? Кабы повидать! Все думаю, думаю и верю, что ты не утерпишь и приедешь сюда. Приезжай, я жду.

22 июня

Анархисты

В группе работаю очень мало. Теперь совершенно поглощен советскою работой — работою просвещения. Так сказать, «на моих руках» — курсы: для 1) внешкольников и для 2) общ[ественных] работников. Кроме того, необходимо регулировать постановку бесед-лекций по губернии, распределяя тот кадр, что имеется под рукой. Словом, совершенно некогда.

...Что-то порвалось. От группы отхожу. Работать по-старому и сил не хватает, да и желания прежнего не стало. Чувствую переутомление, апатию, даже порою антипатию ко всякого рода занятиям подобного сорта — группою, в тишине, не в открытую, для немногих — словом, утериваю веру в партийно-групповую работу, считая советскую работу несравненно ценнее...

Прошлое заседание, в четверг 20 июня, заседание, к слову сказать, тоже несостоявшееся — три члена

выбранной коллегии — Черняков Иван, Шабалин и Шатунов — вызвали меня на откровенность относительно малодеятельности моей для группы.

Я начистую сознался (да этого я и прежде не скрывал), что советскую работу ставлю несравненно выше групповой, партийной работы, ибо там работать приходится для массы и массы тружеников вообще, а здесь — для 10—15 человек, привыкших друг к другу товарищей, и только. Разумеется, и эта работа «ради идеи, ради принципов и проч. проч.». Но все-таки там, в Совете, шире поле, больше там возможностей приложить, использовать все свои силы. Наши бунтари, разумеется, остались недовольны этим моим объяснением и утверждали, что теперь «почва» для нашей работы особенно подходящая, что привлечь «народу» к себе можно много...

Да — момент действительно подходящий. Но это свойство момента если и в нашу пользу, то во всяком случае не в пользу рабочей революции.

Голодные массы можно увлечь за собою, даже больше того — можно обильно «притянуть» их к анархизму, но какой толк будет в этом искусственном притяжении? Кто от этого выиграет? С кем и против кого нам тогда придется бороться?

На эти вопросы ответы получаются скверные — мы смешаемся тогда с врагами Советской России и будем вольно или невольно выполнять то же самое черное дело, за которое не шутя взялись теперь наши извечные классовые враги.

Контрреволюция точит меч о брус мирового империализма. Мы должны раскрошить этот брус, а не поливать его водицей, чтобы легче было оттачивать. Гибель Советов — гибель революции. Чтобы спасти ее — надо быть с Советами. Это были мои соображения...

30 июня

Вчера, то есть 29-го, у Куваева в столовой мы устроили свой митинг.

Ну и что же? Может быть, прекрасно, удачно про-

шел? Может быть, ораторы были незаурядные? Ведь из Москвы, из «центра» приехали! Может быть, перекрестили публику? Складно, умно говорили? Да ничего подобного: митинг как митинг. Говорили о том о сем, а больше ни о чем. Я думал все, что только мы, грешные, повинны в безалаберности, хаотичности и прочих благах, которые объявляются особенно ярко на митингах. Отнюдь нет. Товарищи скакали с Учредительного собрания на чехословаков; от них к «керенщине» и керенкам; отсюда на социальную революцию вообще, на наш Октябрь; от Октября к Совнаркому, от Совнаркома к Совдепу... Словом, было беспорядочное изложение перед толпою (человек 400—500) всего того, что удержалось в памяти. Никакого плана, никакой системы, никакой общей мысли. Во всяком случае, меня митинг совершенно не удовлетворил. Может быть, я и слишком требователен, но думается, что товарищи ничем все-таки не доблестнее нас, бедных провинциалов. Было скучно, было тошно, хотелось спать, зевать, уйти куда-нибудь в тишину. Несколько расшевелил Черняков. Как всегда, живой, яркий, каламбурно-острый, бьющий больше на «революционную фразу»,— он для уставшей аудитории незаменим. Митинг был назначен бесплатный. Афишировано было хорошо. И все-таки народу собралось всего четыреста — пятьсот человек. Утомление огромное. Кроме того, суббота и день неудобный: кто уехал домой, в деревню, кто в баню, кто копается в огороде, словом — кто куда. На завтра, то есть на 30-е, состоится второй митинг на тему: «Где же контрреволюция?» (Первый на тему: «Анархо-синдикалисты и текущий момент».)

Особого многолюдия не ждем и на завтра.

После митинга зашли к Куваеву в комитет, чаевничали, спорили до глубокой ночи. В оппозиции всем был только я один да еще товарищи большевики.

Да, я чувствую и вижу, что у них все яснее, определеннее, нежели у меня. Им как-то легко защищать свои позиции, у них больше доводов... Но правда все-таки за мной. Мне очень трудно разбираться во всем и одному; мне очень трудно потому, что со своими синди-

калистами во многом расхожусь, а с большевиками сближаюсь. Но знаю одно: мое небольшое знание, мой малый опыт и чутье — ведут меня по правильной дороге. «Долой Совнарком и да здравствует федерация вольных Советов». Это как «лозунг следующего дня» провозглашали Ярчук и Максимов[1]. Но сказать — одно, а «сделать не одно, а два»... Они оба да А[лександр] Як[овлеви]ч в Советах уже не работают. Ярчук только «числится» членом Кронштадтского совета, но фактической работы не несет. А числиться мало, надо *работать* и знать советскую работу последних месяцев, чтобы сказать, насколько она важна, нужна и трудна. Оставлять Советы — бросать на распутье революцию, бросать тех, с которыми все время шли плечом к плечу; оставлять теперь, когда они измучены донельзя и крепко зажаты в объятия империализма! Нет, что хотите, но нет — этого сделать невозможно без ущерба для самой пролетарской революции.

Правда, нас, быть может, мало по России, и наш уход фактически не отзовется на советской работе?! Но вопрос решается ведь принципиально, и этим соображением отбояриваться невозможно...

Второй митинг можно считать несостоявшимся: собралось человек сто пятьдесят — двести. О контрреволюции говорить не стали, а тов. Максимов ответил на записки, что были поданы вчера. Солнечное воскресенье, все разошлись-разбрелись; не до митингов, не до смрадно-душных помещений; грудь просит свежего воздуха, все ушли в поле, на луг, в лес — кто куда. Создадим митинг, может быть, в среду.

Мне и самому стало скучно и тошно. Максимов вял и однообразен. Я не дослушал и ушел от половины.

...Есть дела поважнее — например, положительно-творческая работа в Советах.

...Может быть, в Советах невозможно работать? Ложь. Кто хочет действительно работать, а не паясничать со своими «собственными» идеями, принципами и положениями, кто хочет дать нечто положитель-

ное, тот, оставаясь в Советах, найдет себе благодарное дело.

Я ушел с митинга, ибо тошно было слушать эту поистине мелкобуржуазную идеологию «объединения, пощады, права»... Все это чушь... Такого объединения, о котором говорили они, создать невозможно. Пощады к врагам быть не должно. Если мы даже при каждом удобном и неудобном случае будем «вырезать» буржуазию, беды большой рабочим от этого не будет; революция от этого не погибнет. Расстреливать только тогда, когда тебя уже подхватили под глотку, поздно. Надо врагов выводить из строя заблаговременно. Одна, другая ошибка не в счет, они неизбежны. Вы против продовольственной диктатуры? А я ее приветствую, если только можно вообще приветствовать крайнюю меру. Во-первых, она ускорит дело (я не верю в ваше «сожгут, зароют, не дадут»), во-вторых, деревня благодаря этому расслоится. А это великолепно хотя бы для будущей революции: крестьянство не должно остаться единым. Сто раз правы большевики в своих жестокостях, в своей решительности. В этом я с ними: и это совсем не противоречит и делу и учению анархизма.

Надо создавать что-то новое, создавать *школу анархо-реалистов* [2].

2 июля

От анархизма к большевизму

Снова и снова эти мучения неопределенности. Снова распутье. Снова поиски. Знакомое, тревожное, мучительное состояние. Оно было первый раз тогда, когда стоял я на распутье и не знал, кому отдать свое революционное сердце, кому отдать свои силы, с кем идти. Ничего не понимая, не зная учения и тактики учений — я ткнулся к эсерам, ткнулся сам не знаю почему, видимо потому, что тогда еще преобладали во мне идиллические, «деревенские» настроения; не выветрилась еще вялость, мещанская дряблость и половинчатость. Знакомые тоже шли к эсерам. Ну, и я за ними.

Партйя рабочих, социал-демократы, страшила, отгоняла тем, что интересы идиллического порядка оставляла в тени, на первое место выдвигала науку, цифры, достоверные факты. Все это было сухо и скучно. Затем уехал в деревню. Там, случайно, совершился переворот в сторону интернационализма. Я еще колебался. Я только чутьем брал и чувствовал, что в прежнем моем патриотическом демократизме не все благополучно. Наиболее сознательные рабочие были не с нами, это наводило на размышления. Промежутки между поездками по деревням были особенно показательны и убедительны в этом именно отношении. В самом деле, попадаешь в деревню и слышишь там лишь утилитаристские взгляды, видишь единственное стремление во что бы то ни стало и поскорее получить землю — и только. Никаких идеологических надстроек и фундаментов нет, просто нужна земля, и дальше ничего нет. Приезжаешь в город и видишь, чувствуешь, как высоко вздымается здесь волна героизма, как широко идет здесь бескорыстная, высоко идейная работа пролетариев. Это заставляло задумываться и все чаще, все чаще оглядываться назад и посматривать на тех, от которых иду, с которыми связан. Мне стало их жаль, а с теми, кого жаль, невозможно геройствовать, невозможно развертывать силы во всю мочь. Мне стало их жаль, как заблудших и робких, как инвалидов... Не знаю, какие еще были у меня чувства, но однажды почувствовал, что с ними дальше быть невозможно. Надо было торопиться — отходить. Это было мучительное состояние — один, каждую секунду рискуя ошибиться и впасть в какое-нибудь непоправимое противоречие, малознающий, с трудом разбирающийся в сложной действительности, я решил уйти от правых эсеров. Куда? К кому идти?

Надо было идти тогда же, ни секунды не медля — к большевикам, но еще слаб был, не хватило духу одну идеологию, хотя бы и мелкобуржуазную, сменить на другую, хотя бы и пролетарскую. Доносились сюда глухие вести о каких-то «левых соц[иал]-революционерах», но кто они, о чем говорят, чему учат — этого никто не мог сказать. Больше известно было о максима-

листах. Несколько товарищей, ушедших вслед и вместе со мною, также называли себя первое время «левыми эсерами». Потом мы окончательно назвались максималистами. Шло время. Пылало сердце революционным огнем. Хотелось что-то сделать все большее и большее, ускорить, мчаться быстрее. А максимализм начал хромать...

Тут снова пришел мучительный момент перелома, переходный, томительный момент. Нас увлекала анархистская линия, там как будто было больше жизни. Анархисты клокотали, рвались вперед, были смелым, воистину революционным авангардом рабочей революции. Мы к ним. Сначала робели, колебались,— читали, беседовали, мечтали... А потом приехал Черняков и ускорил дело — вся группа перешла к анархистам, не определяя себя подробнее — синдикалисты, или коммунисты, или что-нибудь еще. Анархисты — и конченo, хотя большинство и называло себя в частной беседе анархистами-синдикалистами-коммунистами. Перелом был совершен. Стало как будто легче; но это только по видимости. На самом же деле я все чувствовал по-старому свое фальшивое двусмысленное положение — «ни в тех, ни в сех». Борясь все время с рабочими и за рабочих — я был в то же время оторван от них, разгорожен какою-то формальною, фальшивою стеною названий, наименований, принадлежности... От этого все время было тяжко, неясно на душе.

И снова пришла эта ломка, мучительная неопределенность... Снова я на распутье. Не хочу лукавить перед собою, не могу учить тому, чему учил, но принять новое еще не могу. Анархизм питается контрреволюционными чаяниями, с одной стороны, темпераментом, с другой. Погромные статьи, что были за последние недели в «Анархии» [1], все поведение анархистов после разгрома федерации [2] — сплошная ставка на контрреволюционное восстание. Оставаться там дальше нет никаких сил. Но куда идти? Уж такая у меня мятежная душа, что куда-то все рвется, что, прильнув к одному,— живо стремится умчаться от него в поисках за более высоким, за новым. Это похвала себе, это нескромно, но это правдиво. Беспартийный... Правый

Д. А. Фурманов. Брат милосердия.
1915 г.

эсер... Левый эсер... Максималист... Анархист... (То синдикалист, то коммунист.) Коммунист-большевик... Где же правда? В котором же учении спасение революции? Каждый старается тянуть в свою сторону... А мне эта линия — ненавистна.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь»,— скажут коммунисты-большевики.

«Угнетенные всех стран, объединяйтесь»,— скажут пананархисты. Ну что это — не желание во что бы то ни стало сказать «свое», не то, что сказал вот он, хотя бы он говорил то же самое, совершенно то же самое, только другими словами?..

Может быть, тут «нюансы», оттенки имеются? Может быть, только ради этих оттенков совсем не следует и неразумно раскалывать рабочих и вести их разными дорогами.

Каждую крошечную группу, каждого отдельного «вождя» обуяла, затуманила мысль создать «свое» учение, «свою» школу, прилепить где-нибудь «свое» имя, самому показаться, самому продефилировать. Мне все это глубоко противно именно потому, что все эти пустые мечтатели, увлекая бреднями голодные массы, совершенно не считаются с тем — помогает это рабочей революции или нет. Им, этим хвастунам от революции, всего важнее оставить на столбцах газеты свое имя, сделаться, быть может, «историческою личностью». Если бы к этому идти, разумеется, на таком безлюдье можно было бы кое в чем и кое-где выдвинуться и прогарцевать по страницам газеты.

Но когда ставишь себе конкретную, осязаемую задачу практической борьбы, тут политическому хвастовству не место, тут надо вести живое дело, а не брехней заниматься. Эти вот кардинальные соображения и вывели теперь меня снова на распутье и раздумье.

Я смотрю на эти переходы от одного учения к другому как на этапы зрелости. Я зрею, крепну, утверждаюсь на революционном посту и иду все дальше, все дальше. Это в конце концов не важно, какое слово приклеишь на лбу. Кем бы я ни назывался, всю революцию я работал в теснейшем контакте с большевиками, вел с ними общую линию и чувствовал тяжесть

от того, что, говоря одно, делая одно — числился, жил где-то в другом месте. Я еще не знаю, куда идти: или остаться «независимым анархистом» и работать, как работаю все время, то есть как большевик, или же без обиняков, без дальних рассуждений — вступить в ряды коммунистов-большевиков и слиться всецело с рабочим движением?

Вас изумляет такая постановка вопроса? Она вам кажется смешной и наивной? Вы скажете, что тут скрещиваются два противоположных, может быть, враждебных учения? Нет. Думаю, что это сплошное недоразумение. В анархизме и большевизме нет элементов, взаимно исключающих эти два учения... Тактика большевизма, а тем более учение его — отнюдь не исключает возможности быстрого продвижения по пути к безвластному коммунизму. Только больше логики, больше твердости и смелости у большевиков. А что у анархистов? Никакой линии поведения, никакого чутья живой действительности — горькое, смешное желание сохранить во что бы то ни стало какую-то «самостийность», следуя той логике, что «неправильно все то, что сказано и сделано большевиками». Ни одному жизненному акту не дается жизненного толкования, все вверх тормашками, все «по-своему». И вижу я, что голодная, измученная рабочая масса все-таки чувствует правду, не бросает партию, которая изумительно борется все время революции. Отдельные элементы, правда, откололись, ушли. Но сочувствие, общее доверие рабочих несомненно с ними, как и мое сочувствие неизменно, все время революции было с ними, коммунистами-большевиками.

Вчера, то есть 1 июля, было заседание группы. Там присутствовали Ярчук и Максимов. Много было споров и разговоров по поводу истинного анархо-синдикализма и ложного, нежизненного. Я все гнул свою крутую линию, но чувствовал, что группа уже не со мной. На лицах блуждали иронические, несочувственные улыбки, когда я начинал говорить и отстаивать свою позицию. Все сочувствие было на стороне Ал[ек-

сандра] Яковлевича [3], а вместе с тем — Ярчука и Максимова. Я остался почти в одиночку. Ушел из группы еще Зильберт. И оставил вопрос открытым Павел Иваныч (Муравчиков).

Я — коммунист-большевик, если иметь в виду всю ту работу, что несу и веду за время революции. Всю революцию я рос политически и наконец дорос до более или менее ясного сознания своей кровной близости с научным коммунизмом.

Остается только пустой формальный акт оглашения. На это также требуется смелость, и смелость, пожалуй, немалая. Особенно же мне, перешедшему уже этапы правого и левого эсерства, максимализма и анархизма.

Да, это много. Но что же делать, когда невозможно разом найти свою сущность? И неужели оставаться и числиться, когда уже перестал верить? Нет, бежать и бежать немедленно. Мучителен только первый момент, только самое начало. Дальше будет легче...

Может быть, дальше будет и легче, но теперь смертельно трудно. Я весь день только и думаю, что про свое распутье; ни на минуту оно нейдет из головы. Запутался я совершенно и не вижу выхода. Я один, и не с кем посоветоваться, поговорить. Да и возможно ли тут вообще говорить и советоваться? Кто поймет, что у меня творится в душе? Я ведь и сам не разбираюсь — сумбур какой-то, борьба жестоких противоречий, оформление чего-то нового и отчаянное сопротивление старого.

Порою мне отчетливо ясно, что правда у большевиков и что надо безраздельно уйти к ним. А потом раздумье, потом сомненья, потом снова и снова путаюсь, ничего не знаю и не понимаю. Уйти к большевикам — значит, уйти в другой, совершенно новый мир. Там новая, марксистская идеология, апофеоз государственности, централизации, дисциплины и всяческой власти человека над человеком... Там свои приемы борьбы, против которых борются все анархисты. Я схожусь с большевиками во многом, но, к примеру, как быть с хлебной монополией, в которую не верю, которую не признаю? Защищать, не признавая ее? Но

я ведь не могу так слепо повиноваться, я люблю и чту абсолютную свободу, я хочу и буду думать сам, а не по мыслям других.

А ведь уйти к ним — это значит во многом связать себя обетом покорности, подчинения и молчания. Хватит ли меня на это? Едва ли... Ну, а если не хватит, снова уходить, снова мучиться в поисках новой пристани? Но тогда уж и пристаней-то не остается, кроме буржуазных, даже подумать об этом трудно: очутиться безо всякой надежды на пристань, ни в близком, ни в далеком будущем!

Если что зовет к ним — это неколебимая твердость, непреклонность, настойчивость в проведении намеченных целей.

Они создают пролетарское государство. Мы, анархисты, против государства. Но, может быть, здесь речь только о слове. Конкретно, на работе мы, быть может, будем вынуждены и сами строить лишь то, что строят большевики? Ведь оно часто так получается: говорят как будто и разное, даже противоположное, а на самом деле — одно, единое. Нет ли и в этом споре такого рокового недоразумения? Ведь жизнь не дает идти поперек законов развития и непременно выпрямит свою линию по единственно возможному руслу — созревшей, готовой суммы обстоятельств. «Долой государство!» — заявляем мы. А как будем строить новое общество? Да всего вероятнее так, как позволит жизнь, а не так, как сами захотим. Продвинуть, помочь, облегчить, разумеется, мы можем, но выкинуть какой-то артикул, скакнуть через жизнь — невозможно, запнешься, упадешь.

Вот анархисты борются против марксизма, как будто это сплошная ложь и ошибка. Во имя преклонения перед идеалом анархизма — отбросить, забыть эти законы немыслимо. Я не тверд, я многого, может быть, не знаю и не понимаю, но все-таки забыть и глумиться над тем, во что верю,— я не могу со спокойной совестью, хотя бы и ради высокого конечного идеала. Я весь запутался в противоречиях, я не знаю, куда примкнуть. Может быть, никуда не примыкать, остаться «независимым анархистом». Но эта «независи-

мость» не оказалась бы простой растерянностью, сумятицей, сплошным противоречием. О, если бы я мог охватить разом эти учения, разом увидеть pro и contra. Тогда я смело отошел бы, может быть, от обоих разом и создал третье. Но теперь, не зная путем ни того, ни другого, продвигаясь ощупью,— что я создам? Анархо-большевизм? Да, это было бы название, которое наиболее полно отражает в данный момент мое миропонимание и понимание дальнейшей борьбы. Двумя половинами души я в этих двух учениях. Одно исключает другое,— скажете вы. Для меня — нет. Может быть, и по незнанию, по невежеству, но для меня одно другое не исключает. Но если создать новое учение — к нему прежде всего необходим твердый, каменный фундамент, а я — я чувствую себя словно в трясине, твердого дать ничего не могу. Выйдя из группы, я должен ведь что-то сказать и сказать определенно, твердо, ясно: остаюсь анархистом или нет? А знаю я это сам? Нет, не знаю. У меня две души, а может быть и одна, только поровну рассеченная, поровну отданная тому и другому учению. Будет ли перевес и куда — это для меня такой же вопрос, как и для вас, спрашивающих.

Потом я, видимо, переутомился, страшно устал и не могу активно работать, как работал прежде. Апатия, лень, усталость, неопределенность. Не хочется ни за что браться. На текущей советской работе я еще могу остаться, но на творчество, на дерзание, на широкий размах уже не хватает сил. Это, разумеется, не разочарование, это не недовольство чем-либо и кем-либо — это усталость, плод непрестанной напряженности.

3 июля

Наше первое торжественное заседание было 1-го, в понедельник. 2-е — во вторник. Но на это второе я уже не пошел. Оно мне было чужим, делать там больше мне было нечего. Остался дома и все читал, писал, думал о том, о чем думаю теперь днем и ночью. Хотелось бы прочитать наскоро как можно больше, чтобы

лучше уяснить себе дело, но нет возможности. Кинешься к одному, к другому, третьему, но все, что читается наспех,— тут же и забывается, не переварившись как следует. Может быть, начать читать большие труды? Нет, не хватит ни времени, ни терпенья. А ведь прежде, чем сказать окончательное слово, надо и узнать окончательно.

Вот вчера вечером снова стало ясно, что уйти необходимо к коммунистам-большевикам.

...Всею своею работой за полтора года революции я на деле проводил идею коммунизма, называясь то так, то эдак. И теперь вижу, что поистине вредно и опасно судить о революционере по тому флагу и лозунгам, под которыми он идет. Я ходил и под красными, ходил и под черными знаменами и все-таки оставался все тем же коммунистом-большевиком на деле, как от этого ни отмахивался.

...Сам собой встает вопрос: для чего же и как попал я к анархистам? Эта ошибка еще была бы простительна темному рабочему, но мне, интеллигенту, простить этого легкомыслия нельзя. Каюсь,— легкомыслие было, и легкомыслие это питалось моим безудержно-торопливым характером, подчас губительной решимостью и стремительностью. Не продумал, не узнал, поверил на слово, настроение принял за убеждение, а мечтания за программу действий. Мы, переходя всею группой в лагерь анархистов, руководствовались, разумеется, святейшими помыслами, мы думали ускорить то дело, что совершено было в Октябре... Думалось и верилось, что анархизм укажет те пути, которые приведут к желанной цели. Я поддался общему обаянию, свихнулся сам, допустил непростительное легкомыслие и отдался этой работе. А раз отдавшись — стал затягиваться, начал даже и верить кое во что анархическое. Да и как не поверишь в конце концов, если литературу читаешь все анархическую и анархическую: газеты все анархические и анархические. В каком соку варишься, в таком и сваришься. Читал бы одну право-эсеровскую литературу — несомненно был бы правым эсером.

Я все время своей кочевки по партиям не чувство-

вал твердой базы. Теперь же, при приближении к научному коммунизму, я чувствую дыхание этого могучего, мраморного базиса — тут фундамент тверд, не заколеблется. Моя глубочайшая, непосредственная симпатия к коммунизму обнаруживалась за все время революции, и этой симпатии, инстинктивному тяготению следует придать особенное значение именно потому, что мною не было прочитано ни книг, ни брошюр порядочных — я все узнавал лишь по текущей прессе. С другой стороны, постоянно читая книги, брошюры и газеты анархистов, поддаваясь порою их обаянию — в минуты трезвого, спокойного размышления я неизменно расчислял все прочитанное как брехню, как доброе пожелание, как мечту. И никогда не верил всерьез тому, что там говорилось,— не верил, но увлекался, в этом последнем каюсь.

...Эти два учения — анархическое и марксистское — образно отразились в своих славных вождях — Бакунине и Марксе. Две львиные головы, два огромных ума. Один — бунтарь (и это название особенно характерно), разрушитель, неспособный органически на созидательную работу в ее простом, конкретном смысле. Другой — холодно-умный, осторожный аналитик исторических процессов. Его выводы непреложны и убийственны для каждого противопоставления. Там — бунт, здесь — борьба. И я, по природе своей склонный к бунтарству, поверил, что можно прожить одним этим качеством, одною своею нервозностью, одним устремлением к разрушению. Впрочем, здравый рассудок все время одергивал, а факты, нужды живой действительности — ставили в тупик на каждом шагу и задавали убийственные, сокрушительные вопросы. Я старался примирить непримиримое: будучи анархистом, признавать на деле и власть, и насилие, и угнетение наших классовых врагов. Это не вязалось с учением, но иначе поступать я не мог. Я еще не созрел до того, чтобы отряхнуть с себя анархические иллюзии, я все еще думал и верил, что их можно каким-либо образом приложить к жизни. Все оказалось плодом доверчивости моей мягкой души. Серьезного тут не было, и вполне понятно, что я сразу

впал в сплошное противоречие. Говорил, учил одному, а на деле выходило другое. Этому противоречию, этой невыносимой двойственности рано или поздно надо было положить конец. И этот конец теперь, видимо, положен. И положен невозвратно.

Когда Ярчук на собрании группы поставил прямо вопрос: «Так в чем же вы расходитесь, где линия, которая рассекает две половины единой группы? Есть ли нужда в расколе?» — когда вопрос был поставлен таким образом — я почувствовал громадное затруднение, я не знал на первое время, что сказать. Да и что было говорить? Про свою близость, про свой контакт с большевиками? Но ведь линия раздела между синдикалистами и чистыми коммунистами проходит совсем по иному месту, по иной группе признаков. Я затруднялся отвечать, ибо, отвечая полностью, в открытую, чистоганом — я должен был отвергать не только форму, но и сущность, против которой инстинктивно уже протестовал. Я ухватился было за «анархо-большевизм», как окрестил мои убеждения Черняков, но, по размышлении, вижу, что это слово не имеет права гражданства. Один из товарищей [*неразборчиво*] взялся рассказать то, что произошло. Начал он издалека: Дм[итрий] Андр[еевич] был нашим вождем. Мы ему верили, считались с ним, как ни с кем другим, и пользовались его помощью. Он нам читал, разъяснял, указывал... Все шло хорошо. Потом в Москве расстреляли, разгромили анархистов. Он был там в эти дни, а по приезде — сделал два публичных доклада. Там он пытался как бы оправдывать большевиков. С того времени мы ему перестали верить и стали относиться без прежнего внимания. В группе что-то треснуло. Мы остались как бы одни, потому что ему больше уже не доверяли, Ал[ександр] Як[овлевич] вышел, а сами разобраться мы не умели. Дм[итрий] Ан[дреевич] во всем и всегда старался благожелательно относиться к большевикам. Мы же этого не признавали. Он нам говорил про анархо-синдикализм, и мы спервоначалу верили, что этому именно и учат анархо-синдикалисты. «Но

что же это за ученье?» — порешили мы и отошли от него. Отошли и стали считать себя коммунистами, которые в газете «Анархия» смело боролись с большевиками. Теперь же после ваших слов, мы видим, что и ан[архо]-синд[икали]зм против большевизма, а потому и мы теперь снова будем синдикалистами...»

Товарищ на этом кончил. Стали каждого опрашивать — кто он. Я и Зильберт вышли. Муравчиков и Сидоров воздержались, остальные, человек двадцать, назвались анарх[о]-синдикалистами-коммунистами. Едва ли они разбирались в этом.

Все тверже и тверже вступая по платформе марксистского коммунизма, я уже не только не жалею о том, что был одно время в рядах анархистов, но, наоборот, радуюсь этому, с известной точки зрения.

Я, видимо, навсегда уже стряхнул с себя обаяние всяких увлекательных теорий в революционной борьбе, они меня уже не увлекут, не собьют. Желания останутся у меня в мечтах, в помыслах, а бороться, работать буду с фактами в руках, а не с иллюзиями и благопожеланиями. Поэтому я пожелал бы каждому неотвердевшему революционному марксисту побывать в рядах мечтателей, пожить с ними, повариться в их соку, чтобы вырваться оттуда как ошалелому, чертыхаясь и проклиная...

Когда оглянешься назад — немножко смешно, немножко стыдно, а в общем — полезно. Хороший урок получил я от этих братаний по партиям и группам. Прямо интеллигент без классовой базы. Шарахаюсь из стороны в сторону.

Теперь прибило к мраморному, могучему берегу — скале. На нем построю я свою твердыню — убеждение. Только теперь начинается моя сознательная работа, определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба с классовым врагом. До сих пор это было плодом настроений и темперамента; отселе это будет еще — и главным образом — плодом научно обоснованной, смелой теории.

5 июля

Пришлось пару слов сказать с Любимовым. Он, конечно, обрадовался, когда узнал, что перехожу к коммунистам. Даже поздравлял Валерьяна [1]. Я отправился в редакцию. К счастью, мое заявление о выходе из группы анархистов не было еще отпечатано. Оно было такого содержания: «Заявляю о своем выходе из местной группы анархистов, так как не схожусь с группою по целому ряду крупнейших вопросов, главным образом в вопросах об отношении к Советам и партии коммунистов-большевиков». Теперь, после того как было уже заявлено некоторым товарищам о симпатии к большевикам и даже о твердом желании войти в партию, не было нужды дальше таиться. Я воспользовался тем, что заявление еще не было отпечатано, и взамен старого, ранее данного, дал новое, следующего содержания:

«Заявляю о своем выходе из группы анархистов и о вступлении в организацию коммунистов-большевиков».

Это заявление сегодня появится на страницах «Раб[очего] края» [2]. Будут вопросы, запросы, насмешки, подозрения, восхищения...— все будет. Но раз твердо решившись — я сделал свое. Были и колебания, была неуверенность, но события, думы, разговоры — гнали меня неизбежно к берегу коммунизма. Не хватало только смелости заявить открыто. Теперь все кончено. Теперь Дм. Фурманов — коммунист-большевик.

Чувствую еще некоторую растерянность, нетвердость, словно после оглушительного удара. Я еще не соображу всего разом, никак не взвешу, не обдумаю. Произошло ведь со мною событие колоссальной важности: я причастился того учения, которое не осмеливался назвать своим, выполняя его самым усердным образом в течение всей революции. Теперь я весь повеселел, сделалось легко, свободно. Но еще войти с

головой в новую среду я не могу, робею. Я даже не смею еще назвать себя коммунистом-большевиком. Слишком ново, слишком торжественно, празднично, значительно. Не одумаюсь, не оправлюсь никак. Хочется работать, работать, работать. Откуда-то взялись новые силы, свежая бодрость, огромное желание без устали трудиться.

13 августа

Как я затягиваю петлю

Понемногу я начинаю затягиваться в семейную жизнь, начинаю входить в положение «мужа».

...Мне хочется привить [Нае] пролетарскую чистоту, прелесть размаха, ширь этого размаха; привить презрение к будничности и вечное устремление к празднику жизни. Эти качества отнюдь не исключают ни женской целомудренности, ни самой женственности, ни стремления к изяществу. Всему своя грань, свой предел. Этот предел постигается точно или не точно благодаря уже личным качествам и достоинствам. Мне хочется воспитать Наю как общественную работницу с тонкою духовною организацией, с неизменно благородными порывами, не оскверняемыми мелкой мещанской пошлостью...

25 сентября

Теперь пришел к разрешению вопрос большой важности. Вопрос, над которым я долгими часами раздумывал, который все время точил мои мысли. Вопрос с Красной Армией. Долго я носил в душе мечту о поступлении в ряды Рабочей Армии, теперь эта мечта должна осуществиться. Нечего оттягивать дни — вопрос должен быть разрешен завтра же.

Мало теперь только одной любви к рабочим, мало одного сознания, что у тебя все самое святое и дорогое в защите угнетенных, обездоленных людей... Надо на деле показать, что ты во всякую минуту с ними и

всегда готов бороться за их дело, на служение которому теперь ушло все, что есть честного и благородного. Наступил момент — пора покончить дело с мещанством и будничностью — надо твердо заявить: я борец в нашей армии, я борец за наши идеалы.

В такую бурную годину неужели я могу спокойно учиться, читать, сидеть дома и чувствовать, что там без тебя совершается великое дело, где работники трудятся не покладая рук, где борцы сражаются, не жалея жизни. А ты думаешь позорно бежать от рабочих,— бежать, чтобы сытнее прожить. Это удел мелких людишек, а не нас, которым защита рабочих интересов дороже своих мелких, будничных забот. Вчера вдохновенный Фрунзе своими огненными словами укрепил во мне правдивость моих взглядов и стремлений, и теперь я, бодрый, полный сил, буду ждать дня, когда с винтовкой в руках я встану в ряды борцов за великое освобождение трудящихся.

Нам смерть не страшна: красивей этой смерти — смерти нет.

10 октября

Аня

Долго ничего не писал про тебя. Да за последнее время вообще мало писал я в дневник. Кончил огромную статью про интеллигенцию, но в газете она займет 3—4 глубоких подвала и потому Воронский[1] не берет. Пустим в журнале. Были еще статьи, были записки, но все это не для дневника, все это не личное... Я снова ушел в работу лишь только расстался с тобой[2]. Работа меня поглотила и успокоила, то есть именно волнением своим, своею постоянною тревогой успокоила. Лучше сказать, и не успокоила, а отвлекла, дала совершенно иное направление моей тревоге. Я с тобою много и глубоко страдал. Это были страдания личной жизни, страдания любви. Теперь этих страданий нет совершенно, ибо нет тебя. Вот уже второй месяц, как ты уехала. Я получил и письма и твои телеграммы. Я из них узнал, где ты пробираешься, как

ты измучилась, я из них увидел, что еще долго-долго не дождусь тебя.

Мне на минуты становилось тяжело, но только на минуты.

Сейчас же мысли увлекались каким-либо организационным планом, сейчас же передо мною начинали колыхаться волны фабричных рабочих, я уходил в их жизнь, о них только думал, с ними все и всех забывал. Я так полюбил этот мир, я так глубоко ему предан, что самая короткая разлука с рабочими мне будет тяжела.

И вот твои письма и телеграммы захватывали меня на минуты, потом я снова отдавался любимым мыслям про любимое дело.

Но сегодня вдруг я стал тебя вспоминать, остановился над тобою. Это симптоматично. Значит, скоро приедешь. Для меня это предчувствие так же бесспорно, как и то, что было в июне, когда я ждал, все ждал тебя и верил твердо, что скоро приедешь. Тогда я не видел тебя долгие месяцы, не имел никаких вестей и все-таки ждал тебя на деревенский отдых. Я не ошибся, ты приехала. Мы ушли к деревенским широким полям, ушли к зеленому лесу, к серебряной реке... Эти дни не забуду. В них бездна счастия и блаженства...

13 октября

Наша семейная жизнь

Мы живем весьма просто, весьма дружно, весьма голодно, а к тому же и весело. Просто по привычке, потому, что никогда не приходилось барствовать и царствовать, мы всегда чувствовали себя людьми не аристократического тона. Семья [1] очень дружная, некому скандалить... Мама прекрасный человек; у нее удивительно добрый, товарищеский характер. Она всегда душой и мыслью с нами и только с нами. Вместе голодуем, вместе и чокнемся (в год 2—3 раза).

Мы голодаем. В этом отношении мы живем весьма неважно, хуже многих и многих семей. Даже бедней-

шие семьи живут лучше нас. Где-либо в рабочей семье работает 3—4. Теперь это значит в месяц 1400—1800 руб. А у нас? До сих пор я работал один. Отдавал в семью 300—400 руб. Теперь отдаю 500, но много ли это? Теперь еще работает Софья, но недавно и ничего еще не дала, ничем почти не помогла. Живем страшно бедно и голодно... А ведь этому, пожалуй, никто не верит. Все думают, что я как советский работник достаю всего вволю, а след[овательно], достаю и семье. Ошибаются, злые люди. Ничего мы себе не берем, хотя и могли бы добыть. Живем так, как живут и голодают все бедняки. Даже много хуже, даже сильно бедно живем — ибо, кроме всего, у нас немало долгов. Но живем весело, не унывая. Много этому помогает, конечно, хороший, веселый, добрый характер милой мамы. Она как-то умеет проходить мимо будничных мелочей, не тревожится ими, не обнаруживает совершенно мещанскую заботливость по каждому пустяку. Великолепный, милый у нее характер. С нею всегда легко...

Сережа надумал идти в Красную Армию, вдохновленный недавно речью М. В. Фрунзе... [2]

Я обещал ему во всем помочь, обещал поговорить с мамой. Он скоро уедет, а с мамой я уже переговорил. Когда я сказал: «Мама, я вам хочу сказать о Сереже»,— она насторожилась, перепугалась чего-то, в глазах отразилось сильное, глубокое волнение. Я рассказал ей, в чем дело, успокоил, указал на законность этого желания, на неизбежность: нечего тут удерживать, даже если бы и хотели того — все равно уйдет. Она несколько примирилась. На следующий вечер часов в 11 мы за столом затеяли разговор про Коммунистическую партию, про ее учение, про всю нашу тяжелую борьбу. Я говорил часа 1,5—2 про нашу правду. Они (Соня, мама, Сережа, Настя) — со всем соглашались. А Соня и Сережа захотели во что бы то ни стало вступить в ряды членов нашей партии.

Я их убедил, я им рассказал все в простых, понятных словах, и это все им стало совершенно ясно, влекло к себе неудержимо. Тут же коснулся и Сережи, говорю, что делает, мол, прекрасное, великое дело —

идет помогать рабочим в их борьбе за хлеб и за волю. После этой беседы мама, по-видимому, окончательно успокоилась и признала, что идти ему следует, а препятствовать не годится.

Он уйдет. Сережа скоро вступит к нам. Мать и крошечная сестричка — несомненно проникнуты к нам глубочайшим сочувствием. Словом, можно сказать определенно, что вся семья стала большевистской. Иногда мы вспоминаем отца, предполагаем, что было бы, если б он был жив. Сходимся на том, что мне пришлось бы уйти из дому и разойтись с отцом круто и окончательно. И старший брат... и он проникнут всяческим участием и симпатией к нашей борьбе. Он скоро уезжает в другую губернию и там обещает работать в Совете, в полном с ним контакте. Так живет наша семья. Во время революции — она совершила грандиозную эволюцию в смысле сознательности, полевения, облагораживания. У нас разногласий нет совершенно. Вот почему живем мы легко, дружно и весело.

5 ноября

Октябрьская година

Эти последние дни аллах знает, что творится у нас в партийном к[омите]те. Со всех концов губернии идут и едут ходоки — за советами, за планами, литературой, листовками, воззваниями, плакатами, портретами, красной материей...

Приглашают прочитать лекцию, провести митинг, какое-нибудь собрание, выступить на открытии клуба, рабочего театра, какого-нибудь общества...

Телефон звонит беспрерывно, все время идет разговор с уездами и с местными фабриками... Теперь идут всюду собрания, собрания, многолюдные, последние: распределяются силы, вырабатываются окончательно планы, указываются дни, часы и проч.

...Оживление невероятное. Я уже два дня не могу попасть обедать. С утра как волчок — до поздней ночи. В к[омите]те грязно и сорно, словно в трактире: на полу кипы газет, воззваний, листовок... Сор и песок целыми дюнами так и движется с места на место...

Все движется, все торопится... А по городу — всюду настроены ворота, трибуны, свезены целые возы ельнику, все убрано красным ластиком.

...Спешно навешиваются последние полосы красной материи, спешно приколачиваются, обвиваются, как змеи вокруг столбов... И всюду восторженные часовые... Завтра город загорит огнем — полымем революционного торжества. Завтра по фабрикам митинги, вечером лекции о годовой пролетарской диктатуре... Эти дни — несомненно величайшие дни. И не только потому, что мы празднуем годину своей победы. Нет, эти дни знаменательны тем, что одна сила теперь как никогда стремится обогнать другую: сила реакции силу революции и наоборот. Союзники отовсюду скачут карьером на Советскую Россию... Есть слухи о беспорядках в Питере... Да неспокойно и во многих других местах... Пугают восстанием и здесь...

С другой стороны — освобождены Либкнехт и Адлер, расстрелян ненавистный Тисса[1], Венгрия провозгласила себя социалистической республикой... Это уже много значит, это значит, что западные братья пробудились... Кто-то обгонит: революция или реакция?

8 ноября

День ангела — 26 окт. — 8 ноября 1918 г.[1]

Люблю отмечать этот день — словно веху ставлю в жизни, словно запятую создаю, с тем, чтоб двинуться дальше. Где был прошлый год, где буду на следующий? Теперь это особенно занимает: где будущий год встречу я день своего ангела? Это не праздный, не беспочвенный вопрос! 3—4 года назад он, может быть, и был таковым, а теперь иное. Грозы, беды вьются над нами словно коршуны. Назавтра такое может случиться, о чем сегодня и мысли нет. Мы живем во дни удивительных явлений — небывалых, непредвиденных, как бы совершенно случайных; мы живем во дни катастрофического, ураганного периода исторического развития. Ход истории дан полный, дальше запасу уж нет, пары выпускаются залпом, единовременно.

Эти интереснейшие, содержательнейшие дни — в то же время, разумеется, и опаснейшие дни — в личном, крошечном смысле. Цену человеческой жизни и даже личности мы свели к нулю — тем выше подняли мы цену любого крошечного общественного явления. Мы изничтожаем налево и направо, круто, нещадно расправляемся с людьми, но — нежничаем, братаемся с каждым крошечным фактиком, который может нам с какой-либо стороны оказаться полезным.

Общественная жизнь взмахнула на самый гребень — дальше двигаться некуда. Вот и ставлю вопрос: в этом беге — куда умчит меня общественная волна? Страшно интересно. А узнаю только через год. Э-эх, долго.

13 ноября

Я — секретарь губернского комитета РКП, то есть человек, который, по-видимому, должен все знать подробнее, глубже, полнее простых смертных, который должен многое-многое узнавать раньше других...

25 ноября

Трудность работы

Мне одному работать страшно трудно. Приходится думать за оба к[омите]та: губернский и городской — там тоже некому работать. Такая уйма дела, что начинаю заматываться. Работаю до глубокой ночи, так что даже некогда и почитать. Вот уже несколько месяцев не приготовил ни одной новой лекции. Горько, трудно, но вместе и радостно.

* * *

Ная

Наю ждать перестал, изверился окончательно. Подумываю уж о том, чтобы около рождества взять месячный отпуск и отправиться ее разыскивать. По-

бывать в Екатеринодаре, поспрашивать. Попадусь в лапы белогвардейцам — не пощадят, расстреляют.

1 декабря

Ная

Куда направиться, если что случится,— к маме или Нае? Этого еще и сам не знаю. Из Екатеринодара вести одна другой печальнее [1], и судьба Наи под большим вопросом. Только одно узнать бы: жива ли? И где бедная мать, где страдалица Катерина Ивановна? [2] Вместе они или нет? Искать Наю едва ли поеду: слишком трудна эта затея, много препятствий. На работе заменить совершенно некому. Пути хорошенько не представляю; ехать, можно сказать, не на что; опасность попасть в лапы белогвардейцам огромная.

И из-за чего попасть, из-за чего погибнуть — из-за личного дела? Это недостойно революционера. Общественной подкладки здесь нет, исключительно свое, исключительно узко личное: поиски любимой женщины. А ведь голова моя еще нужна, несомненно нужна тем, за кого стою. И если понадобится принести себя в жертву святому делу — полагаю, что не дрогнет душа. Я часто спрашиваю себя: хватит или нет у меня мужества погибнуть за дело революции — и всегда убеждаюсь, что хватит...

...Жду и жду Наю. А ее все нет, она все не едет. Скучно одному... В душе живет неколебимая вера, я сам питаю, поддерживаю ее: Ная приедет, и приедет скоро!

16 декабря

Опасная командировка

Губ[ернский] к[омитет] партии, согласно запроса окружного военного комиссара [1], командирует меня в Ярославскую губернию для срочных работ среди артиллерийских частей, в ближайшее время отправ-

ляющихся на фронт. Там неспокойно. Части, батареи — с политической, да как будто и с военной стороны — ни к черту не годны. В течение 2—3 недель предстоит сместить негодных командиров и поставить своих; провести митинги, организационные собрания, создать ячейки и т. д.

Политически эти части совершенно не воспитаны. Бунтуют, протестуют, отказываются идти на фронт, нередко совершенно и целиком разбегаются. Кажется, уже были случаи убийства.

Командировка жуткая[2], захватывающая, интересная. И к тому же — страшно ответственная. Мне поручают большое дело, трудную задачу. Выполню или нет? И радостно и жутко кинуться в эту бушующую, черную пучину бунтующих людей. Сегодня словно приговаривали меня, отправляя на трудное дело. Спасибо, братцы, за доверие! Постараюсь оправдать ваши надежды.

1919 год

9 января

...Я уезжаю на фронт... Мы едем туда на большое, ответственное, опасное дело. Фрунзе назначен командующим 4-й армией. Меня пригласил ехать вместе с собой. Партийный комитет скрепя сердце отпустил и благословил. Теперь все кончено. Через несколько дней уезжаем [1]. Какую там буду вести работу, пока точно не знаю, но полагаю, что ту же, что вел за эти две с половиной недели своего политического скитания по Ярославской губернии: агитация, пропаганда, организация, налаживание всевозможных контактов, смещение и назначение различных политических ответственных работников и т. д. Едем куда-то на Пермь, а может быть, и в другое место: пока что питаюсь лишь слухами...

Оставляю дорогое Иваново. Сколько тут было положено труда, сколько тут было пережито радостей и страданий! Здесь впервые получил я политическое крещение, здесь понял правду жизни, осветил ею свою юную душу и загорелся...

Вот уже скоро два года, как горю, горю, не угасая. Как робки, неопытны были мои первые революционные шаги! Как тверды, спокойны, уверенны они теперь! Неизмеримо много дали мне эти два года революции! Кажется, целую жизнь не получил бы, не понял бы, не пережил бы столько, сколько взято за время революционной борьбы. Все самое лучшее, самое благородное, что было в душе, все обнажилось, откры-

лось чужому горю, чужому и собственному взору. Открылись новые богатства, о которых прежде не думал. Например, умение говорить, ораторские способности — прежде как-то совершенно не замечал. Теперь они, эти способности, развиваются и крепнут. А я радуюсь их расцвету, с ними цвету и сам.

И теперь, оставляя тебя, мой родной черный город, я жалею об одном — что не буду жить и работать среди рабочей массы, среди наших твердых, терпеливых, страдающих пролетариев. Привык, сросся я с ними. И отрываясь — чувствую боль. Вернусь ли? А если вернусь — когда, при каких условиях, кого застану, кого не будет? Прощай же, мой черный город, город труда и суровой борьбы! Не ударим мы в грязь лицом, не опозорим и на фронте твое славное имя, твое геройское прошлое. Мы оправдаем название борцов за рабочее дело и все свои силы положим и там, как клали, отдавали их здесь, у тебя. Неизмеримою радостью ширится душа. Тихою грустью разлуки томится, печалится она. Прощай же прошлое — боевое, красивое прошлое! Здравствуй, грядущее, здравствуй, новое, неизведанное — еще более славное, еще более прекрасное!

23 января

Наш отряд

Наш отряд отправится что-нибудь около первого числа. Он прикомандировывается к 4-й армии, где командование поручается т. Фрунзе. Сегодня получены вести, что убит там Линдов[1], заведывавший при армии, кажется, агит[ационно]-просв[етительным] отделом... Мы едем на такую же опасную работу. Дух захватывает, когда подумаешь, за что и на что идешь. Сердце горит радостью, гордостью и каким-то прекрасным ужасом перед черной бездной неизвестного.

Фрунзе меня не хочет отпускать от себя, предлагает все время работать вместе. Я, разумеется, согласен, ибо люблю его нежно, как девушку.

20 февраля

Мой план

Отсюда, когда закончится работа, тронуться куда-нибудь вдаль, по странам мира. Поехать в Японию, в Индию, а там — океаном куда-нибудь еще дальше. Затем вернуться в Европу, побыть в западных странах и потом... потом вернуться в родную семью.

Застану ли кого? Мама уж будет глубокой старушкой. Ребята — взрослыми людьми. Не узнают меня, обрадуются. А у меня позади уж будет целая серия жизненных буранов. Приеду все обдумать, взвесить, оценить в спокойствии. Вот мечта...

26 февраля

Чапай

Здесь по всему округу можно слышать про Чапаева и про его славный отряд. Его просто зовут Чапай. Это слово наводит ужас на белую гвардию. Там, где заслышит она о его приближении, подымается сумятица и паника во вражьем стане. Казаки в ужасе разбегаются, ибо еще не было, кажется, ни одного случая, когда бы Чапай был побит. Личность совершенно легендарная. Действия Чапая отличаются крайней самостоятельностью; он ненавидит всевозможные планы, комбинации, стратегию и прочую военную мудрость. У него одна только стратегия — пламенный могучий удар. Он налетает совершенно внезапно, ударяет прямо в грудь и беспощадно рубит направо и налево. Крестьянское население отзывается о нем с благодарностью, особенно там, около Иващенковского завода, где порублено было белой гвардией около двух тысяч рабочих.

В случае нужды — Чапай подымает на ноги всю деревню, забирает с собой в бой всех здоровых мужиков, снаряжает подводы. Я говорил с одним из таких «мобилизованных»: ничуть не обижается, что его взял Чапай едва не силой.

«Так, говорит, значит требовалось тогда — Чапай не ошибается и понапрасну забирать не станет».

Крайняя самостоятельность, нежелание связаться с остальными красными частями в общую цепь повели к тому, что Чапай оказался устраненным. Кем и когда — не знаю. Но недавно у Фрунзе обсуждался вопрос о том, чтоб Чапая пригласить сюда, в нашу армию, и поручить ему боевую задачу — продвигаться, мчаться ураганом по Южному Уралу, расчищая себе дорогу огнем и мечом.

Ему поручат командование отдельной частью, может быть, целым полком. Высказывались опасения, как бы он не использовал своего влияния и не повел бы красноармейцев, обожающих своего героя, на дела неподобные. Политически он малосознателен. Инстинктивно чувствует, что надо биться за бедноту, но в дальнейшем разбирается туго. Фрунзе хотел свидеться с ним в Самаре и привезти оттуда сюда, в район действий нашей армии.

Через несколько дней Фрунзе должен воротиться. С ним, может быть, приедет и Чапай.

* * *

Безделье

В общем, говоря по сердцу, бездельничаю. Тут одно время, несколько дней, как будто и кипела работа с торжеством, но теперь снова все притихло. Жду Фрунзе, что скажет и куда назначит он сам. А сейчас — сейчас пока ничего не делаю. Время идет от завтрака к обеду, от обеда к ужину... Ложусь обычно рано, встаю очень рано, часов в шесть, шесть с половиной. Читаю, пишу, но политической работы не веду совершенно. Чувствую, что она меня сильно утомила, главным образом своей неопределенностью, разбросанностью. В сущности говоря, не знаешь, на чем сосредоточиться. На все раскидываешься, и получается всюду мелко. А хотелось бы крупнее. Мало багажу, а запасти его раньше не удалось. Теперь же запасать не удается — вообще-то некогда, а в такие вот часы и

дни, как теперь, не хочется. Урывками не люблю, а упорно и систематически не позволяют обстоятельства. Порою тянет к систематической, усидчивой университетской работе. Но знаю, что гром битвы не дает ни минуты покоя, что назавтра же потянет меня неудержимо к рабочим, на красный фронт, к голодным и замученным борцам; потянет на наши митинги и беседы, во все наши организации. И раздваиваешься.

* * *

С позиций

Ребята вернулись с позиций, завтра едут туда на постоянную работу — Игнатий и Шарай [1]. Настроение там прекрасное. Люди сжились с опасностью и чувствуют себя спокойно под свистом пуль. Враг, видимо, концентрирует силы и готовится нанести удар, отнять Уральск. Кто предупредит ударом, не знаю, но мы на этих же днях должны предпринять нечто решительное.

27 февраля

Назначение

Получена телеграмма: Фрунзе предписывает ехать к Чапаеву в Александров-Гай и поставить там политическую работу во вновь формирующейся дивизии. Имеется уже приказ. Завтра думаю выезжать. Работать плечом к плечу с Чапаевым — задача весьма занимательная. Он личность незаурядная, спать не любит, и думаю, что наша новая дивизия скоро пойдет в работу.

5 марта

Степь

Эх, какая она красавица, степь! Я видел ее и в светлый солнечный день, и звездною ночью. Уж появились проталины. Чернеют бугорки обнаженной зем-

ли. В иных местах лошади еле протаскивают: беспредельная снежная простыня. Небо сливается со снегами, вдали темнеют села. Они попадаются редко. По большой дороге их не встретишь верст на двадцать пять — тридцать. Села огромные, население в них достигает двадцати — двадцати пяти тысяч. Плодятся и множатся сами по себе — даже невест в другие села почти совершенно не выдают. Жизнь покойная, привольная, сытая. Теперь тревожно.

7 марта

Работа в Алгайской группе

5 марта пришел в политотдел бригады и был в большом затруднении относительно плана предстоящей работы. Не знал, с чего начать. Фрунзе формулировал мои обязанности таким образом: «Отправляется для ведения политич[еской] работы в Алгайской группе» [1]. Здесь имеется политком, он же завед[ующий] политотделом бригады, т. Ефимов. По его словам, тут уже все имеется, ячейки и комиссии существуют, собрания и митинги проводились в достаточной степени. Выходило так, что мне, пожалуй, тут и делать совершенно нечего. Два дня, 5-го и 6-го, прошли в собирании всяческих сведений о состоянии работы, в ознакомлении с работниками, расположением, численностью войск и ближайшими оперативными планами. На 7-е назначили митинг, где буду выступать. Сегодня же, 7-го, через политкомов постараюсь войти в ячейки полков и на деле убедиться в постановке работы.

Надо сказать, что здесь вести чисто политическую работу слишком трудно. Части стоят больше на передовой линии, рассыпавшись по избам, ожидая ежеминутно казачьих налетов или сами выступая активно. В Алгае также обстановка неблагоприятная. Состояние все время тревожное, подготовляемся к наступлению всею 4-й армией в эти ближайшие дни. Наша задача — овладеть Сломихинской, находящейся от Алгая верстах в восьмидесяти. По пути к Сломихинской

в Бай-Тургане и Порт-Артуре уже были схватки, для нас мало удачные.

Тов. Ефимов правильно заметил, что тут для политического работника самой лучшей агитацией является участие в цепи, в передовой линии во время боя. И действительно, красноармейцы уважают лишь тех политических работников, которые не покидают их во время опасности, которые разделяют с ними все горести и беды военной жизни.

И теперь, приступая к ознакомлению и налаживанию главным образом партийной работы — я имею в виду непременно принять участие в одном из ближайших боев. Ночью, когда об этом думал, вставали, рисовались мне фантастические картины героизма. Потом мученичество, слава, скорбь дорогих, близких людей. А они, безвестные герои,— думают ли они об этой декоративной стороне героизма?

8 марта

Обстановка

Обстановка такова, что политическую работу вести совершенно невозможно. Через день-два ведем общее наступление. Уж разработан план действий, все части сегодня выступают на позиции, завтра выступает лишь 2-й батальон Интернац[ионального] полка, который будет служить резервом. Сейчас на улице невообразимое оживление: шум, крик, лязганье оружия, грохот уезжающих орудий, ржанье лошадей, вой верблюдов, работающих в обозе. Верблюды заполнили всю улицу перед нашим домом — их несколько сотен, навьюченных, снаряженных. Начальник бригады отдает последние приказания и разъяснения отъезжающим командирам частей. Неужели он изменник? И неужели все эти распоряжения — всё звенья в цепи предательского плана? По нем как-то этого не видно, даже подозрение отпадает и рассеивается, когда посмотришь ему в лицо. Андросов его фамилия. Бывший полковник, человек, хорошо знающий свое дело. Мы

едем завтра. Вперед себя отправляем верховых лошадей, сами едем в повозках.

Что-то будет? И как вообще закончится эта операция? Вернемся ли мы и все ли вернемся? Может быть, многих-многих уж не досчитаемся в своих рядах. Дело предстоит большое и, видимо, жаркое. Казаки дешево себя не продадут. К тому же у них несомненный численный перевес. Мы берем пока что революционной стойкостью, преобладающей инициативой и превосходством оружия, главным образом пулеметов. Из соседней, 30-й дивизии, из-под Уральска, получены хорошие сведения: наши заняли Щапов, Железнов и еще какое-то место. Значит, там операции уже открылись, дело за нами. Ну, со знаменем вперед! Да будет с нами красная сила! Да будет с нами революционная бодрость, пролетарское терпение и пролетарское мужество! Жизни жаль. Еще хочется, страстно хочется жить, но за великое дело можно отдать и этот лучший, самый ценный дар — свою жизнь.

Словно перед смертью, встают и не встают, а мчатся образы и картины прошлого. Встает семья — далекая несчастная мать и две сестренки [1]. Полуголодные, в нужде и лишеньях, затерялись они где-то в чужой стороне, в Крыму, в незнакомом большом городе. А Сережа, любимый братишка, он где? Хотел ехать на Украину, добывать хлеб нашим голодным рабочим. Где он? Где ты, Сережа? Чувствуешь ли, что в эти серьезные минуты вспоминаю и думаю о тебе. Да будет с тобою красная сила! Борись, ты встал на правильный путь, из тебя вырабатывается благородный человек-борец! А ты, сто-несчастная сестра, не видевшая в жизни счастья и радости от любимого человека [2],— ты что, все пишешь, верно, где-нибудь в райкопе и райтекстиле?

Аркаша, вспоминаю и тебя, не революционера по душе, но хорошего, честного человека...

А нянечка...[3] Но ведь нянечки уже нет, нянечка умерла... Старушка успокоилась, прежде чем все мы успели разлететься в разные стороны... Мир праху твоему, любимая подруга детства, добрая старушка няня! Тут вся семья, семья по крови... А то еще и дру-

гая есть у меня семья — семья нежной юношеской любви, сладострастных наслаждений, упоительных грез, первых ранних мучений, весенних сказок, стихов и сновидений. Много было красивых картин, много пережито было сказок любви, но теперь, когда все минуло, осталась у меня одна только любимая фея-сказочница — голубая Ная.

Уж давно нет у меня о ней ни весточки, я не знаю, затерял ее, перестал верить, что увижу снова. И нечего больше сказать, все осталось, как два, как четыре, шесть месяцев назад. Тебя все нет, а я все жду и где-то в глубине души еще все теплится надежда, что увижу, увижу тебя.

А обозы все движутся бесконечною вереницею. Пустеет Алгай, уходят последние части. Через день загремят орудия, откроется страшный решающий бой. Все мысли мчатся туда, вперед, к этому роковому дню. Что там будет? Кто победит? Кто будет жив, кто останется на бранном поле?

9 марта

Чапаев

Вчера поздно вечером у Андросова, комбрига, собралось человек пятнадцать — двадцать. Это была последняя, прощальная вечеринка. Сознаться, было скучно. Вернулись часа в три. Только что разделись, явился вестовой и известил, что приехал Чапаев. За ним были посланы на станцию подводы. Но пока что время затянулось до шести часов. Я не дождался, заснул.

Утром, часов в семь. я увидел впервые Чапаева. Передо мною предстал типичный фельдфебель, с длинными усами, жидкими, прилипшими ко лбу волосами; глаза иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный. Росту он среднего, одет по-комиссарски, френч и синие брюки, на ногах прекрасные оленьи сапоги. Перетолковав обо всем и напившись чаю, отправились в штаб. Там он дал Андросову много ценных указаний и детально доразработал план завтрашнего выступления. То ли у него быстрая мысль, то ли навык имеется

хороший, но он ориентируется весьма быстро и соображает моментально. Все время водит циркулем по карте, вымеривает, взвешивает, на слово не верит. Говорит уверенно, перебивая, останавливая, всегда договаривая свою мысль до конца. Противоречия не терпит. Обращение простое, а с красноармейцами даже грубоватое...

Я подметил в нем охоту побахвалиться. Себя он ценит высоко, знает, что слава о нем гремит тут по всему краю, и эту славу он приемлет как должное. Через час с ним еду на позицию, в Казачью Таловку, где стоит Краснокутский полк. Завтра, в восемь утра, общее наступление.

«Меня, говорит, в штабе армии не любят и считают даже врагом советской власти, хотя я в партии коммунистов состою уже более года. А это вот почему. Когда мне приходилось спасать Пугачев[1] и Саратов, там, в Пугачеве, Совет работал плохо. А надо было бороться с белогвардейцами и экстренно мобилизовать крестьян. Вот я и стал все это делать сам, потому что делать было необходимо, а делать некому. Ну, пошли кляузы да поклепы — там, в штабе, и взъерошились. Да и до сих пор не могут изменить мнения, хотя уж и убедились, что я борюсь за Совет. Ничего, рассеется, да и мало меня это беспокоит. С товарищами я лажу, они меня знают и любят...»

11 марта

Сломихинский бой

Девятого, часа в два дня, мы отправились из Алгая в Порт-Артур. Чапай и Потапов[1] ехали парой, я поспевал на своем Киргизе, сзади сопровождали трое конных. Ехали крепко, в Каз[ачьей] Таловке были через три с половиной часа, а тут всего сорок верст. Таловка была совершенно переполнена: улицы запружены были артиллерией, обозами, конными всадниками; разрушенные хаты были набиты битком красноармейцами. Ревели верблюды, гикали скачущие всадники, кричали, шумели красноармейцы. У костров грели чай,

шутили, смеялись, пели песни. Потом одна за другой части начали выступать к Порт-Артуру. Переутомленные, мы все уснули, а часа в четыре с половиной поседлали лошадей и тронулись в путь. Было свежо и полусумрачно, чувствовалась близость рассвета. Мы ехали голой степью. До Порт-Артура считали верст семнадцать — восемнадцать. Когда проехали верст десять, вдали, прорезая черные тучи, стали сверкать шрапнельные разрывы.

— Видишь? — спросил товарищ.

— Вижу...

Мы ехали молча, полные дум. Что-то будет с нами через два-три часа, когда попадем в полосу огня? Каждого занимала и тревожила эта глубоко трагическая мысль. Скоро зачернелся Порт-Артур. Подъехали. Это крошечное селение было совершенно разрушено и сожжено, не осталось ни одной крыши, ни одной целой избы, жители, разумеется, разбежались. Здесь стоял наш обоз. Чапаев уехал, пробыв минут десять, а я задержался почти на полчаса (ногу натер и поправлял). Потом поехал его догонять, но догнать не мог и ехал один, не зная пути, рискуя попасть во вражьи лапы. Попался обозный, у него, вижу, что-то лежит под сермягой.

— Что везешь? — спрашиваю.

— А вот солдатика поранило.

Мне сделалось почему-то страшно тяжело.

«Повезли,— думал я про себя,— вот он, милый, уже пострадал, уж сделал свое дело, теперь искалеченного везут. Ведь какой-нибудь час был еще совсем здоров и не думал, не верил, что приключится беда. А вчера вечером, в Таловке, где-нибудь у костра, дотягивал веселую песню... Вот он, борец, совершил свое — и в сторону. А там пойдут еще другие и другие... Иных совсем оставим в поле. Эх, судьба тяжелая!» С такими мыслями ехал дальше, обгонял отдельные подводы, то со снарядами, то пустые, для раненых.

— Далеко наши? — спрашиваю.

— Недалече, вот тут, верст за пяток... Выбили казака вон из ентова хутора... Погнали дале...

На правом берегу Узеня стояли киргизские аулы,

откуда только что с боем выбили казаков. Я поехал туда, переехав Узень. Там бродили только два красноармейца, не то действительно проверявшие раненых, не то мародеры. Еду дальше. Все звучнее, все явственней гудит батарея, все ближе чернеют полоски наших цепей. Тронул коня, переехал на левый берег и скоро въехал во вторую цепь — первая шла в полуверсте впереди. Чапаев пока шел во второй цепи, потом перешел за мною в первую и командовал ею до самого конца боя.

Справа показался хутор Овчинников, где мы ждали боя, но боя тут не произошло. Мы уже подошли совсем близко к Сломихинской, ближе чем на версту; постепенно усиливался артиллерийский огонь. Спрыгнув с коня, я шел в первой цепи, подбадривая товарищей, покуривая и пошучивая вместе с ними. Пока работала лишь наша батарея и противник молчал, я шел совершенно спокойно, не нервничая, не волнуясь. Несколько раз мы останавливались и отдыхали. Скоро противник открыл огонь, снаряды падали от меня саженей на сто — сто двадцать, потом все ближе, ближе, и, наконец, один разорвался саженях в восьми — десяти. Тут сделалось жутко. Я был к этому времени уже на коне и успел проехать по всему фронту своего Краснокутского полка, воротившись на прежнее место. Тут подъехал т. Потапов, он якобы, так же как и я, искал Чапаева. Мы поскакали в глубь тыла. Скоро он отстал, а я продолжал ехать до ближайшего бугра, за которым лежало человек восемь возчиков и еще кто-то. Я лег с ними и смотрел, как рвутся снаряды, а когда над головой вдруг раздавался вой и стон летящего снаряда, я приникал к земле и сравнивался с нею пластом. А когда ехал по фронту, я видел, как некоторые товарищи выкопали ямки в снегу и опустили туда, в снег, свои головы, чтобы ничего не видеть и не слышать. Я тоже подумал было про такой прием, но тут подъехал товарищ с левого фланга и сообщил, что у них нет пулеметов, а показалось сотен пять казаков, которые идут в обход. Вдали действительно чернела, колыхалась масса всадников — это наступали казаки. Я сел на своего Киргиза и поехал «доста-

вать пулеметы», то есть попал во второй обоз и там сидел с обозниками часа полтора, а когда вернулся на прежнее место, там никого уже не было. Вот задача: куда ехать, где наши? Отогнали ли их за Узень наступавшие с левого фланга казаки, или они уж вошли в Сломихинскую? В это время подъехал ко мне откуда-то со стороны Овчинникова товарищ, который, по всей видимости, как и я, «искал пулеметы». Долго мы с ним гадали — въезжать в Сломихинскую или нет. А в то же время подъехали к ней совсем вплотную. Уже видны были наблюдатели на крышах окраинных домов, назад все равно отступать было невозможно — ружейная пуля легко доставала и отсюда, и с ближних мельниц. Мы подъехали к домам. Встретился мальчуган, гнавший скотину.

— Малец, ей, малец, тут что — вошла Красная Армия?

— Вошла, вошла, она у нас.

Отлегло, стало дышаться легко. Мы присвистнули, поддали жару коням и помчались к центру. Всюду шныряли красноармейцы и тащили из домов что кому вздумается. Скоро я нашел Чапаева, он уже разместился в доме бывшего богатея Карпова. Армия вошла уже часа два назад. Мне было стыдно, что приехал так поздно, и тем более обидно, что самый ужас пережил я в передовой цепи, а как только отъехал — пальба прекратилась.

Как оказалось позже — снарядов у казаков почти совершенно нет, кроме снарядов для автоматической скорострелки. Тут были уже все в сборе: Андросов, Ефимов, Чапаев — все, только я опоздал. Но и то, что пережил я в этом первом боевом крещении, видимо, останется надолго и глубоко в душе. Ночью несколько раз вскакивал и вздрагивал — все чудилась пальба, все слышались ужасные разрывы.

Наутро были проведены митинги по всем полкам, и красноармейцы поклялись впредь грабежа не делать, борясь с этим злом в своей среде самым жестоким образом. Один товарищ возвратил драгоценный серебряный пояс, за который ему давали три тысячи рублей. Впечатление от митингов самое хорошее.

13 марта

Митинги Чапая

Для организованных, сознательных рабочих теперь смешны, даже возмутительны были бы его ультрадемагогические приемы, но тут, среди крестьян-красноармейцев, сходило, и не только сходило, а имело еще и колоссальные положительные последствия.

— Товарищи, я не потерплю того, что происходит, я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам же первый и застрелю. А попадусь я — стреляй меня, не жалей Чапаева. Я ваш командир, но командир только в строю; на воле я ваш товарищ. Приходи ко мне в полночь и заполночь, надо — так разбуди, я завсегда с тобой поговорю, скажу что надо. Обедаю — садись со мной обедать, чай пью — и чай пить садись. Я к етой жизни привык. Я академиев не проходил и их не закончил, а вот все-таки сформировал четырнадцать полков и во всех в них был командиром. И там везде был у меня порядок, там грабежу не было, не было и того, чтобы из церкви утаскивали сосуды золотые и рясу поповскую. Поп, известное дело, обманывает народ. Поп потому нам и опротивел, что говорит — «ты не ешь скоромного», а сам жрет, «ты, говорит, не тронь чужого», а сам ворует,— вот почему он нам опостылел. А все-таки веру чужую не трожь, она тебе не мешает. Верно ли, товарищи, говорю?

— Верно, верно,— гремело в ответ.

— Ты вот тащишь из чужого дому, а ведь это и без того все твое; раз окончится война — куда же оно все пойдет, как не тебе? Все тебе. Отняли у буржуя сто коров — сотне крестьян отдадим по корове, отняли одежу — и одежу разделим, верно ли говорю?

— Верно, верно...

Лица у всех оживленные. Он сумел зацепить за душу и теперь душу всей этой массы держал в своих руках.

— Не тащи,— продолжал он, останавливаясь и запинаясь иногда, не находя, что сказать дальше,— не тащи, а собери все в кучу и отдай своему командиру.

Он продаст, а деньги положит в полковую кассу. Все будем продавать, а деньги будем складывать в ету кассу. А когда тебя ранят — вот тебе из етой кассы сто рублей; убьют тебя — раз по сто рублей всей твоей семье. Вот как, а не так. Верно ли, товарищи? (Взрыв одобрительных, восторженных криков.)

Я ему после заметил, что эта мера — продажа всего чужого захваченного имущества в пользу полка — мера сомнительного достоинства, что имущество переходит совнархозу.

— Мы,— говорит,— только мелочь, а крупное не тронем, да потом ведь эта касса все равно потом перейдет всему государству.

Он на митингах резок и прям, но совсем нельзя сказать, чтоб он плыл по течению и потакал массе. Насколько он быстр в решениях, настолько же тверд и в проведении этих решений. Свое дело знает, в себя верит крепко, в чужих советах не нуждается и делает все самостоятельно. Работник он неутомимый. Голова не знает иных забот, кроме своего дела. Оно его поглощает всецело. В ночь моего отъезда, например, он сидел до шести часов утра и все разрабатывал план переброски полков на Шильную Балку, писал приказы, говорил по прямому проводу с центром, а меня будил через каждый час, чтобы подписать тот или иной приказ. Работник, повторяю, неутомимый. Инициативы в нем много. Ум у него простой и ясный, схватывает все быстро и схватывает за самую сердцевину. В нем все простонародно и грубо, но и все понятно. Лукавства нет, за лукавство можно по ошибке принять требуемую иногда обстоятельствами осторожность. Словом, парень молодец. Натура самобытная, могучая и красивая.

22 марта

Чапаев

Его личность поглотила мое внимание. Я все время к нему присматриваюсь, слушаю внимательно, что и как он говорит, что и как делает. Мне хочется понять

его до дна и окончательно. Во время пути мы были все время вместе, ехали неразлучно в одной повозке и наговорились досыта. Я говорю о поездке из Алгая в Самару на лошадях. Путь грандиозный, свыше четырехсот верст. Мы были в пути четыре дня: выехали семнадцатого в час дня, приехали двадцать первого в три часа дня.

Чапая всюду крестьяне встречали восторженно; в Совете лишь только узнавали, что приехал Чапай,— начинали говорить шепотом, один другому передавал, что приехал Чапай, и молва живо перебрасывалась на улицу. Стекался народ посмотреть на героя, и скоро Совет сплошь набивался зрителями. А когда уезжали, у ворот тоже стояли любопытные и провожали нас взорами. Популярность его всюду огромная, имя его известно решительно каждому мальчугану. В одном селе как раз попали на заседание Совета. Его пригласили «хоть что-нибудь сказать», и он рассказал крестьянам о положении наших дел на фронте. Крестьяне шумно выражали ему свою благодарность. В другом селе мы никак не могли найти Совет — он оказался заброшенным куда-то в овраг, на далекую окраину и помещался почти что в сарае. Приехали мы часов в девять вечера. Там никого из советских не было, только дежурил дедка-сторож.

Немедленно вызвали председателя; тот вошел и стал как-то по-рабски кланяться, стоял нерешительно, уныло и опасливо оглядываясь. От вестового он уже знал, что его требовал Чапаев. Чапай распек его на все корки и наутро же «приказал» перенести Совет куда-либо в центр села, в хорошую квартиру, а в Совете назначить бессменное дежурство. Вообще он поступает весьма самостоятельно в делах и не только военных.

Мы с ним за эти четыре дня, повторяю, говорили очень много. Он еще подробнее рассказывал мне о своем прошлом житье-бытье и все горевал, что судьба у него сложилась нескладно и не дала возможности развиться как следует. Он, разумеется, сознает и свою невоспитанность и необразованность, свою малую раз-

витость и невежественность. Все хорошо видит, скорбит душой и стремится страстно перевоспитаться и скорее, как можно скорее научиться всяким наукам. Ему хочется ознакомиться с русским языком, ознакомиться с математикой и т. д. Мы договорились, что свободное время я буду с ним заниматься, буду направлять по возможности его самообразовательную работу. Говорили мы немало и на темы политические. Он все внимательно и жадно слушает, потом высказывается сам — просто, хорошо и правильно. Мысль у него правильная и ясная. По пути мы заезжали к нему в семью, которая живет в деревне Вязовка, Пугачевского уезда, верстах в пятидесяти от Пугачева. У него там старик со старухой, трое ребят (два мальчугана и девчурка) и еще женщина-вдова со своими двумя ребятами.

Там у него полное хозяйство, есть живность, есть и пашня. Семья его живет, видимо, не нуждаясь, на стол они наставили нам много всякого добра.

Ну, наконец, после долгих мытарств, добрались до Самары. Явились к Фрунзе. Он рассказал нам пока в общих чертах о положении на всех фронтах, а вечером пригласил к себе пить чай и окончательно договориться о нашей дальнейшей работе. Тов. Сиротинский[1] пришел за мной прежде времени. Я сначала не понял, зачем он меня увлекает,— оказалось, это Фрунзе хотел меня спросить относительно Чапая, кто он и что он, можно ли его назначать на большой и ответственный пост. Я откровенно высказал ему свое мнение о тов. Ч[апаев]е, и он согласился, сознавшись, что сам склонен думать таким же образом. Фрунзе назначает его начдивом Самарской, в которую войдет, между прочим, и наш Иваново-Вознесенский полк. У нас, как известно, под Уфой дела никуда не годятся. Уфу наши сдали и отступают дальше. В связи с этим изменяется и наша дальнейшая работа. Мы ведь предполагали идти на Туркестан, добывать хлопок. Теперь же приходится сосредоточиваться в районе Самары. Фрунзе мне высказывал даже опасение, что мы снова можем потерять Самару, потерять весь этот край.

29 марта

Самара — Вязовка

Положение создалось совершенно новое и неожиданное. Колчак взял Уфу и непосредственно угрожает Самаре, продвигаясь с северной стороны на Казань. Фрунзе вызвал нас с Чапаевым к себе, объяснил положение и сообщил о новых планах и задачах, которые возлагаются на нашу армию. Мы уже не будем теперь продвигаться по Туркестану, нашим крайним пунктом на востоке будет Оренбург. Вторую бригаду отправляем в Илецкий город, а штаб дивизии и все остальные части помещаем несколько восточнее Бузулука. И вот мы снова гоним двести пятьдесят верст на лошадях, встречаемся в [*неразборчиво*] со своими эшелонами, следующими из Алгая, направляем по Пугачевскому уезду человек пятьдесят — шестьдесят своих ребят и поручаем им выгонять отовсюду дезертиров и уклоняющихся от явки по призыву (а они насчитываются многими сотнями). Сами же через Уральск едем на Илецк в Оренбург.

Черт знает как затомила эта дорога, я даже заболел. Два дня ехали по степи ужасным бураном, однажды сбились даже с пути, хорошо еще, что возницы ущупали скоро дорогу. Метет и крутит отчаянно, ехать приходится наглухо закутавшись в тулуп. С Чапаевым разговорились только на последнем перегоне, верст за двадцать пять до Вязовки. Я ему высказал свое изумление на то обстоятельство, что до сих пор он все еще крестится, рассказал, насколько помнил, историю происхождения религиозных верований и поклонений, захватил по пути и политическую экономию. Потом указал ему на то, как мелочное бахвальство роняет его в чужих глазах, и он вполне со всем этим согласился, задумав избавиться от недочетов. Его особенно интересует электричество, устройство беспроволочного телеграфа, граммофона и т. д. И на эти вопросы, поскольку сам знаю, отвечал и объяснял, сознавшись, что тайна граммофона непонятна и мне самому.

Особенное же удовольствие доставляют ему воспоминания из боевой жизни, когда он подымал двести —

двести пятьдесят человек в одном белье и отымал только что потерянные пулеметы, отымал почти голыми руками, благодаря исключительно смелому натиску.

Ворвался однажды в селение, где были уже чехи; те открыли пальбу — ускакал. Под Уральском был окружен превосходными силами, перепорол комиссаров и командиров за бездеятельность, поднял всех на ноги и вывел без потерь.

Вспомнил, как в далеком детстве, когда было девять-десять лет, взял у часовенки две копейки — семишник, купил на него арбуза, съел, захворал и пролежал шесть недель. Мать, когда узнала, и молебны давай служить, и в то место, откуда взят был семишник, серебра покидала рубля два-три и, наконец, «вылечила» своим заступничеством.

Это воспоминание врезалось в душу и до сих пор удерживает взять что-либо чужое — охватывает какой-то инстинктивный страх перед наказанием свыше.

Наконец доехали в Вязовку. Экстренно объявили на вечер устройство спектакля, а прежде часа три проводили митинг. Спектакль, пустейший по содержанию и скверный по игре, открыли только в полночь, закончив около двух часов. Мне сильно занедужилось, наутро выехать, таким образом, не смогли и остались до следующего утра, а сегодня в Народном доме думаю прочитать свою незабвенную «Парижскую коммуну» [1]. Теперь уж в эти края, пожалуй что, долго не попадем, будем держаться ближе к Самаре...

1 апреля

Льстецы Чапаева

У него имеется хорошая тенденция — подбирать даже на самые высокие должности своих ребят, простых, верных, преданных и честных. Он совершенно не доверяет офицерам, считает их всех безоговорочно контрреволюционерами и все время грозится перетопить в Урале и перестрелять. Это свое мнение он вы-

ражает в острой, утрированной форме, но следует отметить, что бранит и грозится больше, чем делает.

Около него все преданные товарищи, они его обожают, слушают беспрекословно, на лету ловят распоряжения и выполняют их с умопомрачительной быстротой, настойчивостью и точностью. Для него нет ничего невозможного. Что решит и задумает, все сделает. Но эти же окружающие являются и отчаянными льстецами. Они то и дело напоминают эпизоды прошлой боевой жизни, прославляя его подвиги, его находчивость, смелость, ум, способности и прочее и прочее. Он глотает с удовольствием эти сладости, слушает их с улыбкою и явным наслаждением. Мне всегда неловко и стыдно, когда воскуряется этот пряный фимиам. Он однажды, помнится, спросил и меня:

— А как думаете, товарищ Фурманов, попаду я в историю или нет?

— Непременно попадете,— успокоил я его.

А все-таки хороший, прекрасный он человек — простой, открытый, твердый и решительный. Безделье томит его ужасно. Вот теперь хотя бы, приехали мы в Уральск, вынуждены будем прожить здесь в ожидании без дела несколько дней. Его это вынужденное ожидание томит и раздражает; он нервничает, бранится, грозит неизвестно кому всякими страхами и карами, тоскует, тоскует, тоскует.

10 апреля

Уральск — Бузулук

Шестого была получена телеграмма от Фрунзе. Он извещал, что по приказанию главнокомандующего мы с Чапаевым должны немедленно выехать в Бузулук, местонахождение штаба нашей дивизии.

Я пришел от Гамбурга [1] часов в двенадцать ночи. Чапай сидел и ждал меня. Только что перед этим, часа за четыре, у нас произошла в некотором роде сцена. Дело в следующем: я пришел к нему, чтобы поговорить относительно бригадного приказа 30-й (22-й)

дивизии о наступлении на поселок Мергелевский, дать критику на этот приказ и выяснить по возможности причины огромной неудачи, постигшей нас при этом наступлении. Во главе комиссии по разбору дела Фрунзе поставил меня, Чапай же был придан как военный знаток. Приказ Чапай взял у меня еще до обеда и хотел с ним ознакомиться заблаговременно, подумать о нем наедине. Когда я пришел, он что-то диктовал товарищу Демину [2], писавшему на машинке,— это был приказ комбрига, детально и умно раскритикованный Чапаем.

— Хочешь я тебе его прочитаю? — спрашивает он меня.

— Почитай,— говорю,— может быть, что будет не так, исправим вместе.

— Нет, вы можете дать свою критику отдельно, вы критикуйте со своей стороны, а я со своей, с военной...

— Так зачем нам разбиваться, давай вместе,— говорю ему, ущемленный в самое сердце этой холодной формальностью и официальностью...

На этом разговор и окончился. Он прочитал мне приказ и свою критику. Потом начал хвалиться своим умением, знанием, пониманием дела.

— Вот что, Чапай,— говорю ему.— Ты хороший вояка, ты смелый боец, я этому верю, это в тебе ценю, за это уважаю, но сознайся же сам, что стратег — стратег в научном смысле слова — ты все-таки слабый.

Он вспылил, осердился, повысил тон.

— Я слабый стратег? Нет. Я скажу вам, что у нас в армии еще не было и нет такого стратега, как я. Подтверждаю, что я лучший стратег, хоть этому по книгам и не учился. А вся эта сволочь, которая меня не считает за стратега,— они просто контрреволюционеры, и больше ничего. Они меня вот и до сих пор все гоняют без дела, а на фронт не пускают. Они подкапываются под меня, вот что.

Я, конечно, понимал, что в числе не признающих его стратегом «сволочей» он совершенно не имел меня, но полушутя и совершенно спокойно спросил:

— Так, значит, выходит, что и я сволочь?

Он как-то опешил, растерялся, застыдился.

— Нет, про вас я не говорю, я про «них» только.

Мне почему-то (верно, все из-за его официального тона вначале) было не по себе. Постояв минуту, подаю руку и говорю «прощай». Повертываюсь и ухожу. Я знал, что ему будет тяжело и неловко после моего ухода, но пусть пораздумает, пусть поразмыслит и покается перед собою.

Теперь, когда я вернулся от Гамбурга, он сидел у меня и ждал. Я прошел мимо к себе в комнату, не сказав ни слова, разделся и сел к столу. Он передал мне отпечатанную на машинке писульку следующего содержания:

«Тов. Фурманов! Прошу обратить внимание на мою к вам записку. Я очень огорчен вашим таким уходом, что вы приняли мое выражение на свой счет, о чем ставлю вас в известность, что вы еще не успели мне принести никакого зла, а если я такой откровенный и немного горяч, нисколько не стесняюсь вашим присутствием и говорю все, что на мысли, против некоторых личностей, на что вы обиделись, но, чтобы не было между нами личных счетов, я вынужден написать рапорт об устранении меня от должности, чем быть в несогласии с ближайшим своим сотрудником, о чем извещаю вас как друга. Чапаев».

Эта простая записка меня тронула.

— Полно, дорогой Чапаев,— говорю ему.— Да я и не обиделся вовсе, а если несколько расстроился, то ведь совсем по другой причине.— Тут я ему ничего не сказал, а потом доро́гой, когда уже ехали, сообщил настоящую причину своего недовольства в то время и заставил его признаться в нетактичности по отношению ко мне. Он уже напечатал рапорт об увольнении и показал его мне.

— Как вы смотрите на этот рапорт?

— Считаю его сущей нелепостью,— говорю ему.— Рапорт совершенно не нужен, это недоразумение.

Затем он сообщил мне, что, согласно приказа главнокомандующего, мы должны выехать в Бузулук.

Сейчас же, ночью, сделали все, что нужно, добыли у коменданта две пары лошадей, а на заре, в сопро-

вождении двух товарищей, помчались в Бузулук. Выехали седьмого, а вечером восьмого, то есть через полутора суток, были уже в Бузулуке, промчавшись двести верст. Дорогою мы с ним обо многом говорили. Он рассказывал мне о своем прошлом. Оказалось, что когда ему было лет восемнадцать, то есть годов пятнадцать — шестнадцать назад, он в течение двух лет был шарманщиком. Тогда у него была девушка Настя, плясунья и певунья, с которой он жил вплоть до самой солдатчины.

Дальше он был торговцем. Рассказывал, как неоднократно обманывал купцов-торговцев в отместку за то, что они сами многократно его обманывали и подчас разоряли окончательно, на последние гроши.

— Я всю жизнь прошел,— говорил он мне.— Вся эта торговля и весь капитал — только на обмане все и построено. Я это понял на себе, из самой жизни понял, и убедился, что пока мы у богача не отымем его богатство, пока мы все не передадим беднякам,— покою не будет. Вот почему я и коммунистом-то сделался — тут я лучше Ленина все понимаю.

Всю дорогу он рассказывал мне о своей прошлой жизни. Теперь он пишет воспоминания и заметки, а когда напишет, передаст мне, чтоб, когда понадобится, я мог обработать, написать.

* * *

Веселый митинг в Сорочинской

По телеграмме главнокомандующего можно было понять, что, приехав в Бузулук, мы немедленно пойдем в бой. Но пока что в бой не пошли. А обстоятельства вынудили измученных дорогою, не отдохнув, ехать снова. Мы поехали в Сорочинское, где разместились Пугачевский и Домашкинский полки.

Кутяков[3], командир 1-й (73) бригады — нервный, измученный вояка, израненный, перенесший уже много боев на своей спине.

Кутяков с Чапаем работает давно. У Чапая есть определенный план — везде и всюду ставить своих — на командные и даже на штабные должности. Возле него находятся всегда несколько человек из «свиты», которые моментально и беспрекословно выполняют все его приказания. Он с собою привез таких ребят несколько десятков человек. Вот почему у него все создается и разрешается так быстро и точно — ему есть на кого положиться, есть кому поручить.

Кутякову, совсем еще молодому человеку, годов 22—24, он поручил бригаду.

Приехав в Сорочинскую, распорядились, чтобы созвали командный состав в кинематограф «Олимп». Когда армейцы узнали, что приехал Чапай, повалили в кинематограф и заполнили его до предела: всего присутствовало человек тысячу. Митинг прошел великолепно, все остались очень довольны. А когда окончился митинг, на сцене появилась гармошка, загремел-зарыдал «камаринский», и Чапай уже отделывал на все корки. Он пляшет браво и красиво. Армейцы хлопали ему без конца; скоро появились другие плясуны — и тут пошла писать губерния. Поднялось такое восторженное веселье, что и не описать. Армейцы были рады и счастливы тем, что вот, мол, дивизионный начальник, и тот, посмотри-ка, пляшет «русского». Это обстоятельство служило цементом, который еще ближе, еще крепче спаивал командиров с красноармейскою массой. Одно время, с самого начала, мне было несколько неловко, что Чапай выступил в качестве плясуна, а потом я увидел и понял, что в данных условиях и в данной среде это прекрасно и весьма, весьма полезно. Полки, все время находившиеся в боях и передвижениях, не знающие совершенно долгих стоянок, они теперь отдыхали и радовались, а с ними веселились и командиры. Дальше, за пляской, открылся кинематографический сеанс. Я слышал разговоры армейцев — они в восторге от митинга и вообще от всего вечера; у них получилось самое лучшее впечатление от этой неподдельной, очевидной дружбы с ними их, даже высших, командиров. Наутро мы вернулись в Бузулук.

19 апреля

Чапаев и я

Как тень, я все время следую за Чапаевым. Все дела приходится решать сообща. Ни одного вопроса он без меня не обсуждает, во всем советуется, обо всем спрашивает. И благодаря этому я постоянно в курсе всех начинаний и предположений. У нас установились самые лучшие, самые доверчивые отношения. Нам работать легко: его решительность, настойчивость и быстроту я дополняю осторожностью, спокойствием и способностью устанавливать контактные отношения. Часто сразу он подымается на дыбы, глаза заблестят, он готов сопротивляться, спорить, упорствовать. Но, неизменно натыкаясь на спокойствие, предусмотрительность и убедительность доводов, со всем соглашается и принимает все мои поправки и изменения. Я еще не знаю случая, когда бы он не принял какого-либо моего предложения. У нас даже нет строгого разделения функций и обязанностей, у нас решительно все пополам. Он не знает, где начинаются и кончаются его обязанности, я не знаю про свои. То есть не то, чтобы мы не знали,— знаем, разумеется, но вся работа, чисто командная и политическая, настолько тесно переплетается, что разграничить ее часто представляется совершенно невозможным.

23 апреля

На позицию

На другой день пасхи, 21-го, мы с Чапаем поехали на позиции. Точно мы их не представляли себе, донесения последних дней страдали неточностью. Взяли с собой человек пятнадцать конных и поутру направились через Сухаречку на Ждановку, около которой в Крутенькой стоял штаб 73-й бригады. День светлый, чистый, праздничный. По селам в цветных сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поет, играет молодежь. На завалинках сидят сгорбленные старухи в шубах, ради светлого праздника и солнечного дня выползшие на

волю. У Совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное время. По деревне ехать трудно: ручейки размыли путь, наделали много поперечных выбоин. Сейчас же с коней долой — и к Совету: выгнать всех крестьян и обязать каждого перед своим домом сравнять выбоины! Нам ждать некогда, наша артиллерия ломает повозки, поживее, живее, товарищи! Председатель сейчас же делает предписание, и скоро по деревне кипит работа. (На обратном пути, проезжая через Сухаречку, видно было, что народ работал крепко.)

Едем дальше. Кони устают, дорога скользкая, местами еще крыта обвалившимся снегом. Кони проваливаются, скользят по льду, спотыкаются. «Эй, Копчик! — покрикивает Жуков на пристяжного.— Копчик, вывози!» Дальше он поясняет нам, какой это благородный и умный конь, Копчик, как он несет в работу «почти всю проценту», то есть что Копчик, дескать, работает и за коренного. Скоро ехать стало невозможно — мы слезли с фаэтона и сели на верховых. Доехали до Крутенькой, пришли к Кутякову.

Между прочим, дорогой с Чапаем был длительный разговор, точнее сказать, я выслушал длительный рассказ из его прошлой жизни. Он рассказывал о жене:

— Когда я ушел на позицию, любил ее всей душой, о ней все думал и для нее хранил себя. Ушел я по осени четырнадцатого года, приехал домой по весне шестнадцатого, и за эти полтора года ни с одной женщиной не имел дела. Вот отчего мне было так тяжело, когда, приехав домой, вдруг узнал, что она ушла из дому моего отца, поселилась с детьми отдельно и привечает к себе чужого человека. Мне об этом писали на позицию, но я не верил, хотя и сомневался малость. А потом еще она сама в письмах все меня разуверяла, говорила, что это пустая клевета. Хорошо, приезжаю, как будто ни в чем не бывало, веду разговор и все прочее. Но тут я вдруг сам убедился, что все это была правда, и тогда ее прогнал, а детей оставил себе. С тех пор я совсем не верю женщинам,— она меня так подкачнула, что вышибла всякую доверчивость. Да еще помнится, когда я был совсем мальчиком, годов семнадцати — восемнадцати, за меня не

хотела пойти девушка, которая все клялась в любви и говорила, что жить без меня не может. А когда отец отдал за другого и когда я ей предложил бежать с собой,— отказалась. Так разве это любовь? Поэтому я им совершенно больше не доверяюсь...

Приехав к Кутякову, сейчас же, разумеется, справились о точном расположении частей бригады. Оказалось, что наши стоят по этому (левому) берегу Боровки, а неприятель — по правому. Комиссар Горбачев [1], предводительствуя эскадрон кавалерии, кинулся вплавь, окунулся с головкой, вынырнул и — айда на тот берег. Кавалеристы за ним. Так плыли они двадцать — двадцать пять саженей. Мокрые и грязные после разведки, вернулись обратно, собрав нужные сведения и оставив на том берегу несколько человек «на случай».

Вот как работают настоящие комиссары. Его работа слита неразрывно с работой командира бригады, функции объединяются, сплетаются, перевиваются. Дальше он рассказал такой случай:

— Наши ребята приехали в одно село и притворились белогвардейцами. «Вы колчаки?» — спросили их крестьяне. «Да, колчаки, а есть тут у вас красные?» — «Нету, ни одной сволочи нету...» — «А где же они находятся?» — спрашивают ребята. «Где находятся,— а вот где...» И крестьяне начинают излагать сведения, которые каким-либо образом получили. Тут же, среди всех, и даже особенно деятельно, сообщает председатель Совета.

— А вы вот что сделайте, запишите-ка нам все, что говорите, да печать приставьте,— говорят ребята. Балда-председатель написал этот «смертный приговор себе», приложил печать, подписался и вручил красноармейцам. Тогда они с уликами в руках уехали, а через некоторое время вернулись, забрали председателя и еще двух кулаков. Это известие, верно, облетело окрестные селения, ибо, когда мы с Чапаем на обратном пути заехали в Екатеринославовку, крестьяне ежились, мялись, ничего не отвечали или отвечали уклончиво, не зная, за кого нас принять: за белых или за красных.

— Совет есть?

— Совет... Да был вот здесь Совет,— отвечают мужички, показывая на большой дом.

— А теперь где?

— А вон там где-то, на селе, в конце...

— И староста есть?

— И староста есть...

— И молоко есть?

— И молоко есть...

Мужички ежились, отворачивались, отмалчивались, ничего не говоря определенно и ссылаясь один на другого. Потом, когда они нас узнали определенно, сознались, что заробели от неопределенности, боясь открыться сразу. Таково неопределенно и тревожно их положение.

Хорошо. Об этом довольно.

До глубокой ночи выясняли по карте возможное месторасположение противника и наиболее удобные для нас позиции, а рано поутру, взяв человек восемь конных, отправились на позицию. Тут оставалось верст двенадцать — пятнадцать. Скоро стали слышны выстрелы, а когда проехали Алексеевку и осталось до позиции всего несколько верст, можно было думать, что стреляют из-за ближайшего сырта. Проехали еще какую-то крошечную деревеньку. До Казаковки оставалось версты полторы, не больше. Перестрелка возобновилась с удвоенной силой. Они нас приметили с горы и, видимо, намеревались прикрыть по пути. Лишь только мы выехали к овинам, как от сырта, что раскинулся по правому берегу Боровки, открылась по нас стрельба. Пули завизжали, зазвенели. Мы ударили коней и ускакали за высокий стог сена, спешились, постояли минут пять и один по одному, от сарая к сараю, стали перебегать, чтобы попасть на деревню. Чапаев остался последним. Я нарочно остался около ближнего сарая, чтобы посмотреть, как он себя будет вести во время перебежки. Коня своего он отправил вперед, а сам пеший, высунулся из-за стога, прошел шагов десять прямо и вдруг побежал обратно, видимо, заслышав вокруг себя свистящие пули. Затем постоял за стогом и тихо направился в сторону овинов, по дру-

гому направлению. Обошел стогами и пробрался к деревне, явившись последним. По деревне было ходить опасно. Она изрезана проулками, и по этим проулкам противник, лишь только заметит проходящего, открывает пальбу. Пока мы прошли до штаба полка, пришлось сделать пять-шесть перебежек. Одного красноармейца ранило, разбило локоть. Пальба не умолкала. Наши ребята разбросались по стогам, по крышам сараев, по овинам и оттуда охотились по бегающим на другом берегу белогвардейцам.

Те высовывались из-за сырта, мелькали черными точками и быстро скрывались снова. А на деревне было весело. Гуляли девушки в цветных костюмах. Наши ребята кружились возле них, убаюкивали их песнями и гармошкой, веселились на славу.

Совершенно невозможно было подумать, что тут кругом витает смерть. Если б не выстрелы, не эта неумолчная пальба, здесь была бы самая настоящая и светлая пасха. Крестьяне ходили спокойные, переезжали медленно по тем местам, где наши мчались в карьер. Они как-то совершенно не думают о смерти, не боятся ее.

Мы пробыли там часа три. Затем поседлали коней и поехали в Бузулук. Тут было верст пятьдесят — шестьдесят. Приехали уже поздно, часов в одиннадцать. Затем до двух часов простояли у прямого провода, переговаривая с помощником командующего Южгруппой Новицким[2]. Нам приказано срочно выехать из Бузулука с оперативной частью в расположение и в распоряжение командующего 5-й армией. От 73-й бригады уходим. Жалко. Если начнем теснить врага к Бугуруслану, соединимся снова. Сейчас выезжаем.

Скобелево, 30 апреля

В походе

Все эти дни мы с Чапаем в походах. Наши стали теснить белых по всему фронту. 25-я дивизия идет авангардом. Весело идти: здесь Чапай, а справа уж давно хлещет Кутяков со своею стальной бригадой.

Он разбил уже около трех вражьих полков, захватив пленных, пулеметы, кухни и т. д. Вчера вечером мы приехали в Подколки. Наши части вошли сюда несколько часов назад, выбив и поколотив противника. У нас легко поранено восемь человек, их потери неизвестны. Куда-то пропал без вести пастух, смертельно ранили пахаря в поле да убило двух крестьянских лошадей. Мне вчера сильно нездоровилось. Мы ехали верхами, и последние десять — пятнадцать верст я уж едва сидел в седле. А когда приехали — закипела работа: полетели во все стороны телеграммы и распоряжения. Я ткнулся на постель и заснул. Чапаев разбудил обсудить одну телеграмму. И всю ночь через каждый час он все будил меня что-нибудь обсудить и решить. Чапаю изумляюсь, он неутомим. Он всю душу вложил в это дело и отдается ему весь без остатка. Он живет. Чем больше тревоги и опасности кругом, тем он веселее, тем прекраснее. Я любуюсь Чапаем, когда он командует. У него все просто и ясно, он без обиняков всегда режет с плеча: что говорит за глаза, то повторяет и при свидании. Он свежий, сильный духом человек. Удивительная у него память: каждую мелочь, каждый-то случай — все помнит.

Мне часто бывает неудобно перед ним; спросишь что-нибудь, а он:

— Да ты ведь сам подписывал.

— Когда?

— А помнишь...— И он припомнит какую-нибудь бумажонку, которую где-то и когда-то я подписывал, про которую совершенно забыл. Мы с Чапаем сдружились, привыкли, прониклись взаимной симпатией. Мы неразлучны: дни и ночи все вместе, все вместе. Вырабатываем ли приказ, обсуждаем ли что-нибудь, данное сверху, замышляем ли что новое — все вместе, все пополам.

Такой цельной и сильной натуры я еще не встречал. Мы часто с ним предполагаем: что будет, как тяжело будет одному, когда другого убьют. И когда заговорим — обоим станет тяжело. Замолчим и долго-долго ни о чем не говорим. На него много клевещут, его понимают даже наши «лучшие» (член Ревсовета

[неразборчиво] Смирнов) как авантюриста — и только. Ему мало доверяют. И этот товарищ Смирнов, например, сообщил мне, что «лишь только Чапаев немного покачнется, мы его живо уберем».

Из-за дров они не видят лесу, они, эти будничные люди, не могут простить плотнику Чапаю его грубость, его дерзость и смелость решительно во всем: будь тут командующий и раскомандующий. Они не знают, не видят того, как Чапай не спит ночи напролет, как он мучится за каждую мелочь, как он любит свое дело и горит, горит на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю и вижу ежесекундно его благородство и честность — поэтому он дорог мне бесконечно. В защиту от клеветников и узколобых я уже неоднократно писал дорогому Фрунзе про истинного, про настоящего Чапая.

Ч[апаев] любит прихвастнуть и преувеличить. Кутяков взял около четырехсот человек, а Чапай добавляет: «и порублено около шестисот».

— Откуда ты взял? — спрашиваю его.

Смеется, молчит, а потом:

— Так ведь надо же повеселить-то.

— Да ведь тебе верить перестанут, когда узнают, что врешь.

— Не узнàют,— легкомысленно ухмыльнулся он.

Теперь мы в походе, нашей дивизии дана боевая задача: руководить борьбой с обнаглевшим Колчаком.

* * *

Чапай

Он весьма опасается шальной пули. Насколько храбр и отважен в настоящем, широком бою, настолько же осторожен, почти труслив, когда летят шальные пули.

— А прежде,— говорит,— и шальных не боялся. Бывало, вылезешь на блиндаж, они кругом жужжат как мухи, а ты стоишь, не покачнешься, пытаешь свое счастье да дразнишь неприятеля. Прежде я был храбрее, а теперь стал куда осторожнее. Бывало, думаешь:

«Э, чего тут хранить, человечишко я малый, толку от меня все равно нет никакого: убьют — и ладно». А теперь стал «генералом», ну и жизнь стал ценить подороже. Рассуждаешь, что все-таки массу за собой ведешь, что эту массу без вождя оставлять не годится, а таких вождей, как я, немного. Есть ученые, есть знающие лучше меня, а все-таки нас немного...

Я сделался коммунистом,— говорит он,— не по теории, а на практике. Когда торговал — я видел весь этот обман, знаю, как мы бессовестно и бессердечно обманывали друг друга. Я все думал, как же тут можно обойтись без обмана — и не мог понять. А когда научился коммунизму, когда узнал нашу программу — обрадовался, поняв, что избавиться можно только по этому учению. Вот почему я стал коммунистом. Ничего, что учение знаю плохо, зато я убежден крепко.

13 мая

Кутяков

Сын крестьянина из-под города Пугачева. Беден был до крайности. В детстве жил в работниках у кулака, а потом — до солдатчины — работал дома. Учился в сельской школе. В 1916 году — на службу. За революцию — председатель волостного исполкома. Дальше — Красная Армия. 1 сентября 1918 года ранен в ляжку. В боях — герой. Солдат любит и заботится. Честен, понятлив, благороден, прост, имеет волю и свежий разум. Склонен к преувеличениям и преуменьшениям. Боится шальной пули (заряжать револьвер — сторонится). Вспомни Чапаева.

18 мая

Чапаев

Неугомонная натура, неспокойная, непоседливая — он все время должен находиться в движении. Если только приходится по необходимости оставаться

на месте три-четыре дня — он тоскует, нервничает. Иную поездку можно было бы совершенно отложить,— так нет, не терпится, седлает коней и скачет сто — сто двадцать верст. И сотоварищи привыкли его видеть возможно чаще.

Недавно поехали к Потапову, там дела, в сущности, не было никакого, но своим присутствием он ободрил, подвеселил, утвердил товарищей. И тут же Чеков[1], узнав, что Чапай приехал к Потапову, звонит по телефону: «Приезжай, говорит, необходимо видеться». А это «необходимо» — известное дело: посидеть, поговорить и больше никаких.

У всей компании чапаевцев имеется такая черта: пока двое вместе — они дружны, верят один другому, а когда порознь — один другого подозревает во всяких промахах, даже бесчестностях. Они слишком легковерные люди. Каждому сообщению, каждому слуху верят. Этот слух и предположение дальше уже передают за достоверный факт — и делу дается «законный ход»: товарища чернят, обвиняют, уничтожают. Наивные, простые они люди, из-за каждого пустячка готовы спорить, горячиться, чуть не стреляться. Они весьма энергичны, но, к сожалению, малосведущи. И все-таки ни перед чем никогда не останавливаются. Нужно ли поставить командира, начальника ли штаба, кого бы то ни было, ставят всегда своего — простого, честного, мужественного и решительного человека. Недостаток знаний и уменья искупается энергией и желанием работать. Они все, как птенцы, работают под крылом Чапая. Он своею энергией воспламеняет их всех и не дает спать. Он все время их учит, все время подталкивает, бранит, чуть не бьет, а они любят, боятся и работают отчаянно. Горячая, удалая компания. Жизнь бьет ключом, никто не дремлет. У Чапая определенная линия: на все ответственные посты он назначает своих ребят. Сначала робеют, отмахиваются, просятся в строй, в цепь, чтобы идти с винтовкою. «Нет,— приказывает Чапай.— Впрягайся и вези! Не выходит — спроси, учись, спать некогда».

Специалисты, образованные — или зло вредят, или работают вяло. На них надеяться не приходится,

надо скорее учиться работать самим. И с самых низов вытаскивает он своих товарищей и дает им ход. Когда освоятся с работой и войдут в курс дела — благодарны своему вождю. За ним идут, да и как не идти. Вера в него полная, сам он вышел из низов, ум у него простой и ясный. На все дела у него спорятся руки. Составить ли оперативный приказ, организовать ли отдел снабжения, узнать ли в открытом поле, которая из пяти дорог настоящая и правильная, распорядиться ли в бою, что бы то ни потребовалось — он всегда в курсе дела, он всегда и все понимает и знает. Иногда ошибается, но редко, почти никогда, он всегда попадает в точку.

Советы и приказания всегда ценны, только высказываются они обычно крайне возбужденно и властно...

Белебей, 19 мая

Чапай

Чапай устал. Он переутомился мучительною, непрерывной работой. Так работать долго нельзя — он горел как молния. Сегодня подал телеграмму об отдыхе, о передышке. Да тут еще пришли вести с родины, что ребята находятся под угрозой белогвардейского нашествия,— ему хочется спасти ребят. Телеграмму я ему не подписал. Вижу, что мой Чапай совсем расклеился. Если уедет — мне будет тяжело. Мы настолько сроднились и привыкли друг к другу, что дня без тоски не можем быть в разлуке. Чем дальше, тем больше привязываюсь я к нему, тем больше привязывается и он ко мне. Сошелся тесно я и со всеми его ребятами. Все молодец к молодцу — отважные, честные бойцы, хорошие люди. Здесь я живу полной жизнью.

29 мая

Белебей

Сюда, собственно говоря, попали мы зря, ибо занятие Белебея было поручено другой дивизии, а мы тут прикачнулись совершенно случайно. Здесь стоян-

ка вышла весьма долгая. Уставшие части должны были отдохнуть во что бы то ни стало. Предстоит грандиозная операция на Уфу. Надо набраться сил. Здесь мы с Чапаевым схватили за горло и встряхнули всю штабную работу. Заходил политод, заходил отдел снабжения, заработали оперативные и административные люди. Наше присутствие сказалось, несомненно, весьма благотворно на общей работе. С Чапаем отношения самые сердечные. Мы весьма близки друг другу, я научился в совершенстве укрощать его, неукротимого. Теперь он все слушает, всему верит, все исполняет. Не было еще случая, когда бы он не принял какого-либо моего предложения. Роль здесь играет отчасти и моя личная близость с Фрунзе, которого он высоко чтит и уважает; но это влияет лишь отчасти, а главное в том, что мы сошлись по душам, любы друг другу, любим друг друга.

Вчера началось грандиозное движение пяти дивизий на Уфу. Завтра выезжаем на фронт. Снова кочующая жизнь, снова непрерывные передвижения, грохот орудий, бряцание ружей, транспорты, обозы, полки, полки и полки... Снова боевая жизнь, полная тревоги и захватывающей радости — глубокой и страстной.

Чишма, 2 июня

Из Белебея на Уфу

Мы тронулись ранним утром. Дорога шла чудным, цветущим лесом. В солнечных лучах играли, переливались чуть налившиеся зеленые листья. Мы были свежи и бодры — все верхами, Чапай с Исаем [1] на паре коней. Мы ехали в горы, ехали с гор, проезжали чистые ключевые речки, ехали черемуховой аллеей. Дорога как в сказке — светлая, тихая, пахучая...

— Тов[арищ], куда идешь?

— Обратно в часть.

— А что хромаешь?

— Раненый.

— Когда ранили?

— Пять дней назад.

— Что же не лечишься?

— Некогда, товарищ, теперь нам не время лечиться, воевать надо. Вот убьют — лягу в могилу, — там делать нечего, там и лечиться буду...

Захватило мне дух от радости за его слова. Посмотрел на него с любовью, с глубоким уважением и поехал дальше...

Уфа, 8 июня

Я командир

Сегодня Фрунзе шутя справлялся у Чапаева — гожусь ли я на должность боевого командира. Но эта шутка навела меня на мысль и в самом деле стать командиром. Мы условились с Чапаем, что некоторую работу я переложу на помощника, а сам приближусь к чисто военному, строевому искусству. Хорошо, порешили и ладно...

Когда остались вдвоем с Наей, она спросила:

— О каком командовании он говорил тебе сейчас?

— А про меня же: хочу быть командиром. Довольно, покомиссарствовал, Ная, теперь пора в строй...

— Что ты говоришь, опомнись, да и какой же ты командир!..

— Тяжело что-то, Ная. Неудовлетворенность, гнет я чувствую, недовольство собою... Не про личную жизнь говорю, не про жизнь с тобою,— здесь я вполне счастлив... Но вот сосет меня жестокая мысль о том, что мало рискую, что все-таки не перенес я всех трудностей, которые выносят красноармейцы, что баринок я... (Часть мыслей я высказал ей потом, когда были уже дома.)

— Ну, полно, что ты говоришь, Митяй, какое тут может быть еще сомнение. Или ты не все время на фронте, или ты не рискуешь жизнью?.. Зачем ты делаешь все это, Митяй?

— Как зачем, Ная... Это же общая линия нашей партии: вытеснить ненадежный командный состав и заменить его нами, коммунистами. Мы, в роли комис-

саров, учимся многому, но мы еще далеко не командиры. Вот я и хочу занять сначала маленькое место, поучиться работать вчерне, а когда научусь — тогда можно занять и ответственный крупный пост. Ну, разве это не правильно?

— Правильно, Митяй... И я ни слова не сказала бы тебе, если бы ты по своей структуре подходил для командира. Но ведь, зная тебя, я вижу, что у тебя совершенно иная душа, иной строй мыслей и убеждений, иные способности. Из тебя никогда не выйдет хорошего командира — это область не твоя. Предоставь это делать тем, которые работают уж по нескольку годов, которые богаты опытом и уменьем, а ты останься на своем посту политического работника. Ведь командира найти все-таки легче, нежели большую политическую силу, а ты ведешь крупную, ответственную работу и здесь заменить тебя будет, может быть, очень трудно.

Пойми, Митяй, что не из личных соображений я удерживаю тебя. Какие тут могут быть личные соображения, когда я все равно и при любой обстановке буду с тобой неразлучно: в дивизии ли ты, в полку ли ты, в бой ли пойдешь — я всегда неотлучно с тобой. И не это меня беспокоит. Меня лишь тревожит опасение, что ты там будешь не на месте и уйдешь с поста, где приносишь неизмеримо большую пользу, где ты совершенно необходим.

— Ная,— ответил я ей.— Да ведь сам-то я — разве останусь хоть на минуту командиром, раз увижу, что не соответствую назначению. Совсем нет, я оставлю работу тотчас же, лишь увижу свою неспособность. Теперь я стану готовиться исподволь, затем попытаю, а уж попытка сама решит все остальное. Тебя еще растревожило то, что я не сказал тебе про свое назревшее решение уйти на командную должность. Это не так. Ты знаешь, что я обо всем говорю тебе,— не скрываю ни одного плана, ни одной мысли. Но именно полного-то оформления здесь и не было. Я только неясно чувствовал какой-то гнет и укор за то, что я не столько переношу, сколько переносит рядовой красноармеец, что я не так рискую, как рискует

он. Вот что толкает меня на этот шаг. Мысль еще только бродила во мне, а сегодня она стала отчетливей и сегодня же я сказал бы тебе про свое решение... Я просто не успел, а Чапаев предупредил меня, сообщил раньше. Не думай, что таю,— от тебя тайн у меня нет...

23 июля

221-й полк

Несколько дней назад пришлось быть в 221-м полку. Он весь лежал цепью под Чаганом. Молчат. Пересмеиваются. Покуривают. Играют ветками зелени, которые накидали себе в окопы. Спокойны, тверды, готовы ежеминутно кинуться в бой. Ноги растерты в кровь. Обувь совершенно разносилась: выглядывают пальцы, лодыжки, пятки, а подметки часто веревкой подтянуты к ногам. Хлеба не хватает, а тот, что есть — зачерствел, заплесневел. Трагический парадокс: мнут ногами пшеницу, вытаптывают огромные поля, засеянные хлебом, видят по станицам десятки тысяч пудов брошенного зерна — а есть нечего. Мельницы не работают: части поломаны и увезены казаками, чинить негде и нечем. По станицам много брошенных сельскохозяйственных машин, но нет скота, нет рабочих рук.

30 июля

Отзыв в Южгруппу

На мое имя пришла телеграмма:

«Вследствие ходатайства, возбужденного своевременно, Вы освобождаетесь от занимаемой должности. Постановлением Ревсовета военкомдивом назначается состоящий для поручений при командюжгруппе тов. Батурин [1], которому по прибытии предлагаю сдать дела и немедленно прибыть в распоряжение Ревсовета Южгруппы.

Член Ревсовета Южгруппы *Баранов* [2]».

Может быть, это просто уваживается мое устное ходатайство перед Ревсоветом, когда мы с Чапаем были в Самаре. Но с тех пор уже много воды утекло... Мы с Чапаем работаем дружно. Нам расстаться тяжело. Я позвал Чапая к себе. Знаешь, говорю, телеграмму насчет меня?

— Знаю,— сказал он тихо.

— Ну что, брат, знать, пришло время расставаться навсегда...

— Пришло... Да и как же не прийти, раз все время ты просишь о переводе...

— Ну, брат, врешь, письменно не было ни разу, только что при тебе же, в Самаре.

— Так как же? — изумился он.

— Да так вот.

— Ну, а ты сам?

— А сам я, скажу откровенно, затосковал. Мне все-таки тяжело расставаться с дивизией, в которую врос, с которой сроднился. Особенно теперь, когда я узнал, что она перебрасывается к Царицыну, а там, может быть, и на Северный Кавказ...

— Так я тогда подам телеграмму, немедленно подам, чтобы тебя оставили здесь.

— Что ж, подавай.

— А ты подпишешься?

— Мне неудобно самому-то, а вот когда оттуда спросят, согласен ли я сам,— скажу, что согласен. Пока катай один.

Чапай ушел домой и послал телеграмму с просьбою оставить меня на месте...

4 августа

На телеграмму Чапая ответили очень просто и резонно:

«Тов. Фурманов освобождается от занимаемой им должности в силу ходатайства, своевременно возбужденного им, а не в силу разногласий с Вами. Кроме того, тов. Фурманов намечен для замещения дру-

гой должности, и постановление Ревсовета отменить не представляется целесообразным. Тов. Батурин сегодня выезжает через Саратов по назначению.

Член Ревсовета *Баранов*».

Теперь совершенно ясно, что всякие переговоры надо оставить. Я уезжаю. Со мною уезжает и Ная. Эти два дня я проводил дивизионную партийную конференцию. В лице тт. конферентов я простился с дивизией и на прощанье поделился с товарищами опытом своей работы и дал советы, как вести в данных трудных условиях партийную работу. Радостно было слышать и здесь, на конференции, и позже, в частной беседе,— сожаления о моем уходе. Уходит Ная. Она великолепно работала в культпросвете, недаром весь к[ульт]просвет едва не ставит ультиматум по поводу ее ухода. С ее уходом сиротеет к[ульт]просвет. Оба оставляем дивизию с чувством сожаления и тихой грусти. Свыклись, слюбились, сработались. От сердца отрывается живой кусок. Куда-то дальше бросит судьба? Где, что будем работать? Чапай повесил голову и вчера целый день не был у меня ни разу.

6 августа

Чапай

— Наполеон командовал всего 18—20-ю тысячами, а у меня уж и по 30 тысяч бывало под рукой, так что, пожалуй, я и повыше него стою. Наполеону в то время было легко сражаться, тогда еще не было ни аэропланов, ни удушливых газов, а мне, Чапаеву,— мне теперь куда труднее. Так что моя заслуга, пожалуй что, и повыше будет наполеоновской... В честь моего имени строятся народные дома, там висят мои портреты. Да если бы мне теперь дали армию — что я, не совладею, что ли? Лучше любого командарма совладею.

— Ну, а фронт дать? — шучу я.

— И с фронтом совладею... Дай все вооруженные силы Республики и тут так накачаю, что только повертывайся...

— Ну, а во всем мире?

— Нет, тут пока не сумею, потому что надо знать все языки, а я, кроме своего, не знаю ни одного. Потом поучусь сначала на своей России, а потом сумел бы и все принять. Что я захочу — то никогда не отобьется...

23 августа

Чем живу я? Какая мысль меня тревожит, какая радует? Не знаю... Нет у меня этих мыслей... Я живу от случая к случаю, от одной работы к другой, не выполняя какого-либо единого крупного плана. Я выполняю, но совершенно перестал создавать, творить, жить инициативою и воплощением ее в жизнь.

Теперь дают мне ответственный, крупный пост: заведывать политической работой в трех армиях, целым Туркестанским фронтом.

Помимо прилежности и порядочности, здесь необходимо проявить крупную инициативу. Проявлю ли ее? В некоторых случаях у меня родится вопрос: «А согласно ли это будет с нашим ученьем? Нет ли каких противоречий?» Как молодому коммунисту мне лезут в голову все эти опасенья и часто не дают возможности разгуляться инициативе на всем просторе: я как будто робею. Здесь никто и ничем стеснять меня не будет: бери средства, бери работников, только делай, делай скорее. Попытаю, что выйдет... Ужели не оправдаю своего назначения?

* * *

А годы уходят, все лучшие годы...

Эта мысль часто тревожит меня до содрогания: в самом деле, ведь уходят самые лучшие, драгоценные годы... Уходят силы, молодость, свежесть мысли, гаснет энергия, гаснут пламенные мечты, сила устремления, воли, сила выдержки и терпения... Лови момент, создавай, пока еще свеж и могуч!.. Годы унесут всю силу и красоту — схватишься, но будет поздно!

Вот эта мысль скребет меня немилосердно, особенно же при встрече с большими людьми. Почему я не такой уже большой? — задаю я тогда себе мучительный вопрос.

Потому ли, что я не могу быть большим, не создан для великого,— или сам я виноват, не хочу быть большим, не пытаюсь им стать? Ведь степень величия и ценности в значительной мере зависит от нас самих, а не только от условий, в которых живем, не только от природных, унаследованных данных... Так вот это *свое,* то, что зависит от меня самого,— все ли я делаю, все ли даю другим, все ли выявляю в жизнь? Ведь прилежание, честность, усердие и прочие качества — есть в значительной мере плоды и последствия привычки и постоянной тренировки. А для *постоянной* тренировки необходимо иметь волю и все время эту волю испытывать в действии. Так вот — проделываю ли я все эти совершенно необходимые действия? И когда задаю себе этот роковой вопрос — вижу, что не прав, ибо не даю всего, что мог бы дать жизни, не вкладываю в работу всех мне присущих сил.

Теперь, на новом посту — буду строг к себе! Все, что есть,— отдам работе, не затаю ничего!

9 сентября

Смерть Чапая

Мы сидели у Полярного [1] в кабинете... Подошло как-то к разговору коснуться 25-й дивизии.

— А вы слышали,— обратился ко мне Полярный,— в Двадцать пятой дивизии огромное несчастье: казаки вырубили весь штаб.

— Как вырубили, где?

— Ночью, наскочили на Лбищенск, куда из Бударина переехал штаб, застигли всех врасплох и порубили. Там же был и Чапаев, про него слышно тоже неладно: будто бы во время бегства на бухарскую сторону вместе с некоторыми телеграфистами он был тяжело ранен и брошен в пути, ибо казаки преследовали по пятам...

Я был потрясен этим известием. Поднялся и побежал в Ревсовет. Там уже никого не было. Пошел к Савину[2]. Савин рассказал то же, что Полярный, ибо подробностей пока не было. В оперативном я узнал несколько точнее: казаки сделали налет на Лбищенск в количестве, по одной версии, трехсот, по другой — тысячи человек.

Отрезали пути отступления, захватили и перерубили всех, кто остался в Лбищенске. Чапай был дважды ранен уже во время бегства. Пулей или шашкой — неизвестно.

Я с лихорадочным напряжением жду все новых и новых известий: жив ли Чапай, где он? Жив ли Батурин, Суворов, Крайнюков, Новиков, Пухов[3], живы ли конные ординарцы, наши геройские ребята, жив ли культпросвет, следком, работники батальона связи, где комендантская команда: все ведь знакомые, близкие, родные люди.

Думаю разом обо всех, за всех жутко и больно, всех жалко, но изо всех выступает одна фигура, самая дорогая, самая близкая — Чапаев.

На нем сосредоточены все мысли: где он, жив ли, мученик величайшего напряжения, истинный герой, чистый, благородный человек? Ну, давно ли оставил я тебя, Чапаев. Верить не хочется, что тебя больше нет. Неужели так дешево отдал свою многоценную, интересную жизнь. Но вестей все нет как нет. Вчера в местной партийной газете даже появилась скорбная статья под заглавием:

«Погиб Чапаев, да здравствуют чапаевцы!»

Написал ее товарищ Вельский, видимо, мало имеющий понятия о том, где сражается Чапаев. Тов. Вельский даже предполагает, что Чапаев погиб где-то на Астраханском фронте.

Сегодня из разговора Новицкого с Главкомом я узнал, что Чапаев дополз до 223-го полка и эвакуируется в Уральск. В газету я послал опровержение[4], но уже поздно вечером от тов. Баранова узнал, что Чапаев, по сведениям, погиб в Урале. Но и этим слухам не хочется верить. Думаю, что Чапай остался жив и скоро об этом узнаем окончательно.

Завтра решится вопрос о том — ехать мне или нет в 25-ю дивизию на формирование политода. Пока об этом переговорили с Баранычем[5], завтра выясним окончательно. Заберу с собой штаб работников человек в пятнадцать — и айда в родную дивизию!..

Мне все еще не хочется считать его «покойным» — дорогого, теперь как-то особенно близкого Чапая. Мне вспоминается наш последний, прощальный вечер, когда он пришел ко мне в своей голубенькой рубашонке. В этой рубашонке он все последнее время ходил по Уральску. Я вспоминаю его во всех видах, а этих видов помню бесконечное количество. Чапай, милый Чапай, жив ли ты!.. Как рад я буду, когда узнаю, что ты все еще жив!

10 сентября

Чапай

Тов. Вельский сообщил, что Чапаев погиб. Я напечатал в газете опровержение. Но сегодня получены от Кутякова скорбные вести: по упорным слухам на месте — Чапай погиб в Урале, пытаясь переплыть, будучи дважды и тяжко ранен.

Батурин изрублен на кусочки за пулеметом, куда он кинулся было отстреливаться. Начштадив Новиков тоже жестоко порублен, но все еще жив. Мне вчера Баранов намекнул, что недурно было бы мне поехать в дивизию для организации политодива. Что ж, не откажусь — кстати, на месте узнаю все подробности катастрофы.

12 сентября

Чапай

Все эти дни, как только узнал я про катастрофу в родной дивизии, сердце ноет, словно сжали его клещами и давят, давят безжалостно. О чем бы я ни думал — встанет вдруг любимый образ Чапая, и все мысли побледнеют перед этим дорогим образом. Про

Чапая все нет определенных вестей. Если б он был жив, мы услышали б, несомненно, но вести как раз все скверные: утонул в Урале, убит, пропал, переправляясь через Урал.

Ноет, ноет сердце... А Батурина изрубили в куски... Новикова тоже зарубили. А Суворыч[1], ты где, Суворыч?

22 сентября

Пестов[1] и 25-я дивизия

Приехал Пестов, и на меня пахнуло родною дивизией... Он рассказал мне про страшную катастрофу следующее:

Казаки наскочили около четырех часов утра в ночь на 5 сентября. Налет не был совершенной неожиданностью, наоборот, казаков встретила цепь наших стрелков, не дала им ворваться во Лбищенск и целые восемь часов держала их за чертою города. Дело в том, что в дни, непосредственно предшествовавшие катастрофе, почти у самого Лбищенска уже неоднократно показывались казацкие разъезды. Между прочим, они наскочили на обоз 223-го полка, где и погиб командир полка Ершов. Наскочили они и на обоз 220-го полка. Словом, положение было тревожное, можно было ждать со дня на день налета. Но штаб все-таки должной заботы не проявил. Хотя цепь и была наготове, но она была незначительна, винтовок было всего что-то около 140—160 штук, патронов имелось совершенно ничтожное количество. Есть слух, что даже одна женщина (?) предупреждала о готовящемся на штаб казацком налете. Чапай об этом знал и все-таки мер никаких не принял. Отбив первую казацкую атаку, наши стрелки расположились в окраинных окопах и держались здесь до одиннадцати часов утра, когда вышли все патроны, когда пришлось отступить в глубь города под натиском наседавшего противника. Говорят, что казаков в этом бою полегло немало, ибо все атаки встречались ураганным огнем.

Один казак на таратайке ворвался было в город с пулеметом, но его Новиков убил, отнял пулемет и стал отстреливаться. С Новиковым был кто-то еще, но кто — точно неизвестно: есть предположения, что это как раз и был тов. Батурин. Выпустив ленты, они остались безоружными и были зарублены казаками. Новиков, тяжело раненный, уполз в халупу и остался жив.

Батурина изрубили. Теперь Новиков перевезен в Покровск, у него перебита нога. Когда не стало больше патронов, когда погибла всякая надежда на спасение, наши стрелки отступили к самому берегу Урала и застыли в ожидании неминуемой гибели. Оставались только последние сотни патронов. Город в это время со всех сторон уже был окружен казаками. Их густые колонны то и дело пытались прорваться к центру. Путей отступления у наших стрелков не было совершенно: с трех сторон казаки, а позади — бурный, широкий Урал под крутым трехсаженным обрывом. Застыв над обрывом, они молча, сбившись друг к другу, ожидали неизбежно идущую верную смерть. В это время Чапай был ранен в руку и в щеку; у него по одежде и по лицу струилась кровь, он держал в одной руке винтовку, в другой револьвер, чтоб в последний момент не даться живым в руки и пустить себе пулю в лоб. Он был прекрасен в своем мужественном терпении и спокойствии. Уже много бойцов свалилось в Урал, пораженные неприятельскими пулями; многие кинулись сами в бурные волны Урала, желая достигнуть противоположного берега, но редко кому удавалось переплыть быструю реку: почти все пловцы погибли в волнах. На обрыве остался один Чапай; предпоследним кинулся в волны военком санчасти — он остался жив. Больше Чапая никто не видал. Может быть, он тоже упал в бурные волны Урала, сраженный казацкою пулей, а может быть, сам угодил себе в сердце и теплым трупом отдался свирепым врагам? Никто не знает, никто дальше не видел героя, благородного бойца Чапая. Казаки поставили на берегу Урала пулеметы и били по тем, которые пытались переплыть к другому берегу. Может быть, и

Чапай кинулся в воду — измученный, израненный, ослабевший. Может быть, утонул в изнеможении, а может быть, и в волнах добила его меткая вражеская пуля.

Когда Кутяков со своими полками стремительно отходил назад и проходил через Лбищенск, были видны три огромные свежие могилы, доверху наваленные человеческими телами. Может быть, среди этих тел было и худенькое тело славного командира Чапая.

Он пропал без вести. Он не мог попасть в число тех шестисот человек, которых казаки увели с собою: Чапай, Батурин и Крайнюков, видимо, погибли на месте. «Выдавай жидов, коммунистов и комиссаров, не то всех расстреляем»,— крикнули казаки толпе. И там уже начались опасливые шушуканья: коммунисты, вероятно, были выданы и все зарублены после истязаний.

Кутяков прошел до Бударина от Сахарной как ангел мести, как истребитель: он сжег дотла все селения и, вероятно, мало кого оставил из жителей, шпионаж которых на лбищенской катастрофе сказался с поразительной ясностью. Теперь нет больше вольного орла Чапая — вдохновителя и руководителя славной Чапаевской дивизии, а вместе с ним нет и тех, которые облегчали ему многотрудную работу: нет Батурина, Крайнюкова, Суворова...

6 октября

Воспоминания о Чапаеве

Когда мы собирались вчетвером: Чапай, Исаев, Садчиков [1] и я, мы всегда пели любимую чапаевскую песню: «Ты, моряк, красив собою»... Это была у нас самая любимая и самая дружная песня. Были и другие: «Сижу за решеткой в темнице сырой», «Из-за острова на стрежень»... Были и еще, только я тем песням не научился. Чапай голосу, собственно, никакого не имел, но заливался всегда резким и громким метал-

лическим тенором. Он утверждал, что раньше пел великолепно и был в хору одним из первых. Теперь он, правда, особого эффекта не производил, зато пел увлекательно, заразительно и весело. В песне Чапай весь отдавался наслаждению, душа у него была напевная. Петь он был согласен когда угодно: и днем и ночью, дома и в поле, после боя и перед боем. В этом отношении он был даже несколько неосторожен: заливался и увлекал нас даже подъезжая к позиции. Однажды темным вечером в открытом поле мы заливались отчаянно, имея с собой человек десять ординарцев. В ту ночь мы заблудились и ночевали в поле. А поблизости, оказывается, были казаки. Мы были совсем неподалеку от позиции.

Но лишь только объявлялось дело — песню обрывали на полуслове, оставляли недопетой. Чапай становился суровым, строгим, спокойно сосредоточенным: он думал. Он думал много и сосредоточенно.

Когда мы едем, бывало, на позицию, Чапай долго молчит и потом скажет: «Вот не знаю, как ты, Дм[итрий] Андр[еевич], а я все думаю, все прикидываю, как лучше обхватить врага.

У меня все мелькают перед глазами перелески, долины, речки, я замечаю, где можно пройти, откуда можно застать его врасплох...»

Недаром Чапай готов был к любой неожиданности, его ничем не удивишь, он всегда и быстро находил безболезненный выход даже из самого критического положения. Он великолепно помнил не только места нахождения своих полков и полков соседних дивизий, он помнил даже те деревушки, которые были уже пройдены, но которые зачем-либо вдруг оказывались нужными.

Память у него была замечательно сильная и в то же время какая-то особенно цепкая: она ухватывала все, что проходило мимо,— и разговор, и лица, и содержание книги, и подробности боя; он все представлял отчетливо и точно. В его память всегда можно было адресоваться за каждою справкой.

* * *

Работа в политоде

Работа идет головокружительная: широкая, непрерывная, срочная. Мне удалось наконец сконцентрировать у себя всю работу руководящего характера. До сих пор она расползалась по разным рукам, делали кому что вздумается. Теперь работа исполнительская переложена на секретаря и его аппарат, а у меня осталась работа чисто организаторская, дирижерская. Это как раз та работа, которая мне наиболее свойственна: дать мысль, дать толчок, пробудить к работе спящих и дремлющих, указать им маяк и пути к этому маяку...

Создаю во фронте твердый кулак серьезных политических работников. Одному тут ничего не поделать. Работники подбираются медленно.

10 декабря

Странность моего дневника

Я часто укоряю себя за то, что в дневнике помещаю только записки личной жизни и не отмечаю явления жизни общественной. Объясняю следующим образом: все эти явления находят себе многостороннее освещение на страницах печати и в любое время оттуда можно почерпнуть богатейший материал. Несомненно, что имеется кое-что и «мое» в понимании этих событий и явлений, но оно так мало рознится и его так легко вспомнить, что я не тружусь, не заношу особо.

24 декабря

Ная и мой отдых

Из Москвы я проехал сюда на родину со специальной целью отдохнуть в течение нескольких дней. И отдохнул. Теперь чувствую себя значительно све-

жее. В сущности говоря, вся эта поездка в Москву, оба съезда[1] — все это было своеобразным отдыхом, ибо отдых ведь заключается не в непременном ничегонеделании,— он еще заключается в перемене обстановки и лиц, с которыми имеешь дело. Целый месяц я нахожусь в новой обстановке и с новыми лицами — это меня подбодрило и укрепило весьма значительно. Эти вот несколько дней я даже и газеты читаю из пятого в десятое, даже стыдно, что отдыхаю так по-обывательски. Впрочем, милая Ная совершенно правильно говорит, что мне необходимо дать поотдохнуть глазам, ибо они начали краснеть, как у кролика.

Наюшка ценит меня очень высоко и пророчит мне огромное светлое будущее. А я вижу, что способности у меня хоть и порядочные, но знаний, положительных знаний, в сущности, ведь очень и очень мало. И я рвусь все время к пополнению этих знаний; мне хочется читать, без конца читать научную литературу, но не могу я ее читать, не хватает времени: все время уходит на политическую работу. Что-нибудь одно: или то и другое кое-как или хорошо выполнять — что-нибудь одно из двух. И я решил прилично выполнять политодскую работу за счет пополнения собственных знаний. Рискую выдохнуться, как, например, повыдохся я на чтении лекций: раз, два, да и обчелся.

Вот поутихнет (дело ведь близится к миру!) — займусь научной работой, даже, может быть, стану учиться в новом, свободном университете, заканчивать свое скудное образование...

26 декабря

В Иванове

Я здесь уже не застал многих и многих из своих друзей по революционной работе: их сотнями мобилизовали и услали на фронт. Ивановцы всюду зарекомендовали себя с лучшей стороны, о них всюду слышишь прекрасные отзывы: на советской ли, на военной ли работе или в непосредственном бою — коренные пролетарии всюду оправдали себя. На нашем фронте вы ивановцев можете встретить в любом го-

роде и на крупнейших постах, можете вы их встретить в военных учреждениях и в действующих частях.

Приехав, я встретил самый теплый, дружеский прием; рабочие были страшно рады, окружили, расспрашивали, жали руки. За эти несколько дней мне пришлось дважды выступать на рабочих собраниях: на партийном собрании и на митинге. Настроение прекрасное, несмотря на отчаянную голодуху, которая длится непрерывно вот уже третий год. Видимо, посвыклись, помирились с неизбежностью, не придают этому вопросу той остроты, которую придавали прежде.

Голодают так же, как голодали и прежде, но своего недовольства ребром, как 1,5—2 года назад,— уже не ставят. Вообще теперь население, крайне во всем нуждающееся, поутихомирилось, ибо свыклось и примирилось. Мы как военные остроты момента не чувствуем, ибо армия всем снабжается в первую очередь...

* * *

Мой дневник

Ценен ли мой дневник и ценен ли вместе с ним я сам, ибо он ведь — мое точнейшее отражение и выражение?

Помнится, в первые дни революции в какой-то газете для характеристики личности Николая II было приведено несколько выдержек из его дневника: «покушал, прошелся по садику, полежал, светило солнышко, побранился» и т. д. и проч. Эти выписки из дневника совершенно отчетливо восстановляли перед нами ничтожную, дрянненькую, пустую личность покойного всероссийского самодержца...

Эта памятка пришла мне на ум теперь, когда я подумал о содержании своего собственного дневника: любовь, страдания, радость, воспоминания, ожидания... Можно подумать, что вся моя жизнь лишь в том и заключается, что вспоминаю про минувшую любовь и живу ее перипетиями в настоящем.

А общественная работа, а крупный пост, а революция? Разве здесь уж не о чем больше писать? И разве не полны мои дневники из времен 1917 года одними лишь революционными записками, не давая ни единой строчки переживаниям личного характера? Без дальних околичностей полагаю следующее:

Первые дни революции все было слишком ново, свежо, неожиданно. Теперь же почти все предугадываешь, знаешь наперед.

Тогда было детство, энтузиазм, неведение; теперь — мужество, спокойствие, большая сознательность и большее знание.

Все, чем живу теперь общественно,— получает точнейшее отражение в прессе, в статьях, заметках, отчетах.

Любой период, любую эпоху революции можно воспроизвести по газетам и журналам, а историю личной жизни уж никогда и ни по чему не воспроизведешь. Нюансы мельчайшие и незначительные недостойны того, чтоб о них писать, а особенности моего понимания событий, что являются более значительными, получают отражение или в дневнике или в моих же собственных статьях. Словом, попусту марать бумагу не годится, а что следует — это записывается. Правда, не полностью, но на «полность» ни времени не хватает, ни терпенья.

Я все еще не теряю надежды рано или поздно заняться писательской деятельностью и ради этого веду, собираю все свои записки, подбираю материал, продумываю разные сюжеты. Когда, при каких условиях только стану я писать и вообще придется ли это когда-либо делать?

29 декабря

Кто я политически?

Иной раз, то есть не только иной раз, а почти всегда,— мне думается, что с работою политода целого фронта я справляюсь совершенно прилично, понимаю ее правильно, инициативы, трудоспособности и сооб-

разительности выявляю достаточно, кадр работников подобрал приличный... Словом, чувствую удовлетворение и работаю с наслаждением. Но иной раз западает мне в душу сомнение: не мал ли я для этой работы, не дилетант ли, не временно ли воспламененный интеллигент, который назавтра уж готов отойти от революции и заняться по-старому литературой, поэзией, обучением грамоте и проч. и проч.

Эти занятия, конечно, тоже могут быть революционными, но я сейчас говорю исключительно о творческо-организационной работе в широком масштабе, говорю о той работе, которую могут выполнять лишь подлинные революционеры, которым ничто нипочем: сегодня его выпустили из тюрьмы, а завтра он уже снова за работой, и в любой обстановке, при любых условиях этот подлинный революционер останется самим собою! Таков ли я — черновой ли, трудовой ли революционер, или только поэт революции, только пламенный глашатай и зовун, но не работник, не черновик?! Не знаю, совсем не знаю. Это подтвердить и опровергнуть может только жизнь, вся борьба, вся огромная масса случайностей, опасностей, испытаний. Выдержу — буду революционером, не выдержу — окажусь типичным теоретиком-интеллигентом, на настоящую, безмерно трудную, черную работу совершенно непригодным.

Здесь даже целых два вопроса:

1) Гожусь ли я на черновую работу и не являюсь ли я всего лишь эхом, поэтом революции?

2) Пусть даже я подлинный революционер, тогда: настолько ли я развит, настолько ли уже готов, чтобы взять на себя политическое руководство в масштабе целого фронта?

Ни на одно сомнение дать себе окончательный ответ не могу. Но в процессе работы оформливаюсь достаточно быстро, ориентируюсь правильно и решаю с легкостью такие вопросы, которые не столь давно казались недоступно высокими и крупными, не поддающимися моему горизонту, разумению и разрешению.

Теперь же, чем дальше работаю, чем больше разрешаю крупных вопросов,— тем легче, проще кажется мне вообще вся наша жизнь, вся работа — борьба.

Теперь понимаю, что прежняя министерская работа казалась невтерпеж крупной и недоступной главным образом потому, что нас к ней совершенно не подпускали и понимать ее «не разрешали». Теперь же пути всюду и ко всему открыты, теперь все сделалось ясным и понятным. И жизнь стала проще, работа стала отчетливее и прямее: без хитросплетений, без обходов, без высокопарностей. Красивая эпоха, красивые дни!

1920 год

Самара, 7 января

Мой партийный стаж

Революционером и даже «левым» революционером я был, по-видимому, от пеленок — я заключаю об этом по массе крупных и мелких случаев бунтарского, протестантского характера, которые расцветили всю мою раннюю семейную жизнь. В то же время, помнится, я всегда с особенной любовью относился к бедняку. Годов еще 7—8 назад, в каком-то стихотворении, я выразился что-то в таком роде: «Возненавидеть я могу за то лишь, что ты знатен, а полюбить за то, что беден ты!»

И отношения, к примеру сказать, со служащими, работавшими у нас в чайнушке, были у меня наилучшие. Панибратство у нас было полное и поэтому совершенно ничего не было не только «неудобного» (в смысле смущения), но даже и нового в том, что с Мишухой Карповым, нашим экс-маркёром, мы очутились за одним столом, работая в городском совете. Я и книгами интересовался все больше вольными, но не было человека, который бы рассказал мне своевременно про социализм, про великие классовые битвы, про рабочее движение. Я ничего не знал, совершенно ничего. И я очень мало понимал из этой области, ибо не понимал еще основного — деления всего общества на классы.

Революция сразу поставила меня на ноги. Теперь я тверд, и разум мой ясен. Я был до революции, так сказать, потенциальным коммунистом, а теперь эту свою природную потенцию выявил на волю во всей красоте, и простоте, и силе. Сила еще не ушла. Просто-

та была всегда, осталась она и теперь. Красота? Да, в этом развертывании есть и красота, ибо в душе моей живет художественное начало, ибо я жил все время как художник, мыслил и чувствовал образами. И теперь в революционном творчестве я проявляю себя порою именно как художник...

Кончаю...

Еще одна книга, где запечатлены этапы жизни, еще заканчивается целая серия печальных и радостных картин. Я счастлив. Несмотря на частичные неприятности и неудачи — я счастлив как никто, потому что я удачник в жизни. Я сталкивался с крупными несчастиями и опасностями, но они каким-то образом проходили, не уничтожая меня в прах и пыль, а только слегка царапая и ущемляя. Я болел, я жестоко скандалил, я подвергался опасностям военной жизни и... счастлив. Весел, силен, юн, люблю и любим голубою Наюшкой, живу перспективою плодотворного, широкого труда... Этот труд и всю мою жизнь осветила и одухотворила любимая Ная.

Цепей нет, обузы нет — есть только радость, осязание счастья, удовлетворенность работою и блаженство полноты.

26 января

В Туркестан

Мы едем в Туркестан. Новые мысли, новые чувства, новые перспективы. Что нас ждет в этом загадочном, знойном Туркестане? Увидим ли, как индийские рабы взовьют победные, кровавые знамена, или где-нибудь славная дикая шайка степных разбойников накинет нам проворные арканы и разобьет о камни наши головы, так страстно мечтающие теперь о знойном, загадочном Туркестане.

Не знаю. Никто этого не знает. Но я верю в свою путеводную звезду, она меня спасала, она выводила из страшных дел, она отводила жестокую, карающую десницу беспощадной судьбы.

Я верю в свое счастье; не изменит оно мне и в песках Туркестана, как не изменяло в дымных рабочих кварталах промышленных городов, как не изменяло оно и в широких степях Приуралья. В трудной работе я найду новые радости, ибо поле, где будем сражаться,— это поле широко, просторно, не возделано пахарем. Мы идем теперь пахать богатую, многообещающую ниву туркестанской целины. Она уже теперь зачата косулей, ее уже начали бороздить первые вестники революции, но их мало; они ошибались слишком часто и много, они повредили там, где можно было бы не делать вреда. Мы идем поправлять, дополнять, делать многое сначала.

Мне захватывает дух, когда подумаю, как много предстоит работы. Были минуты малодушия, когда страшно становилось перед необъятностью открывающейся перспективы, но эти мутные мгновенья сгорали в огнях величайшей радости и захватывающего счастья от сознания, что приходится прикасаться, входить, тонуть в великом, необъятно великом и прекрасном деле. Как только вспомнишь, что отдаешь свою мысль, свой покой, свою силу, а может быть, и всю короткую жизнь, что отдаешь все это на славную борьбу — дух захватит, сердце заколотится, рыдания сдавят горло — и застынешь в экстазе. Я люблю минуты такого просветленья, когда с особенной четкостью сознаешь, как крупна, значительна та польза, которую приносим мы своей бескорыстной, напряженной, непрерывающейся ни на час работой.

Предстоят долгие дни путешествия. Через 2—3 недели увидим этот чарующий, неведомый Туркестан. Ну, машина, неси быстрее! Я хочу скорее окунуться в новую, кипучую работу.

* * *

Бузулук

Мы сегодня проехали мимо этого маленького городишка. Он вам ничего не говорит, этот крошка Бузулук, а мне — мне он напомнил недавнее прошлое...

Ведь с тех пор не прошло еще году — год будет только на пасхе. И тогда еще жив был мой любимый Чапай. Я вспомнил наш штаб, куда мы то и дело бегали с ним по разным делам; вспомнил квартиру, где певали, бывало, любимые песни. Тут был Демин, Петруша [1], Садчиков,— много тут было чапаевских орлов, воспитанных на суровой жизни и непрестанных боях. Теперь уж не знаю, где они. Петруша застрелился сам, когда казаки во Лбищенске прижали к Уралу; Садчиков и Демин, может быть, живы, но все время в боях... Чапай погиб...

Мы, бывало, здесь с ним ездили верхами осматривать дорогу для тяжелых орудий. Тогда Колчак еще был в цвету и в грозе, тогда он внушал немалое опасение. Теперь Колчак сидит в иркутской тюрьме, скоро привезут его в Самару... Первые сокрушительные удары Колчаку нанесла непобедимая Чапаевская дивизия. А там уже пошло, пошло... И Уфу взял Чапаев и дальше погнал, на Челябинск...

Помню, как здесь вот, в Бузулуке, трепетал неудержимо грозный Чапай, порываясь ударить на врага еще. Все прошло, все миновало. Дорогого Чапая нет, он погиб в жестокой сече! Будь свята память о твоем чистом имени!

Бузулук напомнил мне блестящую страницу жизни, развернул целую серию прекрасных картин недавней жизни, полной опасностей, походов, битв и невыразимых переживаний.

7 февраля

Охлаждение

Уж какой я был охотник до митингов — а вот, поди ж ты, разохотился.

Поутомился, поприелось, неинтересно, отбываешь митинг как невольное дело — часто совершенно без интереса, скрепя сердце, единственно подчиняясь партийной дисциплине. По части докладов — другое дело; тут, конечно, куда интереснее и содержательнее.

Но даже и здесь замечаю, что страсть к «разговору» прогрессивно падает, в то время как воля к действию непрерывно растет и усиливается.

15 февраля

Из Актюбинска

Сегодня (15-го) ночью, по всем видимостям, мы уедем из киргизской столицы. Между Эмбой и Чалкаром только что уничтожили грандиознейший занос ж.-д. полотна, длиною 3 версты и глубиною 1,5 сажени. Теперь со всех концов начало поступать топливо: с Оренбурга везут пиленые шпалы, из Туркестана гонят нефть и саксаул. Все говорит за то, что поедем быстрее. А ежели наше движение предречь согласно той быстроте, с которою мы ехали до сих пор,— остается еще мариноваться в купе примерно 8—9 недель. Воюем с железнодорожниками, составляем комиссии, выясняем причины задержек... В самом Актюбинске провели большую политическую работу по постановке лекций, проведению митингов, инструктированию политодов и воинских частей,— по созыву смешанных совещаний, проведению ревизий и т. д.

Но, все ж таки — скорей, скорей в Ташкент! Скорей под знойное небо, к знойным людям, для знойной работы...

Эмба, 17 февраля

Путешествие в Индию

Я сообщил Нае, что по замирении уеду странствовать; странствие всегда было и остается моей заветной мечтой. Проеду по Востоку, потом перекинусь на Запад. Ная тоже со мной, хотя я ей пригрозил полушутя, что года на 3 придется ее оставить у матушки и ехать одному, ибо она не выдержит всех трудностей.

— Выдержу, не бойся за меня, я и сама люблю бродяжничать... только чтобы было не пешком, самое малое на лошадях, а то в вагоне...

Странствовать уйду, не уйду, так уеду, вместе с Наей или без нее, но земной шар все-таки ощупаю и осмотрю собственнолично и собственноручно.

Только не предвижу, когда наступит этот момент, чтоб я взял суму, посох и сказал: «Ну, теперь иду, раздвигайся, божий мир, открывай свои тайны, давай мудрость, опыт, красоту, наслаждение». И пройду по всему земному кольцу.

Плана нет, но начну, видимо, с Востока. Мечта эта занимает меня с самого детства, теперь необходимо только выбрать момент, проявить решимость и осуществить то, что вполне осуществимо.

21 февраля

По пути

Мы все приближаемся к Ташкенту и теперь уж приближаемся по-настоящему, а не ползем, как рак с клешней. Эмба, Аральское море, Казалинск, Перовск — все миновали за короткое время и через 2—3 часа будем в Туркестане. Степи, собственно говоря, однообразны. Но появился изредка кустарник, камыш, степной ковыль. Да стало теплее. Наша публика, конечно, бесится от радости, отогреваясь после самарских, оренбургских и актюбинских холодов...

25 февраля

В Ташкенте

Мы приехали в Ташкент 22-го. Сегодня 25-е. Я все еще не принял политода, а назначил особую комиссию для обследования — жду результатов...

Я пока присматриваюсь и прислушиваюсь ко всему; знакомлюсь с орг[анизациями] и людьми. Все ново, интересно, горю жаждой приступить к сплоченной

работе, сойдясь с крупными организациями. С другой стороны, подхожу осторожно, опасаясь своих первых шагов в новой, трудной обстановке.

1 марта

Тоска

Сегодня первое марта. Прошла целая неделя с нашего приезда сюда. Все ведомости по политоду готовы, сегодня принимаю заведывание. Настроение все время настолько паршивое, что в 9 часов укладываюсь спать, не будучи в состоянии ни читать, ни писать, ни разговаривать с любимой Наей. Я не хочу, внутренне не хочу брать политода, я как будто робею, не верю, что справлюсь со всей грандиозностью работы. Тут нужно знание края, а у меня — где оно? Работать приходится в невероятно трудных условиях. Не принявшись за работу — я малодушествую. Но раз взявшись — ясное дело, что пойду смело и уверенно. А сейчас вот не прочь бы куда-нибудь и пониже, где меньше забот, меньше ответственности — словом, где можно и отдохнуть. Я изживу это паршивое настроение очень скоро, но пока что — весь трепещу в его мрачных, скользких объятиях...

Бурная, 25 марта

Путь к Верному[1]

От Ташкента до Верного свыше 900 верст. Добрую половину пути приходится ехать на лошадях. С последней остановки (ст. Бурная) считают до Верного по тракту 580 верст. Можете себе представить, что это за чудесная поездка в весеннюю распутицу, когда часть мостов размыта и унесена, когда дорога представляет собою или вязкую, глиняную кашу, или скованную последними морозами и играющую последними буранами наиболее высокую, горную часть пути. Одновременно приходится обзаводиться и жестким

брезентом на случай слякоти и дождей и теплым овчинным тулупом на случай жестоких морозов. Часть пути проходит в тарантасе, другая часть — на санях.

Именно в такую-то неладную пору и приходится нам, 12-ти политическим работникам, направляться в глубокое, далекое Семиречье на работу. Уж далеко оставлены позади и фруктовые ташкентские сады, и жаркое солнце, и светлое небо, и сартовские разноцветные халаты. Кругом открытые, пустынные равнины со сверкающим снежным хребтом далеких Тянь-Шаньских гор, и чем дальше уезжаешь от Ташкента, тем выше уходит дорога, тем ближе к полотну подступают высокие, гордые скалы. Горными пейзажами здесь дорога во многом напоминает кавказскую, между Баку и Тифлисом.

В равнинах снег почти сошел, он остался на предгорьях и выше в горах. Солнца не видно — оно все время прячется в повисших тучах и густых туманах, тяжело поникших над горами. Пасмурно, холодно и тихо. Растительности никакой; только возле киргизских аулов и разбросанных юрт одиноко чернеют какие-то жалкие, незнакомые деревья. Здесь сартов уже не встречается — по аулам ютятся только киргизы, пасущие по склонам свои стада. Возле станций живет немало русского населения — главным образом его можно встретить в придорожных городах. Кое-где мы останавливаемся по пути и знакамливаемся с постановкою политической работы, с советским аппаратом, с работой комиссариатов. Обнажаются печальные и любопытные картины. В советах зачастую сидят чужие люди, и эти люди творят чужие, не наши дела. Не только в советах,— эти люди пробираются даже в партийные комитеты и под коммунистическим знаменем проводят свою собственную «политику».

На станции А. нам, например, сообщили, что товарищем председателя партийного комитета состоит отъявленный спекулянт, владелец целого ряда лавчонок, открывший недавно новую лавку для сына, чтобы этот сын «при новом строе, когда все должны трудиться, тоже не шатался понапрасну, а сам добывал деньгу».

В этой организации, насчитывающей около 300 членов (при 4000 населения!), по рассказам местного рабочего, много народу записалось потому, что прослышало, «будто скоро коммунистов будут наделять мануфактурой» (факт в условиях туркестанской действительности совершенно естественный, если принять во внимание, что кое-что в этом роде партийными организациями в прошлом действительно проделывалось). Когда мы полюбопытствовали определить социальный состав членов орг[аниза]ции, оказалось, что рабочих, главным образом железнодорожников, тут вообще имеется человек с 50, а остальные — «так себе, жители». Организация, несомненно, нуждается в роспуске, но в том-то и беда, что эта организация не одинока, что вместе с нею нужно распустить и массу других. Вероятно, в ближайшем будущем эта операция будет проведена в широком масштабе и самая гнусная часть «мануфактуристов» будет таким образом отсечена, но теперь же надо предостеречь себя от повторения промаха в будущем. Первым делом следует ядро ячейки создать из железнодорожных рабочих; затем воздержаться от раздувания ячейки количественно и, наконец, более или менее частыми посещениями следует проверять действительный состав членов организации. В некоторых местах ячейки, видимо, придется упразднить окончательно, впредь до тех пор пока беднота не выйдет из дремотного состояния и не даст своих работников вместо мусульманских баев и русских кулаков. Придорожным организациям, где ячейки будут наиболее сильны, придется, видимо, поручать ближайшее руководство ячейками более глухих мест с менее надежным составом членов. Не следует упускать из виду, что изгнанные из партии и утерявшие ее формальную защиту «бывшие коммунисты» — сделаются злейшими и мстительнейшими врагами партии.

Подобный состав ячейки, про которую здесь говорится, отнюдь не является редкостью и исключением — недаром здесь, в Туркестане, не так давно были распущены целые областные организации и одна готовится к роспуску на ближайших днях. Глухая,

нетронутая стена многомиллионного мусульманства еще не дала достаточного количества своих подлинных революционных борцов.

Слой железнодорожного пролетариата тощ и жидок. Остальная русская масса — или колонизаторское кулачество или царские чинуши, за самыми незначительными, почти персональными исключениями. Впереди — колоссальной трудности работа по раскачиванию и просвещению мусульманского кишлака. Это первая из первых задач, ибо в кишлаке сходятся все начала и концы восточного движения, раскрепощения и окончательной победы мусульманских трудящихся масс. Надо быстрее, быстрее разбудить эту косную трудящуюся массу и ее сынами заменить кулаков и баев, устраивающих торговые лавочки под священным знаменем рабочей партии.

10 апреля

Функции уполномоченного весьма разнообразны. В этом разнообразии необходимо найти ядро, самое главное — поставить это главным стержнем и уж только вокруг этого центра организовать всю свою работу. Что же является центром моей работы здесь, в Семиречье? Особенно теперь, когда военные фронты ликвидированы, когда перед войсками стоят новые, своеобразные задачи. Основным является — возможно быстрое и всестороннее ознакомление с нуждами области, ее положением, состоянием всяческой работы и возможностями...

15 апреля

Заговор

Материалы получаются настолько недвусмысленные, что приходится подозревать определенный заговор. В центре стоит, видимо, Рыскулов. Агенты разосланы всюду. Одним из ближайших его агентов

является его зять, Джиназаков. Они оба активно участвовали в восстании 16-го года и руководили этим восстанием [1]. На Рыскулова имеются пока что данные довольно туманного характера: он бай, имеет сотни голов скота, поделив его между своими ближайшими; он получает от Джиназакова денежные суммы. Нечист. Джиназаков определенный подлец и уголовный преступник. За уголовные дела он был уже арестован и сидел. Теперь раскрывается такая картина, что совершенно никому невозможно верить...

20 апреля

В ночь на 19-е получена была шифрованная телеграмма от тов. Альтшуллера. Он говорит, что выехать не может, хотя работа и подходит к концу. Учинена отчаянная слежка со стороны джиназаковской шайки, которая намерена применить террористические акты по отношению к девяти товарищам, в том числе, видимо, и по отношению к тов[арищам] Альтшуллеру и Полеесу [1]. Во главе всего дела стоит сам Джиназаков, штаб-квартира которого находится в Токмаке. Руководить всей махинацией будет Джиназаков, а практическое исполнение берет на себя Мус[ульманское] бюро. В контакте с ними: Ревком, Чека и Ревтрибунал.

Получив такую телеграмму, мы, естественно, не могли дальше медлить и ждать только указаний центра, который, кстати сказать, хранил по этому поводу гробовое молчание.

Я вызвал начособотдела т. Кушина и начальника дивизии т. Белова. Все мои товарищи были на ногах: Никитченко, Муратов, Верменичев, Колосов, Рубанчик и Гарфункель. Вызвали к гостинице две пары лошадей. Настроение у всех было повышенное. Переживания напоминали октябрьские дни, когда мы по ночам, в душной комнате, изображая собою Штаб Октябрьского переворота, были все время настороже, держали наготове взведенные револьверы и срочно разрабатывали планы дальнейшей борьбы...

22 апреля

Джиназаков

Джиназаков — это не простой смертный, а манап. Именитый, богатый манап. Его отец где-то в Аулие-Атинском уезде до сих пор имеет огромные табуны коней, исчисляемые несколькими сотнями голов. Таракул Джиназаков, раздавая киргизам деньги Туркцика, собственно говоря, о советской власти совершенно не заикается, он раздает их как Джиназаков, как манап...

11 мая

Арест Джиназакова и общее положение

Кушин[1] прислал телеграмму из Пишпека[2] об аресте Джиназакова. Это было два дня назад, в воскресенье, 9 мая. Масартский[3] Джиназакова арестовал. Произвел у него обыск, а кстати обыскал и Качкинбаева, который жил в смежной с Джиназаковым комнате и вещи у которого были смешаны с вещами Джиназакова.

Я узнал об аресте только через 3—4 часа (Масартский, как говорит, не мог меня найти, хотя в управлении должен был узнать, что я нахожусь на срочном заседании ревкома). После ареста все всполошились, а, в первую голову, разумеется, мусульманские работники. Кроме того, накануне арестован начальник уездной милиции Седых — паршивая, гнусная личность. Этот последний был, между прочим, в какой-то подозрительной близости с Юсуповым[4], хотя арестован и по другому делу. В квартире у Юсупова произведен обыск — ничего особенного не найдено. В бумагах Джиназакова как будто так же серьезного материала не обнаружено. Положение невероятно запутанное и грозное. *Как будто приближается какое-то неминуемое событие.* А тут еще в гарнизоне распускаются разные провокационные слухи, расклеиваются погромные

воззвания и т. д. Выпущены на волю все офицеры, доселе содержавшиеся по тюрьмам, офицеры-перебежчики. Это вызвало некоторое брожение среди рядовых перебежчиков-казаков, которые являются сторонниками репрессий по отношению к известной группе офицерства и не прочь даже довести свое желание до самосудов. Все насторожились, все чего-то ждут. Ревком скомпрометирован обыском у Юсупова, да к тому же заместитель Юсупова тов. Паценко, хотя и душевный парень, но порядочная растяпа, трусоват, недалек и поддается панике. Присланы угрожающие письма Особотделу и Ревтрибуналу, по которым обещают открыть огонь. Атмосфера напряженная. Я ждал т. Кушина, полагая, что он привезет весьма ценные материалы и это даст нам возможность действовать более решительно. Сегодня он ко мне пришел, пришел и рассказал обо всей произведенной работе. Выходит так, что особо ценного материала, материала политического, пожалуй что и маловато. Есть письмо о заготовлявшемся оружии; есть документальные данные о недопустимых, контрреволюционных выступлениях Джиназакова на митингах, где он приглашал не забывать 1916-го года; есть сведения о том, что у сторонников Дж[иназак]ова была установлена связь с мусульманами Иргаша[5]. Но как первый, второй, так и третий материалы еще требуют весьма тщательной проверки. Уголовного материала вполне достаточно для ареста, но все ж таки результаты не те, каких я ждал...

Теперь мы здесь словно на вулкане. За нами установлена слежка джиназаковцев и черт их знает, что они предполагают относительно нас.

Хотя атмосфера и весьма сгущенная, а обстановка напряженная — я все-таки не жду ничего крупного. Правда, т. Кундурушкин получил еще сведения о существовании здесь заговорщической организации. Один из его агентов даже несколько вечеров просидел на чердаке и слушал заседания этой орг[аниза]ции — но все это еще не проверено, неточно и не доказано. Мне думается, что не будет ровным счетом ничего, а все ж мы приготовляемся: возле Особотдела и Ревтрибунала очищаются ближайшие помещения; мы чистим

винтовки и пулемет; ходим все вооруженные; создали в спешном порядке коммунистическую роту; организуем отдельную роту мадьяр при штабе дивизии, роту из них же в караульный батальон и два эскадрона конницы вольем в Четвертый кавалерийский полк, который прибудет сюда через 1,5—2 недели. Готовиться не мешает, но, повторяю снова, что крупного тут ничего быть не должно.

18 мая

Работа среди мусульман

Эта работа, в сущности, никем и ни в какой степени не ведется. Для нас, русских работников, мусульманство недоступно по незнанию языка. Посещаем курсы тюркского языка, но пока что ничего не знаем. Сами же мусульмане работу вести отчасти не умеют, а отчасти не ведут и за неимением времени: их мало, а работы много. В ближайшее время при подиве созовем специальное совещание, посвященное обсуждению работы среди мусульманства. Там же полагаем открыть политические курсы для мусульман, где лекции будем читать сами, а для переводов пригласим опытных переводчиков.

* * *

Подготовка к съездам

Краевая комиссия по подготовке к краевым съездам — 6-му партийному (25 августа) и 9-му советскому — поставила меня председателем областной избирательной комиссии. Через два-три дня эту комиссию при обкоме создадим и взбудоражим область.

25 августа краевой 6-й партийный съезд. 1 сентября — 9-й советский съезд. Имеется особая краевая комиссия по созыву съездов. Они меня уполномочили

быть председателем областной избирательной к[оми]ссии. С завтрашнего дня берусь за работу. Надо сказать, что берусь с величайшим удовольствием. Работа широкая, безгранично широкая и животрепещущая — тут придется дотронуться до самых нижних пластов.

* * *

Охота

В субботу часов в 5 вечера мы выехали за город. Компания была самая теплая: Кушин, Кундурушкин, Никитченко, Шегабутдинов, Верменичев, Горячев, Бочаров [1] и я. Собрались все лучшие работники области — это можно сказать без похвальбы. В городе после нашего отъезда осталось разве человека 3—4. Решили ехать с ночевкой верст за 15 от города, в поместье Медео, где, по словам знатоков, водится много разной горной дичи, а главным образом диких козлов. Приехали мы туда уже темным вечером, ну а впрочем, черт с ней, и с охотой-то, совсем не хочется писать, да и настроение вовсе не поэтическое. Вечером ревтрибунальцы рассказывали разные страхи. Утром охотились и видели козлов. Ничего, разумеется, не убили. На обратном пути я слетел с коня на полном ходу и проломил голову. Теперь сижу забинтованный, не выхожу из дому, залечиваю рану.

13 июня

Арест

Крепость организовалась. В выпущенных ею приказах боевой ревком провозглашался высшею властью в области, которая подчиняет себе как военные, так и гражданские органы. В приказе № 3 от 13-го числа говорилось о назначении нового командующего войсками Семиреченской области. Вместе с тем стало известно, что различные команды и мелкие части, находящиеся в крепости, переформировываются и сводятся в полки. Сила крепости росла и организовалась, в то время как у нас, к 13-му числу, не оставалось уже почти ничего. Но тут очень кстати подоспели резолюции 26-го полка

и Кара-Булакского гарнизона, а вслед за ними и резолюция 4-го кавалерийского полка. Во всех резолюциях говорилось неизменно о готовности помочь нам и активно бороться с мятежниками. Мы об этом разными способами дали знать всему гарнизону — это его несколько отрезвило, хотя окончательно ни в чем не убедило, так как гарнизон считал все эти резолюции делом рук военных комиссаров или вообще ответственных работников, но не красноармейской массы тех частей, откуда пришли резолюции. Однако же известное действие от них, безусловно, имелось. Скоро мы отправились в крепость на митинг для разъяснения постановлений вчерашнего делегатского совещания.

Мне было поручено выступить с общим докладом и огласить протокол заседания. Митинг состоялся внутри крепости, где теперь уже нашли приют все обиженные и почему-либо недовольные советской властью: тут были и пострадавшие от карательной политики революционных органов, и беженцы Лепсинского уезда, настойчиво требующие возмещения полностью убытков, которые принесла им война с Анненковым;[1] были тут просто бежавшие и выпущенные из тюрьмы; были крестьяне ближайших, может быть, теперь уже и отдаленных сел, приехавшие или за оружием или с жалобами к крепости... Словом, горючего элемента было тут целая уйма. И все-таки более чем на час нам удалось овладеть этою неспокойной и мятежной аудиторией, мы заставили ее слушать себя при совершенном молчании и спокойствии — без выкрика, без единой попытки прервать или оскорбить оратора. Можно было предположить, что мы завоевали симпатию слушателей, что мы их убеждаем и внутренно переводим на свою сторону, что в таком состоянии мы легко сможем навязать им свою волю и мысли. Это поняли сразу главари мятежников. Увидев, что аудитория бесконечно внимательно слушает, а может быть, даже и соглашается с нашими доводами, главари крепости вдруг устроили ложную тревогу, объявили о каких-то мусульманских отрядах, появившихся на окраине города, о броневиках и т. д. Митинг был сорван...

* * *

Мы приехали в крепость и надеялись здесь наконец покончить с этим тяжелым недоразумением. Ведь нельзя же в самом деле считать восставших красноармейцев белогвардейцами. Они в своем огромном большинстве жестоко пострадали от нашествия белых. Их РВС был у нас, договорился с нами по всем вопросам, со всем согласился, и мы начали совершенно искренне верить в то, что скоро, даже сегодня договоримся по всем вопросам и введем жизнь в мирное русло. И все-таки РВС гарнизона нас вероломно обманул. Он завел нас сюда в крепость, созвал широкий митинг, дал мне выступить по всем вопросам, а потом все оборвал, сказав, что случилось где-то и что-то неладное, заявив, что митинг дальше продолжаться не может. Красноармейцы весьма сочувственно и одобрительно относились ко всему, что я им говорил, а в конце, после объявления о взятии нами Киева, даже дружно захлопали. Но так относилась лишь вся красноармейская масса. И не так отнеслись к нам вожди этой массы. Они устроили фиктивное объединенное заседание, где мы обсуждали вопрос о слиянии РВС и Военсовета и в средине заседания нас арестовали. Обшарили, ощупали и посадили в кутузку, где уже сидело человек 12, заключенных раньше. Мы вошли молча, молча сели, и ни слова не говорили и теперь. Каждый погружен в свои думы. Что нас ожидает? Может быть, расстрел. Да, это очень допустимо. Ведь не шутка очутиться в руках возмущенной 5-тысячной толпы! Хотя я не верю тому, чтобы масса была согласна с нашим арестом,— она просто ничего не знает. Когда я за столом услыхал приказ о своем аресте — внутри что-то дрогнуло, словно оторвалось и упало. Через секунду я уже владел собою и был внешне совершенно спокоен, только сердце сжималось и ныло глухой, отдаленной болью. Теперь, в заключении, оно тоже ноет, и каждую минуту я жду чего-нибудь особенного. Зашумит ли толпа за окном, торкнется ли кто в дверь или вдруг застучит затворами — я настораживаюсь и жду. Чего жду — не знаю, кажется, вызова по фамилии: выведут, рас-

стреляют, и баста. Только бы не били, о, только бы не били — пусть расстреляют, но разом, да и смерть-то здесь благороднее. Впрочем, она не только благороднее, но и красивее, прекраснее. Мне думается, что умереть я сумею спокойно и твердо. Но теплится в душе и надежда. Завтра придет 4-й кавполк... Только едва ли что сделают они с одним полком. Нет, я верю еще и в то, что нас просто выпустят, не тронув, не расстреляв.

А Ная, мой дорогой ангел! Как она будет жить, если меня расстреляют. Она покончит с собой, я в этом не сомневаюсь. Она и сейчас переживает страшные муки ожиданья, она ведь знает хорошо, что меня могут арестовать — арестовать, а потом... Ну, уходите прочь, черные мысли. Кончаю. И мысль моя ост... (карандаш сломался) и мысль моя остановилась на любимой Нае. Как это неприятно, что сломался карандаш и как раз в конце и на воспоминании о Нае!

(Писано в тюрьме, в заключении. Через час освободили.)

13 августа. Путь к Самарканду

На Кавказ

Все перебороли, все мы превозмогли и наконец, отряхнув туркестанский прах, удираем на Кавказ.

Мне ребята в Семиречье все пророчили, что дальше Ташкента я никуда не уеду. Да я и сам еще не был уверен до последней минуты, что дело кончится удачей.

Когда пришел я в Ревсовет, Фрунзе принял меня немедленно, как только отпустил какую-то турецкую делегацию [1].

Встреча была довольно дружеская — мне показалось, что увидеться снова нам обоим одинаково приятно и интересно.

Беседовали около часу. Я пересказал о Семиречье все, что знаю и что требовалось по характеру беседы, когда же подошли к вопросу о моем отъезде на Кавказ — он заявил, что об этом следует оставить на время всякую думу, что в ближайшие дни ожидаются

большие события в Бухаре и что я нужен в этой операции как политический работник.

Кроме этого, он предлагал мне поехать в РВС 1-й Армии — для чего и в качестве кого — я не спрашивал; предлагал снова принять заведование политодом фронта — ныне Пуртурк [2] — я и на это не согласился. Потом благодаря моей настойчивости — он начал уступать и советоваться с тов. Ибрагимовым, «скромным» членом РВС, во всем слушающимся своих старших товарищей. Тот сначала и для виду настаивал на моем оставлении в Туркестане, но, увидев, что Фрунзе сам колеблется, заявил: «Как вы, и я согласен».

Меня отпустили. Сейчас же я закатил рапорт, заручился резолюцией, и небезызвестный В. В. Савин стал приготовлять мне документы. Я ему наказал готовить сразу троим: мне, Нае и Медведичу [3], хотя на двух последних согласия еще и не было.

Прошло два-три дня. Кроме доклада в Ревсовете, я сделал доклады в Турккомиссии и ЦК партии; [4] закончил и все свои дела.

К вечеру 12-го я был уже готов и прицепился к составу Особого отряда, едущему в Бухару, провести там «бескровную революцию», зацепить живьем эмира бухарского и поставить там на ноги советскую власть. Есть опасность, что операция перервет или задержит движение и тогда придется сесть на мели. Во всяком случае, дни и часы самые крайние: может быть, успеем проскочить, а может быть, и задержимся. От отряда пришлось отцепиться ввиду перегруженности состава и еду в вагоне Маниковского со следующим составом. Скоро будем в Самарканде. Сейчас свой вагон примастерили в Черняеве к бронепоезду № 10 имени Р. Люксембург, едущему туда же, на операцию.

Что-то ждет нас на Кавказе?

Откомандирован я в распоряжение РВС IX Армии, стоящей в Екатеринодаре. Желательно поработать на поприще литературном, может быть буду работать в газете.

Все мне советуют обратить побольше внимания на свой литературный дар и принять все меры к его раз-

витию и выявлению вовне. Да я и сам так думаю. Теперь я поглощен обдумыванием месяц тому назад задуманной пьесы под названием «Коммунисты» [5]. Общие контуры мне уже ясны, герои налицо, направление и смысл продуманы, внешнюю декоративную сторону также представляю: в форму надо влить содержание. К этому еще не приступил. Итак, я должен работать в области творчества, об этом думаю все последнее время.

[*Конец августа*]

Приезд на Кубань и поход на Врангеля

Мы только что приехали в Екатеринодар. Давно его ждали, много ожидали от него хорошего. Наечку все время волновало предположение, что «мама Катя» [1] уже продала дом и уехала из Екатеринодара куда-нибудь в Новороссийск или Темрюк. Но мы гнали от себя эти опасения и в глубине души верили, что все там обстоит по-старому: зеленый заборик, небольшой дом на волю и другой во дворе. Приедем, и нас встретит Витюшка [2], он закричит, запрыгает от радости и помчится извещать маму о нашем приезде. Потом свидание, слезы радости, непременный самоварчик и разговоры, разговоры, разговоры... Радости нет конца. Мы с Наюшкой возьмем самую угольную комнату — там хорошо, уютно, тихо... И чем ближе подъезжали мы к городу, тем сильнее было волнение Наи. У семафора задержались, и она нервничала чуть не до слез. Наш воинский эшелон загнали бог знает куда, и носильщики насилу вытащили оттуда вещи. Кое-как раздобыли возчика, взгромоздились и поехали. Вот знакомые места: окружной суд, реальное училище, дома известных богачей... А вон и зеленый заборчик... Замерло дыхание, соскочили, побежали, вошли во двор. Какая-то женщина полоскала в корыте белье...

— А Стешенко здесь?

— Стешенко? Нет. Она уж больше года как продала дом.

— А сама?

— Сама уехала в Новороссийск.

Сердце упало, сделалось как-то пусто, скучно, одиноко... Потом узнали, что Клавдия [3] здесь, и после долгих поисков добрались к ней на квартиру. Вечер провели в воспоминаниях о прошлом. Наутро я пришел вместе с Наей и Данилычем [4] в РВС Армии. [*Неразборчиво.*] Там был знакомый мне по Москве Ян Полуян [5]. Он сообщил, что задачей задания считается ликвидация врангелевского десанта и туда они направляют теперь все свои силы. Мне было предложено отправиться военкомом одной весьма опасной эскадрильи, которая должна по Кубани пробраться в тыл неприятеля и произвести там панику. Силы неприятеля не выяснены, а с нами поедет тысячи 1,5 стрелков и эскадрон кавалерии, 4 орудия, 8 пулеметов. Сегодня же вечером мы должны погрузиться на суда и за ночь добраться до места, проехав через станицу Славянскую, лежащую на 80 верст ниже Екатеринодара. Затем меня увидел... член РВС фронта, знакомый мне еще по Уфимскому фронту. Он хотел взять меня с собой и, приехав в Тимашовку, направить в одну из дивизий, действующих против Врангеля, но потом решили оставить в силе старое распоряжение, и вечером я погрузился на «Победу». Много было возни с посадкой и погрузкой, но вот, наконец, тронулись. Экспедиция страшно серьезная и опасная. На нас возлагают огромные надежды и, как сообщил член РВС фронта, именно наш маневр и может сыграть решающую роль. Едем. Настроение тяжелое. Тут до Славянской путь свободен, но дальше, говорят, Кубань минирована. И все думается, все ждешь, что вот-вот пароход наткнется на мину, раздастся страшный взрыв и все мы пойдем ко дну. Ночь лунная, тихая. Берега окутаны мглой, видно, что они обрамлены кудрявой зеленью. Миновали могилу генерала Корнилова. Баржи были гружены красноармейцами — там гуторили, шумели, пели песни: они еще не знают и не представляют всей серьезности нашей операции. Ночью, с какой-то мутью в душе, наконец заснул. Наюшка чувствует себя устало, мне на нее невесело смотреть, а оставить — измувидел

чается еще больше. Со мной неизменный друг Медведич, верный спутник во всех походах и боях. Приехали в Славянскую — мост здесь взорван и пробраться невозможно. Остановились. Тов. Ковтюх[6] уехал на фронт, а я здесь веду переговоры по проводу с Екатеринодаром и руковожу подготовкой к дальнейшему движению.

26 сентября

На Кубани

Постепенно вхожу в курс кубанской действительности. Работой Поарма[1] завален по горло. Лекций пока не читаю, начну через неделю. Чувствую слабую подготовленность, знаний мало.

Я здесь почти совсем неизвестен, популярности и веса имею мало. Приобрету, знаю, что все это будет как только размахнусь пошире с выступлениями. Без авторитета, популярности и веса работать невесело. Честолюбие, по-видимому, прогрессивно растет.

Недавно Главком прислал телеграмму для широкого оповещения по частям Кавказского фронта. Там отдается благодарность Ковтюху и мне за десантную операцию в тылу у неприятеля. Я был польщен и радостно показывал телеграмму близким сотрудникам — в этом было нечто ребяческое, хотя себя не корю и не виню. «Коммунистов» не пишу, что-то мало верю, что они выйдут пригодными для сцены. Жажду славы, но робею со своими начинаниями: мал багаж.

28 октября

В дневник что-то совсем ничего не пишу — занят статьями. Личной жизни нет — все отдаю Поарму, газете, журналу и центральной прессе[1].

Настроение к работе выше всякой меры.

27 декабря

...Я несомненно буду писать, несомненно... Только я чувствую некоторое затруднение, я не знаю — какую мне область избрать: ведь если взять научную публицистику — для этого надо много и хорошо знать, а я — что я знаю?

Если избрать стихи, рассказы — не измельчаю ли я здесь, не имея подлинного, яркого и большого таланта: ведь художнику нужен очень и очень большой талант, если только он не хочет примелькаться и быстро надоесть своими бесцветными произведениями!

Я себя все еще не нашел, я не знаю, что взять.

Хотел бы учиться, хоть два, хоть один год, но это значит — оторваться от организационной работы, уйти в тень, да и не пустят. Я и хочу и не стремлюсь к этому. Читаю, но мало, некогда. Пишу. Писать и буду, но себя все еще не определил.

1921 год

7 января

Восп[оминания] о Семиречье[1]

Помню, я очень мало писал о Семиречье и его красотах, когда созерцал эти красоты непосредственно и воочию.

В одной своей краткой записке я так и говорил: «Да, не записываю, не хочется, видно, я не художник».

А теперь жалею. И хочется мысленно возвратиться мне к дикой красоте Семиречья. Ехали мы туда, как ссыльные. Помню эти сборы, эту торопливость, эти неясные предчувствия чего-то тяжелого, что ожидало нас в Семиречье. Со мною отправлялась туда целая группа любимых и уважаемых товарищей: Полеес, Муратов, Альтшуллер, Колосов, Никитченко — все дорогие, дорогие имена. Мы из Ташкента захватили массу всякого добра для политотдела и со всем этим вынуждены были возиться сами весь долгий 600-верстный путь на лошадях. Разбил я их всех на группы: два архангела полетели вперед и возвещали о нашем приезде; всюду по пути они подготовляли всяческие собрания и заседания, которые я и проводил, приезжая в данное село или городок. Сзади тянулись наши обозы, которые охранялись небезызвестными иностранцами: неоперившимся лодырем Гарфункелем и «капралом Вильгельма» Линденбаумом. У них была стража, человек в 5. К сожалению, я уж не помню подробностей нашего

продвижения, а все это было бы в высокой степени интересно.

Подымаемся на Курдай. Этот гигант — Курдай — заслонил нам дорогу и осилить его страшно трудно. В то время уже начиналась весна — мы ехали в конце марта месяца. Дорога была неустойчивая, мокрая, вязкая. Лошадки еле потянули нас от последней перед Курдаем ст[анции] Сюгаты. Мы с Наюшкой слезли и пошли вперед. Чем выше мы забирались, тем становилось холоднее и вьюжнее. Мы взбирались, взявшись за руки, горячо любящие друг друга, нежно прижавшись, громко разговаривая. Каменные громады громоздились одна над другою; между ними вилась дорога и пропадала где-то в вышине. Как посмотришь наверх — там скалы одна другой выше, одна другой величественнее, а дальше — холмистые горы, все горы и горы. И когда забираешься ввысь — не видно края этим гигантам-скалам и крутым, облизанным ветрами холмам.

Прошли мы таким образом версты две. А дальше не стало сил, да и не было нужды: главную кручу мы уже миновали, и теперь можно было забираться в свой широкий, удобный шарабан. Мы сели. Сзади ползла другая тройка — там сидела с Барановым Лида Отмар-Штейн. Едем. Вот мы уже на плоскогорье, на самой вершине Курдая. Здесь, в поднебесье, играют холодные горные ветры, но нам ничего, нам не холодно, мы веселы и любуемся, как вспархивают то и дело дикие утки, прилетевшие сюда на болота. Не утерпел, беру ружье и отправляюсь по насту под горку к болоту, куда только что перелетела стая уток, штук, вероятно, 15—20. Наст меня еле держит, то и дело проваливаюсь, но снова и снова подымаюсь, наконец ползу на животе к заманчивому болоту. Утки улетели, а я остался лежать на снегу со своим заряженным ружьем. Потом мы с Барановым делали на них «облаву». Он забегал с другой стороны болота, кричал, улюлюкал, как-то смешно махал руками и ногами, загоняя всю стаю на меня. Но даже и этот великолепный наш замысел кончился полною неудачей: утки предпочитали лететь мимо нас обоих, а мои выстрелы вдогонку даже, по-видимому, их совершенно не пугали, так

как ни поспешности в лете, ни паники от этого у них не замечалось. Делалось даже обидно после таких скандальных неудач и пренебрежения со стороны мирно летевших уток. Охота кончилась, едем дальше.

Где-то, помню, за шиворот потряс зав. почтовой станцией, не дававшего лошадей. Едем дальше. Все едем и едем. Возницами по Семиреченскому тракту всюду являются киргизы — разнесчастный и разбеднейший народ! Живут они по юртам, расположенным или возле почтовых станций, или тут же, во дворе. Мужики занимаются извозом, а бабы — прядут шерсть, возятся по хозяйству или прислуживают на станциях. Отмечу поразительную плодовитость киргизов; они словно кролики — юрты кишмя кишат детворой. Правда, в одной юрте иногда живет по нескольку семей. Ребятишки полуголые, босые, грязные. Впрочем, таковы же и их родители. Единственным спасением для полуголого киргиза-возницы является тулуп — закутается в него и спит всю обратную дорогу или мурлыкает какую-нибудь заунывную песню, бесконечную, как эти горы, и одному ему понятную. Долго, долго еще не подымешь их из грязи и нищеты. А пробуждаются. По городам уж и возницы другие, не только киргизы-служащие.

Едем. По ночам останавливаемся в этих крошечных, одна на другую похожих станциях: беленькие, крошечные, с небольшим крыльцом. Входишь — дверь налево, дверь прямо к старосте и дверь направо. Вся разница в том, что староста одной станции сделает свою канцелярию за левой дверью, а другой староста — за правой. И только. Больше ничего. Спали мы все четверо обычно подряд, на полу — веселые, неизменно веселые. Вообще вся эта долгая дорога была как-то весела и интересна. Вот уж и последняя ст[анция] Каскелен — отсюда до Верного всего $27\frac{1}{2}$ верст. Снова едем. Выехали на шоссе. Дальше уже видны церкви, видны окраины. Наконец мы в Верном.

Я уже знаю, что председателем областного ревкома является мой бывший помощник по Туркпофронту [2] Юсупов — и потому едем прямо в ревком. Узнав меня, он обрадовался, кинулся целовать: «А я, говорит, так

долго ждал, так долго ждал. Я знал, что вы приедете, был рад работать вместе и все ждал, все ждал вас...» Через несколько минут мы были уже в центральных Белоусовских номерах, где и жили все 4 месяца, до последнего дня. Отсюда мы садились и в автомобиль вместе с Наюшкой, когда покидали навсегда смутную Семиреченскую область.

Подъехали к номерам, разгрузились, поместились в крайнюю комнатку, где было еще грязно, холодно, неуютно. Наечка, моя светлая спутница жизни, сумела и этот неприглядный номер превратить в радостный, ликующий рай. Впрочем, мы скоро перебрались и заняли два номера по соседству... В этот же вечер, как только приехал, я уже делал доклад на Верненском уездном съезде Советов. Виделся с Красюковым. Под внешней любезностью я заметил в нем и чувство зависти и обиду за смещение: скоро он передал мне бразды правления и отстранился в 2-месячный отпуск. Красюков — бледная, инертная личность, игравшая во дни мятежа даже скверно-трусливую роль. Внешние отношения у нас все время были отличные.

Работа быстро меня увлекла и вобрала в себя с головою. «Уполномоченный» сделался центром, к которому стекались все мысли, все желания, надежды. Сюда шли и за разрешением земельного вопроса, и с вопросом об опийных заготовках. Здесь разрешались все военные вопросы; уполномоченному поручали составить «Положения о ревкомах».

Интереснейшая многогранная работа. Здесь мы с Наюшкой нашли семью хороших ребят, кроме тех, что привезли с собою: Шегабутдинов, Белов, Кундурушкин, Кушин, Мамелюк, Никитич (Позднышев) — словом, было с кем и работать и дружить. Поэтому через неделю же по приезде мы уже маленькой кавалькадой поехали в горы: Кушин, Кундурушкин, Горячев, я, Никитченко. Кажется, больше не было никого. Впрочем, еще жена Кун[дурушки]на, Кравчука[3] и Маруся — военком штабного телеграфа. Ехали чудесной дорогой, тою самою дорогой, которою несколько раз езжали и потом — на Медео. Был второй день пасхи. Даже и у нас настроение было самое праздничное, «цапнули»

толику сущу. Утром лазили по горам, где в перелесках еще лежало много снегу. Ничего, как водится, не убили и, поутомившись приятной усталостью, воротились ввечеру.

А Медео — какая это чудная местность! Сколько раз мы скакали туда верхами. Я еще и до сих пор помню всю эту чудесную дорогу со всеми ее извилинами, со всеми красотами. Собирались мы всегда за городом, за лазаретом, где начинается аллея, где начинаются горы. С разных концов Верного скакали туда всадники и гарцевали на поляне, пока не собирались полностью. Наши боевые жены обычно также ехали верхами. Но бывало и так, что мы их усаживали в шарабаны, туда же складывали ружья, продукты, лишнюю одежду, необходимую в ночные холода. Собирались мы там обычно к 5-ти часам по субботам, когда кончали занятия и знали, что наутро, в воскресенье, занятия начинаются позже и мы успеем воротиться. К 6-ти все в сборе. По полю носятся, состязаются в беге какие-нибудь два всадника или ловят чью-либо сбежавшую лошадь. Рекорд в бегах обычно брал чудесный конь Мамелюска, с которым в карьер мог состязаться только мой Таракан — великолепный конь, на котором я несколько позже проломил себе голову, который ударил копытом в грудь мою Наеньку и заставил ее хворать целую неделю. И все-таки Таракан — прекрасный, любимый мой конь. Наконец собрались, тронулись. Вот эта аллея тянется примерно полторы или две версты. Можно ехать по аллее, но мы предпочитаем всегда ехать по открытому полю: здесь светлее, просторнее, здесь можно скакать, состязаться в беге. По равнине дорога прекрасная, мы ее знаем до последней кочки. Впереди горы. Их темно-зеленые, почти черные массивы неизменно покрыты серебряными шапками снежных простынь. Даже в мучительные июньские и июльские жары — только чуть-чуть повыше подымается горная зелень, только чуть-чуть зазеленит она под бровями снежных великанов. Поле миновали. Тут за поворотом налево крошечная речка — мы ее брали с наскока, ни минуты не останавливаясь. Затем по

лугу до мостика. Эта дорога — чисто ровная, и здесь мы непременно развивали самый лютый карьер. Мостик. Это половина пути до той милой домушки, где мы с Наенькой выжили на даче почти целую неделю. Миновали мосток и мимо дач несемся дальше.

Кони в ряд, нас целая огромная кавалькада. Едем — шутим, поем хоровые песни. Повернули к горам, налево от этой дороги, еще не доезжая нашей домушки, выезжаем к архиерейской даче. Дальше начинается уже настоящая горная дорога со всеми ее красотами. Она сразу берет вверх, кругом скалы, каменья, справа несется дикая горная река. За этой рекой непосредственно вплотную подымаются горы. Дальше, все дальше по дикому пути — через крошечные мостики, мимо одиноких киргизских юрт, мимо огромных камней, сорвавшихся с горных скал.

Наконец подъезжаем к избушке, от которой надо спуститься к горной речке, переправиться через нее вброд и углубиться в то самое ущелье, которое ведет на Медео. К Медео обычно мы подъезжали поздними сумерками, и белые каменные корпуса старинного поместья радостно и приветливо звали к себе усталых путников. Останавливались или здесь же у киргизов, или еще дальше, за 1½—2 версты, в юртах у Шегабутдинова, куда киргизы приносили нам целые бурдюки прекрасного кумысу, тут же закалывали и разделывали нам барашков, садились вместе с нами на коврах и пели свои заунывные национальные песни. Обычно целую ночь до восхода солнца мы проводили за песнями и веселыми разговорами, а иногда и за чаркой водки. А на заре — кто спать, кто охотиться за дикими козлами. Расчудесная охота! Ни разу ничего мы не убили, но золотых горных козлов видели каждый раз. Красавцы, гордые горные красавцы!

А потом на коней и в обратный путь. Это были замечательно свежие, поэтичные прогулки. Теперь, через срок и пространство, я вижу, сколько было в них красоты и поэзии. А теперь — теперь почти все мы уехали из Семиречья и остался там один наш друг несчастный Чушканар Никитич [4].

19 февраля

Апатия

Усталость, апатия, не хочется работать, скучно, не вижу ни в чем смысла.

Только пишу — много и с любовью. Эх, целиком бы уйти к писательству, оставить бы свои административные муки!

Я раздваиваюсь и делаю не то дело, которое должен делать. Я хочу и могу писать. Но я должен заниматься другим — этого требует общественная честь. Со скорбью остаюсь на посту.

Екатеринодар (Краснодар), 5 марта

Мама умерла
(7 авг. 1920 г.)

Мы так долго отыскивали друг друга. Мама, Лиза, Настя — жили во владениях Врангеля, и мы никак не могли их достичь. Но Врангеля уничтожили, освободили Крым, а вместе с тем и мы установили, завязали связь с дорогой частицей разбросанной семьи. А как разбросало нас всех по республике: Аркаша в Самаре, Соня, Ная и я — на Кубани, Серега лазит по горным хребтам Бухары, а они три милые — мама, Лиза и Настя — в Крыму, в Симферополе. Мы им посылали и письма и телеграммы. Пришел ответ. Потом опять все смолкло. Сегодня, 5 марта, Лиза прислала Соне письмо. Там есть одно печальное место. Я привожу его полностью:

«...Наша мама умерла... 7-го августа в Бахчисарае от дезинтерии и воспаления почек. Была без сознания, а потому ничего о нас не говорила и ничего не наказывала. Мне так больно, что она умерла одна — даже мы не смогли быть при ее кончине. Мы не знали даже, что она и заболела. Были на летних работах. Приехали на праздник ее навестить, а нам сообщают, что она уже умерла. Крики и плач не помогли, пришлось поверить, расспросить все и идти с поникшими головами — разыскивать могилку,— это курганчик, свежена-

сыпанный среди величественной южной природы. Посидели на могилке, поплакали, как будто чего-то ждали — не верилось, что уже ничего не услышим из ее уст, но ответа не было...

И пришлось, как ни жалко было расстаться с милой могилкой, ехать в Симферополь. Все мысли заняты этим, а потому ничего не могу больше писать...»

Так сообщает Лиза. Значит, умерла... Больше нет нашей милой странницы... Тебя нет, совсем, навеки нет, дорогая мама.

«Свеженасыпанный курганчик среди величественной южной природы... в далеком Бахчисарае...»

Ну думала ли ты когда, что умрешь в Бахчисарае, далеком-далеком уголке, про который не знала ты в родном Иванове... Одна, без сознания, ничего не сказав, никого не вспомнив. Печально ты умерла.

И глубокой, нежной скорбью полны мои воспоминания о тебе. Матушка, мама... Кто же теперь нас встретит в родном доме? Мне так хочется, как маленькому мальчику, чтобы ты жила,— ты, которая нас все время ласкала, которая бесконечно любила нас и отдавала всю себя на служение детям.

Я тебя представляю только полную нежных забот, хлопотливую, тихую, кроткую... Много горя вынесла ты за полувековую жизнь. Тебя и били, над тобою издевались, унижали тебя бесконечно...

Молчала,— терпела и молчала! Выросли дети, и ты в них вложила все, что осталось нежного в искалеченной душе. Потом пришли революционные дни. Ты с нами переносила все невзгоды, весь ужас голодных дней, всю тяжесть мучительной, лихорадочной работы. Как только мы собирали гроши — ты снаряжалась в дальний путь, наша святая мешочница. Ехала бог знает куда. за тысячи верст, скверно одетая, голодная, не зная ни мест, ни людей, в холодных, тифозных вагонах. Где-нибудь в глухой сибирской деревне ты сбывала хитрому торгашу свои старые юбки, отцовский пиджак, мою рубаху. Я приносил из исполкома месячное жалованье — на него ты ехала, на него кормилась. Наконец с невероятным трудом ты добывала несколько пудов ржавой, грязной муки. Тебя, доверчивую

и чистую, все время обманывали разные негодяи: то украдут что-нибудь, то вместо хорошей — подменят скверную, черную, грязную муку — отруби... Ничего... все сносила...

Везешь, мучаешься, таскаешь на себе тяжелые мешки. И вдруг в дороге все отбирают. Ты приезжаешь печальная, но не за себя, за нас. Матушка! Дорогая моя матушка! Как ты любила нас, своих детей! Недаром мне так тяжело вспоминать, что ты умерла одиноко. Ты могла бы жить еще целых 20 лет — ведь тебе было всего годов 50.

В Бахчисарае... Лучше бы не знала ты совсем этого Бахчисарая. Теперь некому нас поласкать. Приедем домой, в Иваново — и там никто не встретит: пусто в родном доме, умерли его давние, старые жильцы. Отец, ты уж сгнил. Тебя нет целых 8 лет. Честный ты был человек, но горячий скандалист, деспотически обращался с нами, детьми, и бил жену, нашу милую маму.

Нянечка, робкая тихая старушка. Тебя мы похоронили 12 января 18-го года — в день твоих же именин — в Татьянин день.

О тебе воспоминания полны несказанной прелести, с тобою связаны годы лучшего, раннего детства, когда нам было 8, 10, 12, 15 лет... Когда мы бегали по улицам, играли вместе с ребятишками или читали дома вслух сказки Гримма, которые с наслаждением слушала и ты, старенькая... Нас тогда пороли и наказывали — ты вместе с мамой спасала, оберегала нас от истязаний. Ты, старый жилец нашего дома,— умерла. Теперь умерла вслед за тобою и мама. Никого не осталось в любимом дому, столь знакомых комнатах, где за последние годы мы так часто собирались все вместе. Остались только мы — зеленое, молодое племя. А стариков нет, они умерли, все разместились по холодным могилам. Сейчас вошла ко мне Соня, и когда я сказал ей, что мама умерла,— разрыдалась, несчастная, стала ласкаться ко мне, целовать, словно искала у меня защиты от такой же черной гостьи — смерти, которая унесла нашу маму.

«Мне 35 лет,— говорила она,— а мама вышла

замуж 16-ти... Ей было [бы] теперь 52 года...» Потом взяла у меня письмо, где Лиза пишет о Бахчисарайском кургане, и тихо побрела к себе в комнату. А оттуда скоро прибежала за «валерьянкой» Лариса Васильевна, ее подруга. «Соне дурно, припадок...» Она не нашла во мне должного сочувствия по части слез, причитаний и мольбы — жалоб на несправедливость судьбы. Ей это требовалось, а я, я не могу; я спокойно принял весть о смерти матушки, только весь проникся тихой грустью.

Сонюшка изливает свою скорбь в слезах и словах,— я ношу ее молча в себе.

Скажем об этом Аркаше... И в далекую Бухару, брату Сереже,— ему также пошлем невеселую весточку о том, что матушка умерла.

Так в разных концах белого света мы будем по ней скорбить-горевать. Вечная память тебе, матушка.

Я приеду к тебе в Бахчисарай, опущусь на колени и поцелую могилу — курган среди гордой южной природы.

* * *

...До сих пор счастье было неизменно на моей стороне и выручало меня из всяких бед. Бои в 25-й дивизии, гибель всего штадива и подива; восстание в Семиречье: мой арест, лязг оружия, угрозы расстрела; потом бои с врангелевским десантом: наш красный десант, мы плывем по Кубани, мы в тылу; я получаю легкую контузию в ногу,— но жив, все жив до сих пор.

Так неужели здесь мое счастье отвернется от меня?

Храни, храни меня, моя счастливая судьба!

Сегодня вышла в свет моя первая брошюрка в 30 страниц: «Красная Армия и трудовой фронт». Я горд, я счастлив. Закончил драму «Коммунисты». И завтра буду первый раз ее читать в кружке ближайших товарищей.

Это — любимая, по сердцу работа. Прощай, минувший год!

Путь из Ростова н/Д, 20 мая

В Москву!

...Так куда же, куда я хочу?

Как куда: в Москву! В нее, красную столицу, в нее, белокаменную и алую, гордую и благородную, великую страдалицу и героиню, голодную, измученную, но героическую и вечно бьющую ключами жизни — Москву!

Я хочу туда, откуда мчатся по миру самые глубокие и верные мысли, откуда разносятся по миру зовущие лозунги, где гудит набат и гулом своим будит весь пролетарский мир; я хочу туда, где в первые же минуты известны новые, великие мысли великих людей, где так много героев мысли, энергии, чистоты и благородства, глубокой революционной преданности, великих помыслов и великих дел! Я хочу туда, где собраны все лучшие силы, где так часто можно видеть, слышать, читать великие слова, где так много лекций, докладов, рефератов, диспутов, чтений, концертов! Я хочу ехать к тем самым рабочим, которые покрыли себя неувядаемой славой в Октябрьские дни... Давно я не был с ними, давно не прикасался близко к источникам силы, бодрости и революционной энергии!

Я хочу уйти, совсем уйти от административной работы и заняться исключительно своим любимым литературным делом. Явлюсь в литературно-издат[ельский] отдел ПУРа и там постараюсь остаться. Это будет дело!..

3 июня

В Москве

Приехали. Раза три ходили в ПУР, раза три в Главполитпросвет — толку сразу не добились нигде. Я еще совершенно не представлял себе, как сложится дальше судьба, но больше всего верил в совместную работу с Вячеславом Павлычем Полонским[1] в отделе военной литературы при РВС[Республики]. Впрочем, одно время я искал возможности работать с Ал[ек-

сандром] Конст[антиновичем] Воронским, которому вручено теперь редактирование нового журнала «Красная новь».

Но в конце концов дело сложилось все-таки таким образом, что я отпущен Гусевым [2] к Полонскому, с оставлением на учете в ПУРе, как начпуокра [3]. Вяч[еслав] Павлыч назначил меня начальником части периодической литературы [4] и не скрыл того, что, введя в курс работ всего отдела, думает передать его мне, а сам подумывает уйти в Госиздат.

Ну что ж, я не возражаю. Работать даже и на организационной работе в литературной области — мне любо и мило. Рад я без ума, что прикоснусь теперь к литературному труду.

8 июня

Диспут о «Мистерии-буфф» [1]

Втроем — Ная, Кузьма [2] и я — отправились в Дом печати на диспут о «Мистерии-буфф». Диспут прошел довольно безалаберно, но интересно, сочно и искренне. Дело в том, что сама «Мистерия-буфф» была не темой диспута, а только поводом его. Спорили не о мистерии, а по поводу мистерии. Тон и характер споров наметил в своем вступительном слове еще П. Коган [3], когда резко разграничил две школы — таировскую [4] и мейерхольдовскую [5] — и спор поставил между этими двумя школами и течениями художественной мысли, а не между разными точками зрения на мистерию как «художественное, героическое, эпическое» или какое иное произведение. Несколько человек из выступавших так и начинали свою речь: «Собственно говоря, здесь о мистерии никто еще ничего до меня не сказал...» Начинал говорить, наконец заканчивал и уходил — также не сказав ни слова про мистерию.

Театр Таирова — старый, вылощенный, полный строгого размера; в нем предусмотрено каждое движение, которому соответствует заранее определенная поза, заранее определенное выражение,— там все известно наперед. Но за этой отшлифованностью вы уже

не чувствуете больше ни действия массы, ни простора действию вообще, ни его свежести; там какие-нибудь Монтекки и Капулетти («Ромео и Джульетта») являются для нас совершенно мертвыми типами; их жизнь и интересы нам совершенно чужды... Таиров дошел до постановки «Благовещенья» [6] и «Ромео и Джульетты» потому, что он считает совершенно необходимым пройти артисту и восприять зрителю всю гамму звуков, положений, типов...

Это театр старого, театр Таирова. И вот новый, мейерхольдовский. В нем все еще нет ничего постоянного, установившегося; в нем все бродит как молодое вино, он не имеет даже хорошего помещения и ютится в бывшем «Зоне». Но у него богатое будущее. Он — современный; он — революционный; он дает то, что нужно эпохе, что ей соответствует. Таиров смеется над Мейерхольдом. Но вы припомните, говорил Коган, что знаменитые переписчики старого времени так же смеялись над первыми неуклюжими оттисками гуттенберговской печати; современники не видели великого будущего и от того первого, неуклюжего локомотива, который проходил в час всего шесть верст. Этот смех не страшен, он даже естествен и неизбежен. Но печать и локомотив все-таки взяли свое, *со временем* они победили, когда стали прогрессировать, совершенствоваться во времени. Так будет с мейерхольдовским театром. Но пока он — сыр, несовершенен, зачаточен. Он будоражит, тревожит, зовет, но в нем еще нет ничего цельного.

В этой плоскости шел и весь спор. Он был жарок, непосредствен, оживлен... Многие, впрочем, позировали, вроде Якулова [7], производившего впечатление болтуна-фразера и восточного позера. Из его скандально глупой речи никто и ничего не понял,— впрочем, некоторые делали вид, что понимают, и даже аплодировали.

Выступали ужасные защитники и мертвые поклонники Мейерхольда (Регер, Кегер — или что-то в этом роде), которые называли его безо всякого стеснения гением. Особенно ходовой является мысль и фраза:

«Мейерхольд бросил бомбу в старый театр». Умную, марксистски выдержанную речь сказал Оскар Блюм [8]. Остальные сбиваются с классовой позиции и часто неприятны своими гнусными, буржуазными замашками. Там еще слышишь «га...аспада», вместо «товарищи». Режет слух.

Якулов типичен, и, по-моему, течение легкого фразерства, позирования, игры с аудиторией и буржуазного изрыгания смело можно назвать «якуловщиной»...

9 июня

«Мистерия-буфф»

Сегодня видел «Мистерию», про которую недавно слышал такие жаркие споры. Вижу, что споры велись не понапрасну. Тут зачинается совсем новое дело в театре. Новый театр выпирает в публику и душой и телом. Декорация была мейерхольдовская, постановка прекрасная, дает впечатление грандиозного, значительного, сильного. Но не будь Мейерхольда — «Мистерия-буфф» стоила бы половину ломаного гроша: [1] нет психологии, нет логики, ни событий, ни поступков, ни речей. Буффонада. Пьеса испещрена дешевенькими, балаганными остротами, на которые никто не смеется: плоска, груба, вульгарна, сера и сыра. Нет закономерности. Автор как драматург пока не годится, во всяком случае страдает грехами начинающего. Но в замысле много могущества и размаха. Обольщает новизна, простор и смелость.

3 июля

У имажинистов [1]

Сегодня Мариенгоф [2] в «Стойле Пегаса» [3] читал «Заговор дураков». Он эту вещицу назвал, кажется, трагедией, а по-моему, имя ей — чушь, хотя чушь еще и не законченная (нет конца 3-го «акта», совсем нет 4-го, а может быть, еще и последующих за 4-м!).

Он ломался, кривлялся, строил мину, претендовавшую одновременно и на глубину и на презрительность

ко всему сущему. «Стойло Пегаса» является, в сущности, стойлом буржуазных сынков — и не больше. Сюда стекаются люди, совершенно не принимающие никакого участия в общественном движении, раскрашенные, визгливые и глупые барышни, которым кавалеры-поэты целуют по-старому ручки; здесь выбрасывают за «легкий завтрак» десятки тысяч рублей — как одну копеечку: значит, не чужда публика и спекуляции; здесь вы увидите лощеных буржуазных деток — отлично одетых, гладко выбритых, прилизанных, модных, пшютоватых,— словом, все та же сволочь, которая прежде упивалась салонными, похабными анекдотами и песенками, да и теперь, впрочем, упивается ими же. В «Стойле Пегаса» — сброд и бездарности, старающиеся перекричать всех и с помощью нахальства дать знать о себе возможно широко и далеко...

* * *

На распутье

Если говорить о широком размахе работы, об установлении деловых связей и с крупнейшими учреждениями и с крупнейшими работниками, об известности как организатора — ясное дело, тут уж будет не до литературы, не до поэзии, не до рассказов, пожалуй, даже и не до публицистических статей. Тогда целиком необходимо будет отдаться организационному делу, обложить себя собраниями и заседаниями, всему идти навстречу (не только уклоняться, отказываться от чего-либо), жадно нахватать работу, быстро с ней справиться, взять новую, справиться с ней и т. д. и т. д. без конца.

Или есть другой путь — всецело отдаться писательской деятельности: только писать, и больше ничего. Но это ведь совершенно невероятно хотя бы по одному тому, что мне не позволят похоронить себя как организатора.

Я на распутье, я выбираю середину.

Остаюсь на организаторском посту, но центр своих интересов и занятий переношу к литераторству: пишу,

читаю по искусству, посещаю Дом печати, «Стойло Пегаса», может быть, Союз писателей в доме Герцена, куда только еще собираюсь сходить, как собираюсь и в Кафе поэтов.

Словом, идти по любимой дорожке. Кстати, я забыл в предыдущей заметке оговориться относит[ельно] Есенина: он с Мариенгофом по недоразумению. Из Есенина будет отличный бытовик — я это в нем *чувствую.* Самому мне быт — тоже альфа и омега. А с пьесой[4] вот робею — почти никому не показываю. Чего-то все жду, словно она отлежится — лучше будет.

5 июля

Во Всер[оссийском] союзе писателей

Я зашел туда только узнать, что представляет собой Союз, справиться об условиях вступления, не больше. А попал как раз на очередной «Понедельник», читали Глоба и Гумилев[1] свои произведения...

Потом критиковали. Было сказано: «Рифма ни причем, за рифмой гнаться не надо — мы не футуристы...»

А мое мнение таково: нельзя отбрасывать те завоевания художественной техники, которых мы достигли, ими пренебрегать — это значит быть рутинером. Но и работать только над рифмами — чушь, бесполезное занятие. По-моему, содержание должно неизбежно, *органически* рождать те рифмы, которые ему необходимы, которые его выражают,— все равно, старые они или новые. Одна рифма сама по себе еще отнюдь не имеет красоты — эту внутреннюю красоту дает только содержание, порождающее рифму.

После окончания, когда я подошел к Сологубу[2], он сообщил, что для вступления в Союз нужно иметь книгу своих произведений. А у меня, кроме политических брошюр, до сих пор еще ничего не издано. Думаю к заявлению приложить свою драму, повесть «Записки обывателя» и, может быть, «Мятеж», а равно думаю сослаться на напечатанные в «Рабочем крае» 1917 года стихотворения (впрочем, тогда был не «Раб[очий] край», а, кажется, «Раб[очий] город») [3].

Тут собрались хотя и не революционеры, но реалисты, они мне близки. Критика была серьезна, содержательна, не болтлива и не размашиста.

7 июля

«Звено»

Так называется секция, ютящаяся во «Всеросс[ийском] проф[ессиональном] союзе писателей», в доме Герцена. Председательствует Львов-Рогачевский [1].

Сегодня там некто Васильковский читал свои 4 слабеньких рассказа. Все рассказы, на мой взгляд, и мало содержательны и мало художественны: лепет начинающего.

Интереснее всего были прения. Видимо, «Звено» — штука правая.

Во всяком случае, сторонники его и защитники выступали как отъявленные и дрябленькие интеллигенты. Тут было и неверие в долговечность советской власти и разговор про «уклон большевиков вправо», вести про то, что и «заграница от нас отшатнулась вовсе», что ЧК — контрреволюционны и ошибкою организованы и т. д. и т. д.

Так все гнусно, так скучно, старо, пережевано, что не хочется даже опровергать...

Интеллигентики были смертельно скучны, жалки и тупы. Жаль, что некогда писать подробнее.

21 июля

Я затаился

Потому ли, что очень измучился я за эти три года скитаний по фронту и непрерывной, нервной, напряженной организационной работы, потому ли, что хочется мне пребывание в Москве использовать своеобразным образом, именно — ближе подойти к художественному миру, почитать, пописать, понять все, во всем разобраться — право, не знаю отчего,— но я затаился. Я никуда не кажусь на организационную ра-

боту, я о себе не даю совершенно знать — ни выступлениями, ни организационной работой хотя бы даже у себя в отделе.

В ячейке я молчу и не выступаю; в отделе работаю, можно сказать, только слегка, а главным образом читаю и пишу...

7 августа

В раздумье

Опять в раздумье, опять на распутье, не знаю, куда идти, не узнаю себя.

Кто я: учитель, организатор, пропагандист, беллетрист, поэт или критик? Может быть, все это вместе. Кажется, и вправду так. Но чего больше, которая дорога основная? Мне верится и твердо эту веру держу, что писать — моя стихия. Что писать, как писать — вопрос другой. Без ошибки, кажется, могу сказать, что критика дельного из меня не получится, мало багажу, хотя нюх и чуткий. Небольшую критику могу дать самостоятельно, остро, метко. На большие исследования не хватит. На стихи тоже не гожусь: они у меня не ярки, не образны, не оригинальны: плоха техника, хотя чувство порою играет увлекательно.

Художественная проза: повесть, рассказ, роман — это вот да! Это, пожалуй, и есть настоящая моя стихия! Драма — только сбоку, изредка, как бы привходяще. Я даже книжечку сунул себе в боковой карман, чтобы записывать характерные сценки жизни, отдельные яркие фразы, слова... Но ни фабулу записать, ни написать рассказ — некогда. Не поверите — хозяйственные вопросы захлестнули самым бессовестным образом... Но есть люди, которые все-таки занимаются только искусством, только им живут, кроме ничем не промышляют, подобно мне. И встает ужасный вопрос: а может быть, я и не на свой путь поворачиваю, когда говорю про художественную прозу? Если бы я действительно так ее любил, ради нее я перенес бы остальное, жил и дышал бы ею одной...

Вон целая куча журналов ждет, чтобы я ознако-

мился со всеми статьями по искусству... Давно ждет и давно сделать это надо, а я... читаю газету, экономические очерки, держусь в курсе современного, я больше слежу за жизнью в целом, чем за вопросами искусства, и журналы оставляю нетронутыми. И на это у меня только-только хватает времени... А жизнь ведь все время будет идти вперед. Каждый день, час, каждая минута будут приносить новое содержанье. За этим содержаньем надо успевать следить, а искусство... искусство остается в тени... Нет. Видимо, надо жизнь свою и все свои занятия построить по-иному. А именно вот как:

1) Совершенно отрешиться от мысли быть снова крупным организатором и за дела организационного характера не браться. Быть организатором единственно в пределах вопросов искусства. Когда станут предлагать любую работу, вне литературной — приложить все силы к тому, чтобы ее не принять, а остаться и оставаться навсегда в литературном мире.

2) Всем вопросам, кроме литературных, уделять внимание лишь постольку, чтобы не отстать от крупнейших современных событий. На деталях не останавливаться, не тратить на это ни сил, ни средств. Но никогда (никогда!) и мысли не допускать о том, чтобы вопросы экономические, политические, военные — отстранить.

В курсе дела быть любую минуту, так, чтобы все время чувствовать свою органическую связь с движением и развитием. А в случае крайней нужды — оставить литературу и пойти работать на топливо, на голод, на холеру, бойцом или комиссаром... Эта готовность — основной залог успешности в литературной работе. Без этой готовности и современности живо станешь пузырьком из-под духов: как будто бы отдаленно чем-то и пахнет, как будто и нет... Со своим временем надо чувствовать сращенность и следовать, не отставая,— шаг в шаг.

3) На вопросы литературы и творчества обратить исключительное внимание: читать, изучать, разбирать, критиковать, писать самому, посещать всякие заседания, собрания, диспуты, давать отзывы и рецензии, вы-

ступать самому... Словом, быть литератором на деле, а не только по трудовой книжке. Усвоить все современные течения, изучить и не выступать нигде до тех пор, пока не пойму их как следует, пока не освоюсь. А отсюда вывод: с изучением торопиться, читать скорее и больше.

4) Сократиться с писанием статей на чужие темы и рецензий на непонятные книги. В этой области — также перекинуться в сторону литературы. Статьи и очерки, а равно и рецензии должны впредь трактовать лишь те темы, которые любы сердцу, понятны, знакомы самому.

...Ну вот, кажется, и все, что могу я для начала посоветовать себе.

12 августа

Из моего позорного прошлого

Истпарт выпустил свою первую книгу «Из эпохи «Звезды» и «Правды». Читаю я вчера и думаю:

«...вот в 1911—1914 годах был революционный подъем. Издавались и набатом били эти две славные газеты, волновались рабочие — переживали великие дни... Я тогда был студентом. И ничего не знал — совершенно ничего: ни про газеты, ни про волнения, ни про партии. Студент, взрослый человек — а я и понятия не имел не только о каких-нибудь там ликвидаторах, отзовистах и т. д., но и о социал-демократах слышал всего 2—3 раза — так только, слово услышу, а значения не понимал. И даже не интересовался этим нисколько. Знаете, бывает, в детстве услышишь какое-нибудь мудреное слово, ну, положим, «трансформация» или «дифференциал» — так оно, войдя в одно ухо,— в другое и выскочит бесследно: после, дескать, пойму и разберусь. Вот то же, видимо, было, когда я слышал и революционные слова. Какой же я был олух — какой олух! Ведь 22—23 года — возраст почтенный. Человек я был не глупый, но как же, не пойму — как же это вся настоящая-то жизнь шла мимо меня? И друзья мои — тоже, видимо, ничего совершенно не знали и не по-

нимали. Возьму хотя бы Мишуху [1]. Он сын рабочего, общественник по нутру. Но ведь и он тогда ни разу не читал ни «Звезду», ни «Правду». Не читал, ибо прочитав — непременно дал бы мне: мы с ним теснейшие друзья. Читал он все время «Русские ведомости» [2]. Только раз, кажется в 15-м году, он мне робко заметил:

«А знаешь, Митя, тов. N (назвал студента из Коммерч[еского] института), кажется, социал-демократ...»

Это единственный раз за годы нашей совместной жизни. А теперь вот мы занимаем оба очень ответственные посты и уже целиком, совершенно сознательно относимся ко всему.

Просто ужас вспомнить: кругом кипело море, вздымались волны, готовилась буря, а я ничего-ничего не видел. Чем же занимался я в ту пору? Читал Тургенева, Гончарова, Толстого... Читал критику, писал, пописывал и записывал... А домой попадал — там опять-таки обстановка не революционная: мещане, «Русское слово», «Ивановский листок» [3], товарищи — лоботрясы и плясуны, не от кого было услышать хорошего слова, не у кого было поучиться.

А как бы это совпало с моим потенциально-революционным состоянием! Я чувствовал в себе всю жизнь, с детских годов — внутренний протест, недовольство гнетом, устремление к свободе, любовь к бедноте — были все задатки революционера. А вот на деле жил мещанином и обывателем. Как это горько. Хоть вычеркивай прошлую жизнь целиком — так она пуста, глупа, несерьезна. Пелена с глаз у меня спала только во дни революции, а до того я был совершенным младенцем.

Санаторий, 4 сентября

Гнаться ли за славой?

...Смотрю на себя: хочу ли быть великим и известным? И да и нет. Прежде хотел безусловно, рвался к этому вслепую, сломя голову, а теперь стал задумываться — надо ли это кому-нибудь, надо ли оно и мне?

Прежде всего: могу ли я вообще, по своим качествам, быть известным? Могу.

Насколько широко эта известность распространится — не знаю, но известным быть могу: я хороший организатор, я был одним из лучших ораторов в Иваново-Вознесенске, да и в армии, могу писать серьезные [статьи] и художественные произведения. Как педагог — в свое время, на рабочих курсах, я дело вел весьма успешно и достигал хороших результатов.

Словом, есть у меня такие данные, которые можно развивать, развивать и развивать. Энергии на работу у меня достанет и, след[овательно], славу свою расширять я могу беспредельно. Правда, жаль, черт возьми, что живем мы не 400 лет: только начнешь вразумляться годам к сорока, только наберешься знаний и опыта — ан тут уж и на убыль пошел, стареть — слабеть, хворать начинаешь. Веку дано мало, это правда, а все-таки даже и в этих пределах надо красочнее строить свою жизнь. Потом будут жить дольше, в этом я не сомневаюсь: во-первых, отомрет наше не.....* поколение и сменится спокойными, сильными людьми; во-вторых, пропадут многие социальные, наследственные болезни, и будут придуманы новые способы лечения; в-третьих, человек сам будет культивировать, упражнять свое тело; да, наконец, и пища-то, вероятно, будет тогда полезнее и питательнее, чем теперь,— словом, человек добьется того, что будет жить не 50, а 400 годов. Но это — впереди, а теперь — радуйся, наслаждайся, строй счастливо свою жизнь, полно и красиво развивай себя — на 50, на 70 лет!

Как же это сделать? Чтобы яснее была моя мысль — беру пример: Ленин — величайший из людей, славнейший и известнейший. Так ли, правильно ли сложилась и протекает его жизнь, как это необходимо для действительно счастливой жизни? Он, Ленин, думает за целый мир, несет совершенно непосильную тягу. Он каждую (каждую!) минуту жизни должен знать о том, что совершилось где-нибудь в Португалии, что готовится, чего можно ожидать и как

* Лист рукописи оборван.

скоро — в Германии, Швеции, Китае, какие для этого имеются факты; он должен знать все крупнейшие мероприятия в области советского строительства, все новое в области профдвижения, он должен сказать новое слово в кооперации, указать пути партийного строительства, знать факты, цифры, цифры, цифры... Ведь каждое его слово — закон. Оно чрезмерно авторитетно, ему верят как откровению, этому сказанному слову Ильича. И потом, выступая на самых ответственных собраниях, разрешающих, быть может вопросы жизни и смерти целой области или даже республики,— говорят: «Сам Ленин сказал»...

И эти слова, сказанные «самим Лениным», приобретают магическую, таинственную силу, в них вслушиваются и вдумываются решительно все без исключенья, в них находят откровение, видят пути разрешения, спасения, победы. Шутка ли говорить все время такие великие, исторические слова! Это непомерно трудно. А жизнь надо организовать таким образом, чтобы она была легка. Для этого следовало бы устроить так, чтоб 95% тяжести с Ильича было снято и переложено на плечи других работников и борцов. Это было бы справедливее, легче и полезнее для всех. Пока сделать этого нельзя; для выработки этого нового племени потребуются годы и годы. Но разве тот факт, что *сейчас* этого сделать нельзя, опровергает вообще истинность стремления и стремления *теперь же,* где можно, положительно разрешить этот самый вопрос? Нет. Делать это надо. Чем больше и чаще, тем лучше. Вот я и думаю: чем больше славы, тем больше тяжести, тем труднее. Так стоит ли ради славы так утягощать свою жизнь?

...Не хочу я славы, счастье жизни отнюдь не в славе, это заблуждение. Чем меньше тебя знают, тем меньше тревожат, но сам ты, сам — не будь скотиной только своего стойла, вылезай за тын своего огорода, живи общественной жизнью. Помни, что счастье и не в том, чтобы жить только личною, тем паче растительной жизнью. Запомни лишь одно: не обременяй, не перетягощай себя, накладывай ношу в меру сил

и славу не добывай за счет счастья. А что же такое счастье? По-моему, это такой строй жизни, мыслей и чувств, когда ты неизменно остаешься господином любого положения, когда ничто не может склонить твою голову, когда достаток жизненных соков дает тебе возможность получать наслажденья; когда ты в центре жизни ставишь любимое полезное дело и выполняешь его с полным сознанием его важности, полезности и прелести.

Поэтому славы, отымающей счастье, я больше не хочу и стану художником-писателем, может быть и малоизвестным, зато живущим счастливо и творящим свое любимое дело.

[*Между 5 и 13 сентября*]

...Я счастлив своею общественной работой, счастлив любовью, счастлив собою самим. Несчастия не властны надо мною, они не могут замутить мою жизнь и сделать ее несчастной... Могут сказать, что я не видел горя. Но ведь понятие о горе, несчастии, ужасах и испытаниях — дело условное. Смерть братьев, сестер, отца, матери, близких людей, голодная жизнь революционных годов, лишения и страхи боевой жизни — может быть, все это плюс тысячи других событий,— может быть, все это и способно было бы разложить и принизить чью-нибудь жизнь, но только не мою. На моей жизни эти события сказываются, как это и должно быть: остро в момент их жизни и бледнея постепенно, сходя на нет в последующем. Ни одно событие не оторвет всех струн моей жизни, не сделает меня счастливым *. Я с жизнью связан тысячами нитей, и когда обрывается одна — что ж, говорю я, у меня их еще осталось бесконечно много; дух мой бодр, хотя тело и начинает пошаливать.

Красоту жизни и вижу и чувствую, живу ею непрестанно. И так хочется, чтобы этою красотою жили все — как тогда легко переносить так называемые несчастия, как легко и весело жить!

---

* Очевидно, описка: по смыслу «несчастным».

Д. А. Фурманов с женой А. Н. Фурмановой. Уфа. 1919 г.

Я буду себя растить; я буду себя хранить; я буду прививать другим то живое и бодрое, что ношу в себе. Да и общественная работа — разве это не достижение красоты, разве это не достижение полного счастья и уже счастье само по себе! Впереди так много труда, эх, много! И как хорошо это сознавать, коли знаешь, что вынести сможешь любую ношу!

22 октября

Разрешение вопроса

...Сидим вечером 19-го вместе с Наей, пьем чай, толкуем про житье, про ученье, про университет...

Она завела свою любимую...

«А отчего бы тебе, Митяй, не попытаться в Институт красной профессуры? У тебя есть знания, есть любовь к литературе и литературному труду, есть и педагогические и ораторские данные...»

Сколько раз она ни начинала прежде разговора на эту тему — я отмахивался от этой мысли, как от назойливой мухи. Я серьезно не слушал, серьезно не отвечал. Мне казалось совершенно немыслимым уйти из армии, оставить большую организационную работу и заняться наукой — заняться любимым делом... Я уж так привык делать всякие малолюбые дела, что и надежду потерял заняться когда-либо снова исключительно милым делом — литературой и искусством. На этот раз я почему-то выслушал ее внимательнее. А выслушав — завязал разговор. Сообщил ей, что в Институте кр[асной] пр[офессу]ры только три отдела: ист[орического] материализма, политич[еской] экономии и истории рев[олюционного] движения. Отделения или факультета лит[ературно]-художественного там нет. Стали разбирать дальше: «Вот ГИС» (Госуд[арственный] институт слова) — там как будто больше все по части ораторского искусства. Вот Литер[атурный] техникум (он же Литер[атурный] институт, что на Тверской, 52). Там постановка частного заведения, чувствуется что-то неокрепшее.

Ползли-ползли — так и добрались до факультета общественных наук. Но ведь это бывший друг, ста-

рый знакомец — филологический факультет. Впрочем, конструкция уже теперь совершенно иная. Да иные и предметы — много новых, которые я не знаю, не изучал.

Когда разговорились — на меня пахнуло ученой обстановкой, захотелось углубиться в литературу, несколько отойти от разнообразной, многосложной, универсальной организационной работы. Так захотелось, так захотелось учиться, что я уж не мог дальше совладать с собою и уцепился за драгоценную мысль.

Передо мною разом вырисовались два пути: один — оставаться поверхностным недоучкой, мало знающим (хотя и хорошо и все понимающим), правда, честным и энергичным работником, но без научного фундамента, без крепкой основной базы, без определенного круга знаний, среди которых чувствовал бы себя самостоятельно и уверенно, в которых бы легко ориентироваться, где чувствовал бы себя владыкой... А другой путь... другой путь — именно прийти к этому научному владычеству, овладеть тайнами науки, пополнить багаж — и уже тогда, может быть через 2—4 года, только тогда снова выступить на широкую арену общественной работы. А пока — пока держать себя в тени, смириться с неизвестностью, со вторыми, пятыми, десятыми ролями...

О, конечно, оставить совершенно общественную работу я не смогу, да и не хочу: работа в ячейке факультета, работа по журналам и газетам, работа в факультетском строительстве, наконец — заведовать редакцией журнала «Военная наука и революция»... Разве это не общественная работа! Подумано — решено, а решено — сделано. Я твердо надумал идти учиться на факультет общественных наук. Что будет в дальнейшем — не знаю: может быть, даже буду оставлен при университете, стану писать диссертацию, буду красным профессором...

А если даже и не так — буду вольным литератором, литератором с основой, с багажом, с систематической научной подготовкой. Любая из этих перспектив пришлась бы мне по душе, а потому — марш вперед, вперед, в атаку на Гусева, с открытым забралом!

Побывал я 20-го у секретаря ЦК т. Михайлова, побывал у тов. Удальцова (зав. агитпропом ЦК и зам. декана ф[акульте]та общ[ественных] наук), посоветовался с ними: оба разделяют мою мысль, согласны и отпустить и зачислить в студенты...

Сегодня, 22-го, в 10 часов утра я уже на квартире у Сергея Иваныча Гусева... Посидели, поговорили, я ему откровенно сознался, что «вышел весь организационный порох», что три последние месяца московской работы убедили меня в том, что я уже не могу работать так интенсивно и плодотворно, как работал три истекшие года — в Туркестане, в Грузии, на Кубани...

Выслушал Гусев — «подумаю», говорит... А у меня под рукой уже готовый рапорт: «Прошу откомандировать меня на ф[акульте]т общ[ественных] наук». Подсовываю: вы, говорю, пожалуйста, сейчас же, т. Гусев, распорядитесь, а то вас чрезвычайно трудно застать где-нибудь. Он было еще хотел меня наладить в Свердловский ун[иверсите]т, заведовать военной секцией...

«Нет, говорю, увольте, это все равно, что не заниматься в университете... Некогда будет вести научную работу, а я хотел бы взяться за нее не шутя». Подумал еще немножко, помолчал, а потом берет карандаш и пишет свое согласие [1]. Так устроилась моя судьба! Студент, снова студент — красный советский студент!

Я рад! Перспектива самая прекрасная. Это, кажется, тот путь, по которому я подсознательно все время тосковал. И на этот путь помогла мне выйти Ная. Хорошо... Очень хорошо... Университет, прими меня в свои недра как друга!

9 декабря

В университете

...Позавчера состоялось общефакультетское собрание студентов в аудитории № 1. Надо было избрать представителей в правление университета. Гал-

деж невероятный. Целый час избирали президиум собрания. Десяток меньшевиков — гладких, белых, выхоленных, примазанных, хорошо одетых, типичных белоподкладочников — вели свою полуглупую и смешную, полуподлую, а в общем глупо-подлую линию: во что бы то ни стало проводить не то, что предложили коммунисты, независимо от того, хорошо это или дурно.

Когда предложено было голосовать список кандидатов, меньшевичишко, объявивший себя беспартийным, заявил:

«В ком еще осталась любовь к студенческим традициям, кто не хочет подчиняться диктатуре властвующей партии, кто чтит настоящую демократию, тот пусть протестует...»

Поднялся шум. Видя, что ничего не выходит — меньшуги поднялись с мест и демонстративно стали выходить. Толпа плотно стояла у кафедры и расступилась шпалерами, когда провожала их со свистом, улюлюканьем, гвалтом и угрозами. Им показывали кулаки, их толкали, едва не плевали в лицо. Они огрызались и тоже потрясали кулаками в воздухе. Один рьяный фронтовик, не знаю коммунист он или беспартийный, всех проходивших толкал то в плечо, то в шею, а одному дал здоровенного тумака. Ярость у всех накипала. Одно время можно было ждать свалки, когда мы все запели «Интернационал», а меньшевичишки плелись оплеванными. Всего ушло человек 20—25 из общего количества присутствовавших 450—500 человек.

Беда! Вспоминается 17-й год. Я уж от этого отвык.

20 декабря

В Иваново и обратно

...В вагоне коммунист говорил:

«Жена умерла... На руках оставила шестерых...

— Отчего умерла?

— Устала... Голодно, трудно было два года

одной... Она уже в Пензенскую (с детьми-то!) и в Саратовскую — везде неудача... А я ушел тогда добровольцем, время не ждало, хоть и знал, чем дело кончится... Можно сказать — теперь всю жизнь изломал себе... А надо было...»

Я почувствовал величие в этих простых, изумительных словах: без рисовки, без гордости, без поисков сострадания — просто рассказывал то, что есть, чем скорбит душа...

Хорошая фабула для повести: нарисовать перипетии распадения семейного счастья, молчаливый героизм... И сколько их, этаких героев!

24 декабря

Итак, я как партработник и организатор умер довольно быстро и легко: значит, в этой плоскости я был не на своей дороге, то есть к «вечной» систематической работе не гожусь, работаю приступами, а ныне горячки уже нет. Ясное дело, что лишь только загремит на фронте — я туда.

Но вот заняться, положим, чистым искусством — я ведь тоже не могу. Заполнит ли меня Софокл, Пракситель, Леонардо да Винчи? Нет. Попав в университет, я воспрянул духом, ожил, думал, что здесь я погружусь в любимое дело. Но мне ведь смешны эти юноши и барышни, с таким пафосом декламирующие Блока, они смешны мне и жалки — я сам этого делать не могу. Говорил недавно с Коганом — он работает в Худож[ественной] академии. В беседе сообщил мне, что академия ведет большую и плодотворную работу, что в 22-м году Госиздат наметил выпуск ее трудов. Между прочим, он сообщил, что теперь устанавливается на процесс творчества такой научный взгляд, по которому этот процесс происходит, как и всякий другой процесс работы, без всяких муз, без вдохновений, проходит как особый вид работы, и только. Интересно, стану ждать трудов.

Сегодня был у Сакулина:[1] что делать? Возьмите, говорит, какую-нибудь работу, положим, из Достоевского (я сам указал),— проработайте как следует и

увидите, на что вы годны, и я посмотрю, оценю. Потом, говорит, и историю лит[ературы] изучайте... Это все хорошо, но тут нового мне нет. Я было наметил себе иной план: начать издалека, изучить греческую и римскую литературу, а потом идти и дальше. Так-то, пожалуй, оно и ладнее будет. Но вот что я еще вижу, вот в чем убеждаюсь все яснее, все тверже, все определеннее:

1) На научную, кропотливую работу не годен.

2) Читать-то читать, изучать поскольку есть время и силы, но не в этом направлении концентрировать свои усилия.

3) Меньше отдавать времени газетам, журналам, случайным лекциям и собраниям.

4) Изучать капитально и систематически — по трудам, по произведениям литературу, по преимуществу русскую и позднейшую.

5) Писать, больше и непрерывно писать, взяв одну большую, центральную тему; пусть она поглотит, заслонит собою все. Разумеется, в промежутках будут и мелочи, будут статьи, стихи и прочее — но она должна быть стержневой. За ней другую — и так «солиднеть», совершенствоваться. Писать, писать, писать... За счет всего.

6) Работать ночи. Переламывать свои настроения и даже усталость. Меньше отдаваться чаепитиям, беседам с друзьями, замкнуться, хотя бы временно, в себя.

7) Помнить все время, что пошел 31-й год, что время уходит, а сделано мало.

8) Взять все дневники, записки, документы и начать обдумывание по ним напрашивающихся произведений.

9) Следить за бытом, зорко глядеть и слушать кругом, *немедленно* занося характерное.

10) Читать не столько критику, сколько сами художественные произведения, присматриваясь к особенностям стиля, ритма, образов, содержания, худож[ественно]го слова и т. д.

Словом, писать. Это первое и главное. Остальное — в прикладку, добавочно.

28 декабря

Власть слова

Если прочтете речи Ильича, ни одной вы не найдете из них, где не встречалось бы слово «неслыханный»: неслыханные бедствия, неслыханный героизм, неслыханный голод...

Это слово стало все чаще встречаться и в речах других ораторов: заразило, привилось.

Ильич в своей речи на IX съезде употребил образное прекрасное слово «смычка» и на следующий день мы его встречаем в одной статье «Правды» или «Известий», а затем в некрологе о В. Г. Короленко, написанном Луначарским.

Тов. редактор «Политработника» некоторое время находился под обаянием слова «монизм». Я прочел ряд его статей и рецензий, написанных в течение 2 недель и всюду, к делу и не к делу, встречал это слово.

Власть слова велика. Часто оно назойливо просится под перо, само собою упадет на бумагу, и мы бессильны удержаться от его помещения.

Часто такое слово родит образ за образом и дает даже тему. Иной раз оно повторяется просто по привычке, механически.

Таких примеров уйма. Знаю по опыту, что слово иной раз даже понуждает изменять направление и содержание того, что задумал писать. Власть его велика, иной раз беспредельна.

1922 год

15 января

Моя работа

Перестал писать на политические темы. Отхожу исключительно в область художественную. Сдал недавно «Лбищенскую драму» [1]. Многим нравится. Пишу «Типы рабочих» — имея в виду, главным образом, иваново-вознесенских товарищей. Это — художественные очерки, с вымыслом [2]. А думаю еще дать и подлинные очерки, биографического характера. Афоне Жугину [3] дал задачу собрать их биографии.

К большой повести все не приступил — ой, как трудно начинать большую работу!

Подумываю дать ряд очерков из времен работы и борьбы в Уральских степях. В Главархиве мне отыскивают материал. Вообще сосредоточиваю свое внимание на пережитом за последние 4—5 лет.

18 января

Возвращение «Красного десанта»

Месяца еще три назад я передал Воронскому [1], редактору журнала «Красная новь», свое повествование о походе в тыл к неприятелю.

Название этому повествованию дано было «Красный десант». Как только принес — помню, прочитали мы тут же, и Воронский указал на необходимость вве-

дения бо́льшей художественной лжи, выдумки, разнообразия положений за счет подлинной сущности операции. Я, помнится, упрямился, извращать дела не хотел, ибо оно и в действительности было полуфантастическим. Но кое-что исправить взялся. М. В. Фрунзе, бывший тогда как раз у Воронского, просил рукопись к себе в украинский журнал [2], но Воронский оставил для «Красной нови».

Переработанную — отнес я рукопись снова ему. Ожидаю с нетерпением 4-го номера. Нет. Думаю, что в пятом пойдет, но и тут все нет: не посмотрел да не успел; некогда да недосуг. Я начинаю волноваться. Уславливаемся, что в течение недели он просмотрит мой «Десант» и сообщит результаты. Жду неделю, жду две... Сегодня захожу и от жены его получаю обратно свой «Красный десант» — он «возвратился» снова ко мне после долгих мытарств, после гниения в портфеле редактора. Мое состояние может понять лишь тот, кто пишет сам и сам... получает обратно непринятые рукописи. Досадно, грустно, зло... К этому еще примешалось чувство негодования на Воронского как на личность. Я не переваривал его всегда, насколько знал его в Иванове и там встречался.

...Такой журнал, как «Красная новь»,— журнал весьма почтенный. И совершенно естественно, что я буду стремиться помещать в нем свои произведения. И опять-таки практика работы в этой области, в области газетно-журнальной, показала мне, что ой много и много-много хорошего материала не печатается единственно из-за того, что у автора нелады с редактором. И наоборот — печатается хлам того сотрудника, которому редактор «благоволит». К категории последних я, разумеется, принадлежать не могу, не хочу и никогда не стану... А я ведь думаю (и уверен!), что буду давать весьма хорошие произведения — данные к тому в себе ощущаю.

...В этой области, значит, пока неудача [3]. Рукопись снова у меня на руках. Состояние духа у меня сейчас тяжелое, я удручен. Думал сегодняшней ночью продолжить зачатую во вчерашнюю ночь «Веру» [4], но не могу — не то, совсем не то настроение.

Ой, неприятно. Я понимаю, что оценка одного человека — дело маленькое и решающего значения не имеет ни для других, ни для меня самого,— и все-таки я удручен.

24 января

Собираюсь писать большую вещь из истории гражданской войны. Группирую газетный и журнальный материал: по мелочам рассыпаться неохота. Если и стану писать маленькие рассказы, то лишь с расчетом собрать их, как части, и дать потом общий большой роман! Приступаю пока неуверенно. Пишу строго, болтать по-прежнему не могу.

* * *

...В литературном творчестве, видимо, каждый должен особо, преимущественно совершенствовать свое дарование на определенной форме творчества (повесть, роман, драма и проч.), а остальные совершенствовать во вторую очередь и лишь постольку, поскольку они сами совершенствуют основную, избранную, лучше сказать — органически присущую тебе форму. Скажу, например, про себя. Драма, комедия, даже маленькая одноактная пьеска — вижу и чувствую, что никак не удается: то легковесно, хотя в бытовом отношении недурно; то замыслом и крупно — зато формою, выполнением — окончательно слабо. «Вера», такая хорошая по замыслу вещь — в исполнении получилась сущей ерундой.

Диалог никуда негоден — вести его пока не могу, не умею. Зато повествование, передача, быт описательный и отчасти диалогический даже — идет легко. Если и не хорошо еще по-настоящему, то, во всяком случае, вижу, что на этой дорожке толк будет. Так, шаг за шагом, я все вернее, все определеннее нащупываю свой настоящий путь: отбросил ученую работу, отбросил статейную публицистику, отбросил драму и комедию — сосредоточиваюсь на повести. Похва-

литься большими успехами, конечно, опять-таки не могу и здесь, но самоощущение в этой плоскости прекрасное и уверенное. Сюда и пойду.

2 февраля

Laringitis chronica

Так Дубинский, ухо-носо-горло-врач, определил мою горловую болезнь. Лечит. Сделал уже десятка 1,5 прижиганий. А я все еще чувствую, что горло мое хворает. Такова судьба ораторов: партия гоняла меня всюду, приходилось по 3 митинга проводить за один день — и перед тысячными толпами. А эти многолюдные собрания на морозе, на открытом воздухе: ведь, бывало, сходишь с трибуны полумертвый.

Вот они, результаты, сказываются теперь, через 4 года трудной работы. Кроме того, на лице, возле глаза, у виска и на щеке дергаются нервы, всю щеку перекашивает, собирает морщинами: это, видимо, следы фронтовой нервной жизни и массы всевозможных переживаний...

* * *

Литературная работа

Политические статьи перестал писать окончательно. Однако ж не приступил по-настоящему и к художественному творчеству: пишу мало, нет вдохновения, ничего не получается.

Только обработал «Десант», написал «Лбищенскую драму». А больше ничего не выходит: возьмусь, попишу — вижу, что слабо. Или бросаю или перерабатываю, перерабатываю. Хорошо то, что становлюсь все требовательнее, все осторожнее отношусь к тому, что пускаю в свет. «Лучше мало, да хорошо»,— вот мой девиз отныне. Коплю материалы: все, что увижу, что услышу интересное, что прочту — сейчас же записываю, выписываю, вырезаю... Материалу скапли-

вается порядочно. Пожалуй, было бы пора приниматься и за обработку, но почему-то все еще не могу. Кажется мне, что если уж возьмусь как следует — пойдет быстро и успешно. А пока — набираюсь сил, знаний, материалов... Много читаю. И по системе: сначала все, что писано издревле: Греция, Рим, восточная литература... А потом постепенно и к современному. Ясное дело, что было бы в тысячу раз интереснее сразу взяться за современность, но креплюсь, умышленно на ней подолгу не останавливаюсь и хочу осилить старое. Потом легче будет понять, осилить и все новое.

Конечно, наиболее важное не опускаю и из нового, в общем, не детально его знаю и понимаю. Но до деталей докапываться себе не позволяю: это потом.

Как будто, кажется мне,— жизнь и работа стали у меня за последние месяцы организованней и планомерней.

26 февраля

Как я читаю

Для чтения установил я некоторую систему, именно — решил искусство и литературу изучать со дна, а не с поверхности. Это рационально, ибо, пробравшись на дно и определив там все скрытые силы, во всяком случае быстрее и точнее определишь все явления, происходящие на поверхности, то есть современное, видимое, то, чем живет эпоха, чем живу вместе с нею и сам. Ведь это только кажется во многом, что творишь заново, создаешь нечто небывалое, невиданное, изобретаешь такое, чему нет ни прецедентов, ни даже самих корней.

Особеннейшим образом высказанные соображения имеют отношение к искусству, в частности к искусству слова — литературе. Здесь так много подумано в прошлом, так много сказано и сделано, что лишь с небольшими изменениями, свойственными современности, воспроизводится то, что уже давно и многократно было воспроизведено. Ясное дело, что нюансы-то современности и надо постичь возможно скорее,

раз только хочешь идти в ногу со временем, а не уцепившись ему за долгий хвост. Но нюансы эти будут поняты и чувствуемы по-настоящему лишь при том условии, что корни их будут известны и понятны — тоже по-настоящему. Верхоглядство выхода здесь не дает.

Но уж, разумеется, какие-то пределы должны существовать и в этом изучении прошлого. В конце концов о прошлом написаны миллионы книг; прочесть их — надо жизней десяток — не одну нашу 60-летнюю. И я решил: изучить старое лишь настолько, чтобы понятны были лишь основные моменты настоящего. В детали старины не вдаваться — лучше заняться деталями современности. Решил искусство и литературу изучать с древности.

Вот читаю, например, литературу китайскую, японскую, монгольскую...

Ознакомился еще раз с литературой Греции и Рима...

Теперь изучаю историю искусства (по Байе) [1]. И никак невозможно заняться только этой книгой. Вот Сакулин в лекциях, а товарищи — в беседах называют новые книги: Жирмунского «Композиция лирических стихотворений» и Шкловского «Развертывание сюжета» [2].

Как же их не прочесть, как не ознакомиться, хоть слегка, с тем, что занимает сейчас нашу литературную братию... Читаю... Откладываю на время Байе. Вячеслав Павлыч (Полонский) передает мне для отзыва в «Печать и революцию» Васильченко «Две сестры» и 3 номера полтавского сборника «Радуга» [3]...

Приходится, ввиду спешности работы, отложить на время и недочитанного Жирмунского — заняться этою спешной работой — чтением, разбором, составлением рецензий...

Так в Жирмунского и Шкловского вклинивается новая работа — так же, как оба они вклинились в Байе...

...Закончены рецензии, прочитаны Жирмунский и Шкловский — и я снова возвращаюсь к своим планомерным занятиям по истории искусства.

Это, так сказать, основная, стержневая, постоянная и систематическая работа. Она идет, как широкая река — спокойно, выдержанно, законно. А неспокойно, случайно и как бы беззаконно пристают к этой работе другие — неожиданные, откуда-то выскакивающие сами собою, но так же серьезные, нужные, необходимые. И я совсем не считаю методологическим промахом такой порядок вещей. Наоборот — его-то и следует приветствовать: он никогда не позволит сорваться с боевого злободневного поста и покрыться плесенью старины...

Читаю, разумеется, все новые журналы, газеты. Но газеты читаю быстро, выхватывая важнейшее, о многом узнавая только по заголовкам. Прочитываю с начала до конца лишь художественные очерки, отдел «Искусство и жизнь», заметки, трибунальные процессы...

* * *

Как я пишу

Помню, это было, кажется в Самаре, в 19-м году, я каждый вечер, прежде чем ложиться спать, писал по стихотворению; хорошо ли, плохо ли они выходили (скорее плохо, чем хорошо) — во всяком случае, писал. Так продолжалось несколько недель. Конечно, были дни, когда не писал, но были дни, когда писал сразу по 3—4.

Затем остыл. И не писал долго. Не знаю даже, не помню — писал ли вообще.

Тогда, в Самаре, словно угар какой-нибудь охватил, шквал наскочил: все мое существо просило, требовало стиха. А потом нет. Чем объяснить — не знаю. Но такое время было.

Здесь, в Москве, как только приехал — много писал публицистических статей и в московские органы и в Иваново-Вознесенск. Здесь корни дела совершенно очевидны — тут ни секретного, ни непонятного ничего нет: голодал, надо было зарабатывать и отчасти (толь-

ко отчасти!) подталкивало честолюбивое тщеславное желание видеть свое имя под статьями.

Шло время. От публицистических статей поотстал (сердце к ним у меня не лежало никогда: на фронте писал по необходимости, здесь по нужде!), внимание свое начал сосредоточивать на художественном творчестве: обработал дважды «Красный десант», начал писать художественный очерк из эпохи партийной чистки [3], написал вчерне (совершенно неудачную) «Веру», набросал и продумал портреты героев «Дымогара»... Как будто работа кипела; она меня захватила; все время только про нее и думал. Шел по улице, и голова все время занята была то вопросами композиционными и техническими, то обдумыванием психологических положений и эволюционных процессов — да мало ли чем занята голова, когда пишешь или собираешься писать художественное произведение.

А как обострилась наблюдательность: свалится с крыши ком снега — и я сейчас же с чем-нибудь ассоциирую это явление; кричат торговки на Арбате — и я жадно вслушиваюсь в их крик, ловлю все интересное, запоминаю, а домой приду — записываю; советуюсь с Кузьмой, советуюсь с другими, кто понимает; хожу в «Кузницу» [4], посещаю лекции в Политехническом... Словом, живу интенсивнейшей художественной жизнью...

И вдруг... Вот уж целый месяц, как я ничего не пишу, никуда не хожу, никого не слушаю, ни с кем ни о чем не советуюсь, ни о чем не думаю.

Читать — читаю, а творить — нисколечко... Можно даже сказать, что опустился: за чаем просиживаю по 3—4 часа; придет кто-нибудь из товарищей — беседую с ним до естественного ухода, не тороплю его, не выгоняю по-дружески, не тороплюсь сам идти работать...

Покуриваю, полеживаю, слегка мечтаю... Болезни нет никакой, а как будто чем-то и нездоров. Сам не знаю, что такое. Апатии, лени тоже нет: зачитываюсь ведь сплошь и рядом до 4—5 часов утра. В неделю-две напишу небольшую статейку, заметку какую-нибудь, рецензию... А большое все оставил. Рассказов совершенно не пишу, а материалу много.

И он все копится, не сам, конечно, копится, а коплю: вырезаю из газет, записываю, кое о чем изредка иных выспрашиваю...

Чувствую себя так — как будто чем-то начиняюсь и заряжаюсь, сам того не зная и чуть подозревая... Внутри происходит нечто совершенно неведомое, само по себе, непроизвольно. Совершается работа, которую не в силах не только превозмочь, но даже понять, определить, уловить как следует...

Пишу мало, очень мало, почти ничего. А пишу, все ж таки, вот как:

Набрасываю схему, строю скелет, чуть-чуть облекаю его живой плотью... Бреду ощупью, кое на что натыкаюсь, кое-что спаиваю, продумав заранее... Черновая работа. И все готовлю начерно. А когда черновик готов в деталях — начинаю отрабатывать начистую. Но, скажу откровенно, процесса обработки не люблю, проводить его не умею, не выдерживаю всей его утомительности...

Творить легко, а вот писать — трудно.

* * *

Как я работаю

Условно под «работой» сейчас понимаю лишь то, что выполняю по занимаемой должности «зав[едующе]го ред[акцией] журнала «В[оенная] н[аука] и р[еволюция]».

Уйду из дому часов этак в 11 и прямо в редакцию (лишь иногда — в типографию или цинкографию). Там сидит Илья Андреич [*неразборчиво*], наш технический секретарь. У него уж непременно наготове штук 5—10 незначительных бумажонок: то счета машинисток, то ведомости, то очередная серия вздорных, а иногда и невздорных бумажонок. Зампред [*неразборчиво*]. Этот что-нибудь толкует про «петит ренар» (единственный шрифт, который он знает!). Впрочем, может быть, я и неправильно пишу этот самый «ренар».

Есть бумажки, запрашивающие давно отосланные статьи, разные справки, точные объяснения про гоно-

рар (это особенно часто!). Бумажек этих хватает мне ровным счетом на 10 минут. Появляются на столе гранки или сверстанные листы: проверяю, потом иду в типографию, сдаю неизменному Швову. Иной раз в редакцию наведываются наши военспецы: то приносят статьи, то справляются по поводу сданных, а чаще — опять-таки про гонорар: когда можно получить, сколько, можно ли ускорить получение, правда ли, будто через неделю ставки увеличиваются, и т. д. и т. д.

Когда заканчиваю работу с гранками и листами — иной раз читаю что-нибудь свое из книг по литературе. Да немало уходит времени (по крайней мере час) на получение ордеров, пайка, хлопот о дровах, о мебели, перегородках, телефоне и прочем...

Отправляюсь в типографию: в табачном чаду разыскиваю милого Швова.

— Ну, как дела, что готово, за чем задержка?

— Да вот — не хватает петиту, потеряны оттиски с клише, загнала срочная работа по специальному заданию и т. д.

Наша работа — ползет... Думали с № 3-го выпускать месячником, а вот скоро уже два, и его все еще нет как нет. Месячником, видимо, и вообще не удастся нам его выпускать исправно...

Потолкуем со Швовым, сдам ему свой материал, он даст мне свежих гранок и листов... Потом толкую с Гирсом [6]. Этот хлопотун с мешочком за спиной — целый день носится из конца в конец краснокаменной столицы... Проходит день... В $4^1/_2$ я уже дома... Рабочий, формальный день окончен... Дома веду свою другую работу — читаю, пишу, хожу иногда на лекции...

24 марта

Моя литературная работа

Поглощен. Хожу, лежу, сижу, а мысли все одни: о Чапаеве. Крепко думал и долго думал над большой работой из эпохи 905—8 годов, где должна фигурировать также Бекетова гора [1] — словом, все славные ме-

ста иваново-вознесенского рабочего движения тех далеких времен. Тут уперся я в недостаток фактического материала. Поеду соберу [2]. Буду готовить исподволь, а когда приготовлю, тогда будет можно начинать. Итак, эта большая работа, поглощавшая мое внимание последний месяц-полтора, отходит пока на второе место.

На первое место выступил Чапаев — тут материала много, и в первую очередь материал, хранящийся в моих дневниках. Его очень, даже очень много. Кое-что останется неиспользованным. Кроме того, копаюсь в архиве Красной Армии, некоторые книги принес Кутяков (главным образом, географического и этнографического характера — касательно Уральских степей и Самарской губернии), послал кому надо письма в Самарскую губернию в Заволжский ПУОКР [3], пороюсь в архиве ПУРа,— словом, постараюсь сделать все возможное к тому, чтобы действие разворачивалось на фоне конкретной обстановки, вполне соответствующей действительности. Разумеется, это будет не копировка, однако же Колчака при отступлении я не поведу горами, начиная от Кинеля, и не поведу его через Уфу, Белебей, Бугуруслан — а в противоположном направлении.

Голова и сердце полны этой рождающейся повестью. Материал как будто созрел. Ощупываю себя со всех сторон. Готовлюсь: читаю, думаю, узнаю, припоминаю — делаю все к тому, чтобы приступить, имея в сыром виде едва ли не весь материал, кроме вымысла.

8 апреля

Дрофа, чтобы взлететь, разбегается. Хирург, прежде чем делать большие операции, совершает мелочи. Все начинается с малого. Писать сразу огромный роман или повесть, не написав малых,— ошибочно. Уж по тому одному ошибочно, что на мелких многому научишься, увидишь недостатки, излишки, плюсы, минусы. Этого избежишь в большом. Начдива Чапаева, пожалуй, временно надо отставить или разрабатывать из него отдельные, почти самостоятельные главы.

[*Начало августа*]

Работа над «Чапаевым»

Ехали из деревни [1]. Дорога лесом. Дай пойду вперед: оставил своих и пошагал. Эк, хорошо как думать!

Думал, думал о разном, и вдруг стала проясняться у меня повесть, о которой думал неоднократно и прежде,— мой «Чапаев».

Намечались глава за главой, сформировывались типы, вырисовывались картины и положения, группировался материал.

Одна глава располагалась за другою легко, с необходимостью.

Я стал думать усиленно и, когда приехал в Москву, кинулся к собранному ранее материалу, в первую очередь к дневникам.

Да, черт возьми! Это же богатейший материал. Только надо суметь его скомпоновать, только...

Это первая большая повесть.

Честолюбивые мысли захватили дух: а что, если она будет прекрасна?

Ее надо сделать прекрасной.

Пусть год, пусть два, но ее надо сделать прекрасной. Материала много, настолько много, что жалко даже вбивать его в одну повесть. Впрочем, она обещает быть довольно объемистой. Теперь сижу и много, жадно работаю. Фигуры выплывают, композиция дается по частям: то картинка выплывает в памяти, то отдельное удачное выражение, то заметку вспомню газетную — приобщаю и ее; перебираю в памяти друзей и знакомых, облюбовываю и ставлю иных стержнями — типами; основной характер, таким образом, ясен, а действие, работу, выявление я уже ему дам по обстановке и по ходу повести. Думается, что в процессе творчества многие положения родятся сами собою, без моего предварительного хотения и предвидения. Это при писании встречается очень часто. Работаю с увлечением. На отдельных листочках делаю

заметки: то героев перечисляю, то положения-картинки, то темы отмечаю, на которые следует там, в повести, дать диалоги...

Увлечен, увлечен как никогда!

19 августа

Хочу собрать решительно весь материал по «Чапаеву» — как он создается, что особенно волнует, что удается, что нет, какие меры и ради чего принимаю. Это интересно и полезно.

Прежде всего — ясна ли мне форма, стиль, примерный объем, характер героев и даже самые герои? Нет.

Во-вторых, пытал ли свое дарование на вещах более мелких? Нет.

Имеешь ли имя? Знают ли тебя, ценят ли? Нет.

Приступить по этому всему трудно.

Колыхаюсь, как былинка. Ко всему прислушиваюсь жадно. С первого раза все кажется наилучшим писать образами — вот выход.

Нарисовать яркий быт так, чтобы он сам говорил про свое содержание,— вот эврика!

Я мечусь, мечусь, мечусь... Ни одну форму не могу избрать окончательно. Вчера в Третьей студии [1] говорили про Вс[еволода] Иванова, что это не творец, а фотограф... А мне его стиль мил. Я и сам, верно, сойду, приду, подойду к этому — все лучше заумничанья футуристов...

Не выяснил и того, будет ли кто-нибудь, кроме Чапая, называться действительным именем (Фрунзе и др.). Думаю, что живых не стоит упоминать. Местность, селения хотя и буду называть, но не всегда верно — это, по-моему, не требуется, здесь не география, не история, не точная наука вообще...

О, многого еще не знаю, что будет.

Материал единожды прочел весь, буду читать еще и еще, буду группировать. Пойду в редакцию «Известий» читать газеты того периода, чтобы ясно иметь перед собой всю эпоху в целом, для того чтобы не

ошибиться, и для того, чтобы наткнуться еще на что-то, о чем не думаю теперь и не подозреваю.

Вопрос: дать ли Чапая действительно с мелочами, с грехами, со всей человеческой требухой или, как обычно, дать фигуру фантастическую, то есть хотя и яркую, но во многом кастрированную?

Склоняюсь больше к первому.

22 августа

Как буду строить «Чапаева»

1. Если возьму Чапая, личность исторически существовавшую, начдива 25-й, если возьму даты, возьму города, селенья, все это по-действительному, в хронологической последовательности, имеет ли смысл тогда кого-нибудь окрещивать, к примеру — Фрунзе окрещивать псевдонимом? Кто не узнает? Да и всех других, может быть... Так ли? Но это уже будет не столько художественная вещь, повесть, сколько историческое (может быть, и живое) повествование.

2. Кой-какие даты и примеры взять, но не вязать себя этим в деталях. Даже и Чапая окрестить как-то по-иному, не надо действительно существовавших имен — это развяжет руки, даст возможность разыграться фантазии.

Об этих двух точках зрения беседовал с друзьями. Склоняются ко второй.

Признаться, мне она тоже ближе.

21 сентября

Писать все не приступил: объят благоговейным торжественным страхом. Готовлюсь...

Читаю про Чапаева много — материала горы. Происходит борьба с материалом: что использовать, что оставить?

В творчестве четыре момента, говорил кто-то, кажется, Дессуар [1]:

1. Восторженный порыв.
2. Момент концепции и прояснения.
3. Черновой набросок.
4. Отделка начисто.

Если это так, я — во втором пункте, так сказать, «завяз в концепции».

Встаю — думаю про Чапаева, ложусь — все о нем же, сижу, хожу, лежу — каждую минуту, если не занят срочным, другим, только про него, про него...

Поглощен. Но все еще полон трепета. Наметил главы и к ним подшиваю к каждой соответственный материал, группирую его, припоминаю, собираю заново.

11 октября

К композиции

Когда переговорили с Лепешинским[1] в Истпарте — он с большим одобрением отнесся к мысли написать о Чапаеве отдельную книжку, но выдержать ее предложил в исторических тонах больше, чем в художественных. Я согласился. Ввиду того, что на эти 6 месяцев, в течение которых думаю работу закончить, я отстраняюсь от всякой иной литературной работы, он написал отношение в Госиздат, чтоб там разрешили всякие авансы, заключили договор, что ли,— ну, как водится. Я ходил, бумажку эту сдал, коллегия будет рассматривать, ответа еще до сих пор не имеем.

И странное дело — лишь почувствовал «обязательство» писать, лишь только *связал* себя сроком — дело пошло куда быстрее, чем доселе: начал в ту же ночь и за одну ночь написал около печатного листа. Начать — великое дело, я начать не мог вот уже несколько месяцев. Знаю, что слабо и путано, но это ведь *набросок,* примерное распределение материала. Обработка и отнесение всего нужного в свое место, перегруппировка, выброска лишнего и добавка, вся эта отшлифовка — впереди. Пишу каждую ночь.

29 октября

О названии «Чапаеву»

1) Повесть...
2) Воспоминания.
3) Историческая хроника...
4) Худож.-историч. хроника...
5) Историческая баллада...
6) Картины.
7) Исторический очерк...

Как назвать? Не знаю.

18 ноября

Написано 4/5 (четыре пятых). Скорей, скорей, скорей — вот желание. Уговариваю себя: «Главный вопрос не в том, что скоро, а в том, что хорошо. Если сам увидишь, что не очень удачно,— потерпи, даже и к половине апреля не сдавай... отсрочку получи — вот как надо делать, а не так, что скорей-скорей-скорей».

Резонно. Успокаиваюсь малость и снова начинаю работу.

Обработка потом, ее сознательно оставляю на конец, а сейчас охота скорей довести до конца хотя бы основной рассказ.

Часами иногда не могу написать ни одного слова — не знаю, за что уцепиться.

А распишешься — яснее.

Поэтому целесообразно останавливаться (сегодня) на таком месте, откуда (завтра) совершенно ясно, что писать — дальше само собою многое проясняется.

К концу начинаю комкать, торопиться, кое-что пропускать, оставлять «до удобного случая» и т. д.

Замечаю, что днем лучше пишу, чем ночью, явление небывалое. Объясняю тем, что, усаживаясь за

работу в час ночи, имею в перспективе всего часа два, а усаживаясь, положим, по воскресеньям, с утра, вижу перед собою целый день — и в этом случае работаю спокойно, не нервничаю, мыслями могу раскидывать далеко вперед, знаю, что их не понадобится свертывать через сорок минут.

В успех я верю и нет. Временами. Причин не отыскал.

29 ноября

Иной раз думаешь, думаешь, ходишь взад и вперед по комнате — ничего не выходит: нет в голове мыслей, нет картин, нет связей...

А сел писать, написал первые строки, хотя бы и случайные,— и дело стронулось с мертвой точки.

Написано печатных листов уже десять. А впереди — столько же. Что написано — только набросок. Не обрабатываю, спешу закончить — всю вещь кончить, дабы видеть, как расположится материал в общем и целом.

Потом обрабатывать стилистически, вводить новые картины, переставлять... Например, знаю, что придется добавлять о крестьянах, о красноармейцах, непременно надо, а теперь не хочу отвлекаться от основной линии повествования — очень спешу закончить скорее, чтобы на обработку осталось больше времени. Берет сомнение: хватит ли терпенья — больше терпенья, чем уменья,— хватит ли для детальной, тщательной обработки. Не выпускаю из мыслей факта: «Войну и мир» Лев Толстой переписывал восемь раз... Это бодрит, заставляет самого относиться внимательней и терпеливей.

Совершенно нет никакой возможности удержать себя от торопливости, с которою дорабатываются последние страницы Чапаева. Уже совсем немного осталось, совсем немного — едва ли не только «Лбищенская драма», но и она ведь сплошь пойдет по готовым материалам, она уже описана неоднократно [1], останется кое-что изменить, дополнить, лица, даты и названия

другие, поскольку не все фигурируют под своими именами. Так стал торопиться, что некоторые сцены решил даже пока не включать, например сцены, происходившие между женщинами-красноармейками и уральскими казачками. Выпадет потом место — можно будет включить, а не хватит — пожалуй что и не надо вовсе. Так ставлю вопрос. А все потому, что хочется, невтерпеж, остов построить, а уже потом, по этому стержню, перевивать все, что будет целесообразно и интересно. Впрочем, здесь имеется одно обстоятельство, которое не процесса творчества касается, а самого Чапаева, и потому именно, что неясен вопрос: от себя его писать, в первом лице, или же в третьем. Дать ли всех с их именами, дать ли точно цифры, даты и факты, или же и этого не потребуется. Не знаю, не знаю... Поэтому тороплюсь, хочу все закончить как-нибудь, вообще, и тогда уже виднее будет — как же лучше, как вернее, художественно законченнее. И вот открылась гонка, картина полетела за картиной, часто, может быть, и не к месту, без должной связи — про обработку, хотя бы приблизительную, и говорить не приходится: обработки нет никакой... Удивительно это психологическое состояние пишущего, когда он идет к концу.

[*1922*]

Мои объяснения [к книге «Чапаев»]

1) Простите, но всех мест, дней и деталей не помню, дело было давно, а память моя слабая.

2) Из участников — много живых, их фамилий не скажу и многого про них не скажу из тактических сообр[ажений].

3) Чапаев — лицо собирательное (почему и дано название очерку) и для определенного периода очень характерное.

4) Метод мой нов: не обязательно повествование свое надо вылизывать и облизывать, словно грудного котенка,— *оно может быть столь же обрывочным, как*

сама жизнь: ввел лицо — его бросил, оставил по пути, не довел «героя» до конца, многих вводишь эпизодически, на час-другой, они нужны, но не до конца повествованья.

5) Обрисованы исторические фигуры — Фрунзе, Чапаев. Совершенно неважно, что опущены здесь мысли и слова, *действительно* ими высказанные, и, с другой стороны,— приведены слова и мысли, *никогда ими не высказывавшиеся* в той форме, как это сделано здесь. Главное, чтобы характерная личность, основная верность исторической личности была соблюдена, а детали значения совершенно не имеют. Одни слова *были* сказаны, другие *могли* быть сказаны — не все ли равно? Только не должно быть ничего *искажающего* верность и подлинность событий и лиц.

* * *

А может быть, уж такое героическое время наше, что и подлинное геройство мы приучились считать за обыкновенное, рядовое дело... Пройдут десятки лет, и с изумлением будем слушать и вспоминать про то, что кажется теперь, при изобилии, таким обыкновенным и простым. Так где-нибудь в тихом захолустном городке величайшим событием является убийство на улице, про разбитую голову, про раны, про кровь долго-долго рассказывают со страхом и трепетом, как про что-то особенно исключительное, ужасное... А эти же люди попадут на фронт, пройдут боями сотни и тысячи верст — и спокойно, без удивления, не только без ужаса и страха — будут видеть груды человеческих тел, будут видеть широкие луга, где разбросаны тысячи искалеченных людей,— привыкнут даже к *этому*, даже это станут считать *обыкновенным.*

Так, может быть, обыкновенными кажутся и нам здесь необыкновенные деяния Чапаева. Пусть судят другие — мы рассказали то, что знали, видели, слышали, в чем с ним участвовали многократно...

1923 год

4 января

«Чапаев» закончен

Только что закончил я последние строки «Чапаева». Отделывал начисто. И остался я будто без лучшего, любимого друга. Чувствую себя, как сирота. Ночь. Сижу я один за столом у себя — и думать не могу ни о чем, писать ничего не умею, не хочу читать. Сижу и вспоминаю: как я по ночам — страницу за страницей писал эту первую многомесячную работу. Я много положил на нее труда, много провел за нею бессонных ночей, много, часто, неотрывно думал над нею — на ходу, сидя за столом, даже на работе: не выходил у меня из головы любимый «Чапаев». А теперь мне не о чем, не о ком думать. Я уж по-другому размышляю и о другом: хороша ли будет книжка, пойдет или нет? Будут ли переиздания — выдержит ли она их? Как приноровить обложку, какую? Успеем ли к годовщине Красной Армии?..

Приблизился час моего вступления в литературную жизнь. Прошлое — подготовка. Кроме того, изд[ательств]о «Красная новь» выпускает дней через 10—15 отдельной книжкой мой «Красный десант»: отличное дело, радуюсь, торжествую [1].

27 января

Не знаю, пока ничего еще не знаю. Я теперь чувствую себя крайне одиноко, с тех самых пор как закончил «Чапаева». Я его писал ночью и днем, я думал

о нем днем и ночью. Я весь был в нем, и он весь заполнил меня.

Другое, не знаю, было ли что за это время такое, чтобы равнялось по силе обладания мною с «Чапаевым». А кончил — и не могу ни за что взяться. Писать новое, большое, но для большого надо много думать, готовиться, сосредоточиться на нем, а я не могу, не в состоянии.

«Мятеж» хотел наподобие «Чапаева» превратить в широкую историческую балладу, но еще, видимо, не время. Я живу Чапаевым, хотя его со мною нет. Заниматься, учиться, читать — нет, нет, нет... Пока и это нет. Может быть, скоро стану сдавать экзамен, но это же я не предметы изучать стану, а всего лишь сдавать экзамены. Разница тут огромная. Эти два понятия даже по существу враждебны друг другу, диаметрально противоположны. Так что пока — экзамены, а знакомство с тем, что сдам,— после. Так вот — сирота я. А с «Чапаевым» так обстоит: уж я исправлял, исправлял, уж я выводил, выводил, уж я мучился без счету, без времени — приготовил, наконец понес сдавать... Сразу сдал одну половинку, страниц этак сотню... Потому половину торопился сдать, чтоб просмотрели скорее, сказали «да» или «нет»...

Я терзался мыслью: а ну как не возьмут. Что я тогда стану делать, куда я отдам моего «Чапаева»? Возьмет ли кто тогда, захотят ли после того, как Истпарт отказал. Да и не стыдно ли будет самому принести и сказать: «Там не взяли, не возьмете ли вы»... Это трудно, это тяжело... Впрочем, вот ведь мой «Красный десант» Воронский не взял, а «Пролетарская революция» взяла, да теперь еще и издательство «Красная новь», у которого во главе тот же, кажется, Воронский, издает этот «Красный десант» отдельной книжкой. Бывает. И так бывает, но все-таки... Не приняли «Десант», я был взволнован, расстроен, но перенес сравнительно легко, а тут, когда «Чапаева» не возьмут,— о, это будет оглушительно. Работать — долгие месяцы; дни и ночи, ночи и дни, и вдруг... О, это ужасно. Я ночью перед тем, как идти узнавать — «да» или «нет», — не спал до утра, только

подремывал легкой дремой, а в мыслях одно, одно сверлило: «да» или «нет». Я видел перед собой Лепешинского, этого милейшего седого большевика... Один раз он говорит мне: «Отлично, идет, несите в набор...» А потом вдруг: «Ну что ж, нам не сказки нужны — нам правда историческая нужна, а у вас повесть вышла, да и повесть-то пустая, слабенькая, совсем никуда... Нет, нет, обратно берите... Там, говорите, договор вы с Госиздатом заключим, авансом получили четверть... Ну что ж, как знаете сами: хотите отдайте эту четверть Госиздату, возвратите, а то и не возвращать можете — кажется, право имеете»... И когда он сказал мне про это право, мне показалось, что он смотрит на меня как на шарлатана, который разными приемами вводит в невыгодные сделки, опутывает, приносит разную макулатуру, промышляет обманом, ересью, гнусненькими делишками. Я ворочался с боку на бок,— этот исход, этот оборот дела ужасал, ей-ей ужасал. Я чувствовал, как начинает сжиматься сердце. На лбу проступал холодный пот...

Всю ночь не мог я заснуть. Радость менялась печалью, печаль — радостью...

Так вот, черт возьми, не спал всю ночь... Прихожу — и прямо к Штейман: ей отдал я половину рукописи, торопился, чтоб к годовщине Красной Армии книжка вышла...

— Ну как, спрашиваю...

— Что как? — вскидывает через пенсне взор.

— А рукопись?

— Какая?

— Да десять-то дней назад вам отдал.

— Что-то не помню...

— Позвольте...

Я ей начинаю объяснять — вспомнила. А я потрясен. Мне казалось, что тут чуть ли не весь Истпарт только и волнуется, что около моей рукописи, а на-ка! Даже она, которой дал, и то не помнит. Я в этот день принес вторую половину, предполагал, что первую уже прочли и скажут мне по этой первой половине «да» или «нет», но рукопись никто еще не смотрел.

Вхожу к Лепешинскому. Сидит седой старик за столом, улыбается ласково-ласково, но серьезно.

— Вот принес, говорю.

— Так, так...

Он знает, что я принес, помнит. Взял эту огромную мою папку, перевернул раза два-три в руках, потом положил перед собою, одной рукой закрыл глаза, другой начал рыться в листах, шутя причитал:

— Ну, господи помилуй...

Так пришучивают, когда тянут себе «счастье», карту, что ли, или в этом роде... Я не понимал. Недоумевал. Он — вытащил случайно страницу и, как бы извиняясь, проговорил:

— Попробуем одну на счастье... Я часто так-то...

Он стал вслух читать — там было описано про Сломихинскую, что собой представляла горячая, простая речь Чапаева.

— Хорошо... Хорошо...— приговаривал он.

А я сидел и радовался. Условились, что через день-два зайду узнать. В тот день, как прийти, звоню к Штейман: приходить ли, прочитано ли?

Не все, говорит, прочитано. Да вот что он, Лепешинский-то, говорит: жидко очень, много выпускать надо, перерабатывать... У меня сердце так и упало. Звоню Лепешинскому — приходите, говорит, заходите, поговорим. Вошел. Присел. Молчу. Жду.

— Кое-что тут у вас — лишку есть. Я авторское право очень храню, бережно к нему отношусь и без вас — автора — не решился делать никакой чистки. Возьмите, исправьте сами или, если хотите, дайте мне.

— Да, да,— обрадовался я,— конечно вам... конечно... Да, я думал, вы и без того... Сами. Это я считал само собою разумеющимся.

— Нет, нет, т[оварищ] Фурманов,— перебил он,— специально мы с вами не договорились, а сам я не рискнул, а вдруг не захотите, а вдруг обидитесь, авторы ведь обидчивы...

— Только я бы — нисколько,— горячо возразил я ему, любуясь сединами, прозрачными, чистыми, детскими глазами. Потом что-то молотил ласковое и бессвязное:

— Я же вам доверяю... Я вашему слуху, про который вы вот упомянули, я ему вполне доверяю, потому и согласен... Нас же с вами разделяют целые тридцать лет. Вам шестьдесят — мне тридцать. У вас опыта и знания больше, я же только начинаю... И вполне понятно и естественно, что тут много лишнего... А если я сам возьмусь сокращать — мне жалко будет каждую страничку, мне все будет жалко. Ничто не покажется лишним, и я мало что сокращу. Уж вы лучше возьмитесь за меня сами.

— Что ж, хорошо,— с удовлетворением согласился он.— Это будет в интересах книги и в ваших собственных — авторских, а то местами жидко, неважный дан материал, а пространно... Я прочитал около одной трети, там хотя бы разговор — спор Андреева с Клычковым... ну к чему это, кому это нужно и интересно? Если бы еще характеры этим самым обрисовывались ярче, ну туда-сюда, а то и этого нет. Так себе, напрасный и пустопорожний весь разговор. Зато вот с мужичком разговор — хорошо. Просто великолепен... Я его оставил весь от слова до слова. Тут отлично... Вы, надо сказать, вообще диалогом владеете хорошо, легко и удачно... Так, значит, в понедельник прочту, тогда и скажу. Заходите.

Я простился, ушел. Это послезавтра. Все время в тревоге: «да» или «нет».

16 февраля

«Чапаев» принят!

Недели уж две прошло с тех пор, как был сдан «Чапаев». Не ходил. Не звонил. Не говорил ничего никому. Считал даже и «Чапаева» своего похороненным. Думал, отнеслись к нему как к опыту ученическому, пробежали «из пятого в десятое» (уж конечно не прочитали внимательно: когда им?!)

Пробежали, улыбнулись не раз, пошутили-пошушукались, поглумились маленько и решили, чтобы не разобидеть самовлюбленного автора, не бросать ру-

копись в корзинку, а возвратить ему, несчастному, «в собственные руки».

Так думал. Все эти две недели так мрачно думал. Потому что: как же иначе? Что же можно предположить другое? Когда сдавал рукопись — обещали в «три дня» определить годна ли, обещали «как ударную» выпустить к годовщине Красной Армии (23.II). И я окрылился, верил и ждал. Даже поторопился первую половину рукописи сдать тогда, когда вторая была на окончательной отработке. Думал: «Если уж эта часть будет хороша — возьмут и всю. Отправить в печать можно и половину, вторую половину донесем потом».

Гнал экстренно переписчицу-машинистку (остатки заканчивала), сам ночи напролет торопился — работал, проверял, выправлял, отчеканивал. Прихожу в Истпарт к Штейман дней через пяток после сдачи первой части материала, спрашиваю: как?

— Что как? — смотрит совой через пенсне.

— Рукопись-то...

— Какая?

Сердце опустилось. Начали вспоминать, разбираться. Вышло: лежит она себе спокойно в столе, ждет какого-то своего особенного часа: предназначалась Невскому [1] — того все нет. Лепешинский захворал: так и полеживает себе, несчастная... Вот так ударная!

Скоро увидался с Лепешинским.

Обида взяла. Заметил я, что относиться стали в Истпарте худо, как к «назойливому». Осердился, плюнул, перестал ходить, звонить, справляться: будь что будет! Повесил голову. Опечалился. Заниматься ничем не мог: гвоздем в сердце вошел «Чапаев» — а ну, как его перерабатывать придется, выправлять? Надо мысли, напряжение свое, энергию для него сохранить. И заново писать не брался: не мог. Подошла кстати нужда библиотеку разобрать — ею и занялся, ухлопав на это целых две недели. А «Чапаев» из головы не выходит. О том, чтобы надеяться на выход его к годовщине, и думать перестал, считал это уж и физически невозможным: вот 15 февраля, через неделю праздне-

ство, а типографии наши какие: хотя бы «ВНиР»[2] свой, он размером такой же, как и книжка, ожидается 13—15 листов. Сколько времени «выходил»? Да больше месяца: сдал 2 января, выпустил 12 февраля! Так что думать о выходе к годовщине — считал уже детским, несерьезным мечтанием. 15-го решил сходить в Истпарт: не могу же, в самом деле, я окончательно махнуть рукой, не безразлично же мне это?! Звоню Лепешинскому в Кремль: дома?

— Нет, в Истпарт ушел.

— Выздоровел, значит? Работает?

— Работает. Первый день как вышел.

Звоню к Штейман в Истпарт:

— Могу сегодня с тов[арищем] Леп[ешински]м поговорить?

— Можно, приходите...

Обычно она говорила:

— Справлюсь... Узнаю... А что вам? Он занят...

Поэтому поспешность эта сразу меня приятно озадачила и взволновала, но смутно, без серьезного обнадеживанья. Звонил в 12. Чуть доработал до 3-х, прихожу к той же Штейман, хочу спросить: могу ли с Леп[ешински]м поговорить, а она сразу:

— Карточку надо нам... Чапаева.

Почувствовал доброе в этом предзнаменованье.

Зачем же иначе чапаевская карточка, если рукопись не принята? Но тут же и сомнение молнией.— А если только для выставки истпартовской? Рядом Розен стоит, он кажется «выпускающим» тут состоит, в Истпарте.

— К Леп[ешинско]му можно?

— Можно, идите.

И это удивительно: без предварительной справки. Вхожу, вижу знакомую, огромную седую голову — склонилась над столом. Тихо ему:

— Здравствуйте, т[оварищ] Лепешинский!

Поднял голову от стола, с добрым взглядом.

— А... а... а... здравствуйте, здравствуйте...

Протянул руку, потом на стул показывает. Сел я. Молчу. Жду, что скажет. А сам чуть сдерживаю ра-

достное волненье, вижу кругом, что исход благоприятный.

— Рукопись ваша отдана в набор...

Я чуть не ахнул от восторга. Но уж порешил быть сдержанным, не объявлять своего дикого мальчишеского восторга. Кусаю губы, подпрыгиваю на стуле, руками шебуршу по портфелю, кажется, полез доставать в нем что-то, а совсем и не надо ничего.

— Рукопись пошла... Набирается... Я там кой-что того — понимаете?

— Да, да... конечно.

Я знал, что он говорит про сокращения, выброски, которые сделал. Но это меня уже мало интересует: что именно выброшено, много ли, почему — да боже мой! Не все ли равно! Только бы книга шла; *вся* шла бы, а выкидок, ясное дело, меньше того, что осталось! Охваченный удивительным своим состоянием, пронизанный радостью, спрашиваю:

— Что там?

И голосу своему стараюсь придать некоторую небрежность, хочу быть спокойным. Верно, не удается мне это: глаза выдают, полагаю, что горели они тогда, как угли!

— Да вот разговор Андреева с Федором выпустил: длинно, вяло и не нужно совсем. «Револьвер» тоже выпустил. На что он? Это же совсем частный эпизод. Нового — что он дает нового. А к Чапаеву — какое у него отношение к личности Чапаева? Да никакого! Выпустил. Ну еще там из мелочи кой-што... Это немного... Как смотрите?

— Да так-так,— отрубил я, не собравшись с мыслями, совершенно механически.— Так-так, конечно... Я потому и говорил: «carte blanche». Непременно так... Если бы я сам взялся исправлять: да что я выброшу? Самому-то мне все кажется одинаково удачным... Пристрастен...

— Знаете,— перебил он,— тире у вас, тире этих — бездна. Просто неисчислимо!

— Ах, это беда моя... С детства, с ученической скамьи,— подхватил я с каким-то восторгом, будто дело касалось чего-то очень, очень большого и важ-

ного.— Я никак избавиться от этого не могу... Беда моя...

— А остальное — грамотно... Очень грамотно... Вот читал я — и в некоторых местах очень, очень растрогался... Особенно сцена эта, последняя, когда погибает Чапаев: она превосходна... Превосходна. Или театр этот... Как там рядами-то сидели... Ваша эта хороша — как ее: Зинаида... Петровна?

— Зоя Павловна,— подсказал я.

— Да, хороша она... Культработница... Да... Вообще — вторая половина — она лучше первой, сильнее, содержательнее, крепче написана. Даже не половина, а две трети... Первая часть слабее. В общем: отлично. Гоним, хотим успеть, чтобы к годовщине Кр[асной] Армии успеть... Отлично... Она, книга эта — большой поимеет интерес. Большое получит распространение. Хорошо будет читаться... Да! Хорошая будет книга... Повторяетесь кое-где, это верно, но я выправил. Очень внимательно выправлял. Неопытность видна. Но хорошо... хорошо...

Можно представить, что было со мной! Говорили о разном больше часа. Между прочим, об обложке. Он тут же набросал эскиз и так, что мне сразу понравилось: просто и стильно. Я согласился. Позвали Розена, заказали ему и обложку сделать и бумагу, цвет выбрали. Потом опять сидели-толковали... Я ему даже коротко про верненский мятеж рассказал... Хорошо побеседовали. Я видел, что книга произвела на него большое впечатление, и отношение его ко мне сразу улучшилось.

Как угорелый примчался я домой, бросил на пол портфель и давай отделывать вприсядку! Ная с минуту недоумевала, не могла понять, что случилось, а потом поймала меня, схватила голову, стала целовать, приговаривать:

— Знаю... знаю... знаю... Приняли? «Чапаева» приняли? Да?

— Да... да...— задыхался я, вырывался снова из ее объятий, снова и снова кидался плясать.

Через минуту достал чапаевскую карточку и помчался — усталый и потный — в Истпарт. Отдал

Штейман, она улыбнулась, дескать: «Ишь как прытко забегал...»

Весь вечер, ночью занимаясь — только о «Чапаеве», только о нем и думаю. Сегодня отнесу еще «Посвящение», а потом спросить хочу Лепешинского, не даст ли он свое предисловие? Мнения он о книжке отличного: пусть даст! Кашу маслом не испортишь! А может, и не скажу ему ничего, еще сам того не знаю... Пойду...

20 февраля

«Чапаев»

Вчера были на авторской корректуре три листа (2, 3, 4-й). Тщательнейше страдал над ними — часа по два над каждым. А то и больше. Так никогда не страдаю, когда «ВМиР» [1] хотя бы на свет произвожу, а там ведь я — выпускающий. Тут по-иному чувствую себя: свое... родное... «Чапаев» тут...

Своя рубаха к телу ближе. Свое дитя — дороже. Вот они непроизвольные доказательства наших инстинктов! Многое от старого, так многое, что — буквально на каждом шагу!

3 марта

«Чапаев» и счастье

В течение недель двух, когда уже все определилось, когда книга принята, набирается, печатается, когда уверен, что она пойдет, безусловно пойдет, ничто ее не задержит, оплачена на 80%,— вся нервность пропала, острота переживаний миновала. Иду по бульвару и размышляю:

«Жизнь... Что такое жизнь? Это сумма всяческих моментов, отличных, счастливых и гнусных, отвратительно мрачных. Жизнь — неустанные поиски счастья. Каждый ищет его, каждый ищет по-своему и в разном видит его, узнаёт, чувствует. Но спроси человека: где твое счастье? Он ответа тебе не даст. Когда ты это счастье знал? Конкретно, определенно на-

зови мне момент и факты, которые считаешь выявлением счастья? На это тебе человек никогда ничего не ответит, ибо он *знать* своего счастья не умеет (пока што), а только умеет ждать его, искать, надеяться на него... Мало. Но большего не умеет. Так вот, идучи бульваром, думал: где счастье? К примеру, скажем, написал вот книгу, «Чапаева» написал. Всю жизнь мою только и мечтал о том, чтобы стать *настоящим* писателем, одну за другой выпускать свои книги. Это — мечта всей жизни. Так неужели нельзя *счастьем* назвать то время, когда выходит *первая* большая книга? Ведь, кажется, надо бы в бешенство от счастья и удовлетворенья приходить! Надо бы сказать себе определенно: вот оно, счастье! Я его ждал, искал, добивался — и вот оно со мною, у меня, я им обладаю: чего ж еще?» Так размышлял, идучи Пречистенским бульваром. Было время, плыли часы предвечерних сумерек. Тихо, широкими мягкими хлопьями падал, порхая меж дерев, предвесенний прощальный снег... Скоро весна. Скоро тепло, ручьи, птицы, переполненное сердце. Но теперь кругом — все еще белые, теплые пуховики оробевшего снега. Он затаился, как заяц от опасности, он знает, что скоро его не будет, и мохнатую рыхлую голову вобрал в оголенные плечи, задышал слабосильными, неядреными ветрами, стал беспомощен и тих, пародией на бураны только яснее обнаружил, как слаб, беспомощен, обречен на близкую погибель...

И когда думалось про *это* — блаженство разливалось по увлажненному тихими мыслями организму. Становилось мудро-хорошо и в сознании, и в чувствах. Это — счастье. Ощутимое. Теперь же, ни раньше, ни позже.

То, что естественно, дает счастье. А «Чапаев» — он давал настоящее счастье, или теперь или (знаю это!) тогда, когда — выйдет? Нет и нет! Осталась одна обложка, ее приготовят, через неделю книга будет в руках. С удовлетворением, с надеждами возьму ее, буду верить и ждать, что станут о ней *говорить,* говорить обо мне; что *«Чапаевым»* открывается моя литературная карьера; что буду вхож и принят более ра-

душно, чем прежде, на литсобраниях, в газетах, журналах.

Это — неизбежно совершится. Но счастье — как бы опоздало. То есть нет и не будет той всецелой поглощенности мыслей, чувств, всего организма, не будет всецелой поглощенности, длительной, глубокой и самодовлеющей, которая [дала] бы право сказать:

— Это счастье... сейчас... теперь... эти мгновенья...

Как будто — опоздало мое счастье. Думается, если бы «Чапаев» *дался* мне лет пяток назад — тогда он был бы вовремя, а теперь — теперь уж наполовину пропала, ослабела охота и к славе, к известности, почестям: зачем? Спрашиваю себя «зачем» — и ответа не вижу, не знаю, знаю, что нет его. Поэтому ради славы — не хочу себя растрачивать. Я вышел уж из того периода, когда блестки ее, мишура — влекли неотразимо, поглощали, подбивали на карьерную деятельность (часто фальшиво-ненужную), когда вместо работы была суета, когда единственной целью было самоутверждение. Не скажу, чтобы и теперь чуждо было стремленье дать знать о себе, зарекомендовать, покрасоваться, взять почет,— но это делается как-то по-другому, без фальшивой суетни, сосредоточенной, серьезной, широкой работой. Нет больше погони за грошовым, мимолетным успехом. Он стал мал. Он не удовлетворяет. Он смешон. Его стыжусь. А против *большой* славы — ничего не имею, хочу.

Вот почему, между прочим, не разменивался на статьи, а написал *большую книгу*. Сразу большую книгу. И в дальнейшем план — создать их целую серию. Но именно *больших* книг, которые сразу обращали бы внимание, заставляли бы серьезно считаться, жили бы долго, не были бы подобны статьям-однодневкам... Знаю, что в статьях — живая жизнь момента, что по ним, по статьям, живут, ими руководятся, их качество общественно-полезное — несомненно и именно для практической, повседневной жизни. Полезны и книги. Но не так, не злободневно, не такому огромному количеству читателей и не по вопросам злободневной борьбы (это куда как редко!).

Большая книга — выраженная вовне самоудовлетворенность. Поэтому писание *только* больших книг — признак отрыва от живой жизни. Знаю. И все-таки пишу. Когда напишу 3—4, тогда приостановлюсь, *лишь тогда,* когда себя зарекомендую, когда будет фундамент... На «Чапаева» смотрю как на первый кирпич для фундамента. Из камней он — первый. А песчинки были — это тоже необходимо, утрамбовать надо было ими, чтобы кирпич положить, «Чапаева». Из песчинок — и «Красный десант». Роль этих маленьких, предварительных работ (очерки, заметки, воспоминания) была подготовительная: заявить кому надо, что я умею писать, пусть это знают и пусть не откажутся взять «Чапаева», настоящую работу, когда она будет готова.

И вот пришло время, когда можно спокойно класть кирпич за кирпичом,— к чему же мне эта мелочная, розничная камарилья с разною рыбешкой? Не нужна. И я ее — в сторону. Когда кто-нибудь просит... (а уже и просят!) дать очерк, заметку, статью — отказываюсь: некогда!

И в самом деле — готовлюсь ко второй работе, это, верно, будут «Таманцы», про которых говорил с Ковтюхом [1]. Засяду. Буду поглощен...

...Я себя мыслю наиболее целесообразно использованным именно в литературной работе. Это дает и личное счастье, удовлетворенность... Меня вот крепко влечет еще отправиться куда-нибудь в научную экскурсию, в Африку там, что ли, в Америку — поучиться, посмотреть, я же так мало видел и знаю!.. Я жизнь свою приносил добровольно на алтарь борьбы! Был и на фронте! Рисковал. Награжден даже орденом! Я был суров в отношении себя. Я презирал или в лучшем случае свысока относился к тем, которые не понимали нашей дисциплины!..

Теперь эпоха борьбы, не отдыха. Вот лет через 80, когда везде будет советский строй, нечего и некого будет опасаться, не будет больше Пуанкаре, Ллойд Джорджей, Борисов Савинковых, Махно и Пилсудских, Мартовых, Данов, Черновых [2] и прочих,— да, тогда и каждый индивидуально может быть, пожалуй,

свободен, тогда и романы большие пиши, тогда и в экспедицию поезжай (не как ученый — такие и теперь едут — а как дилетант и эстет!) И делай что тебе вздумается, только не злодействуй.

Теперь — борьба. Борьба за это новое, свободное сообщество. Хочешь ты его или нет? Если хочешь, то не ограничивайся в хотении своем одними безответственными и ни к чему не обязывающими словами, а дело делай. Если же не хочешь, то есть активно, по-настоящему, серьезно и на деле — тогда примирись с мыслью, что ты недалеко ушел от Бориса Савинкова, организующего заговоры против Советской России. Говори прямо: хочешь или нет оставаться *a là* Савинков? Если да — что ж с тобой поделать: открыто выступишь — бит будешь; в скорлупу свою скроешься, замкнешься — презираем будешь!

Вот единственные два выхода при первом разрешении вопроса. А при втором, когда скажешь, что ты за *освобождение труда,* когда серьезно это скажешь и так же серьезно, на деле, изо дня в день согласишься доказывать эту свою готовность — о, тогда ты должен будешь примириться и с тем, что становишься жертвой. Ты неизбежно должен будешь сделаться жертвой, ибо для организации победы нужна дисциплина, а дисциплина ведь начинается лишь там, где ты отказываешься от своего личного хотенья, где ты его душишь в себе, приносишь в жертву общественной необходимости — вот что значит дисциплина. И это не только в партийной дисциплине — и в военной так, даже и в научной, когда приходится себя дисциплинировать и годами лазить где-нибудь по пескам Гоби, пока не откроешь таинственный город Хара-Хото[3]. А то какая же это дисциплина, когда все точным-точнехонько совпадает с твоими *личными* интересами и охотой: это просто счастливое совпадение, где не надо делать над собою никаких самомалейших усилий, а попросту выполнять то, что выполнял бы и без дисциплины. Поэтому — раз ты активно и серьезно решил бороться за освобождаемый труд — помирись на жертве. И когда тебе скажут: оставь романы, мы и без них

пока обойдемся, а вот без собрания делегаток или там без очередного заседания фабзавкомов — не обойдемся, дыра без них получится, широкая, незалатанная, опасная, чреватая бедами. Хочешь роман писать или хочешь эту дыру общественную залатывать? Причем, прими к сведению, что таких, как ты — интеллигентных, образованных и знающих — у нас мало, а потому таскать тебя всюду будем очень часто: понял, согласен? Тут вот и выбирай...

Если увидишь, что очень уж тебя нецелесообразно используют, что всю твою работу с успехом сумеют выполнить и другие, что она не требует никаких специальных познаний, а *твои индивидуальные данные* в интересах общественных (и даже личных, если совпадает!) можно рациональнее использовать вот там-то и там-то, ну, в журнале, положим, в газете... или где-нибудь в этом роде... А может и так случиться, что безо всяких протестов дадут тебе разом такую работу, которая будет общественно необходима и в то же время даст тебе полное личное удовлетворение: или досуг оставит для писания романов, или опыт даст богатый, материала дошлет, обновит, освежит, осветит его новым светом? Вообще-то говоря, это самое желанное явление (уже и теперь!), чтобы ставили каждого на такую работу, от которой он бы не пятился, которую понимал бы и любил... Это хорошо, и если так случится — будем рады!.. Если не случится — тогда что? Может, из партии уходить? Чтобы «кандалы» сбросить? Чтобы «крылья» расправить, а? Решай как хочешь, но только запомни, что ты будешь тогда собою означать!

Ты хочешь еще возразить, что живешь *настоящим,* а что будет после тебя — плевать, что будут говорить о тебе после смерти — плевать! Это тоже размышление неверное. Потому неверное, что уже *теперь,* на следующий же час по отходе своем от активной борьбы — ты почувствуешь на себе миллионы презирающих тебя пролетарских глаз! Если бы — буржуазных! О, тогда тебе воистину было бы весело. Но ведь очи эти — будут пролетарские. А ты от трудящихся отой-

ти никогда не согласишься, ты навсегда хочешь остаться среди них и с ними, а не с врагами. И подумай: твоя среда будет презирать тебя! Что останется делать? Не знаешь? Ох, получится тогда что-то безмерно гнусное...

...Сам вот как:

Продолжаю писать, пока позволяют обстоятельства. Оторвут, дадут работу иную, даже немилую — пойду, потому что уйти от рабочей борьбы — куда же?

18 марта

Позвонил в Истпарт: что слышно?

— У нас уже на руках, торопитесь.

Я сорвался, помчался. Вхожу с замираньем. Увидел, поражен не был, даже охладился, ибо обложка бледна показалась. Тут же скоро случился Лепешинский, улыбается доброй старческой улыбкой, жмет руку:

— Хорошо. Очень хорошо. Это одно из лучших наших изданий... Особенно в таком роде — в таком роде еще не бывало. Это ново. Читать нельзя иных мест без волнения. Очень, очень хорошо... Успех будет большой, распространится быстро... Хорошо. Очень хорошо.

Меня эти речи старейшего большевика-литератора взволновали и обрадовали.

— Пантелеймон Николаевич, я хотел бы вам книжку на память и надписать бы на ней.

— Очень, очень рад буду. Ну-ка, сейчас же давайте-ка, сразу.

И он искренне, радостно засуетился. Книга скоро была у меня в руках. Написал: «Уважаемому Пантелеймону Николаевичу Лепешинскому, чья рука подружески бережно, любовно прошлась по «Чапаеву» и устранила добрую половину его недостатков. Этой помощи никогда не забуду».

Он с влажными глазами, торопясь, когда уже прочитал и снова вышел ко мне:

— Это напрасно... Слишком... Очень уж вы...

А я ему так благодарен, так благодарен, ведь это он поспособствовал создать «Чапаева»; все первые мысли, первые разговоры были только с ним одним. Спасибо. Очень спасибо. Взял я книгу, бегом до дому. Торжествовали с Наей вместе. Рад я, конечно, высокоторжественно. Надежд много.

Теперь — теперь за «Мятеж». Лепешинский, который, видимо, намерен теперь держаться за меня как сотрудника (так показалось по его отношению), обещал выписать из Турктрибунала все «мятежные» материалы. Отлично. А я с своей стороны напишу в Турккомиссию — там Любимов [1]. Займусь этим делом солидно. На год, на полтора. А в промежутках думаю рассыпаться очерками: ведь так много и материала, и мыслей, и чувств. Взволнован. Хочу писать, писать, писать.

[*1923*]

«Чапаева» судят

Книжка вышла, но следует быть чрезвычайно осторожным, внимательным к тому, что за сим последует: не надо восторгаться похвалами, ибо они могут быть плодом и следствием дружеских отношений, какого-либо подобострастия (административного, партийно-политического и т. д.), опасения попасть впросак, нежелания прослыть «политпрофаном», «отставшим» от революционного прогресса, не «подбадривающим», а, наоборот,— своей холодностью убивающим побеги свежего, молодого революционного творчества и т. д. и т. д.

Следовательно, со стороны похвал задирать голову не годится, можно куриный помет по ошибке принять за куриные яйца.

С другой стороны, отзывы отрицательные, бранчливые — опять-таки не могут, не должны приводить в уныние...

29 марта

Мысли о смерти

Все чаще стали приходить мысли о смерти. Необходимо мысль развить, сосредоточившись главным образом на влиянии 30-летнего возраста. Психика перестраивается; круг вопросов и интересов переформировывается, как бы передвигается из одного угла в другой. До 30-ти лет и мысли никогда не было, не приходила она: а как, когда, почему умру? И странно ли это? Необходимо ли? и т. д. Другой круг вопросов поглощал. А теперь, вот уже 10—15 месяцев, 10—15 раз вставал и продолжает стоять этот унылый вопрос: «Мне 31 год... Неужели скоро и краска уйдет с лица, и силы оставят? Буду покряхтывать, охать? Вся радость жизни уйдет? Останется в поле зрения только связка интересов холодных, узко материальных, телесных в паскудном смысле слова?

О неужели, неужели? Как жаль! И сердце прищемливается. Тяжело. Значит, наступил в годах перелом. Иногда, когда спрашивают:

— А вам сколько лет?

Из гордости, со скорбью говорю правду, 31, но так и хочется, так и подмывает: 25!

Как было бы это хорошо! Как жаль, что этого уж не может, не может быть! Значит — в другую сторону все пошло. Надо выравнивать мысли и чувства по новому фронту: «По одежке протягивай ножки!» Новые годы — новые интересы.

31 марта

Что слышно о «Чапаеве»

1. *Антоныч* [1] сказал: Хорошо написано, очень живо, легко, увлекательно и верно для той эпохи — эти качества неотъемлемы. Но только надо бы как-то шире размахнуться, надо было полнее и глубже захва-

тить *все* события того времени, а на их фоне и Чапаева разрисовывать.

2. *Олег Леонидович*[2]. Прочел я со внимательностью чрезвычайной, на каждой странице отметки у меня, отметки, отметки. И, надо сказать, удовольствие — большущее. Федору почета не особенно много воздано, тут скромно, только проводы его немножко... слащавы. О Чапаеве сначала говорится как о существе легендарном (пока вы там ехали, пока о нем только слышали и слушали), а потом, когда его выводите,— эта дымка легендарности пропадает, перед нами встает почти обыкновенная личность — и это отлично, это верно и художественно, так и должно быть, и показать все это очень, очень удалось! Великолепна последняя сцена — гибели Чапаева: она, пожалуй, лучшая.

(Олег Леон[идович], видимо, даст свою рецензию в ближайший № «Политработника» — в моем присутствии он с редактором об этом договорился. Интересно. С замиранием стану ждать!)

7 апреля

«Таманцы»

Сел за новую книгу. Видимо, назову ее «Таманцы» — это поход Таманской армии в 1918—1919 годах. Я хочу в этой книжке захватить только поход с полуострова до момента овладения Армавиром, а на Ставрополь и на Астрахань или оставить совсем, или оставить до будущих работ (продолжение?), а может быть, впрочем, и к этой работе как-нибудь пришью, смотря по тому, как пойдет работа, как это легко произойдет, насколько будет необходимо по самой работе...

Насколько овладею материалом — того еще не представляю. Особенно трудно будет мне справляться с бытом и станиц, и полчищ армии, и населения по пути следования, и всего-всего, что так жадно ищу теперь по словарям, путеводителям, «Живописным Россиям»[1], разным книжкам и статьям. Природу надо

понять. А для этого, кроме воспоминаний да картин, под руками нет ничего, точного знания нет. Писать будет неизмеримо трудней, чем «Чапаева»,— того отмахал все больше по своим запискам, а для «Таманцев» записок ведь нет никаких — тут или сдирай с того, что уже где-нибудь напечатано, или «твори», то есть измышляй, выдумывай.

Носится мысль — дать роман, настоящий роман на линии похода Таманской армии, где главными действующими лицами взять не Ковтюха, Матвеева, Батурина [2], а вымышленных лиц, из которых одни бы были типичны для командиров-таманцев, другие для таманцев-красноармейцев. Не знаю.

Пока ни на чем определенном не встал. И не знаю еще, не представляю себе — *отчего* будет зависеть выбор той или иной формы. С материалом больше чем наполовину ознакомился; Ковтюх даст лишь одни детали и ровно ничего нового по существу (то есть разговоры с ним), Полуян о самой Там[анской] армии — тоже Африк не откроет — он только о Кавказе вообще говорить станет. Значит — конец! А в то же время формы себе не представляю. Что натолкнет? Вероятно, как всегда, какая-нибудь на первый взгляд совершенно малозначительная причина: фактик внешний, собственная, «вдруг» налетевшая мысль, чье-нибудь слово, чья-нибудь мысль, которую он обронит, сам не зная, не предвидя ее для меня значения — прочту ли что-нибудь, увижу ли — обычно это всегда так случается. В голове стая мыслей, планов, предположений, они мнутся, перекручиваются беспорядочно и хаотично, ни одного из-под и из-за другого не видно отчетливо, а вот какая-нибудь так называемая «случайность», подобно острому-острому крючку, пронзает эту хаотическую груду, выхватывает оттуда одну составную частичку, живо-живо отряхивает с нее все приставшее, все наносное и случайное и в совершенно чистом виде эту частичку кладет перед твоими смятенными мыслями и чувствами. И она, очищенная, убеждает тебя неотразимо. Так вот берешься всегда за форму: «сама приходит». Ну, раз так — должна будет прийти и на этот раз. А я подожду.

16 апреля

Первый отзыв о «Чапаеве»

Я их долго ждал. Напряженно ждал. Нервно, с захватывающим интересом, то с радостью, то с робостью, я ждал их, этих отзывов. Сегодня читаю в «Известиях ВЦИК» (15 апреля 1923 г.) за подписью Г. В. отличный, великолепный отзыв [1]. Он радует. Он ободряет. Он гордо вздымает мою голову, подталкивает быстро, энергично, еще с большей любовью и внимательностью работать над новой книгой, над «Таманцами». Отзыв меня не обескуражит. Вреда от него никакого не будет. Отнесся я к нему очень здраво. Преувеличений не чувствую. А особенно дорого то обстоятельство, что даже и прикинуть не могу — кто написал, что за милый незнакомец. Видимо, в ближайших номерах разных журналов появятся еще отзывы, об этом слышал от близких литераторов. Особенно занятно встретить отзыв строго-критический...

24 апреля

Второй отзыв о «Чапаеве»

Дан этот второй в № 3—4 «Политработника» (март — апрель 1923 г.). Написан Олегом Леонидовым [1]. Восторженно. Пророчит и приветствует.

26 апреля

Ольминский[1] о «Чапаеве»

Седейший, глубокий старик, с умным добрым лицом, где отразился весь путь его жизни: трудной, многострадальной, серьезной, красивой и содержательной. Приподнялся с трудом (он второй день на рабо-

те, но все еще в жару, только-только с постели), неожиданно крепко, во весь захват ладони, пожал мою руку. Мне по виду его, глубоко старческому, казалось, что руки должны быть хилы и слабы, а тут такая крепкая, мужественная рука. Говорит с трудом, чуть можно разобрать слова, дергается губами, все нервы движутся без перерыва у носа, у губ, кругом рта. Я подсел вплотную, хотел и просил дважды, чтобы он уже не говорил, перестал — вижу, что тяжко ему,— нет, говорит, не унимается. Вот что сказал он мне про Чапаева:

— Бранил я вас, много бранил...

И указал на дефекты, высказал пожелание, чтобы при следующем издании я кое-что исправил, кой-что уничтожил, а в других местах наоборот — развил и прибавил.

1. Надо в открытую вести повествование от своего имени, первым лицом, без Клычкова.

2. Не разберешь — кто жив, кто умер, у кого свое имя, у кого псевдоним.

3. Расширить, распространить чисто военную сторону в описании боев, особенно крупных.

4. Сказать, что делали и как делали те дивизии, которые пошли за Уфу.

5. Кой-что претворить в сноски и замечания.

6. Ввести новые факты и картины.

7. Изъять места, которые отвлекают от развития основной темы, от основного изложения событий.

Прочитал, говорит, я вашего «Чапаева» от корки до корки. Превосходно. Пишите. Непременно пишите — по этой дороге, по писательской вам и надо идти, это ваш верный путь. Я читал и «Десант» ваш, и воспоминания об Иваново-Вознесенске[2]. Пишите, хорошо... Я старый и опытный литератор, поверьте мне, что в вас не ошибемся,— пишите.

Ободрил, обрадовал меня старик. После разговора с ним почувствовал себя бодрее, увереннее в силах своих, спокойнее за успех своих новых, подготавливаемых работ. Сижу над «Таманцами» — стану верить, что и эта книжка будет не ниже «Чапаева».

6 мая

Георг[ий] Фед[орович] Гирс просил книжку: мне, говорит, надо написать статью о психологии командира гражданской войны, и я хочу за образец взять Чапаева — фигура колоритная и типичная...

Книжку я ему не дал, свободной нет. Но польщен был тем, что профессор предполагает заняться Чапаевым.

Однако ж предполагаю книжку ему на время достать: пусть напишет.

Некоторые (Хлебников [1], Полуян) особенно отмечают мастерство в описании быта.

Есть мысль: при следующем издании раздвинуть «Чапаева» — дать и новые картинки, и новые, может быть, лица ввести, и, особенно, расширить, усерьезить изложение чисто военной стороны походов и сражений, а равно и очерк социальной жизни городов и деревень, ухватив экономику и политику. Выбрасывать едва ли што буду — откровенно скажу, жалко как-то, не люблю уничтожать. Это себе в достоинство не ставлю, но пока што дорожу каждою строчкой.

«Чапаев» уже весь разошелся, успех большой. Надо думать о близком повторном издании.

14 мая

Кузьма [1] как-то сказал: твоего «Красного десанта» хватило [бы] на огромный томище или на сотню рассказов — дурак ты, бросаешься материалом, не хранишь такую ценность!.. Материал надо всегда хранить, каждую чуточку себе замечать и оставлять, а ты роскошествуешь спозаранку... Смотри, останешься на старости с пустым сундуком. Посмотри-ка Чехов, например, на сущей ерунде рассказишки строил, на шише, из пальца сосал — возьмет только одну фамилию «Овсов» [2], и пошел...

С тех пор я осторожнее отношусь к своему материалу, я его берегу... И небольшой частный факт (рас-

стрел 60 человек) не беру как эпизодик в рассказе, а как самую фабулу этого рассказа, стержень, вокруг которого упражняю фантазию... Так и второй случай — выпороли на Кубани учительницу, и это мне теперь уже не эпизод, а целая тема для рассказа...

«Не проговаривайся»,— пугал еще меня Кузьма,— а то наши литературные крысы ухватят, урвут — и пропал твой материал...

Вот я пишу мелкие рассказы, а потом и их сведу во что-нибудь крупное, все пути использую!..

15 мая

Шестьдесят и цветы

Не всегда автор владеет материалом, а может быть, и никогда им не владеет, сам материал захватывает мощною стихией и увлекает автора, как щепку, в неизвестную даль.

Было предложение дать картину рубки шестидесяти красноармейцев (рассказ «Шестьдесят»), рубили — и только. А когда заскрипело перо на бумаге, сами собой всплывали новые, бог весть откуда взявшиеся картинки: тут и описание лазарета, и разговоры раненых, и этот санитар, и девушка-сестра, и комиссар, погибший такою ужасною смертью.

Или вот пример еще более разительный: сообщили, что в станице, на Кубани, выпороли учительницу.

Об этом и хотел я записать — только об этом: в центре учительница, она героиня очерка. И всего на десять — пятнадцать тысяч знаков. А что получилось? Учительница уже давным-давно отошла на задний план, она давно не героиня; больше того, она, может быть, в конце концов совершенно будет вычеркнута за ненадобностью — отпадет...

Очерк развернулся в настоящую обширную повесть на сто — сто пятьдесят тысяч знаков, два-три печатных листа [1]. И как это вышло — не знаю, не пойму сам: учительница должна была прийти в семью Кудрявцевых. Это требовалось ходом развития очер-

ка по первоначальному моему замыслу. А в семье Кудрявцевых есть Надя, дочка, девушка... И вдруг она превращается, эта Надя, в героиню повести, а около нее группируется молодежь: тут и гимназисты, тут и подпольный работник, а от этого подпольного работника... пришлось перейти к самой подпольной работе на Кубани. Пришлось целую главу посвятить тому, чтобы изобразить подпольщиков, их работу... И повесть развернулась совершенно неожиданно, захватив такие области, о которых первоначально и помыслов не было никаких.

На переломы в композиции толкали меня и какие-нибудь случайно встречавшиеся на улице факты, случайные разговоры, которые вдруг; неожиданно развертывали передо мною новые возможности, показывали, что в прежнем замысле чего-то не хватает, что его непременно следует изменить.

Так трансформировалось и вырастало произведение. Пишу сейчас (по-моему, написано), а точно ведь не знаю, когда, на чем и как закончу: куда поведет художественное чувство. Определенно знаю только основные факты: должна быть любовь у Нади с Виктором. Надя должна переродиться, осветиться, уйти с красными по осени в восемнадцатом году.

18 мая

Как построено «Шестьдесят»

В одной из вечерних «чаевых» бесед Ник[олай] Вас[ильевич] Матвеев[1] сообщил, что в Майкопе году в 18—19 (всего вероятнее, что осенью 18 года, когда Красная Армия отступала через Белореченскую) белые наскочили на какую-то станицу, а может быть и на самый Майкоп, и, захватив там лазарет, всех раненых перерубили. Это и послужило темой. Работал недолго — за ночь, часам к 7-ми утра, кончил. Потом только исправлял стилистически да вставил кой-что о Кумаре и дал вторую, более симпатичную фигуру офицера — не годится их представлять круглым зверьем, без одного порядочного человека, это было

бы и ошибочно и непростительно скверно в художественном отношении. Отнес в «Кр[асную] ниву». Оттуда Касаткин [2] сообщил, что справиться можно через 2 недели. Долговато. Но надо мириться — имя Дм[итрия] Андр[еевича] еще не так-то известно. «Еще»... А потом? А потом, может быть, оно будет несколько и подторапливать ленивых редакторов — тогда легче пойдет и вся работа. Загрызла нужда в деньгах — большие сроки неудобны и в этом отношении. Десять червонцев ждут своего назначения неприкосновенно на летний отдых — это особая статья.

25 мая

Дм. Петровский

Он написал большую поэму «Буденный». Пришел ко мне за книжкой, читал и поэму. Работал все время с футуристами, настолько «левым» был все время, что сами футуристы не принимали. Так прочитал. Некоторые места потрясающи. Но цельности нет, только места. Говорили мы часа полтора — и что же: он бросит эту поэму и напишет новую — так, как я ему говорил: цельно, реалистично, чтобы связь была через всю поэму, чтобы логика реально-художественная была соблюдена,— тогда он эту новую мне прочтет.

«Будь понятен миллионам, а не десяткам литераторов»,— вот что я ему вдолбил. И он согласился — с благодарностью, с восторгом. Значит... значит, убежденности крепкой нет, есть тут одна привычка, традиция, воздействие, слепое давление среды футуристов.

Он просил у меня книг по гражданской войне — я дал. Был он у Асеева, тоже просил — тот не дал, видимо, боясь, что у него предвосхитят. Я этого пока не боюсь, материалу у меня много, да и нельзя никогда взять у меня *мой* материал. Я хотел только одного: помочь ему *верно* охватить Буденного, буденновцев и характер его походов. Я предложил ему пользоваться *всею* моей большой и в отношении материала по гражд[анской] войне ценною библиотекой.

26 мая

Разговор продолжался.

— Маяковский халтурит,— сказал он,— халтурщик стал безнадежный, Асеева я считаю значительнее, у этого стихи дольше станут жить, чем у Маяковского.

— Верно,— говорю,— это верно, что Асеев глубже, красивей, реальней передает то, что передает, у Маяковского больше грому, чем содержания... Зато в отношении близости политической, пожалуй, он самый близкий, и не зря близкий. Он, надо быть, и в прошлом близок был...

— Ах, эта близость,— поморщился собеседник.— Я марксизм признаю только в деле...

— То есть?

— Да, то есть — в деле, на работе, а не в болтовне...

— А вы сам — коммунист? — спрашиваю, неотрывно глядя ему в глаза. Он уже давно сидит с опущенными долу очами, только изредка взглядывает на меня исподлобья, словно застенчивость, робость у него. Он и в комнату пришел широко, шумно и размашисто, ни слова не говоря схватил со стола папиросу, кой-что повыбросил, положил тут свой портфель — словом, футурист, вижу, нигилист. Да притом и одет по-скифски: сапожнишки коротюсенькие и это чуть не с лодыжек тянутся до поясницы штаны по длинным, тонким, корявым ногам. Росту он высоченного... На плечах желтой кожи безрукавка, надета на рубаху... На голове — лирически спутанные волосы. Лицо изморенного аскета: иссиня-желто-бледное со стеариновым оттенком, с сахарными просветами. Говорит что кричит. И эту манеру он сразу было объявил и тут. Но вдруг, под упорно-пристальным взглядом — не выдержал, опустил глаза... С той минуты он был побежден, даже стал спрашивать, выхватывая у меня папироску, да и вся речь стала как-то естественней, проще, похожей на человеческую, а то нес бог знает какую чепуху про «азбуку звуков и шумов, по которой весь мир, все развитие земли и человечества знать можно... Пусть сгорят все книги — мы по звукам и шумам все узнаем...»

Этакую чепуху он нес только первые 5 минут, пока рассказывал о близости своей к покойному Велемиру Хлебникову, о том, как вместе работали они над гаммою шумов и т. д. и т. д. Я, признаться, и не понял половину этих футофутостей, я тут не специален.

На вопрос мой о партийности Петровский ответил, ответил все то, что в таких случаях отвечают поэтические люди и хотевшие бы засвидетельствовать свою близость к партии и боящиеся ее:

— Я как творческая личность (он упорным взором уперся в пол) не могу принять партийной дисциплины, я все время выскакиваю за рамку...

У меня мелькнуло молниеносно:

«Не ты первый... Вот Кириллов [1] и К° — тоже повыскакали... И, может быть, это даже полезно, что такой отбор происходит. Отбор ведь естественный... Ну и пусть... Ваш брат, значит, должен был неизбежно или уйти или, оставаясь внутри партии,— вредить всей партийной работе».

Я хотел сказать что-то в этом роде, но, подумав — сказал иное:

— Коня объездить всегда полезно... Вся его сила и вся красота тогда использованы будут целесообразней... И дисциплина нас не губит (я чувствовал какую-то невязку и неверие своим словам), а, наоборот, воспитывает. (Ах, это были казенные, казенные мои слова!..)

— Боевую дисциплину я признаю,— сурово ответил он,— боевую — да, и тут я всегда наготове, даже всегда впереди... Я ведь партизан... Еще с 18 года... На Волыни... с Богунским, таращанцами... Чернигов брал... Я партизан...

Глянул я ему в лицо — рожа самая разбойничья, только партизаном и быть, то есть в смысле, значит, не настоящем...

В нем сказывалась общая футо-слабость: хвастаться часто, и чаще весьма наивно, знакомством, чуть не интимной близостью с более или менее видными людьми.

Расстались мы по-товарищески, хорошо. Он за что-то благодарил меня...

28 мая

Литературные успехи

1. Неделю назад приглашали принять на себя редактирование журнала «Кр[асный] перец» — отказался: я не сатируха и не юморуха. Условились на том, что стану туда писать.

2. «Рабочая Москва» просила давать фельетоны для подвалов.

3. «Военный вестник» обязал давать небольшие рассказы — два-три раза в месяц.

4. По заказу «Огонька» дал очерк «Чапаев», часть материала изъял из книги! Заказали «Ковтюха» и что смогу еще...

6 июня

Литературные неудачи

Не все с успехом — сегодня вот и неудача. Месяц или полтора назад отнес я в «Красную ниву» рассказ «Шестьдесят». Водили. Долго водили: «Через недельку придите... Через десять дней загляните...»

И ходил и спрашивал — надоело. Даже злую штучку дал одну в «Красный перец», смеюсь над «Нивой».

Порой звоню. Касаткин отвечает:

— Не пойдет.

— В чем дело? — любопытствую.

— Знаете ли, физиологии очень много: про мокриц там есть: «брюхатые, скользкие гадины...» и в этом роде... Так не годится.

— Представьте,— отвечаю,— а я именно это место считал особенно удачным.

— Да так нельзя, мягче надо, чтобы красота какая-нибудь...

— Что вы, что вы говорите,— ужаснулся я,— да разве тут может быть красота: в гнилом сарае валяются на соломе гниющие, раненые красноармейцы... Потом им под удар рубят головы...

— Ну, все-таки, знаете ли... Потом длинно немного,— как бы оправдывается он.

— Это другое дело.

— Затем — работали мало над вещью...

(«Вот уж тут, кум, ты прав,— думаю я про себя,— за ночь написал, а к вечеру другого дня переписали всею семейкой: обработки никакой. Голодно, тороплюсь деньги скорее добыть — тут ты, кум, прав!..»)

— Да, обрабатывал мало,— соглашаюсь.

Съездил и взял. На сердце нехорошо.

Зато в «Огонек» пошел «Чапаев».

15 июня

О «Чапаеве» (проф. Гирс)

Очень хвалил за мастерское изложение, за искренность, правдивость, верную передачу психологических состояний.

«Но книгу с таким же успехом было можно назвать и «Клычков», как «Чапаев». Элемент субъективный преобладает над объективным. И Чапаев как герой — не ярок, ему отведено очень мало эпизодов, рисующих его именно как «героя»,— наоборот, во многих местах он окончательно развенчан и предстает обыкновенным сереньким человечком. А в то же время автор неизменно повторяет: «герой... герой».

Об этом, о героизме — *сказано,* но самый героизм — *не показан.* У Немировича-Данченко есть «Скобелев» [1] — вот там героизм этот дан высокохудожественно, он так и прет само собою, ибо сама натура сквозь героическая.

В «Войне и мире» — посмотрите, какое *объективног* изложение, положим Ваграмского или Бородинского боя, а тут у вас все крайне субъективно...»

26 июня

...Отдал ПУРу «Чапаева» сокращенного. Пролеткино хочет «Чапаева» на экран, просили дать сценарий. В Госиздате Мещеряков [1] просил написать несколько книжек из гражданской войны. «Вы, говорит,

совершенно новый тип литературы создаете. У нас этого еще никогда не было. Пишите — у вас большое дарование». Это же говорил и Иорданский[2], там же. Я обещал.

А Мещеряков даже: «Вы, говорит, с нами работайте, с большим издательством вам и большой смысл связаться — и шире, и дороже, и имя себе создадите». Вот как! Превосходно. Говорил еще, чтобы я «Чапаева» в роман переделал...

* * *

Встречи

1. Гиляровский — встретились в «Ниве», у редакционного стола. Он принес материал, что-то говорил Казину:

«...А революция — это не вулкан?»

Я вмешался:

«Революция — это лава, а вулкан — рабочий класс...»

Старик посмотрел на мой орден, схватил руку, пожал:

«У меня тоже есть... Георгий... за храбрость... за личную...»

Попросил автограф. Я дал.

10 сентября

«Мятеж» — как начал работу

Я уж совсем надумал приступать писать большую работу — «Таманцы». И материал собрал достаточный, и поговорил с кем следует — записал все необходимое; заметки разные, наброски сделал; книжки сгруппировал, статьи; картины, картинки достал, альбомы... Словом — раз или два еще пересмотреть бы материал и можно было подумать. А подумать 10 дней — так вот походить, посидеть, полежать и подумать. И идучи на работу, и идучи с работы, и на сон, и ото сна — целые десяток дней. Основное придумал бы, а остальное само собою будет в работе.

И голова уже кое-что сырьем приняла, начала перерабатывать. Помогало ей и сердце — в нем тоже койчто зарисовывалось. И вдруг... Прихожу как то в Истпарт:

— Материал прибыл из Туркестана...

Смотрю, и в самом деле крепко-накрепко завернуты в синюю бумагу десять объемистых томов: это «дело о Верненском мятеже в июне 1920 года...» Целый тюк — фунтов на 20 весом. Ничего себе! Содрогнулся: тяжело! А тут еще торопят:

— Задерживать не приказано, говорили, чтобы выслать как можно скорей, потому что дело в производстве...

Вот так раз. А потом новый удар:

— Работайте здесь... На дом брать нельзя — Истпарт на дом ничего не дает...

— Так вы же, говорю, до 4—5-ти работаете?

— Ну и что же?

— А то же, что я в 5 только стану с работы в учреждении освобождаться...

— Ну и что же?

— Так вы ведь после 5-ти весь Истпарт сургучными печатями запечатываете?

— Да... Ну и что же?

— Работать-то когда я стану, спрашиваю вас: до 5-ти я занят ежедневно, а с 5-ти у вас запечатано — и на дом взять нельзя.

— А это уж как хотите...

— Уверяю же вас, что материал выписывался *специально* для меня: Лепешинский 2—3 раза запрос в Туркестан посылал.

— Посылал, ну и что же?

— И вот, говорю, материал пришел. Я вам могу дать подписку и расписку, что возвращу целехоньким. Кроме того — опись составим подробную на каждый документ и во всем я вам распишусь...

— Нет, нельзя.

— Отсылайте тогда обратно,— говорю в злости.— Не стану я работать... Да и не могу — не даете.

Этак говорил с Р. и Ш.[1]. И ушел, в сердцах отхватив дверьми. А потом раздумал, взвесил, переменил.

У меня, до приезда из Ессентуков Мещерякамбы [2], то есть до поступления моего на работу, осталось 15 дней [3]. Эти дни могу работать и по утрам. Надо ловить, не потерять ни часа. И кроме того, кто помешает из 10-ти томов один брать на дом? Кончу первый — возьму третий (второй читаю там), кончу третий — возьму пятый: и стану день заниматься в Истпарте, а вечером — ночью дома.

Так и работаю все время: великолепно! Законы воистину на то и созданы, чтобы их обходили. Разбираюсь с уймой документов. Делаю пометки в тетради. Кончу через 5—7 дней первую читку. Потом вторая — только отмеченного, наиважнейшего материала, что отметил за первую читку. А мимо чего прошел молча — того уж не коснусь.

Как писать? Этот вопрос стал передо мною как и тогда, когда зарождался «Чапаев». Не знаю. Право, не знаю. Повестью? Но там будет немало подлинников-документов. А ежели сухим языком ученого исследования — и не гожусь я для таких работ, да и неловко малость давать «историческое исследование» того события, в котором играл весьма видную роль. Очень опасаюсь, как бы не вышло бахвальства. А, с другой стороны, не хочу и совсем замалчивать наши заслуги и затемнять правду наших дел. Полагаю, что чуть-чуть поможет здесь предисловие — в нем будет оговорка: «не хвалюсь, мол, а правду говорю — попробуйте доказать, что все это, рассказываемое мною, было не так...»

А поведу рассказ от первого лица, от себя... Занят только «Мятежом». Второпях окончил кое-как «Молодежь» [4] — не знаю даже, так ли назову.

Только «Мятеж», он один.

14 сентября

Иду в «Октябрь» [1]

Давно ощущал потребность прикоснуться к организованной литературной братии. Вернее работа. И строже. Критически станешь подходить к себе —

скорей выдрессируют как надо и как не надо писать. И — круг близко знакомых литераторов. А то, по существу, нет никого.

Приходишь, бывало, в иную редакцию — чужак чужаком:

След[овательно], и в отношении быстроты помещения материала — удобно. А удобство этого рода — большое дело... Итак — в «Октябрь». Почему сюда? Платформа ближе, чем где-либо. Воспрещается сотрудничество в «Кр[асной] нови», «Ниве», «Огоньке»... Это крепко суживает поле литературной деятельности. Но с этим надо помириться. Думаю — правда, не разбираясь в вопросе серьезно,— думаю, что следовало бы не убегать от этих журналов, не предоставлять их чужой литербратии, а, наоборот, завоевать, в чем они еще не завоеваны,— и сделать своими.

Убежать от чего-либо — дело самое наилегчайшее. Для победы нужно не бегство, а завоевание. Полагаю, что этот вопрос в дальнейшем каким-то образом должен будет подняться во весь рост.

Иду в «Октябрь» с радостью и надеждами. И с опасением: не оказаться бы там малым из малых, одним из самых жалких пасынков литературного кружка. Эх, работать бы побольше над своими повестями и книжками — ей-ей, раз в 18 они были бы лучше. Некогда. И еще денег нет. Нужда грызет. А на хозяйственную работу идти неохота — с литературного пути не уйду, пока не сгонят обстоятельства...

21 сентября

Как делается «Мятеж»

1. Все присланные 10 томов «дела» были просмотрены один за другим и из каждого выписывалось (отмечалось в книжку, нумеруя том и страницу) самое важное.

2. Вторично читал, уже имея в виду не просто ознакомление с материалом, а определенную систему подготовки самого материала к обработке. И пото-

му — положил перед собою 10 пустых листов с заголовками: 11-е июня, 12-е и т. д., до 20-го включительно. Каждая страница данного тома повествовала о деяниях которого-либо из этих дней — я эту страницу (и этот том) и заносил на соответствующий лист. Теперь закончил и эту работу. Получилось, что весь материал разбит по дням — хронологически. Писать буду день за днем — основное, в смысле подготовки пожалуй что и сделал.

3. Материал есть и дома, свой. Каждый из этих документов — в папку, за очередным № и, кроме того, за этим же № выписываю на отдельный лист, вкратце указывая, что это за бумага.

4. Теперь все выписки просмотрю, взвешу, обдумаю, скомпоную мысленно в одно целое; прикину примерную последовательность изложения и — айда! Писать!

Опять, как перед «Чапаевым», занимает дух. Опять растерялся, не знаю, в каком лице, в какой форме повествовать, как быть с историческими документами и проч.

В процессе работы многое прояснится. Совладаю бесспорно, и не думаю, и мысли нет, что не удастся!

24 сентября

Работаю в Госиздате

Когда я пришел, Мещерякамба у себя в кабинете сидел с нач[альником] политотд[ела]. Встретили дружно: а мы как раз про вас говорили!

Прекрасно, думаю, эта встреча предвещает добрый исход всему делу.

— Мы вас хотим в политотдел, а?

— Что ж, очень хорошо...

— Сначала этак недельку попытать: вы нас, а мы вас... Там видно будет — там уж и постоянную, настоящую работу, хотите?

— Отчего ж нет,— говорю,— охотно берусь.

На том и решили — сошлись.

Прочитал «Положение» о ПО, прочитал его «От-

чет» за 2 м-ца (он, бедняжка, ПО, крайне молод — ему всего 2 месяца!). Уловил. Секретарь, Волков, едет в отпуск и меня на свое место. Только не ведаю — навсегда или в самом деле только на время отпуска? Так близко встав к делу — окунусь в него с любовью. Можно широчайше ориентироваться в литературе. Отличная работа. Не заглотала бы только она у меня «Мятежа» и «Таманцев».

* * *

...А я еще все никак не раскачаюсь. Только и думаю, как бы взяться писать «Мятеж». Кончу «Мятеж» — стану думать: «Ах, теперь скорей бы, скорей начать писать моих «Таманцев!»

И так без конца — от одного к другому. От «широкой» работы я, видимо, отошел навсегда.

Теперь для меня рукописи дороже летучих митингов. Пожалуй, воспитывать, учить — и стану, а летать по митингам — ой, не троньте!

* * *

Я вывесил на двери:

Друзьям:

1. По воскресеньям ко мне прошу не ходить, я очень занят:

Не мешайте работать.

2. Приходите не чаще 2-х раз в месяц:
   1. Между первым и пятым числом,
   2. » 15-м и 20-м
   3. Только от 5-ти до 7-ми.

Примечание: в экстренных случаях особая статья, тут можно в любой час.

[1923]

ГИЗ

Первые дни чувствовал себя неуверенно. Как водится. На новой работе первые дни вообще больше удручают, нежели обучают. Но быстро вошел в дело. Очень быстро. Не ждал, что так.

Михаил Абрамович Волков, видимо, человек удивительной чистоты. В нем — непорочность, граничащая с наивностью; бросается в глаза бессребрие, абсолютное отсутствие высокомерия и заносчивости, но в то же время — как бы недостаточная внимательность в отношениях с людьми: он, словом, volens-nolens, выше, ценнее других. Это выходит необидно — окупается чистотой, бескорыстием, искренностью.

Работа: с рукописями, рецензентами, рецензиями, отзывами, книгами, возня с отделами, иной раз — с авторами (последнего не разрешаем, дело ведем только через отдел).

Поступает рукопись. Перелистаешь. Общее схватил. Уж сразу видишь, которому из рецензентов ее отослать. В каждом рецензенте есть такие, чуть уловимые особенности, что именно благодаря им — одну книжку давать на просмотр *этому* можно, другую *этому же* нельзя...

15 октября

У проф. Авербаха

Годовой перерыв. Сегодня был снова. Устают. Режет. Колет. Щекочет. Прямо перед собою смотреть не могу. Если в театре: две минуты смотрю на артистов, две — под ноги себе, в пол: очи отдыхают. Нерв под глазом дергается. Закрою веки: желтые, оранжевые поплывут облака. А то еще — точка черная — плавает и плавает в пустоте.

А целый день над книгой: с утра в Госиздате. Домой приду — здесь читаю, готовлюсь писать «Мятеж», строчу, отмечаю: словом, часов 15—18 в сутки за книгой. Очи устают. Робею: а ну ослепну? Что тогда? Если и не ослепну — ослабнут еще горше,— и тогда что?

Тяжко, ой, тяжко. Потому и — к Авербаху.

...Я ушел от него радостный и веселый: глаза сразу перестало резать и колоть: смотрят весело, видят ясно.

14 ноября

Именины

На этот раз, вопреки моим привычкам, об именинах своих пишу спустя целых 8 дней. Не вышло как-то записать вовремя. А день этот всегда люблю отметить: колокол жизни ударяет внятно очередной годовой удар. И напоминает, ох, напоминает, что жить — годом меньше. Этих мыслей прежде не было — так примерно годов до 30-ти. А теперь они до боли, до тоски, до скуки смертной ощутительны.

— Годом меньше,— грустно повторяю себе в этот день. И станет нехорошо.

А потом — практическое решение — значит, надо торопиться работать: писать! Моя работа — это ведь только писать. И я тороплюсь, высчитываю: в 24-м «Мятеж», в 25-м «Таманцы»... и т. д. и т. д.— каждый год по книге, а то и две. Это план жизни. Запишу все, что знаю о гражданской войне,— там романы и повести, а на старости — дневники свои буду обрабатывать: тут материалу на сто лет!

16 ноября

Больные глаза и гимнастика

Ночью,— начитавшись, написавшись,— чувствую: как иглами закололо глаза. Больше работать не в силах. Встаю и минут 15 делаю гимнастику. Кровь разыграется и... глазам становится легко. Получается впечатление, будто кровь в очах остановилась, застыла, ссохлась и колола этими ссохшимися колючками. А вот разогнал, разжарил, растворил ее,— снова заиграла, закипела она по жилам, и глаза оздоровели. Вообще скажу, может быть только благодаря гимнастике я и могу так интенсивно работать, каждую ночь до 3—4-х часов, подымаясь около 9-ти и целый день будучи занят. А я румян. И здоров. Мне 32 года, а все дают 25. Гимнастика меня сохранила, хранит и сохранит надолго.

* * *

Почему в дневнике только «личное»

Когда в будущем все эти записки мои попадут кому-либо в руки, он поразится: отчего же это нет ничего *в такие дни* про германскую революцию?

Потому что *нового* здесь я не скажу ничего, кроме фактов, сообщений и настроений, отражающихся в печати. Ей-ей, ничего. А повторять, хотя бы и с вариантами, я не хочу: непроизводительная трата времени, которым дорожу. Если когда-либо придется мне писать из теперешней эпохи,— я возьму эту периодическую современную литературу и по ней живо, сразу представлю себе действительность, и факты, и настроения, которыми живем в эти подлинно великие дни. А пишу я, записываю то, что никуда и никогда не попадет. *Этого,* кроме меня, никто не запишет. Для этого и дневник.

18 ноября

Консерватор Воронский

Вчера мне Воронский по телефону:

— Это безобразие... Это черт знает что такое!

— В чем дело?

— В том,— визжит он в трубку,— что у вас в политотделе сидят непонимающие, ни черта не знающие критики... Я вам сейчас вот прочитаю по телефону образец литерат[урного] творчества политотдела.

Отзыв о сб[орнике] стихов Тютчева:

«Книжка представляет собою собрание совершенно бесцветных, мало оригинальных стихотворений, никому не нужных и не интересных; по содержанию это лирические излияния, по форме — примитивная и шаблонная тарабарщина — про слезы, розы, соловья, Аврору, Зевса, Гебу (стр. 23, 25, 27, 46, 47, 50, 53). Сносных стихотворений немного (31, 38, 40, 57). Бог и божества встречаются довольно часто, уснащая

лирические сентименты религиозной чепухой (20, 23, 44, 50, 68, 69).

Под маркой Госиздата книжку распространять не следует. Рузер [*неразборчиво*]. 29.IX 1923 г.»

(Эта книжка первонач[ально] предназначалась для детей, по детскому отделу; потом передана в лит[ературно]-худ[ожественный] и пущена по этому отделу).

У меня отчего-то дрогнуло сердце:

— Чьи там подписи? — спрашиваю.

— Одна Рузера, а другая не знаю...

— Моя?

— Нет, чья-то, не пойму... Да это все равно. Я ведь не к вам лично,— поправляется он,— я в вашем лице обращаюсь к п[олит]отделу... Что же это, долго ли будет продолжаться такое безобразие? Это у Тютчева-то «дребедень», это у Тютчева-то «неоригинально» — да что это?

— А отчего нет? — отвечаю ему.— Отчего? Разве можно к Тютчеву относиться так фетишистически? Может быть всякая чепуха и у него...

— Скоро выпускаем юмористич[еский] № «Прожектора»,— пояснил он,— там я весь этот материал и приведу [1]. Непременно... Это же черт знает что за безграмотность...

Снова дрогнуло сердце, мне что-то вспомнилось туманно, но еще не понял, отчего это.

— Вот что, вы мне пришлите-ка этот отзыв,— говорю я ему,— да и сборник, я сам посмотрю, надо узнать, кто писал и каков самый материал...

Мы прекратили разговор.

Мне помнилось, что сб[орник] просматривал я сам и сам составлял о нем заключение. Глянул — так оно и есть: моя рецензия! Стало нехорошо. По первоначалу как будто даже робко. Представилась картина: образец безграмотной рецензии таскают за моей подписью по журналам и газетам — что это такое? О, черт!

Звоню Воронскому. Его нет, ушел в ГИЗ. Через 10 минут, желая предварить об этом Рузера и Мещерякова, вхожу к Ник[олаю] Леон[идови]чу. Вор[он-

ски]й там. Поднялся спор. Вор[онски]й бунтует. Тут Мещеряков, тут и Рузер.

Оказалось, что этот неудачнейший сборник предназначался как воспитательный материал для детей, а там сплошь: розы, слезы, соловей, Аврора, Феб, Геба... На кой это черт нашим детям?

Впрочем, потом со сборника (уже сверстанного), признанного для детского отдела непригодным, была снята колонка на титуле, где указывалось: «для детей и юношества», и сб[орник], чтобы не нести убытков, передали в лит[ературно]-худ[ожественный]. Значит, для детей он забракован. Значит, отзыв признан правильным.

А Воронский все гремит:

— Что ж у нас, отчего это не может быть разговору про Аврору, Феба, Гебу?

— Да кому это нужно,— отвечаем ему,— это материал совсем неактуальный для данного момента. Есть о чем говорить и кроме.

— Нет,— кричит он,—...я покажу все эти перлы, это же безобразие... Я так не могу, у меня вся голова стала седая... Я из-за этих отзывов ночи не сплю...

— Теперь каждый порядочный человек ночи не спит,— сострил я ему.— А ваша безапелляционность для нас совсем неубедительна.

Мещеряков и Рузер были больше согласны со мной. Разошлись ни при чем, кончили ничем. Но я успокоился. И даже захотел, чтобы он выступил в печати — его там можно ой крепко щелкнуть. Думаю подобрать весь материал по Литхуду [2], всё, что они давали нам гнусного и старались протолкнуть. Воронский проталкивает сб[орник] Клычкова [3]. Там стихи о лампадках, троеручицах и прочей благодати. Написаны часто великолепно, но по содержанию и настроениям совсем нам чужие. А Вор[онски]й проталкивает (Клычков — секретарь редактируемой Воронским «Кр[асной] нови»).

Мы несколько стих[отворений] уже выбросили. Клычков согласился. На дальнейшую очистку Мещеряков отдал Вор[онско]му, но из этого, конечно, ничего не выйдет.

Зарезали тут на днях книжонку Плохова «Красный староста» — о Мих[аиле] Ив[ановиче] Калинине — там он в одном месте безоговорочно сравнивается с царем, произносит перед крестьянами чепуховые речи — словом, дрянь книжонка. А опять по Литхуду. И можно набрать много-много всякого материала. Вор[онски]й с чрезвычайным послаблением относится ко всякой литературной ерунде. А перед стариками писателями у него слепое благоговение. Он к ним относится как к фетишам. Крыть его надо безо всякой жалости. Чем выпускать кой-что — лучше не выпускать ничего. По-моему, ополчаться против него будут чем дальше, тем настойчивей и плотнее вокруг «На посту» [4]. И рано или поздно с треском свалят. Непременно. Таким консерваторам теперь не место. Он мертв. Он схоластик-интеллигент, воспитавшийся на старине и ею совершенно насквозь промоченный. И из нового кой-что он понимает, но понимает, и только. А водружать новое, укреплять, развивать, помогать, выводить — на это его не хватает. И потому он будет перекувырнут.

* * *

Одно дело выпускать издание чисто академическое, с целями чисто научными. Другое дело — выпускать какой-либо сборничек произведений для широкого читателя. И наконец совершенно уж иное дело выпускать сборник или что иное с целями педагогическими, для «воспитания детей и юношества».

Мы, например, в книжке Сакулина «Белинский-социалист» могли бы пропустить все архипохабные места из писем его к Боткину, где все члены и все акты называются своими именами. Надо дать *всего* Белинского. Это так.

Мы можем пропустить 40—45 печатных листов «Писем и дневников» Добролюбова, ибо это академич[еское] изд[ание], здесь надо дать «целиком». Но зачем нам «подводить итоги 15-летней деятельности Клычкова», как выразился сам автор (Клычков). Рано. Не заслужил. Нам пока следует печатать лишь то, что необходимо данному периоду. А «Полное собр[а-

ние] соч[инений] Клычкова» (с его лампадками и иконками) — кому это нужно, хотя бы и помеченное внизу соотв[етствующи]ми датами. Мы можем в целях академических выпустить целиком и без поправок всего Андерсена. Но хватит ли у кого мужества прочесть *все* сказки Андерсена детям именно как *воспитательный материал?* Нет.

А мы то и дело забываем про цели, с которыми надо подходить к изданию.

19 ноября

Безыменский

Вчера состоялся диспут о совр[еменной] литературе: Лелевич, Полонский, Волин, Вардин[1] etc. Что оставило след — это Безыменский со своими изумительными по насыщенности стихами. Словно электроэнергия, закупоренная в его сердце и мозгах,— буйно прорывалась огненными стрелами и ранила нас, заставляла дрожать от мучительных переживаний. Образы. Ну что это за прелесть, что за простота и в построении и в изображении! Именно в этом его сила: образ и слово сразу доступны, понятны, не надо над ними останавливаться и раскапывать — где тут красота, в чем она спрятана, соответствует ли она новейшим достижениям в области ритма, рифмы, конструкции произведения вообще. Этого не надо. Образ Безыменского сам схватит и станет трясти. Я был в восторге. Я, прошедший фронты гражданской войны, видевший и узнавший слишком много человеческих страданий и вследствие этого отупевший — я вчера три раза ощутил под ресницами слезы. И тихо, незаметно для других, склонившись — смахнул их, мои слезы. Я был взволнован чрезвычайно. Тысячеголовая 1-я аудитория университета — неистовствовала. Он, Безыменский, был вчера первым, любимым среди нас...

1924 год

23 января

Ленин в гробу

Я шел по красным коврам Дома союзов — тихо, в очереди, затаив дыханье, думал:

«Сейчас увижу лицо твое, Учитель,— и прощай. Навеки. Больше ни этого знакомого лба, ни сощуренных глаз, ни голой, круглой головы — ничего не увижу».

Мы все ближе, ближе...

Все ярче огни — электричеством залит зал, заставленный цветами. Посреди зала, на красном — в красном — лежит Ленин: лицо бело как бумага, спокойно, на нем ни морщин, ни страданья — оно далеко от тревог, оно напоминает спокойствием своим лицо спящего младенца. Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корч, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо. Как оно прекрасно, это лицо! Я знаю, что еще прекрасней оно потому, что — любимое, самое любимое, самое дорогое. Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий,— как тогда, одинаков. Вот вижу со ступенек все лицо, с закрытыми глазами, потом ближе и ближе — вот одна впалая щека и ниже ее чуточная бородка. Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали — теперь кажутся они и гуще и черней...

Движется, движется человеческая цепочка, слева направо, вокруг изголовья, за гроб. Виден только череп... Блестит голой, широкой покатостью... И дальше идем — снова щека — другая, левая... Идем и оглядываемся — каждому еще и еще хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить. И снова по красным коврам идем проходами, коридорами Дома союзов — выходом на Дмитровку. А у крыльца — толпа: тысячная, стотысячная ли она, не рассмотреть: кругом толпа, до Дома советов, до Тверской, по Дмитровке — везде она волнуется, ждет очереди отдать последний поклон покойному вождю, любимому Ильичу.

21 июня

Мои литературные дела

Прежде всего: закончил две части «Мятежа» — первую отдал Раскольникову в «Мол[одую] гв[ардию]», 2-ю — в «Пр[олетарскую] рев[олюцию]» [1].

Затем, с месяц назад, Госкино принят для фильма «Чапаев» — сценарий станут делать сами.

Мой сценарий прочли, говорят:

— Книга куда богаче. Вы и половины всего ее богатства не использовали.

— Ну что ж,— говорю,— делайте сами, мне все равно.

В конце года, кажется, поставят.

Затем в Межрабпом [2] прихожу. Мне некоторые частные лица предлагают «Чапаева» переводить на нем[ецкий], фр[анцузский], англ[ийский], но я отказываюсь — черт их знает как переведут, да и заграничных изд[ательст]в я не знаю. Опасно.

— А книжка у вас с собой?

— Нет. Я занесу потом.

И тут же, на машине, в первом попавшемся магазине купил «Чапаева», отвез им.

Через день по телефону спрашиваю:

— Ну как?

— Согласны. На немецкий пока будем переводить. Приезжайте договор заключать, да карточку свою захватите — так, чтобы орден Красного Знамени был...

— Ладно.

Через два дня пойду. Закончу.

Заказывали было они и книжку написать листа на 3 из гражд[анской] войны. Некогда. «Смена» просила — некогда. Отдел массовой литературы в ГИЗ на рец[ензию] присылает книжки — некогда. Из «Прол[етарской] рев[олюции]» — тоже отказался.

Вот, вспоминаю: когда-то все искал, а теперь только работай, только пиши, берут везде охотно каждый клочок, только подавай, да уж вдребезги писать-то некогда — очень крепко занялся «Мятежом». Хотелось бы кончить ранней осенью. Тогда пропущу 3-ю часть, а зимой, смотришь, выйдет и книга. Идут дела, идут неплохо.

Вошел во вкус! Ознакомился со всем и со всеми, всюду теперь знают и по редакциям — легко, свой человек. Это в нашем деле — немаловажная штука: верят тому, что чепуху не дашь. Отлично идет работа. Скорей бы уж кончить историч[еские] вещи да взяться за роман. Эх, охота!

11 сентября

У Лефов[1]

На литературном фронте отчаянные схватки с воронщиной[2], видимо, подходят к концу. Уже имеются упорные слухи, что Вор[онски]й уходит, подал сам в отставку. Победа, таким образом, остается за пролетлитературой.

За боями, за победой, за первой полосой — вторая: закрепление позиций, отбитых у врага; наконец, будет третья — творчество, подлинное творчество, ради которого вели борьбу и закрепляли свои завоеванья. Первую полосу поняли, учуяли, оценили первые Лефы. Они на вчера позвали нас[3] к себе, говорили:

— Вы,— говорят,— организаторы, вы — победители. Вы — организуйте и впредь. А на выучку, в школу — отдавайте братию пишущую нам.

Мы их, Лефов, послали понахрен. Сказали:

— Верно, что работой методологической до сих пор мы заняты были меньше, чем непосредственной борьбой. Но теперь, после победы, и у нас будет к тому возможность и время.

Спорили много, крепко, плодоносно, не впустую.

Договорились: Лефы — с нами будут идти об руку рука, как первые сотоварищи.

Затем мы дали обещанье, что в случае закрытия «Лефа» (есть намеки и слухи) — мы вместе с ними восстанем против этого «акта насилья».

20 сентября

Воронский — на обеих лопатках

(Засед[ание] правл[ения] МАПП 19/IX 1924 с Вл. Сориным)

Еще за два-три дня до заседания правления МАПП[1]) стало известно, что будет на нем Сорин Вл.— член редколлегии «Кр[асной] нови» и зам. зав. отд[елом] печати ЦК. Это важно. Мы приготовились. Вчера собрались. Он говорил:

— Я к вам пришел, товарищи, по следующему делу: особенно точно в литературе, течениях, борьбе вашей я не разбираюсь. Но ясно, что течение, возглавлявшееся Воронским, и МАППовское — ожесточенно воевали. У вас дальнобойным орудием явился «На посту» и, надо сказать, теперь видно, что напостовцы на 9/10 правы.

Это дано понять и Воронскому. Его равнение было почти исключительно на попутчиков — вот ему и дали двоих «попутчиков» в редакцию — меня и Раскольникова[2]). Правда, я в редакции не бываю и некогда мне там бывать, но Раск[ольни]ков, лишь приедет — он в эту работу войдет целиком, сядет в редакции и, вместе с Вор[онски]м, будет делать дело.

Я с Вор[онски]м говорил, прежде чем идти к вам,— гов[орил] о том, чтоб нам от имени редакции официально обратиться к МАПП. Он отказался. Говорил,

что тут выйдет, как будто он идет с поклоном, будто он в чем-то побит и чем-то перед кем-то виноват. Он говорит, что всегда держал для вас открытыми двери своего журнала, вы сами не шли, не хотели, а он — он звал...

Теперь я вас, товарищи, приглашаю работать в «Кр[асной] нови», поддержать нас своими силами, своим материалом — и художественным и критическим, всячески поддержать.

Задавались вопросы, поправляли Сорина, выступали — говорили наши ребята:

— К нему мы шли навстречу, но он не принял наших условий — активно помогать развитию пролет[арской] литературы.

Вор[онски]й «критиковал» попутчиков в «Кр[асной] нови», но что это за критика? Он разбирает их там исключительно как мастеров слова и оставляет за бортом сторону идеологическую...

— Посему — отдел критики и библиографии должен вообще переменить углы зрения, рассматривая отныне произведения под углом зрения пролетлитературы.

— Мы, МАППовцы, даем свое согласие работать в «Кр[асной] нови».

— Наше вхождение в органическую работу должно произойти постепенно и незаметно — оно, во всяком случае, не должно распугать попутчиков.

Дружно приветствовали мы сдвиг.

Наша победа признана ЦК.

Вор[онски]й — на обеих лопатках.

Так положила его история.

Этого следовало ждать.

15 декабря

Дела литературные

В «Мол[одой] гв[ардии]» прошла первая часть «Мятежа»; вторую отослал в «Звезду» — эта часть принята была 6 № в «Прол[етарской] рев[олюции]», но

«новая метла» Флеровский, ввиду того что год назад схема «Мятежа» там шла (там, кстати, не было ничего из того, что есть во 2-й части» [1] — отклонил, несмотря на задаток, данный мне там. Деньги можно бы, конечно, и не возвращать, но хочу отдать... Ф[леровско]му дал баню, отлаял. Отрывки из 3-й части идут в янв[арском] № «Кр[асной] нови» — я наконец-то попадаю и сюда — с удовлетворением [2]. Это победа над Воронским! Вчера в МК был наш вечер, читал и я из «Чапаева» — по-моему, плоховато читал — надо отдавать читать другим...

«Мятеж» книгой сдан в набор в ГИЗе, листов вышел на 20; почти каждую страницу вдребезги исправляю в своем «18-м году» — так все кажется слабым, за многое стыдно, что это я писал, словом — вырос, видимо, малость, стал требовательней.

18 декабря

О предисловии к «Чапаеву»

Недели три назад сверкнула мысль: взять предисловия к «Чапаеву» и «Мятежу». Для «Мятежа» пишет Серафимович. Сегодня звонил Луначарскому.

— К третьему изданию «Чапаева» — дайте предисловие. Вы знаете книгу?

— Как же, знаю, знаю. Я бы с удовольствием... Да времени нет. Мне потребуется не меньше недели...

— Неделю можно,— говорю ему,— даже десять дней можно...

— Хорошо. Напишу.

— Прощайте.

— Прощайте.

Вот я ему и даю этот материал — прилагаю, чтоб быстрей, скорей написал [1].

[*До 20 декабря*]

Бабель

Он был дважды, и дважды не заставал меня. 5 часов. Все ушли. Сижу один, работаю. Входит в купеческой основательной шубе, собачьей шапке, распахнут, а там: серая толстовка, навыпуск брюки... Чистое, нежное в морозцу лицо, чистый лоб, волоски назад черные, глаза острые, спокойные, как две капли растопленной смолы, посверкивают из-под очков. Мне вспомнилось: очкастый! Широкие круглые стекла-американки. Поздоровались. Смотрим пристально в глаза. Он сел и сразу к делу:

— Вы здесь заведуете современной литературой... Я знаю... Но хотелось бы вам еще сейчас кое-что сказать, просто как товарищу... Вне должностей.

— Конечно, так и надо.

— Я вам опоздал все сроки с «Конармией», уж десять раз надувал. Теперь просил бы только об одном: продлить мне снова срок.

— Продлить-то что не продлить,— говорю,— можно. Только все-таки давайте конкретно, поставим перед собой число, и баста.

— Пятнадцатое января!

— Идет.

Порешили, что до 15 января он даст мне всю книгу [1]. А дело с ней так: глав до 20-ти в общем написано, напечатано; 20 — написано, но не напечатано, это просто будут звеньями, цементом для других. 10 пишутся — эти главы большие, серьезные, в них будет положительное о коннице, они должны восполнить будут пробел... Всего 50 глав.

Живет Б[абель] в Троице-Сергиевском посаде [2]. Условия для творчества — наилучшие. Тишь. Живет вдвоем с матерью.

— Почуяли вот только разные ходоки и посредники, что я ходкий товар,— отбою нет от разных предложений. Я мог бы, буквально, десятки червонцев зарабатывать ежедневно. Но креплюсь. Несмотря на то

что сижу без денег. Я много мучаюсь. Очень, очень трудно пишу. Думаю-думаю, напишу, перепишу, а потом, почти готовое,— рву: недоволен. Изумляются мне и товарищи — так из них никто не пишет. Я туго пишу. И, верно, я человек всего двух-трех книжек! Больше едва ли сумею и успею. А писать я начал ведь — эва когда: в 1916-м. И, помню, баловался, так себе, а потом пришел в «Летопись», как сейчас помню, во вторник, выходит Горький, даю ему материал: когда зайти?

«В пятницу», говорит. Это в «Летопись»-то!

Ну, захожу в пятницу — хорошо говорил он со мной часа $1^1/_2$. Эти полтора часа незабываемы. Они решили мою писательскую судьбу.

«Пишите», говорит.

Я и давай, да столько насшибал. Он мне снова:

«Иди-ка, говорит, в люди», то есть жизнь узнавать.

Я и пошел. С тех пор многое узнал. А особенно в годы революции: тут я 1600 постов и должностей переменил, кем только не был: и переплетчиком, наборщиком, чернорабочим, редактором фактическим, бойцом рядовым у Буденного в эскадроне... Что я видел у Буденного — то и дал... Вижу, что не дал я там вовсе политработника, не дал вообще многого о Красной Армии — дам, если сумею, дальше. Но уж не так оно у меня выходит солоно, как то, что дал. Каждому, видно, свое.

А я ведь как вырос: в условиях тончайшей культуры, у француза-учителя так научился французскому языку, что еще в отрочестве знал превосходно классическую французскую литературу. Дед мой — раввин-расстрига, умнейший, честнейший человек, атеист серьезный и глубокий. Кой-что он и нам передал, внучатам. Мой характер — неудержим, особо раньше, годов в 18—20, хуже Артема[3] был. А теперь — мыслью, волей его скручиваю. Работа — главное теперь мне — литературная работа. Воронский, кажется, себе шею уж свернул?

— Да, — говорю,— как будто так выходит[4].

— Это по всему видно... И за что он любит Пиль-

няка [5],— изумился он для меня неожиданно,— за что и что любит — вот не понимаю?!

Мы условились увидеться другой раз. Может, проедем ко мне.

20 декабря

Вчера пришел ко мне Бабель. Сидели мы с ним часа четыре, до глубокой ночи. И перво-наперво об Ионове [1]. Он только-только был где-то с ним вместе — тот пушил на чем и свет не стоит разнесчастный Госиздат, попавший ему в хищные когти: растерзает, ни пера не оставит, ни пуху! Вулканическая личность, один сплошной порыв,— восторгался Б[абель] экспансией Ионова... Отговорили.

...О журналах. Утомляется читать худож[ественную] литературу, журналов почти не читает, особенно скучнейшие, вроде «Раб[очего] ж[урна]ла» — особую симпатию питает... к «Пролетарской революции», где... «так неисчерпаемо много ценного материала»... Отговорили.

Книг хранить не умеет, не любит — дома нет почти ничего. Удивился обилию книг у меня — особо жадно посматривал на сборники из гражданской войны.

...Потом говорил, что хочет писать большую вещь о ЧК.

— Только не знаю, справлюсь ли — очень уж я однобоко думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну... ну, просто святые люди, даже те, что собственноручно расстреливали... И я опасаюсь, не получилось бы приторно. А другой стороны не знаю. Да и не знаю вовсе настроений тех, которые населяли камеры,— это меня как-то даже и не интересует. Все-таки возьмусь! Отговорили.

Главный разговор — о «Чапаеве».

— Это — золотые россыпи,— заявил он мне.— «Чапаев» у меня — настольная книга. Я искренне считаю, что из гражданской войны ничего подобного еще не было. И нет. Но мало как-то книгу эту заметили. Мало о ней говорили. Я сознáюсь откровенно — выхватываю, черпаю из вашего «Чапаева» самым безжалост-

ным образом. Вы сделали, можно сказать, литературную глупость: открыли свою сокровищницу всем, кому охота, сказали щедро: бери! Это роскошество. Так нельзя. Вы не бережете драгоценное. Вся разница между моей «Конармией» и вашим «Чапаевым» та, что «Ч[апаев]» — первая корректура, а «Конармия» вторая или третья.[2] У вас не хватило терпенья поработать, и это заметно на книге — многие места вовсе сырые, необработанные. И зло берет, когда их видишь наряду с блестящими страницами, написанными неподражаемо (мне стало даже чуть неловко слушать!).

Вам надо медленней работать! И потом, Д[митрий] Андр[еевич], еще одно запомните: не объясняйте! Пожалуйста, не надо никаких объяснений — покажите, а там читатель сам разберется! Но книга ваша — исключительная. Я по ней учусь непрестанно.

Потом я пояснял ему условия, в которых «Чапаева» писал, урывками от работы, укрываясь от партработы частично и т. д. и т. д.— все это опять-таки наложило печать. Потом — материальная нужда тех дней, неугомонное авторское самолюбие, жажда скорее «выйти в свет»...

Теперь вижу сам, что, начав в 1922, надо было выпускать «Чапаева» не в 23-м, а может быть, только теперь, в 24—25-м году!

Это было бы солоно. И хорошо. А то в самом деле — надо еще многое сделать! И я надумал «Чапаева» обработать — переработать, а кроме того, дать ряд новых глав.

Простились с Б[абелем] радушно. Видимо, установятся хорошие отношения. Он пока что очень мне по сердцу.

25 декабря

Мы в Ленинграде

Зимний

Приехали. Как только с вокзала — Пугало Александра III [1]. Не пойму: как себя дало одурачить, опозорить царское время, неужли и этой глумьбы над

собою не поняло. Гранитно-мраморный, строгий, холодный Лен[ингра]д! Стужа, ветер с Невы — холодный, пронзительный. Ветер по Невскому — и вихрем пыль в глаза. Трамваишко № 4 — до Европейской гостиницы. Это — лучшая. И недорогая. Так бывает часто. Трамваишки перед московскими — дрянь. Но вот мы в номерке. 3 р[убля] в сутки. Из окна — тишь, тоска, желтая пустота. Утро, но не рано: 11. А пусто по улицам. Л[енингра]д поздно начинает жить, не Москва! Здесь вообще несравненно тише. Идем по Невскому — Казанский собор, Мойка, потом памятник Николаю I, Петру величайшему, и Нева — стужа-стужа, ветер низит насквозь. Мы к Зимнему, в Зимнем смотрим комнаты последнего царя. Вот стол, где принимал Николай министров. Вот кровать, уборная, ванная — и повсюду масса икон и всякой чепухи: так у него и в Ливадии. Комнаты царицы: будуары, дуары, ары-ары... Ходили по комнатам Александра II. И по комнатам супруги его, которую сморил нелюбовью.

У Зимнего, на площади, матросы обучались стрельбе: черные, светлые, здоровые, надежные! Как эта жизнь не похожа на ту: матросы революции! Верно — все комсомольцы! А давно ли тут проходил царь! И давно ли на караул ему брали и прочее! Как эта жизнь не похожа на ту. Только сторожа кой-где остались. А из картин многие разорваны штыками — следы Октябрьской бури.

Невская лавра

Полтину в лапу сторожу — и он ведет. А за минуту говорил:

— Никак нельзя... никому... воспрещено... Тут весной безработные безобразничали... Гробы вырывали из земли, золото искали.

Мы видим на одном: Вера Федоровна Комиссаржевская, Апухтин, Мамин-Сибиряк, Вяльцева...[2]

На другом: Достоевский, Карамзин, Жуковский, Глинка, Даргомыжский, Мусоргский, Чайковский.

Незабываемая Комиссаржевская!..

Петропавловка

31-й привез туда. Алексеевского равелина нет — он срыт два десятка (?) лет назад. Смотрим Трубецкой бастион. Одиночки: где такая жуть, ужас такой могильный. Эти вот царапины, черточки, этот глазок, замки-засовы, коридоры в земле, решетчатые окна — за окнами Нева, волны, выхода нет никуда. Здесь был и Морозов, здесь Фигнер Вера... Отсюда уводили на казнь декабристов, петрашевцев... Здесь, неподалеку, все в этой крепости — царевич Алексей, а за ним (как непохоже!) Каракозов... был там и Бейдеман.

Какое глубокое волнение в груди! Сколько лучших загублено жизней... А вон, поблизости — дворец Кшесинской! Красавец! Игрушка — зданье! И беседка: с этой беседки говорил Ильич! Его голос слышали мученики крепости.

31 декабря

Последние дни в Ленинграде

Ну, что там? Осматривали, конечно, Эрмитаж, Аничков дворец... И разное прочее. Это в конце концов утомляет. На Волковом поклонились дорогим могилам — неистовому Виссариону [1], Добролюбову, Писареву, Плеханову, Засулич... День был сырой и хмурый. По Волкову бродили унылые, словно заново хоронили всю эту славную рать.

Последний день — в Ораниенбаум. А там — парк. Эх, и парк. Ну и парк! Вот так парк! Были на Катальной горке и внутрь ходили — старик финн чавкал что-то нам о прошлых веках, говорил про былое царское веселье. Обошли китайский дворец — заколочен глухо. Дворчишко Петра III — четыреугольный гроб. Но парк... эх, и парк!

Видели издалека Кронштадт. Здесь вот по льду и до Ленинграда, дальше за него, и в другую сторону, на Красную горку — все было забито войсками... Крепость била сюда из орудий... На льду народу сгибло невидимо. Снаряды пробивали лед и в зияющие ямы

ночью, в походе, ухали, тонули. На льду народу погибло невидимо. Все приступы больше ночью. И если б не в эту ночь взяли крепость, а началось наступленье в 10 вечера — не пошли бы больше солдаты (гов[орит] старик), измучились и гибли как мухи...

Но в крепости не хватило хлеба... там все ушли в Финляндию. От уханья у нас полопались стекла по всему берегу, не осталось домика, где сохранились бы стекла. Жили мы тут и ждали каждую минуту смерть... Так целых 17 ден... Страшно...

А теперь — вон оно, чудовище морское — темным пятном в море спокоен Кронштадт.

Сколько же видов ты вынес, сколько вынес бурь, бурных испытаний!

Вечером, с грязного Николаевского, айда в любимицу краснокаменную столицу. И остался только дым воспоминаний от Ленинграда. Чтоб полюбить его — надо, верно, не знать хорошо Москву. А любя Москву, можно только его уважать как колыбель революции, но не больше.

1925 год

21 января

Траурная година

Год назад, в этот день, 6.50, умер Ильич. Я прошел снежным сквером и уперся в гранит храмхристовских лестниц. Тьма. Кремль в мелких, в ярких звездах-огнях. В темно-синюю вечернюю вуаль, где-то далеко-далеко на башне Кремля — бьется отсветами, красными отблесками флаг. Мы стоим молча — один, другой, десятый, сотый. Все молчим. И взорами вонзились туда, на Красную. Скоро салют — пальба. Скоро. Напряженно дрожит тело, гудит в голове, у горла что-то накипает, нарастает, все ближе, ближе, ближе... И вот одна за другой жалобно, протяжно заплакали заводские сирены... Над траурной Москвой поплыли, заплакали навзрыд печальные стоны...

Ударили орудия, выждали минуту, ударили вновь, а в густой вечерней синеве — над морем огня — жалобные, протяжные плыли во тьму рыданья сирен. Мы стояли окаменелые. Никто не говорил другому ни слова. Мы полны были глубоких чувств и молча их хранили в груди. Мы затем пришли, чтоб чувствовать здесь, что за день, что это за час, что за минуты.

Останавливалось дыханье, сгрудились спазмами в горле рыданья, по щекам моим сползали слезы...

Нет его, великого учителя, нет...

И вспоминалось дорогое лицо — как видел я его на

съездах:[1] желтое, утомленное, но горящее радостью, зажигающее бодростью, верой в успех, в победу своего дела... Вспомнился этот крутой череп, остро стриженые усы, колючие и ласковые вместе глаза — весь встал Ильич. Ожил. Он на трибуне. Говорит речь — простую, ясную до дна, убеждающую до отказа — историческую речь... И знать теперь, что нет его,— э-эх, тяжело... Вся Москва этот день, эти дни особенно — в воспоминаньях о дорогом покойнике: заставлены, затянуты в траур витрины, портретами, бюстами — учрежденья, залы — черно-красной материей, по залам, по клубам, на собраньях, в ячейках — везде речь об Ильиче, о делах его, о жизни, о борьбе.

Этот день, эти дни каждая минута жизни нашей пронизана мыслью и чувством только о нем.

Идут по улицам с плакатами рабочие, до глубокой ночи бьют барабаны пионеров, слышны комсомольские песни. Москва поминает великого учителя, великого борца, любимого Ильича.

25 марта[1]

Вардин агитирует

За последнее время разом нескольким понадобилось говорить со мной. И всем — срочнейше. И всем секретнейше. Каждый считал своим долгом начать разговор примерно следующим образом:

— Митяй. У меня к тебе есть разговор. Когда можем увидеться? Только, пож[алуйста], скорей. Очень важно. Лучше всего сегодня или завтра. Где? У тебя? У меня? Все между нами и т. д.

Я недоумевал, но понимал, что все они об одном: Вардин, Авербах, Зонин, Родов..[2]

Первым говорил Зонин и взял слово, что никому и ничего я из этого разговора не передам. Сегодня Вардин. Вчера Сенька. Леопольд[3] не собрался. Вардин говорил (тоже под честным словом):

— За время твоего отсутствия, Митяй, у нас шли в девятке непрерывные бои. И положенье определилось примерно так, что на одной стороне Родов — Ле-

левич, при пассивной поддержке Без[ыменско]го, а на другой стороне все мы остальные, во всяком случае Авербах, Зонин, я, Юрка, Раскольников и не знаю как — Валайтис и Зонин [4].

Расхожденья таковы:

1. Мы говорим, что напостовство должно существовать как выкристаллизовавшееся ядро, что его мешать с ВАППом и МАППом не следует,— там широкая демократия, там и «Кузница» и Гарт [5], там многие, не смеющие назваться напостовцами... Они не напостовцы, но они ВАППовцы...

2. Затем мы считаем, что девятка должна существовать, а «они» не прочь распустить ее.

3. Наконец о составе этой девятки... Они — да, впрочем, и вообще — так постановили: редакция, в числе пяти, себя переизбирать может лишь сама (девятке таких прав не дано), а равно и девятку сокращать или расширять может лишь эта пятерка...[6] Я с этим не вполне согласен, но прошло.

Выслушал я В[арди]на в глубочайшем молчании. Потом говорил сам — и для него, видимо, достаточно неожиданно. Ах да, он еще сказал:

А. Родов — Лелевич за твое исключение из девятки, а мы отстояли, что мы не секточка, что у нас внутри допустимы известные оттенки мнений,— это было, это есть, это неизбежно будет всегда и это нормально. Тебя оставили.

В. В редакцию «Октября» ввели Зонина и Берез[овско]го [7].

С. Тебя постановили ввести на активную работу в правление ВАПП.

Я все понял, раскусил. Только одно не знал твердо: не подослан ли и Вардин ото всех столковавшихся прощупать меня? Не решили ли они так:

Говори Митяю, что Родов — Л[елеви]ч за разгон девятки,— Митяй тогда будет за ее сохранение; говори, что Л[елеви]ч — Родов за пришитие ВАППу марки напостовства,— Митяй, в силу протеста против Родова, будет против этого и т. д. и т. д. Но это предположенье только мелькнуло, я его учел, но говорил не из него исходя. Твердо, ясно понял я лишь одно: боясь,

что я, популярный в МАППе работник, ради разгона девятки, изгнания Родова и т. д. и т. д. пойду на бунт снизу, на пропаганду в кружках, группах, ячейках наших и т. д., боясь этого, они решили «почетно» перебросить меня из МАППа в ВАПП, то есть по существу в безвоздушное пространство.

Я заявил на это Вардину твердо:

I. Борьба моя против родовщины — смертельна: или он будет отброшен или я. Но живой в руки я не дамся. Из секр[етариата] прав[ления] МАПП добровольно не уйду. Решению девятки в данном случае не подчиняюсь, подчиняюсь только решенью правления.

II. Затем: девятку считаю вовсе не обязательной в такой Петрушко-Верховенковской[8] дьявольской организационной форме: что бы тут не решили родовцы — молча им подчиняйся. Своего голоса не имей. Своих мнений не отстаивай нигде. Признаю необходимость совещаться от времени до времени, положим, мне, тебе, Юрке, Леопольду, Зонину, но это простое совещание — каждый после него по спорному вопросу оставляет за собою право так поступать, как ему это кажется целесообразным, а все дела (нечего бояться!) решать в правл[ении] МАПП и ВАПП. Мы сами нагородили себе чертову дюжину пугал и видим врагов там, где нет их вовсе.

III. «На посту» сделать органом ВАПП и редакцию назначить правлением ВАПП, а не какою-то навеки нерушимой пятеркой. Что это за орг[анизационная] чушь и идиотизм? Сама себя пятерка восполняет, умаляет и — ша! Дичь. Возмутительное издевательство над организациями пролетлитературы.

Вардин нервничал, ответа, видимо, не ждал. Поговорил сначала немножко об анархизме, об отрыжке старого у меня, посоветовал 2—3 раза перечитать некоторые ленинские вещи, вроде «Левизны»[9] и др.

Разошлись ни на чем. Ни на чем. Послезавтра Вардин едет, уезжает в Тифлис. Завтра утром он хочет созвать у себя напостовцев. Окончательно договориться. А мне утром идти в орграспред ЦК, так что не

буду. Борьба — борьба! Смертельная борьба родовщине, иезуитизму, подтасовкам, игре на склоках, мелочах, пустяках — до победы!

9 апреля

Артериосклероз

Тут, как известно, две недели был в доме отдыха, гизовском. Голова было утишилась, а потом опять. Гудит неумолчно. Я опять в страхкассу, на комиссию. Наладили, Петровка, 23 — некая физиотерапевтическая.

Уж ходил-ходил, очередил-чередил, ожидал-ждал-дал — насилу добился на прием. Рентгенизнули:

Расширение аорты.
Легкие как будто сносны.

Седой старичок Майков брякнул:

— Роковая болезнь!

— Что? — воззрился я на него.

— Склероз сердца.

И прописал от головы. Электро- и водолеченье. А склероз потом. Износилось сердчишко. Рановато склерозить бы, всего ведь 33!

13 апреля

Художник к себе — чем дальше, тем строже

Набросал вот план рассказа— весь материал, казалось бы, известен, лица-типы стоят перед глазами, есть заряд — словом, садись, пиши.

И разом вопросы:

А это знаешь хорошо?

А это изучил достаточно?

А это понял точно?

А вот тут, вот тут,— тут не отделаешься тарабарщиной, измышлениями, плохонькой «беллетристикой».

Встали эти вопросы поперек пути и диктуют: преж-

де чем не овладеешь материалом, не берись. Легкая болтовня твоя никому не нужна (да и тебя роняет она), лучше обожди, подкуй себя и тогда — вдарь.

Эти сомненья, требованья — серьезный признак роста. Два года назад было не так: темка подвернулась, распалила нутро, сел — и за ночь готов рассказ. А теперь строго.

18 апреля

О предательстве Фурманова

Им, разумеется, очень выгодно кинуть несколько убийственных, останавливающих на себе, заключений:

Ф. — соглашатель, Ф. — воронщик [1] (внутренний), наконец, Ф.— предатель, потому что пошел «в чужой нам (по делам литературы), во враждебный ЦК, к врагу пролетлитературы Варейкису [2] и говорил с ним о наших делах».

Это звучит убедительно, примагничивает внимание. Но дело обстоит несколько иначе:

1. Я пошел к представителю отд[ела] печати ЦК потому, что не считаю зазорным вообще по некоторым вопросам заходить посоветоваться в ЦК, и только групповым злопыхательством, только исключительной узостью подхода и даже несознательностью можно объяснить убеждение, будто в ЦК вообще ни с чем нельзя ходить за советом.

2. Затем ходил я не к Варейкису, а к Нарбуту [3], которого сам Лелевич гласно назвал активным другом пролет[арской] литературы (вчера на фракции), так что ждать тут непременно какой-то подлости — это безумие и подлость. Мог я или нет о подобных вопросах говорить с каким-либо «другом» прол[етарской] лит[ерату]ры, вроде Ольминского, Леб[едева]-Полянского [4] и др., зная, что они могут иметь *не меньший* вес в о[тделе] печати? Разумеется, мог бы, и никто это предательством наших интересов не назовет. Дело тут в другом, дело в том, что вообще установилась традиция, будто в ЦК, в отд[еле] печати, сидят неисправимые (кроме Канатчикова — покойника [5]), с которыми не

только не следует держать и устанавливать какую-либо связь, но надо их — злить, дразнить постоянно... «в интересах пролетарской литературы».

3. Что ходил я не к Варейкису, а к Нарбуту, можно заключить из того, что с Нарбутом виделся я не в ЦК, а пришел к нему в изд[ательст]во «Земля и ф[абри]ка», хотя и подчеркнул там, что говорю с ним как с офиц[иальным] представителем о[тдела] печ[ати] ЦК. Варейкиса в изд[ательст]ве, разумеется, быть не могло (его нет и в Москве).

4. Ихняя линия привлекает неразмышляющего простотой и «ясностью»: «мы кучка правоверных, а кругом одни враги — долой, бей, трави их, подлецов!» При таком убеждении, конечно, и политика, система действий чрезвычайно упрощается: правы всегда только мы, кучка.

Наша политика сложнее и труднее, потому она может одного испугать своей трудностью, другого сбить с толку, не поймет он ее сразу: наша политика требует большого напряжения сил, и энергии, и уменья, и политичности, потому что она из поля своего воздействия *фактически* не выпускает ни ЦК-МК, ни «Кузницу» — «Твори!» [6], ни Гарт, ни попутчиков,— лучших и ближайших из них — мы со всеми должны установить те или иные формы соприкосновения. В этом трудность нашей линии, здоровая ее зигзагообразность (а не дубинная прямота), в этом ее преимущество.

5. Наконец, о чем говорил я с Нарбутом? Мне, до ухода моего, на фракции прав[ления] МАПП 16/IV заявили: доклад Ф[урмано]ва о родовщине на «Октябре» не ставить — это так и зафиксировали. Так я в ЦК и узнавал: имеет ли право фракция правления отметать доклад на фракции «Октября», раз этого хочет фракция группы. Мне сказано было: нет, не имеет. Впрочем, теперь и Лелевич болтает, что они не намеревались воспрещать. Второй вопрос — это вопрос о перемещении меня в ВАПП, а Лелевича в МАПП — вопрос этот вовсе не персональный, а принципиальный: о борьбе двух течений. Вопрос большой и потому согласно договора, подписанного некогда мною и Л[елеви]чем, мы обязаны были пригласить на это засе-

данье представителя отд[ела] печ[ати] ЦК, а его не пригласили. Я и спросил Нарбута: прав ли был я, отводя по формальным соображениям разрешение этого вопроса без представителя ЦК. Нарбут ответил мне: «Безусловно, прав».

Вот и все мое предательство. Если уж это пред[ательст]во, то нам, пожалуй, на версту надо обходить наш ЦК и всех его работников, не являющихся напостовцами! О бараны туголобые!

22 апреля

Мой «правый» уклон

Было бы точнее уклон мой называть не правым, а правильным, но если так уж им хочется — пусть! Уклон есть. И сущность его очень простая. Я считаю, что «напостовство» вещь в значительной степени дутая и раздутая; идеология тут зачастую подводится для шику, для большего эффекта, чтоб самое дело раздуть куда как крупно, а чтоб 2—3—5-ти его вожакам славиться тем самым чуть ли не на всю вселенную.

Нет таких резких противоречий у нас с «Кузницей», на 50% — это пуф. «Кузнецов» можно и *должно* ассимилировать в своей среде, даже и таких, как Ляшко, да!

Артема и Дорогойченко[1] *преступно* отогнали от себя, преступно.

С попутчиками вроде Сейфуллиной, Бабеля, Леонова *преступно* задерживаются отношения, их *уже* можно брать в орбиту нашего воздействия.

В этом мой уклон — это «правый», по-вашему? Эх вы, болтуны честолюбивые,— боитесь попросту подлежать нормальной выборности, потому и позахватывали все, на этом и держитесь целые годы.

23 апреля

ЦК

Сами мраморные колонны скажут тебе, что дело здесь крепкое. Туго двери раскрываются в Цеку: всей силой надо приналечь, чтоб с воли внутрь попасть.

Вошел. Два вечных — днем и ночью — два бессменных, очередных часовых: ваш билет? Нет? Пропуск. Потрудитесь взять у коменданта. Обращенье рассчитано на международные визиты: так сторожко, что самому покойнику Керзону не к чему придраться. И думаю я:

«Это наши-то, сиволапые? Ну и ну!»

Пропуск-билет провел меня сквозь строй. Я у лифта. Забились втроем в кабинку и промеж себя:

— Вам куда? А вам? А вы, тов[арищ]? Я в агитпроп; я в отд[ел] печати...

Или не попал я в ящик — мчу по массивным лестницам скоком, бегом, лётом, пока не смучаюсь на четвертом этаже. А народу, народу навстречу: то сверкнут по-звериному жадные глаза кавказца, сверкнет его шашка, кинется в глаза его прекрасный причудливый костюм. То — растрепан и чаден — мчится и того гляди сшибет тебя с пути какой-нибудь малый из провинции — в грязных, худых сапогах, в разъеденной кожаной тужурке, в кожаной фуражке, отлетевшей на затылок вихрастых соломенных волос. Лицо и бледно, и желто, движенья болезненно-нервны, порывисто-остры, он, верно, мечется по лечебным комиссиям, ищет возможностей проскочить на курорт. Из-под него вынырнула слабосильная горбатая, седая старушка — она чуть плетется вниз, держась за глянцевые каштановые перила. У старушки в руке портфель — кажется, и портфель-то держать сил у ней нет, а вот поди ж, значит, где-то еще работает, куда-то спешит-торопится тоже черепашьим старческим ходом. Она покрякивает, покашливает, и когда кашель особо забьет — останавливается, бьет — в кулак бухает, а потом проходящим товарищам смотрит в глаза как виноватая своими крошечными потускневшими глазками. Это тоже большевичка, я ее знаю, она работала еще с Ильичем в 90-х годах прошлого века, всю молодость отдала борьбе, всю жизнь отдала борьбе, скиталась по ссылкам, сотню раз была арестована,— теперь пришла в свой штаб, в ЦК, где много ее учеников, ее воспитанников, ее старых знакомых по борьбе.

Прокрякала старушка вниз, а там замелькал сквозь

лестничную решетку цветной халат не то сарта, не то татарский — на голове тюбетейка, на ногах какие-то ходики — сандалии-лапоточки. Этот тоже сюда пришел по каким-то своим делам — может, из Самарканда, может, из Татарии — кто его знает откуда... И вот замелькали-поскакали вверх и вниз, вниз и вверх то знакомые, то во веки веков невиданные, то чисто бритые, то заросшие и чумазые, то одетые с булавочки, может быть приехавшие откуда-нибудь из Берлина, то наши засаленные прохоровцы, путиловцы, наши рабочие, главная сила штаба.

Я забираюсь все выше, выше — мне надо на 6-й этаж. Миную агитпроп, отдел печати, приемную секретарей ЦК — там тишина изумляющая. Дохожу. Пройду по коридорам, где ковры, где такая же, как всюду, тишь и чистота. Да, ЦК — это штука! Это настоящая и сильная штука! Какая тут мощь — в лицах, в походи, в разговорах, в самой работе, во всей работе этого гиганта, этого колосса-механизма! Какая гордость и какой восторг охватывают тебя, когда увидишь, услышишь, почувствуешь эту несокрушимую мощь своего штаба. Идешь и сам могучий в этом могущественном приюге отчаянных, на все решившихся людей, не дорожащих ничем — ничем не дорожащих ради того чтоб добиться поставленной цели. Да, это дело. Это штука. Здесь не пропадешь — тут воистину в своем штабе! Эх, ЦК, ЦК: в тебе побудешь три минуты, а зарядку возьмешь на три месяца, на три года, на целую жизнь.

12 ночи 5 мая

Мой доклад о родовщине на фракции МАПП

Полночь. Я дома. Ни хорошо — ни плохо. Можно сказать — неясно. Сделали доклады я и Лелевич. Выступили 4—6 человек. Поздно. Перерыв. Продолженье в субботу, то есть через три дня. Для нас это хуже, чем для них, ибо они организованней и явятся все, да

натащат и тех, кто не был сегодня, а у нас попробуй-ка затащить какого-нибудь Федю Гладкова, которому все настолько осточертело, что «все, гов[орит], брошу, стану только писать, а заседать больше не приду!» Хмара, единственный надежный пом[ощни]к, уезжает в четверг в Крым. В этом наше худо.

Внешние эффекты таковы:

Зонин внес предложение — дать Л[елеви]чу первый доклад о положенье в ВАПП, и второй мне — о родовщине, то есть дать возможность Лелевичу под видом «объективного» доклада сказать все что надо о род[овщи]не.

Хмара предложил — мой доклад о род[овщи]не.

Наша взяла. Это первая победа.

Наше пораженье: пред[седателе]м не Березовского, а Раск[ольни]кова.

После моего доклада — дружные аплодисменты.

После доклада Л[елеви]ча — гробовое молчание.

Это тоже в нашу пользу. Симптоматично. Еще очень скверно то, что Роман целиком вдруг перекувырнулся за них и сказал дрянную половинчатую речь с уклоном к ним, отказавшись от подписи своей под нашей рез[олю]цией (отказались, кажется, еще Ефремов, Малахов, чуть ли и не Полосихин?). Это скверно. Низовое настроение с нами. Но за эти дни не развили бы дьявольскую работу, не перетянули бы.

На счастье, тут собраний, видимо, нет,— только в четверг в Бауманском, но туда наладим Модзалевского [1]. Зорко будем следить эти дни за кружками (поскольку удастся), станем всех тащить на субботу, то есть упирающихся.

Скверно еще то, что у многих мнение в сторону этой ненужнейшей комиссии по разбору антиродовского материала, той к[оми]ссии, которая может утопить все дело. Ее поддержала и Соловей [2], а на нее смотрели как на представителя МК.

Нарбут не явился — вот дьявол. На субботу надо затащить и его обязательно.

Песня самого Родова, видимо, спета: против него высказался и Ленинград.

Настроение у меня спокойное, но отдаленная тревога все же шевелится в груди: очень уж народ-то неорганизованный, проморгают, не придут. А все-таки на 80—90 процентов уверенности, что одержим полную победу. Это не подбадриваю себя — правду говорю.

I. Что такое родовщина

В рядах пролет[арской] литературы тревога, не паника, но тревога за целостность движения: орг[аниза]ция наша больна трудной болезнью.

Враги пролетлитературы чутко насторожились в ожидании гибельного раскола. Мы этим ожиданиям противопоставим не трусливый загон глубоко внутрь обнаруженной болезни, а смелое ее освещение и активную с нею борьбу: открытую, исчерпывающую критику, уверенное разрешение запутанных вопросов.

Болезнь, которой объявляем мы беспощадную борьбу, это родовщина,— целая система методов, форм и приемов политиканства и хитростей на фронте пролет[арской] лит[ерату]ры.

Родовщиной эту заразительную и вреднейшую систему действий в нашей среде называем мы единственно потому, что в лице Родова нашла она свое наиболее полное, законченное, резкое и концентрированное выражение. Но болезнь эта свойственна и целой группе товарищей, идущих, по нашему мнению, ложным путем в борьбе за пролет[арскую] литературу.

Родовщина, все время и исключительно лавировавшая доселе в расколах и отколах, имела некоторый смысл в начале своего зарождения, когда расколы эти были исторически необходимы как средство резкого отграничения от явно враждебного лагеря и когда орг[аниза]ция пролетпис[ателе]й была слишком маломощна. Ныне же, когда наши орг[аниза]ции исчисляются сотнями и тысячами активных членов и прочно стоят на пути своего развития,— отжившие, вредные, мелочные методы родовщины являются серьезным и опасным тормозом в этом нормальном историч[еском] процессе развития. Наше время это, по преимуществу,

не время расколов, а наоборот — созидания, производства ценных материалов и т. д. Родовщина для этого творческого процесса, для этой новой исторической полосы развития совершенно непригодна, так как вся она в прошлом, вся она живет методами раскольничества и заостренного политиканства.

Нашей орг[аниза]ции, так могущественно выросшей и кач[ествен]но и колич[ествен]но, методы род[овщи]ны все равно что пеленки здоровенному, крепкому парню: они только спутывают его силу и замедляют нормальный рост.

II. О нашем идеологич[еском] и литературном знамени

Родовщина, как прилипчивая болезнь, заразила многих и многих из действительно ценных элементов нашей пролетписательской семьи.

Родовщина — это ловко маскирующаяся, глубоко скрытая, изнуряющая болезнь, излечить которую чрезвычайно трудно, в борьбе с которою необходимо было мобилизовать серьезные силы, необходимо было тщательно и длительно готовиться — единственно этим и можно объяснить столь позднее открытое наше выступление против установившейся в нашей среде системы действий. Очень ясно, что представители этой обреченной системы поторопятся объявить нас соглашателями, может быть, даже попутчиками, воронщиками или чем-нибудь в этом роде, но всем сразу и ясно надо понять этот ловкаческий, плутовской маневр, рассчитанный на чужое невежество и обреченный на явную гибель. Совершенно очевидно, что нашим знаменем остается простое и ясное, крепкое, мужественное напостовство, не затуманенное и не компрометирующее и не извращающее себя мелочностью родовщины.

Мы крепко стоим за то самое напостовство, которое единственно понимают и принимают широкие массы пролетписателей, которое историческим ходом событий призвано развивать пролетлитературу, расчищать ей путь, бороться за нее.

III. Орг[анизационный] вопрос

Борьба, которую ведет столь успешно ассоциация пролетписателей в течение последних лет, миновала целый ряд ступеней и форм и подошла к наивысшей своей точке: закреплению борьбы в конкретных образцах художественного творчества.

Между тем — и вопреки постановлениям конференции АПП — благодаря установившейся диктатуры родовщины оргработа у пролетписателей поглощает так много времени и сил, что фактически доминирует над работою творческой. Эти процессы, организационный и творческий, в равной мере необходимые, надо практически, фактически уравновесить, а не расчислять творческую работу всего лишь как иллюстрацию орг[анизационной] работы, что делает родовщина. В этих целях всем нашим орг[аниза]циям строго надо следить за организационным переусердствованием лиц, имеющих лишь сомнительное и отдаленное отношение к творческой деятельности и готовых все свое время поглощать во всевозможных заседаньях, совещ[ания]х и т. п., губя и увлекая всецело в эту работу и действительно талантливых, ценных пролетарских писателей.

Засилью оргработы над творчеством должен быть решительно положен конец: эти два необходимейших процесса надо привести в органическое равновесие.

IV. О творчестве

Наша практическая работа по литкружкам бесспорно и серьезно способствует успешному развитию начинающего писательского молодняка.

В то же время следует признать, что эту работу необходимо усилить в сторону серьезной теоретической подготовки пролетписателей, в сторону критической проработки материала, в сторону систематических занятий вопросами творчества как по теоретическому материалу, так и по живым образцам, в сторону выработки писательской самостоятельности. Но надо совершенно отбросить губительную систему выдвижен-

чества в той форме, как это практикует родовщина, приглаживающая по головке там, где это не по существу, а лишь тактически полезно и выгодно, плодящая подхалимов, не умеющая разобраться в подлинном даровании.

Вопросы творчества и нормального писательского роста не следует смешивать с вопросами мелкого и вредного внутреннего политиканства: начинающий пролетписатель вовсе не орудие в руках какой-либо борющейся группки, домогающейся закрепить через него свое шаткое положение.

V. О диктаторах и диктаторстве

Благодаря тому, что огромная и коренная масса пролетписателей поглощена работою партийной, советской и т. д. и не имеет возможности достаточно времени уделить регулярной работе в орг[аниза]циях пролетписателей — в наших организациях отдельные лица пытаются проводить чисто диктаторскую линию, сокрушая и нарушая методы коллективной работы, навязывая и протаскивая такие решения, которые по существу и при иных условиях не могли бы быть протащены как голос данной орг[аниза]ции. Диктаторство — это одна из основных черт пресловутой родовщины. Изжить и перебороть ее можно не какими-либо паллиативами, а только обезвредив и повалив всю плутовскую систему родовщины.

VI. О политике и политиканстве

Дело борьбы за пролетарскую литературу настолько огромное и в то же время верное дело, что вести его вперед можно только методами широкой, открытой политической и творческой работы и борьбы.

В то же время родовщина пытается сбить нас с верного пути и уводит от политики в сторону политиканства, к замене широко развернутой работы нормально избранных орг[аниза]ций работою случайных, закулисных, конспиративно действующих и все предрешающих

группочек, приобретающих себе функции и права каких-то диктаторских центров, неведомо как создающихся, пополняющихся и распускающихся: глухие и путаные слухи о подобных конспиративных органах совершенно парализуют нормальную и плодотворную работу легально избранных органов и вредят всему делу.

Наша основная база, рабкоровские литкружки, начинают себя чувствовать в силу этого лишь орудием в борьбе за власть, за собственное господство со стороны этих *самочинных* организаций и вполне естественно настораживаются недоверием и по отношению к нормально избранным своим руководящим органам, так как не уверены, что избранные в эти органы лица действительно являются наиболее достойными и ценными работниками, а не случайно попавшим, в результате ловких интриг, элементом.

VII. Об отношении к парторганам

Всесоюзная и Моск[овская] орг[аниза]ции пролетписателей фактически поставили себя в такое положение, что ни ЦК, ни МК не считают эти организации себе подсобными, так как они слишком мало имеют точек соприкосновения с общепартийной линией в данном вопросе и всею системой своего поведения отнюдь не стремятся приблизиться к парторганам, а, наоборот, отмежевываются от них и тем самым восстанавливают их против себя, а равно и огромную массу отдельных товарищей, становящихся из друзей — или, в худшем случае, нейтральных по отношению к пролетлитературе — ее открытыми врагами. Тактика орг[аниза]ций пролетписателей должна быть направлена не к замыканию в какую-то кастовую группу, не к нарождению новых и новых кадров противников, а наоборот — к превращению в общественно ценную категорию, которая должна завоевать себе как партийное, так и общественное, в широком смысле, внимание. В частности, восстановление воронщины за последние месяцы мы объясняем в значит[ельной] мере методами родовщи-

ны, поставившей против орг[аниза]ций пролетписателей все партийные органы и вызвавшей, как реакцию, это временное реставрирование воронщины.

VIII. О журнале «На посту»

Боевой орган пролетлитературы, журнал «На посту», должен стать органом Всесоюзной ассоциации пролетписателей и редакционная его коллегия или отв[етственный] редактор должны избираться и назначаться правлением последней. В данное время ж[урнал] «На посту» в отношении организационном существует совершенно абсурдно, так как его редколлегия приобрела себе исключительные права на свое пополнение или сокращение, и правл[ение] ВАПП, по существу, не имеет никакого отношения к вопросам изменения редакционного состава журнала, в то время как «На посту» действует, по существу, все время именем этих организаций: ВАПП, МАПП и т. д. Эту возмутительную ненормальность следует устранить немедленно и сделать «На посту» нормальным органом ВАПП со всеми вытекающими отсюда организац[ионны]ми последствиями.

IX. О единстве фронта пролетлитературы

Неоднократные решения и постановления об объединении рядов пролетлитературы достигли наконец своего организационного оформления: «К[узни]ца» и «Твори!» организационно слились с МАПП. Это слияние необходимо понимать как подлинное и фактическое слияние двух враждовавших доселе сторон, надеющихся и стремящихся в совместной работе изучить недоразумения и противоречия, обостренные в процессе борьбы и резкой полемики. Дружная открытая совместная работа, бесспорно, поможет на деле этому объединению.

В то же время некоторые товарищи склонны рассматривать объединение это единственно как тактический маневр и не верят, не хотят верить и предприни-

мать шагов к фактическому слиянию, к действительной ассимиляции. Подобное положение грозит новым разрывом, новыми осложнениями и новою длительной, изнурительной, бесполезной борьбой внутри рядов самой пролетлитературы. Мы считаем совершенно необходимым усилить настойчивость в фактическом изживании противоречий и действит[ель]но, на практике, в совместной работе,— объединить ряды пролет[арской] литературы.

X. За что мы боремся

1. Мы считаем позорным и вредным для развития пролетарской литературы в дальнейшем руководствоваться орг[аниза]циям пролетписателей методами родовщины, а, наоборот, за счет этих вреднейших методов конспирирования и ловкачества считаем необходимым усилить максимально деятельность нормально избираемых пролетписательских органов.

2. Охраняя основные, принципиальные устои напостовства, призванного бороться за успешное развертывание пролетлитературы, мы считаем необходимым тщательно оберегать его от извращения родовщиной, сбивающей напостовство на путь кастового и мелочного злопыхательства.

3. Наше время, по преимуществу,— время объединений и установления контакта с родственными организациями, а не время расколов и разжигания второстепенных расхождений. Фронт пролетлитературы должен быть во что бы то ни стало фактически объединен, наиболее близкие из непролетарских писателей должны быть активно вовлечены в орбиту нашего воздействия, пролетписатели должны в действительности взяться за серьезное производство худож[ественны]х ценностей.

Особенное внимание следует обратить на теоретич[ескую] подготовку писательского молодняка из рабкоровских литкружков, вовлекая его как в учебу, так и в серьезную критику производимого кружком худож[ественного] материала.

4. Установление теснейшего контакта в повседнев-

ной работе с соотв[етствующими] органами партии, а равно и постоянное руководство со стороны этих органов делом развития пролетлитературы мы считаем основной предпосылкой успешного и быстрого ее роста...

7 мая

Серафимович

Все гладит, гладит светлую, розовую лысину головы и приговаривает отечески:

— Да, вам вот, молодежи, вольно думать о всяких планах, а мне куда уж — год вот ничего нет, сил не хватает...

— Скажу я вам, Александр Серафимович, материалу у меня, материалу,— вдруг заторопился излить ему радость свою Виктор [1],— эх и материалу: кажется, так вот сел бы — полвека прописал. Да! И хватило бы. Я все записываю — все, что случится по пути интересного. И материалу скопилось: ба! Теперь только вот и распределяю: это туда, это сюда, это тому в зубы дать, это этому... Наше писательское дело — вижу я вообще — это по большей части дело организационное: умей все оформить, организовать.

— Правильно! Это вот, брат, так ловко сказал,— вдруг воодушевился Серафимович, хлопнул Виктора по плечу и с горестью добавил: — А я вот, старый дурак, ничего не записывал — все наново приходится теперь собирать. Все некогда, казалось,— да лень эта одна, какое — некогда...

И когда Виктор рассказывал ему — что в дневниках,— Серафимович жадно-жадно вслушивался, будто все, до строчки, до слова хотел запечатлеть в дряхлой голове своей.

А потом охал, жаловался:

— Кабы не поясница моя, кабы не сердце... Уж этот мне артериосклероз... Надо будет этим летом легкие направить...

Выходило: места нет у него здорового. А все вот шумит, все вот волнуется, все в заботах: толчется в оче-

редях у станционных касс, нюхает по вагонам, на постоялых дворах, у фабричных ворот, на окраинах,— бывает, и к себе зазывает рабочего, за бутылку пива усаживает, слушает, что тот ему говорит, а потом записывает.

28 мая

Еду

Ну, еду[1]. Беру свою походную корзинку, кличу возницу и айда на Курский.

Как-то, каков-то вернусь по осени, один ли вернусь али с Наей?

Ежели уж направлю здоровье — эх, и беречь теперь стану: так расходовать нельзя, надо все расходовать умеючи, а особенно здоровье.

Еду спокойный: кончил, закончил все дела, прикончил все и по МАППу[2] и по ГИЗу, по издательствам, по своей домашней литературной работе: всюду свел концы с концами. Еду спокойный.

Ну — лечись, Митяй, с осени крепко надо работать.

4 августа

Итоги летнего отдыха

Ну, как? Воротился вот снова (ах, снова и снова, из года в год — по трафарету!) воротился в любимый Нащекинский[1]. Вошел в комнату, где посмотрели затомившимся от ожиданья взором тысячи томов, где со стены пристально глянул в самое сердце острый глаз Ильича, а вот он и сам стоит на трибуне, поднял руку, что-то вдохновенно доказывает толпе; вот кузнец, каменный кузнец замахнулся молотом, выгнулся крепким, мускулистым телом над чугунной наковальней; вот бюсты Некрасова и Шевченко — отчего тут они, на столе, а не иные, отчего вся память и любовь — им, двоим? Глянули знакомыми глазами — зеленокудрый абажур, спутник всей гражданской эпопеи, глянули

острые карандаши, знакомый сероспинный пресс, знакомые, так еще недавно начатые записки... Я оставил все это два месяца назад — ехал тогда, полный надежд на полное выздоровление. Ну, и как? А вот как: болела тогда голова — болит она и теперь; возбуждался, вскипал тогда от мельчайшего,— также и ныне; уставал тогда быстро в работе; пока не знаю, как теперь. Значит, что было — осталось; хотя, признаться надо, голова болит чуть реже, чуть меньше.

Зато одышка — какой не было до отдыха, зато сердце часто так болит, как прежде не баливало,— выходит, что тут кой-что и прижил еще гнусавое. Кабы да эти два месяца в Сосенке — этто да, этто был бы отдых! А то — на-ко, зарядил какое путешествие, какое мацестинское убиение! Итог — плох. Как-то хватит на год, уж и не знаю! Завтра на работу.

20 августа

Он мне позвонил, Бабель:

— Вечером можно, половина десятого?

— Можно, жду.

Ровно в $9^1/_2$ он был у меня в Нащекинском. Я не видал его с полгода. За эти полгода знал лишь, что у Бабеля астма, что лечится где-то на Кавказе, кто-то бабахнул даже, что при смерти... Теперь я видел перед собою широкого, смеющегося, здорового человека. Астма, узнаю,— верно была, но при смерти за это время быть не случалось, на Кавказе — тоже: был где-то на конском заводе не то в Черниговской, не то в подобной губернии. А тут, последнее время, все в Сергиеве у себя. Там же, около, и Воронский — с ним часто видится, говорит. Между прочим, высказывал:

— Чует он, что дело дрянь... подыхает он со своей линией...[1] Хоть и остался он в «Нови», а ей-богу же, ясно всякому, что держится человек одними личными связями... одними знакомствами... другой на его месте — десять раз мордой по грязи бы писал...— Потом о другом:— Бранюсь с ним часто из-за вас: не считает

он ваше творчество художественным... форма, говорит, не та... на выучку бы мне Фурманова дать, я б его вышколил...

Как-то составляли список писателей, портреты которых надо дать в «Кр[асной] нови». Бабель выставил в числе других и мою фамилию. Воронский снял: не надо!

Я следил за собой: злюсь ли я на Воронского. И, к удивленью своему, обнаружил: ничуть. Отчего? Верно, оттого, что неожиданного, нового тут нет для меня ничего: это ж так естественно, логично... Это ж лишь часть его общей системы, взглядов в целом — за что тут обижаться? Я не согласен, это да, но... обижаться?

Говорил Бабель о своих страданьях, о поисках новой формы: старая устарела, не удовлетворяет, а новая — не дается:

— Пишу-пишу, говорит, рву-рву... беда просто, измучился. Так это я — работаю, много читаю... В Госкино, на фабрике много занят: словом, не кисель... общественный работник, ха-ха! Но — мучительно дается мне этот перелом. Думаю — бросить все, на Тибет куда-нибудь уехать, или красноармейцем в полк, писарем ли в контору. Оторваться надо бы... Жена вот уезжает в Париж, там работать будет в полпредстве... Мать тоже отправляю отсюда... Свободен... И надо скрыться, невмоготу стало.

Мы говорили долго, за полночь.

Я чувствую, как благотворно, успокаивающе, бодряще действуют на него мои спокойные слова. Он любит приходить, говорить со мной.

Мне любо с ним говорить — парень занятный.

26 августа

Мое знакомство с Леонидом Леоновым

Накоряков Ник[олай] Ник[андрович][1] говорит:

— Сегодня придет Леонов, поговорим... Может, книжку возьмем у него... Большой он будет писатель... Вот познакомлю — поговорим...

Я с глубочайшим волнением ждал этой встречи — не знаю, отчего я волновался. Но — да!

Вышел через час, положим, в соседнюю комнату — гляжу, сидит Васька Лаптев. Вы знаете, кто такой Васька Лаптев? Нет? Так я поясню: четыре года назад в редакции газеты МВО «Красный воин» работала вся зеленая молодежь — работал там тогда и В. Лапоть[2]. Писал он, кажется, очерки-стихи. Не знаю, что-то, словом, вроде того. Парнишка приятный и всеми нами любимый: мы там жили стенка в стенку. Наша стенка — это журнал «ВМиР», ихняя — газета. И вот прошло то время! Потом, года два назад или три, пришел я по делу к художнику Фалилееву на квартиру. Глядь — за ширмой у него Васька Лапоть.

— Ты что, говорю, тут делаешь?

— А я, говорит, пишу вот... Живу тут, в этом углу... Пишу...

Что он писал — я мало тем поинтересовался, думал, что по-старому, из агиток этих. Я ему тоже пояснил, что пишу-де, но мало интересовались оба, кто что пишет. Были мы в общем тогда с ним вместе часа три, поминали добром старую жизнь нашу за стенками — через стену. Ну, ладно. С тех пор Ваську я не видал ни разу. Но это все лишь присказка — сказка впереди. Сидим мы с Никандрычем, работаем, позабыл уж я вовсе про то, что Ваську видел в комнатке рядом,— на ходу мы поздоровались, улыбнулись один другому. Только Васька-то и входит вдруг, входит, а Никандрыч встал, да и говорит мне:

— Дмитрий Андреевич, позвольте вас познакомить: это Леонид Леонов... писатель...

Я вытаращил глаза на Ваську, но спохватился враз, подобрался, молчу, как будто и неожиданности тут нет никакой, как будто все это само собой известно мне давно. Даже рассмеялся, в живот ткнул Ваську:

— Да мы ж, боже мой,— мы четыре года знакомы!

А сам гляжу ему в густые зеленые глаза и думаю:

«Да что ж за диво такое! Вот не гадал!»

И потом я все заново приглядывался к лицу его и видел, что на лице у него есть будущее, а особенно в этих глубоких, налитых электричеством большого

мастера зеленых глазах его, Васьки. И чувствовал я, как растет во мне интерес к нему, растет уваженье, чуткое вниманье к слову, к движению его. Я сразу преобразил Ваську Лаптева в Леонова, отличного, большого в будущем писателя.

И теперь, ин встречусь — нет больше для меня Васьки Лаптева, не вижу я его в Леониде Леонове — вижу только этого нового человека, по-новому чувствую, понимаю его — вот как!

Подарил он мне книжки.

А я ему свою — «Мятеж» и написал там: «Четыре года я видел тебя — и не знал, что это ты!»...

5 сентября

Я получил письмо от М. Горького

Какая же это непередаваемая радость: Максим Горький прислал письмо. Пишет там о «Чапаеве», о «Мятеже», о моей литературной работе. Так хорошо бранит, так умело подбадривает...

Настя [1] вошла ко мне в кабинет:

— Тебе два письма.

Смотрю, на одном: Луганск — это товарищ. На другом: Сорренто...

Занялся дух:

— Настя, говорю, ты никого ко мне не впускай минут десять... Очень буду занят.

Разорвав письмо, читаю.

Грудь распирало от радости за каждое слово, за каждый совет. Я ему умышленно сдержанно написал от себя, когда посылал книжки:

во-первых — есть, верно, перлюстрация;

во-вторых — что же буду нежность свою передавать: а может, он подумает, что я гоститься к нему, заигрывать лезу?

И потому написал сухо, хоть хотелось много-много сказать ему, как любимому.

Письмо не хвалебное это, его письмо — он, наоборот, больше бранит, указывает. Но какую же я почувствовал силу после этих бодрящих строк.

Он, такой большой и чуткий, советует писать мне дальше и говорит, что будет хороший толк.

Он мне советует больше рвать, жечь, переписывать многократно то, что пишу,— да, в этом я уже убедился до тысячи раз, что надо именно... не жалеть того, что написал: жги, рви его, пока не сделаешь отлично.

В последних словах он дает понять, что не прочь поддержать переписку.

Я ему напишу. Теперь уж напишу что-то по-настоящему, от сердца: он ответил хорошо, он ждет письма! Значит, я имею право сказать ему про самое дорогое [2].

20 октября

Как зачались «Писатели»

Как я задумал их писать, почему — не знаю. По всей видимости, увлекла на эту тему наша весенняя мапповская борьба: очень уж колоритно она промчалась. А как только явилась мысль: хорошо бы очеркнуть! — тут уж и всякое подспорье в подмогу:

я-де знаю хорошо работу издательскую, я знаю низовую писательскую среду и т. д. и т. д.

Забрала охота — решил писать.

И когда решил — совсем не знал, о чем именно будет идти письмо мое:

опишу ли только весеннюю борьбу;

дам ли состояние литфронта наших дней или захвачу глубокие пласты в десятки лет назад;

что это будет: мемуары, записки мои или роман,— роман во всем объеме понятия;

что это будет — небольшая книжечка или целый огромный томище!

Только ли взять писат[ельскую] среду наших дней или рыться по газетам, журналам и развернуть всю сложную эпоху дней нэпа, конца войны, дискуссии и т. д.

Словом — массовая масса вопросов.

Я совершенно не знал ничего, когда приступал.

А приступил так — задал себе вопрос: будут беллетристы участвовать в книге? Будут.

И наметил каждого на отдельный лист, 15—20 типов, то есть проставил только имена, имея перед духовным взором живого человека, хорошо мне знакомого — он будет стержнем, а вокруг навью. Его, может быть, солью с другим — третьим, пятым, это потом виднее будет, а пока вот поставить его как веху, чтоб не сбиваться в трудном извилистом творческом пути. То же проделал с поэтами и критиками: поставил стержневые фигуры, наиболее характерные: сложившийся, начинающий, даровитый, бездарный, страстный, вялый, рабочий, старая труха интеллигент и т. д.

Три основные категории писательские наметил. Листочки разложил в три груды: бел[летристы], поэты, критики.

Затем под особым листом-списком образовалась новая груда листов: на одном «Литкружок», на другом «Партком», на третьем «Наш съезд» и т. д. и т. д.

Набралось листов 20 — под ними будет группироваться и в них вписываться разный материал по этим именно категориям. Это первая стадия работы.

Дальше — на стол все мои записки о писателях, по МАППу, все мои дневники, газеты и т. д. и т. д. и каждую бумажку — к определенному типу или вопросу (литкружок, партком и т. д.).

Все это разбирается, подшивается, все это зачем-то надо мне — пока не знаю точно — зачем и в какой степени. Многое-многое, разумеется, подшито зря, не туда, куда надо, многое следует перегруппировать или вовсе выкинуть,— пусть, это потом, а пока так надо. И я делаю.

А сюжета — нет. Сюжета все нет. Скелета книги не имею — имею в голове и сердце только разорванные отдельные картинки: вот сценка в МКК, вот заседание литкружка, наше ночное бдение и т. д., но целого нет: с чего начну, чем кончу, как — этого не знаю.

Говорил как-то с Федей Гладковым, дней 5—6 назад, он мне и посоветовал: «Ты три-четыре типа коренных возьми, их продумай от начала до конца — а остальные все пришьются сами». Я подумывал над его словами.

Вчера с Наей потолковали — не в мемуарной ли форме все писать? И над этим подумал. Все думаю-думаю, а решать гожу. Дочту вот дневники — так писать надо. И как возьму ручку в ручки, как напишу первые строки — не удержишь. Знаю.

15 декабря

У Россолимо

За последние месяцы стала ныть, а иной раз остро выть — левая часть головы, чаще площадка виска. Потом — мозжечок — он особенно быстро отзывается на нервные взрывы: словно тут гирю к нему привесят, так мучительно тянет и давит. А отходит — медленно-медленно. Пошел к Россолимо.

...А он мне:

1) Болезнь — органич[еского] характера, что-то неладно в самом организме...

2) Попейте iod недель шесть, по ложке, два раза в день, после пищи.

3) Острого и сырого не употреблять.

4) Курить в день 5—6 штук.

5) Обливание временно прекратить, гимнастику, неизнурительную, можно оставить.

6) Спать 8 ч[асов], работать поменьше...

[1925]

Не пишется

Когда не пишется — я злой хожу взад-вперед, с угла на угол — как в клетке зверь.

И[ван] Вас[ильевич] [1] по-иному:

На столе стоит деревянная деревенская баба — знаете это: кустарка, раскрашенная.

Он ей отвинчивает голову — вынимает бабу поменьше, потом отвинчивает голову этой — и до тех пор, пока в ряд не выстроится баб с дюжину, одна пониже ростом другой. Тогда начинается обратный процесс:

вставляет бабу в бабу. В общем — приятнейшее занятие, проходить оно может часами, и думать в это время куда как хорошо.

Иной раз уйдет от стола — так и забудет дюжину баб. Подойдет потом жинка, улыбнется, все поймет.

[*После 27 декабря*]

Сережа Есенин

Сережа-то Есенин: по-ве-сил-ся!

У меня где-то скребет и точит в нутре моем: большое и дорогое мы все потеряли. Такой это был органический, ароматный талант, этот Есенин, вся эта гамма его простых и мудрых стихов — нет ей равного в том, что у нас перед глазами.

И Демьян [1] давеча тоже:

— Такое, говорит, ему спускали, ахнуть можно! Меня десять раз из партии выгнали бы... А его — холили вот, берегли... Преступник, одним словом — пропил, дьявол, такое дарованье. Отойдет вот похоронная страда — лекцию прочту о нем... злую! Отхлещу от самого сердца!

И мы посидели — погоревали, талант богатый Сережин оплакали:

— Что дать-то мог парень — э-эх, много!

Я сижу вспоминаю последние мои с Сережей встречи. А прежде всех — самую наипоследнюю.

Пришел он с неделю-полторы назад к нам в отдел — мы издаем ведь его собрание сочинений, так ходил часто по этому делу.

Входит в отдел... Пьяненький... вынул из бокового кармана сверток листочков — там поэма, на машинке:

— Прочесть, что ли?

— Читай, читай, Сережа.

Мы его окружили: Евдокимов Иван Вас[ильевич], я, Тарас Родионов [2], кто-то еще.

Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму [3]. Мы жадно глотали ароматичную, свежую креп-

кую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри.

А Сережа читал. Голос у него, знаете какой — осипло-хриплый, испитой до шипучего шепота. Но когда он начинал читать — увлекался, разгорался, тогда и голос крепчал, яснел, он читал, Сережа, хорошо. В читке его, в собственной, в есенинской, стихи выигрывали. Сережа никогда не ломался, не кичился ни стихами своими, ни успехами — он даже стыдился, избегал, где мог, проявленья внимания к себе, когда был трезв.

Кто видел его трезвым, тот запомнит, не забудет никогда кроткое по-детски мерцание его светлых, голубых глаз.

И если улыбался Сережа — тогда лицо его становилось вовсе младенческим: ясным и наивным.

Разговоров теоретических он не любил, он их избегал, он их чуть стыдился, потому что очень-очень многого не знал, а болтать с потолка не любил. Но иной ра́з он вступался в спор по какому-нибудь большому, положим, политическому вопросу: о, тогда лицо его пыталось скроиться в серьезную гримасу, но гримаса только портила невинное, не тронутое большими вопросами борьбы лицо его.

Сережа хмурил лоб, глазами старался навести строгость, руками раскидывал в расчете на убедительность, тон его голоса гортанился, строжал. Я в такие минуты смотрел на него, как на малютку годов 7—8, высказывающего свое мнение (ну, к примеру, по вопросу о падении министерства Бриана). Сережа пыжился, тужился, видимо, потел — доставал платок, часто-часто отирался. Чтобы спасти, я начинал разговор о ямбах...

Преображался, как святой перед пуском в рай; не узнать Сережу: вздрагивали радостью глаза, весь его корпус опрощался и облегчался, словно скинув с себя путы или камни, голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда — и без гортанного клекота — Сережа говорил о любимом: о стихах.

Потом поехали мы гуртом в Малаховку к Тарасу Родионычу: Анна Берзина, Сережа, я, Березовский

Феоктист [4] — всего человек 6—8. Там Сережа читал нам последние свои поэмы: ух, как читал!

А потом на пруду купались — он плавал мастерски, едва ли не лучше нас всех. Мне запомнилось чистое, белое, крепкое тело Сережи — я даже и не ждал, что оно так сохранилось, это у горькой-то пропойцы!

Он был чист, строен, красив — у него ж одни русые кудельки чего стоили! После купки сидели целую ночь — Сережа был радостный, все читал стихи.

А потом здесь вот, в Госиздате, встречались мы почти что каждую неделю, а то и чаще бывало: [5] пьян все был Сережа, каждоразно пьян. Как-то жена его сказала, что жить Сереже врачи сказали... 6 месяцев — это было месяца три назад! Может, он потому теперь и кончил? Стоит ли де ждать? Будут болтать много о «кризисе сознания», но это все будет вполовину чепуха по отношению к Сереже,— у него все это проще.

1926 год

1 января

«Чапаева» перерабатывать али нет?

Мой рост, отточка мастерства за последний год, выросшая бережность и любовь к слову, бережность к имени своему — это все не раз наводило меня на мысль переработать коренным образом «Чапая» — самую любимую мою книгу, моего литературного первенца.

Мог ли бы я его сделать лучше? Мог. Могу. Помню, Бабель как-то говорил мне:

— Вся разница моих (бабелевских) очерков и твоего «Чапаева» в том, что «Чапаев» — это первая корректура, а мои очерки — четвертая.

Эти слова Исаака не выпадали из моего сознания, из памяти. Может быть, именно они отчасти и толкнули на то, чтоб я кавказские свои очерки [1] — материал по существу третьестепенный — обрабатывал с такой тщательностью. Я на этих очерках пробовал себя. И увидел, что могу, что ушел вперед, вырос. Над очерками работал я долго и незаслуженно много — зато убедился в важном, понял основное в мастерстве. И вот, писал дальше «Фрунзе», писал про «Отца» [2], свою «Талку» — над ними работал как бы по привычке так же усердно и тщательно, как над очерками,— значит, вошло в плоть, в существо, в обиход.

Уж и хотел бы, может, поторопиться, вежливо выражаясь — похалтурить — ан совесть литературная и привычка — не дают! Это хорошо.

Очень ясно, что теперь вся работа в отношении количественном, вообще пойдет тише. Ну и ладно. Эк, беда, подумаешь! Говорить откровенно — я и работаю-то уж не так сосредоточенно, как во времена «Чапаева»,— тут и больная голова, переутомленность, занятость...

Вот взять «Писателей» [3]. Когда задумал и начал? Давно. Больше полгода. А что сделал? Мало. Только сырье по кучкам раскидал... Не работается. Не пишется. Да и не люблю как-то я эту книгу,— так не люблю, как «Чапая», даже «Мятеж». Но писать буду: и времени, труда много затратил, и тема интересна, и «Эпопею» ворошить рано, и одними мелочами пробавляться не хочу.

Но, поскольку не захвачен,— естественно думал много и о другом. Тут-то и выплыл вопрос о переработке, о коренной переработке «Чапая». Как это может быть? А так, что на полгода — отложить «Писателей», вовсе отложить, взять «Чапая» с первой строки и переписывать — обрабатывать тщательнейше строчку за строчкой — так все 15 листов!

Это — полгода. И больше в эти полгода — ничего. Это как раз к собранию сочинений:

Обновленный «Чапаев»!

И уж вовсе решил. Достал стопу бумаги, на первом листе написал, как когда-то, три года назад:

«Чапаев»

Написал — и испытал то самое чувство, когда его садился писать впервые. Отступил. Дал главу:

«Рабочий отряд».

И встал. Открыл «Чапая». Прочитал несколько страниц и ощутил, что перерабатывать не могу.

Как же я стану — да тут каждое мне местечко дорого — нет, нет, не стану и не могу. Самое большое, на что пойду,— словарь подсвежить, но это ж я могу и по книжному тексту сделать. А в коренную — не могу. Тогда, как готовил черновики,— тогда, может, это бы и легко проходило, а теперь — трудно. И я отказался от мысли о переработке.

Поняв это — ощутил необычайную легкость, мне стало радостно оттого, что вдруг вот и неожиданно разрешилась эта мысль о переработке, так меня измучившая за последние месяцы. Все время стояла эта дилемма — за ближний год что лучше: 1. Переработать «Чапая». 2. Дать новую книгу «Писателей»?

И я не знал, что делать, не решался сделать выбор, а оттого — стояла вся работа, я ничего не делал.

Теперь — легко. Я обрадован открытием. Я легко освежу текст [4] и — за «Писателей».

Ишь как это ладно вышло!

24 января

Бабель

Ходит вот и Бабель. Этот уже вовсе дружьи ведет беседы. Мы очень любим говорить с ним про то — кто и как пишет. Это у нас самое любимое: до 2-х, до 4-х, почти до зари говорим. Давно уж думает он про книгу, про Чека, об этой книге говорил еще весной, думает все и теперь. Да «всего» пока нельзя, говорит, сказать, а комкать неохота — потому думаю, коплю, но терплю... Пишу драму. Написал сценарий. Но это — не главное. Главное — Чека: ею схвачен.

* * *

Всеволод Иванов

Нахохлившись, сидел над столом и когда давал руку — привстал чуть-чуть на стуле — это получилось немножко наивно, но очень-очень мило, сразу показало нежную его нутровину. Глаза хорошие, добрые, умные, а главное — перестрадавшие. Говорит очень мало, видимо неохотно и, видимо, всегда так. Он мне сразу очень люб. Так люб, что я принял его в глубь сердца, как немногих. Так у меня бывает редко.

* * *

Н. Н. Никитин

Очень невысок, но крепок и строен — крепко вошел он в отдел, по-знакомому поздоровался с Тарасом, с Пиксановым [1], с завом — видно, что кто-то из своих. И заговорил про дело: предлагал рукопись.

— Кто это?

Я никогда не видал его, но подумал:

«Должно быть, Никитин». Отчего? Не знаю. Может, какая фотография удержалась в памяти, может, видел его где летучкой, да не знал кто. Только сразу подумал:

«Никитин».

И когда ушел он — вышел в «сосеком» (соседнюю комнату), я только сверился у Тараса:

— Никитин?

— Да.

— Рукопись?

— Сборник очерков...

Я вышел в сосеком. Н[икитин] стоял там. Буданцев [2] сразу обоим:

— Не знакомы? Пожалуйста!

— Вон он какой... Фурманов...

И я за ним протянул:

— Вот она какая... Полага-то...[3]

И хорошо засмеялись.

Слово под слово, слова на слово — разговорились о напостовстве, помянули первый № журнала, где волинская статья о его «Рв[отном] форте» [4].

— Не помогла, говорит, она мне — словно я там враг какой Советской России: этого же нет. Нет и не было никогда...

Вот я бы вам хотел прочесть новые свои две вещи: «Любовь» да... («Чертовы предки», што ли). Собраться бы с напостовцами.

Я ухватился за эту мысль. И стал собирать.

Волин обещал — не пришел. Авербах — тоже. Ли-

бединский тоже, куда-то провожал Марианну, Вардин тоже, чего-то переписывал или дописывал...

Одним словом — пришел только Лора [5]. И мы читали. Критиковали. Но хорошо, серьезно критиковали, так что польза ему. Это дело.

Он уходил дружеский и довольный. Ему за этот вечер рассеяли весь туман насчет подлинного напостовства — не того, что слышал он от Воронского. Так-то вот ближе к делу. Так-то их лучше обработаешь. А их ведь так немного — можно обрабатывать и индивидуально.

* * *

Пильняк

Рыжеватый, тощий и некрасивый. Подслеповат и потому в очках.

— А фамилия-то, говорит, моя настоящая не Пильняк, а... Вогау.

И он как-то опустился на пол предо мной, лишь сказал эти слова. Был он весь в кожаном — купил где-то за границей и очень дешево.

Умно и занятно рассказывает всякое, главным образом, про путешествия.

Впечатленье — растрепанного мочального куля. Звал все меня на охоту:

— На лыжах-то, говорит, пойдем.

За это понравился: значит, воздух любит ядреный!

* * *

Кириллов — Герасимов [6]

Попробуйте-ка представить их врозь? Это все равно, что кучера себе представить с одной вожжой. Не то что дружат, ходят вместе, в отпуск в Крым садят — даже вот и книжку-то последнюю вместе выпустили.

Вот Литхуд. Открывается дверь: высокий, рослый, красивый, милый — входит Герасимов. Зачинает раз-

говор. Не подумайте чего: Кириллов всего-навсего «прошел» — он входит через 4 минуты: в коротенькой меховке, в шапчонке, сам коротенький и чахлый — полная противоположность красавцу Герасимову. Пока это.

* * *

Алексей Толстой

Этот зашел как власть имеющий: дородный и сытый, без поклона — ждет, когда ему поклонятся. А у нас тут кланяться-то было некому: один я сидел. Предлагает собранье да подсказывает:

— Другое у меня издательство берет и цену дает хорошую, да я все-таки вам хочу...

— А там что?

— А там... нет — у вас лучше...

— То-то...

И мы улыбаемся лукаво: знаем-де эти приемчики: не ты сто первый!

Одет широко в шубу, по-помещичьи; на мясистом, породистом носу пенсне, а под ними умные, светлые глаза.

Руки холеные, хоть ему и полсотни годов. Голос свеж и крепок, видно, что закваска столетняя, толстовская. Я глядел и думал: «Аэлита»? [7]

А умный, образованный ты должен быть человек! Хорошо это писателю! Даже обязательно!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАПИСИ

О СОВРЕМЕННОМ ПИСАТЕЛЕ

Прежде писатель, даже большой, мог не участвовать в политической государственной жизни, и ничего — это ему сходило с рук: служитель искусства! Баста! Этим объяснялось и оправдывалось все.

Ныне не то. Каждый порядочный художник — непременно причастен к общегосударственной жизни, понимает ее, ею интересуется, следит за нею, даже часто — активно в ней участвует своими собственными силами, знаниями, опытом.

ЗАПИСКИ ОБ ИСКУССТВЕ

Чтобы понять художественное произведение, следует иметь в виду:

1. Общую совокупность произведений данного художника.
2. Школу, к которой он принадлежит.
3. Сограждан и современников.

Чтобы понять художника или школу художников, надо ясно представить себе уровень нравственного и умственного состояния того времени.

Произведения человеческого ума, как и произведения природы, объясняются своими средами.

Эстетика должна быть наукой исторической и отнюдь не догматической. Она не предписывает правил, а только выясняет законы; она не должна осуждать или прощать — она только указывает и объясняет.

Искусство имеет целью пополнять недостающее в природе.

Художественное произведение имеет целью обнаружить какой-либо существенный или наиболее выдающийся характер, стало быть, какую-нибудь преобладающую идею, яснее и полнее, чем она проявляется в действительных предметах.

Для этого художник устраняет все черты, закрывающие этот характер, избирает между остальными те, которые лучше обнаруживают его, выправляет те, в которых характер этот извращен, и восстанавливает те, в которых он почти уничтожен.

Другие видят только части, а художник ловит целое, общий дух его.

О СОДЕРЖАНИИ

Все ли можно писать? Все. Только цель неодинаковая.

В бурю гражданских битв пишешь об особенностях греческих ваз... Они красивы и достойны, а все-таки ты сукин сын: или по идиотизму или по классовости.

Писать надо то, что служит, непременно — прямо или косвенно — служит движению вперед. Для фарфоровых ваз есть фарфоровое и время, а не стальное.

Впрочем, можешь и про вазы, но душа произведения, смысл, гармония чувств и настроений — все решительно должно быть близким современному, его пополнять, объяснять, ему помогать идти вперед.

ОБ ИСКУССТВЕ, О ЛИТЕРАТУРЕ

Как писать? Вопрос удивительный, непонятный, почти целиком обреченный на безответность. Крошечку завесы можно, впрочем, поднять.

Так, чтобы это действовало в отношении художественном: подымало, будило, родило новое. Драма, повесть, стихотворение — все равно. Только не упивайся одной техникой, она вещь формальная, чудо мо-

жет быть и без нее, а с другой стороны, она, как тина болотная, втягивает и губит подчас с головкой, остается голая любовь к форме — это нечто враждебное, совсем чуждое поэзии. Пиши, чтоб понимали.

ВОПРОСЫ КОМПОЗИЦИИ

1. У каждого действующего лица должен быть заранее определен основной характер, и факты-слова, поступки, форма реагирования, реплики, смена настроений и т. д. — должны быть только естественным проявлением определенной сущности характера, которому ничто не должно противоречить, даже самый неестественный по первому взгляду факт.

2. Действующие лица должны быть нужны по ходу действия; должны быть актуальны и все время находиться в психологическом движении, никогда не должны быть мертвы и очень редко эпизодичны: ценнее, когда они участвуют на протяжении всего действия, почти до конца.

3. Действующих лиц следует свести между собою, и, может быть, неоднократно, для выявления разных черт характера в разной обстановке.

4. Тема должна быть полна интересных коллизий, избегая воспроизведения известного заранее. Допустимы неожиданности, но не часто, дабы не сбиться на уголовщину, на авантюризм, сенсационность, филигранное пустяковство.

5. Каждая черта характера должна быть изображена наиболее выпукло, так сказать, конденсированно в одном месте, а в других — лишь оттеняться. И на каждую черту характера хорошо отвести отдельную, наиболее для этой черты яркую сцену.

6. Чрезвычайно полезно в основу положить факт действительной жизни, сведя до минимума выдумки (трактовка, развитие и художественность формы, разумеется, не выдумка).

7. Весь характер сразу не раскрывать, а только по частям и намекам.

8. Сила удара (художественного) относится на конец.

9. Допустимы параллели (Нелли (ее мать) — Наташа) [1].

10. Следить за точностью в обрисовке внешних проявлений психологического состояния (движение рук, головы, побледнение, покраснение, физическое реагирование и т. д).

11. Вводить письма, выписки из дневника (письма и дневник могут быть «найдены»), газетные вырезки и пр.

12. Мысли вслух и воспоминания как прием (можно дать в этом виде автобиографию и биографию).

13. *По значительности и сложности* типа отводить ему количество и масштаб действия.

Коллизия. Интересная неожиданность, событие: надо помнить в этот момент всех присутствующих и по характеру дать каждому свое необходимое действие, положение, слово.

Вклеивать памятные особенности эпохи — для полноты ее очерка (открытия, важные события в разных областях науки и т. д.).

Закончив в основном чью-либо историю (Денисов, Долохов) [2], можно оставлять это лицо надолго, тома на полтора-два как бы забыть о нем, потом возвратиться, где будет необходимо.

Все время учитывать изменения (главным образом психологические), которые происходят во взаимоотношениях между действующими лицами благодаря столкновениям.

Помнить все написанное.

1. Никогда не останавливать действия: я иду — говорю так, сижу, лежу — говорю этак; бреюсь — уже не говорю, а только жестами поясняю.

2. Ясней, выпуклей представлять разницу между тем, что лицо думает и говорит или делает.

3. Прежде чем действие составлять — продумать, знать его в деталях и не нырять случайно от факта к другому.

4. Каждое действие и слово должно быть целесообразным и необходимым. Лишних — избегать.

5. Эпитеты должны быть особенно удачны, точны, соответственны, оригинальны, даже неожиданны.

Нет ничего бесцветней шаблонных эпитетов — вместо разъяснения понятия и образа они его лишь затемняют, ибо топят в серой гуще всеобщности.

1. Неодинаково всему следует уделять внимание: важному — много, подробно, тщательно; второстепенному — мало, бегло.

2. Не избегать запутанных, сложных коллизий, но их распутывать осмотрительно, до крайних мелочей.

3. Действующее лицо иметь все время в виду, как единицу динамическую.

4. Следует, чтобы внешние события отражались на «физике» людей, их движеньях, выражении лица и т. д.

5. Черновой, сырой набросок всех составных частей произведения должен быть составлен в самом начале.

6. Никогда не увлекаться в отрицательном типе изображением отрицательных черт, а в положительном — положительных: пряно.

7. Описания обстановки, костюма и т. д. должны производиться только в той части, поскольку полезно для уяснения данного характера и его особенностей.

8. Особенно выигрышный прием — через (от) сновидение подойти к действительности.

9. Действующее лицо не хочет, отмахивается, внешне протестует, но что-то сильнее его самого — тянет на другую сторону, убеждает в чем-то ином, неизбежном.

10. У каждого возраста своя типичная психология, склад ума, объем и характер интересов, форма выявления чувств и т. д. (уклонения от типа — по индивидуальности).

1. С чрезвычайной тщательностью отделывать характерные диалоги, где ни одного слова не должно быть лишнего.

2. Одно дело — предполагать что-то к выполнению; другое дело — как именно это предположение осуществляется.

3. Определенная, мучительная, серьезная мысль вдруг заняла все существо, и человек меняется в своем поведении неожиданно круто, а когда она разрешена вдруг, он входит в колею прежней жизни, прежнего радостно-спокойного настроения.

4. Подмечать и воспроизводить способность заражаться, подражать привычкам близких, особенно уважаемых людей.

1. Идет рассказ, идет... идет... идет... Перебивается — там, где дальнейшее все ясно. И больше ничего не надо.

2. Иной раз побочную историю, положим Денисова («Война и мир»), можно бы прихлопнуть, оборвать: умер, убит и т. д. И не возвращаться.

3. Разговор как разговор — живой, натуральный, без пояснительных местоимений.

4. Оставить одну семью, уйти в другую — только на психологическом абзаце, что-то закончив, остановившись естественно.

5. Описания лиц коротки — скорее вводить их в действие, главным образом в поступки, а не в рассуждения о чужих делах.

6. Черты характера перемешивать, а не тенденциозить в одну сторону.

7. Репликами-отзывами характеризовать говорящего, вообще присутствующего.

8. Знать историческую обстановку, политическую, экономическую, военную, общественную, бытовую, особенно центральные места и перспективы, как объект устремлений, споров и т. д.

9. Взять хорошо знакомое место, например, Иваново, описывая природу, улицы и т. д.

10. Любовные сцены можно и не описывать, а рассказать про них.

11. Монолог пересыпать автовопросами.

12. Главу начать описанием места, события и т. д.

13. Одна (очень значительная) или группа (менее значительных) сцен должны обрисовать и как бы отсечь целый период в духовном росте героя. Только потом — дальше.

14. Набросать общий план, наметить отдельные главы и их сердцевину.

1. Писать рассказ торопись, а в печать отдавать погоди. Рассказ что вино: чем он дольше хранится, тем лучше. Только в том разница, что вино не тронь, не откупоривай, а рассказ все время береди: посматривай, пощупывай — верь, что всегда найдешь в нем недостатки... Когда готов будет по совести — только тогда и отдавай.

2. Никогда не отдавай переписывать «начисто» другому, переписывай сам, ибо окончательная переписка — это не просто техническое дело, а еще и окончательная обработка.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ИЗДАТЕЛЬСТВУ ПИСАТЕЛЬСКОГО МОЛОДНЯКА

1. Привлекая писательский молодняк к издательству, надо примириться с бесприбыльностью этого предприятия и идти на эту бесприбыльность (временами, может быть, и убыточность) из соображений огромного социально-политического и культурного характера.

2. Писательский молодняк надо осторожно, строго, но и любовно отбирать: из тысяч — единицы.

Этот отбор осуществить можно разными мерами (комбинацией мер), в частности и в первую очередь внимательнейшим отношением к авторскому материалу, выявлением серьезного, обоснованного издательского мнения, участливости к удачам и промахам писательским, направления и исправления писателя...

3. Начинающего писателя с самого начала надо брать в шоры и не давать ему останавливаться в росте, тем паче не давать ему садиться на лавры — этого достигнуть можно, разумеется, только строжайше обоснованной критикой материала и предъявлением к автору требований предельных — по масштабу его дарования...

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ

1. Очень серьезно, тщательно изучи материал, прежде чем писать.
2. Десять корректур, обработай каждое слово.
3. Походи — послушай, погляди — изучи.
4. Вдумайся в газетный материал, в журнальный.
5. Особое внимание — рабкоровскому материалу.
6. Подвергни предварительной критике.

[ЗАМЕТКИ О ЛИТЕРАТУРЕ]

Искусство как способ действия на психику и сознание масс.

Где были и что делали за годы революции «старые» писатели?

Голос пролетлитературы был всегда созвучен революции.

Ближе к живой конкретной современности!

Да здравствует пролетарская романтика!

Необходимы эпические произведения вровень эпохе.

Надо расширять и углублять содержание и работать над новой, синтетической формой.

Мы боремся с застоем, перепевами самих себя, крайним увлечением формой.

Нэп оживил буржуазные течения в нашей литературе.

Эренбург: «Николай Курбов» [1], Цека, Чека, подпольщики, чекисты, порнография.

Никитин — «Рвотный форт» — половая извращенность, клевета.

Брик [2] «Непопутчица» — пошлые сентенции о партии, обязанностях, женщине etc.

Футуризм — гаубица, из которой можно стрелять в любую сторону.

Футуристы наши отошли от старого футуризма и лишь косно за него цепляются.

Футуристы — деклассированная интеллигенция, богема.

Они подняли эстетический бунт против художественных течений, но революционно-социальных задач себе не ставили.

В 1918—1919 гг. они говорили о самодовлеющем значении формы.

Теперь футуристы от многого отказались, стали ближе нам.

«Искусство мира — карусель... и словозвонная бесцель». (Каменский) [3].

Общий подход к революции, не дающий живых людей,— это уж *пройденный* этап пролетарской литературы.

Футуристам не нужно искусство:

a) внешне и со стороны аккомпанирующее жизнь,
b) лишь агитирующее и подстрекающее, но не строящее нужных моделей и образцов,
c) прыгающее в «Тридевятый Интернационал» и замазывающее противоречия настоящего.

Нельзя жить только прошедшим и будущим («Кузница») — надо настоящим.

Нэп — неизбежный этап и нечего звать к новому Октябрю.

Берите нашу жизнь!

Довольно символики и риторики — дайте человека!

«Октябрь» создан 7 декабря 1922 г.

Кому хочет служить наша литература? Это главное.

К литературе нельзя относиться мистически — это орудие борьбы.

Довольно политической безграмотности литераторов!

Сознательность — это необходимое писателю.

Стойте ближе к РКП!

Помогайте массам понять революцию.

Трактуйте ее как всемирную!

Давай историческую перспективу!

Надо смотреть на жизнь глазами рабочего класса.

У партийцев уйма мнений на художественном фронте: Осинский, Воронский, Сосновский, Чужак [4], «кузнецы», «Октябрь» etc.

15—17 марта 1923 г. 1-я конференция МАПП.

Основной отряд на литературном фронте — это *пролетарская литература*

Мы против сектантства.

За использование попутчиков, но в известном %.

Объединение всех творческих сил пролетариата.

У пролетписателя еще нет массового читателя.

В клубах и кружках у нас идет работа (художественная) вслепую и никем не контролируется.

Значение и влияние художественной литературы — огромно.

Нужна художественная политика.

Степень вреда от попутчиков — различная.

Литвечера, суды, живые и стенные газеты, диспуты, рукописные журналы, декламация, студийная работа — все должно ориентироваться на пролетарскую литературу.

Поэзия Некрасова настраивала на *боевой лад* — в этом ее заслуга.

Наши критики болтают о ком угодно, только не о пролетарских писателях (например бы о Серафимовиче).

Простота в искусстве — не низшая, а высшая ступень.

Надо любить и хранить те образцы русского языка, которые унаследовали мы от первоклассных мастеров.

Формальные приемы творчества, язык и проч. — зависят от содержательно-идеологической сущности произведения (Плеханов).

Мода на Пильняка — всероссийская.

Деревня Пильняка — гнилая.

Платформа «Октября».

О попутчиках.

Истинные попутчики нами признаются.

Только два фронта: реакционный и революционный!

Рабкоры с нами.

Мутный поток нэплитературы.

Воронские способствуют разнобою в наших рядах, ибо они — коммунисты.

Молодежь — против Воронских.

Попутчиков организовать надо *лишь при условии господства пролетписателей,* а Воронский у них в плену.

Наследство литературное нельзя превращать *в цепи*, повисшие у нас на ногах.

Все литературные школы имеют право на историческое существование.

Политический и экономический сдвиг наших дней не может не вызвать к жизни новый вид литературы как по содержанию, так и по форме.

Литература предшествующих эпох для нас объект научного изучения.

Изменение содержания влечет за собою и изменение формы.

Формы Пильняка анархически путаны, не просты.

Существующие формы — лишь исходные точки для пролетарского писателя в деле создания новых форм.

Ведь старый мир мы тоже можем освещать (не только современить!), но под своим углом зрения.

ОБЩЕЕ «ИЗМАМ»

1. Глумление над прошлым.
2. Отрицание заслуг других школ и течений.
3. Расчет на монополию.
4. В расчете на вечность.
5. Заумничание и жонглирование «мудрой» терминологией.
6. Бахвальство, игра в величие.
7. Однодневки.
8. Бесталанность задорных, заносчивых «пионеров».
9. Вычурность, оригинальничанье [1].

ФУТУРИЗМ

«Пощечина общественному вкусу» [1].

Против наследства.

Расшатали старый синтаксис.

Богатство словаря поэта.

Большое значение имеет расположение написанного.

Словотворчество.

Слово самоценно. Поэзия есть искусство сочетания слов, как музыка — звуков.

Первоначально футуризм явился в шутовском наряде, бубенцах, бутафорный, бравадный.

Форма выше содержания.

Содержание лишь предлог, чтобы выразить прекрасную форму, а значения само по себе — не имеет.

Каждое слово имеет свой *запах.*

Задача поэта — комбинирование не слов-звуков, а слов-запахов, для чего сюжет является только фоном (не всегда необходимым).

Нет поэзии для мысли, для идеи!

Ритм стиха — на высоту, концевые созвучья, рифмы.

Футуристы внесли в технику — уважение к рифме.

Усилены диссонансы, их роль (фокс, клякс, крукс)...

Мы, дети города, поем о нем, а природа нам — фикция.

Берем только знакомое.

Необходима современность языка!

Футуризм — ответвление старой литературы.

Богемская его стадия при капиталистическом строе.

Путь в революционное русло.

Активность его.

Близость пролетарскому искусству [2].

КУБО-ФУТУРИЗМ [1]

Их «собственный» язык, где слова не имеют определенного значения: «дыр-бул-щыл»...[2]

Они сочетают не слова, а звуки.

Полное уничтожение сюжета и содержания вообще.

ИМАЖИНИЗМ

Чистили форму от содержания.

Выявлять жизнь через образ и ритмику образов!

Передай что хочешь, но современной ритмикой.

Цель поэта — вызвать максимум внутреннего напряжения.

Ускорившийся ритм жизни привел искусство к имажинизму.

Свободный стих.

Приемлем мистицизм.

Образ — самоцель.

Пролетарское искусство — модная, мнимая величина (?).

Стихи можно читать и с конца к началу, результат один.

Против ритмичности стиха, за аритмичность образов.

Наши стихи не для «кротов».

Победа образа над смыслом, освобождение слова от содержания.

Каждому произведению — своя особая строфистика.

Долой глаголы — лучше чувствовать аромат отсутствующего глагола.

Крайнее обострение чувств — переход одного в другое.

Имажинизм — поэзия космическая.

Некрасов для имажинистов, подошва упадка нашей поэтической культуры.

Имажинизм — не школа (по существу), а технический прием.

«СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ»[1]

Мы не школа, не направление.

Не хотим, чтобы все писали одинаково, не хотим принуждения и скуки.

У каждого из нас свое лицо.

Мы против выборов и голосований, уставов и председателей (мелкобуржуазность, анархичность).

Мы бытовики, но признаем и все остальное.

Довольно общественности править литературой!

Искусство — всегда без цели и смысла!

Мы не товарищи, а братья!

Мы часто противоречивые, авантюристы, интеллигенты, но творящие *свободно!*

«НИЧЕВОКИ»[1]

Рюрик, Рок, Агабабов, Ронов, Сухаребский, Эрберг, Сусанна Мар, Земенков, Садиков и др.

Необходим индивидуальный подход творца к материалу.

Ничего не пишите, не читайте, не говорите, не печатайте.
Истончение сведет искусство на нет, в «ничего».

«КУЗНИЦА»

Организовалась в феврале 1920 г.
В 1921 г. в докладах и диспутах участвуют: Коган, Львов-Рогачевский, Сакулин, Гроссман-Рощин, Кубиков и др.
Члены: Санников[1], Ляшко и др.
Изд-во «Кузница», их сборники.
Их собрания, читка материала.
Программа-декларация «Кузницы».
Серия переговоров с МАПП при участии ЦК партии[2].
Идеологический разброд при нэпе, выходы из партии.
Двойственный состав членов «Кузницы».
«Кузнецы» мало уделяют внимания РКП.
Недооценивают смычку города и деревни.
Тут как бы собраны только одиночки.

ГОРЬКИЙ М.

После блестящего народнического периода упадок, интеллигенция очутилась в нетях.
Проблески у Потапенко[1] и Вересаева (90-е годы).
Вдруг явился Горький: задор, шум!
Бунт во имя свободы.
Горький отразил настроенье общества, жаждавшего общественной работы.
1892 г.— «О чиже и дятле» — это его символ веры тех дней.
1896 — «Песнь о Соколе». 1902 — «Буревестник».
«Макар Чудра». Поклонение силе жизни, крепкому характеру.
«Хан и его сын» (1896) — влюбленные в казачку, бросают ее в море.

«Старуха Изергиль» (1895). (Ларра убивает возлюбленную; Данко с факелом сердца выводит из темного леса свой народ.)

Влюбленность в жизнь, радости.

Сочность, яркость изображения.

Гуманничанье в очерках 1893—94 гг. («Емельян Пиляй» — бродяга, шедший на убийство; «Дед Архип и Ленька» [*неразборчиво*].

«Челкаш» (1894—95) — сочувствие Горького на стороне буйного Челкаша.

«На плотах» — сильный Силантий — отец, отбивающий жену Марьку у сына Митрия.

До 1896 г. была у Горького проповедь «положительного» — силы, свежести, инстинкта; после 1896 г.— проповедь отрицательного — нападки, критика интеллигентских идей и настроений (период «босячества» — 1896—97 гг.).

«Босяки» — рупор горьковских идей, но он их, босяков, трактует как погибших для общественного строительства.

«Коновалов» — ясность души, впечатлительность, любовь простора.

«Супруги Орловы» — он, Григорий, спивается, Матрена делается учительницей.

«Бывшие люди» (1897) — озлобленные, бессильные, больные люди.

«Мальва» (1897) — красавица, признающая лишь красоту и удаль.

«Озорник» — наборщик Гвоздев вставляет в газету свое «пояснение».

«Трое», «Фома Гордеев», «Мещане» — сочувствие, вера в рабочего.

«Варенька Олесова» — цельная, свежая девушка, отбрасывающая резонера доцента Полканова.

1897—99 гг.— период «нейтрального» писания, à la Чехов («Ярмарка в Голтве» — юмор о хохлах, «Кирилка» — юмор. Очерк «Скуки ради» — на глухой станции издеваются над работницей, она вешается).

Период раздумья и «оглядки» — пишется очерк «Читатель», в котором писатель размышляет над ценностью своих писаний.

«Фома Гордеев» — жажда понять жизнь. Фома — автопортрет. Раздвоенность. На палубе, во время торжественных речей — он собравшимся кидает в лицо обвинения. Фому — в тюрьму. По выходе спивается. Маякин — тип свежего коммерсанта.

«Городок Окуров» — описанье нравов, здесь босяки — просто громилы.

Перелом 1908—09 гг., когда из певца революционного пролетариата он становится певцом *всего* народа.

«Исповедь» — 1908; «Лето» — 1909; «Хроника города Окурова» (1909—11 гг.) — о России, проснувшейся после 1905 г.

«Сказки» — 1911 г. ...

КУПРИН А.

Вера в социальную борьбу, недовольство общественным строем («Поединок», Ромашов).

Корпус, казарма, офицерские собрания — главные места действия.

Разносторонность тем.

Мастер-изобразитель быта.

Реализм у него почти соприкасается с научным исследованием.

Детальность описания («Яма»).

Увязка науки и искусства в творчестве Куприна.

Ничего не принимает на веру.

БУНИН

Воровский о нем (очерки) [1].

Неожиданно написал «Деревню» — чутко, тонко, искренне.

Бунин — аполитичный барчук.

Дитя «Вишневого сада», ученик Чехова.

Тьма умственная, нравственная, политическая.

Дикое суеверие, эгоизм, ограниченность.

За войну — думать научились: про неудачи, про захват земли, пошло расслоение.

Не понял «нового крестьянства», видит в деревне плохое, старое.

Не видит нового, возрождающегося, это типично для барина-интеллигента.

Односторонняя картина деревни, он понимает только близкого себе *нового* кулака Тихона Ильича.

АНДРЕЕВ ЛЕОНИД

Неверие в революцию, вера в исправление духовного мира человека («Жизнь Василия Фивейского»).

Пессимизм, отказ от надежды победить.

Не понял закономерности исторического процесса.

Проклял небо и землю.

Признал, что реагировать на произвол злых сил надо «гордым страданием».

БЕЛЫЙ А.

Пронизывает язык намеками.

Он умело играет на многочисленных эмоциях, вызываемых словами как таковыми и их сочетаньями.

Нарочитая «трудность» языка.

Склонность к мысли.

Всегда срывался в построении религиозных и метафизических систем и сам над собою глумился.

Обилие внутренних рифм.

БРЮСОВ

Ученый-археолог, знаток.

Мастер чеканных форм и образов.

Верлен[1] открыл ему новый мир.

БЛОК

Лирика Блока романтична, символична, мистична, бесформенна, нереальна.

Но под собой эта лирика имела интеллигентско-дворянскую культуру.

В сферу революции Блок вошел «Двенадцатью».

Блок принадлежит дооктябрьской литературе.
Вторая революция (1917) дала ему ощущение пробуждения, смысла и цели.
Бесформенность его мироощущения.
Обрушившаяся революция заставила Блока выбирать, и он выбрал «за нее».
«12» — лебединая песня индивидуалистического искусства.
В «12-ти», даже сгустив краски, Блок приемлет революцию.
Музыкальность стиха.
Способность заражать настроением.
Внутренняя музыкальность стиха.

БАЛЬМОНТ

Звучальность стиха.
Бальмонт — внешне музыкален.
Блок — внутренне.
Эстетическая школа, культ красоты.
Вера в сверхчувственный мир.
Творч[еская] фантазия может (?) преобразить мир и освободить (?) от власти внешних условий.

МЕРЕЖКОВСКИЙ

Пророчествование.
Мистицизм апокалипсический
(жить — с богом,
умирать — веря в воскресенье).
Мережковский «взыскует вышнего града», но крепко любит и культуру.
Индивидуализм (я — и культура,
я — и вечность!).
Себялюбец.
От освящения самодержавия он пришел к христианско-анархическому идеалу теократического безвластия.
Я — и культура } Он отгородился от всего
Я — и вечность } остального мира.

Запад *не любил* его, а только похваливал как культурного варвара.

По существу он — чужестранец в России, мистик, наблюдатель со стороны: чужд иерархам, либералам, интеллигенции.

Антиобщественник.

Холодная, симметричная расчетливость, отсутствие подлинного жара. Трезвенность, лишь стремящаяся к мистицизму.

Ничего действительно своего, только и жарит цитатами.

ИВАНОВ ВЯЧ.[1]

Его вероискательство.

Классическая ученость, опора на мифы.

Намеренно трудные формы поэзии.

Искусная стилизация.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН

Родился 4/V 1887 в СПб.

Воспитался на Фофанове (отце), Лохвицкой[1], Бальмонте.

Идол мещанских салонов — 1911 г.

Поэт без идей и без культурности.

Преклонение перед эгоизмом.

Жизнь по формуле: «веселись, а после нас — хоть потоп».

Новые словообразования.

Угар от будуарного аромата.

Бесспорная одаренность.

«Громокипящий кубок» — превосходно.

«Златолира».
«Ананасы в шампанском»
«Victoria Regia». } все три слабее.

Уменье дать картину.

Поэт остро переживает.

Ироническое отношение к жизни.

Самовлюбленность.

Дар перевоплощения.
Ритмы — новые, свои.
В стихах Северянина нет вкуса (мешает с хорошими стихами — дрянь). «Шантажистка» и т. п.
Войнопевчество — «шапками закидаем».
Нет у Северянина сильной мысли, презрительно относится к ученью, попросту недалек.
Не имеет понятия о законах словообразования.
Интимный будуарный лирик — ныне С[еверянин] с белогвардейцами.
Его слава из ресторана «Вена»[2]. Массу остроумного он похитил у Гейне.

ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН

Утерял контакт с эпохой.
«Уездное» в 1913 г. (тип Анфима Барыбы).
Мастер слова.
«Алатырь» — тоска мертвая, фантазмы.
«Чрево» — Анфимья убивает мужа, хочет ребенка.
«На куличках» — заброшенная воинская часть с гиблым офицерством, одуревшими солдатами-мужичками.
У Замятина протест всюду — индивидуальный.
Нежный лиризм.

«Островитяне» «Ловец человеков»	Привез из Англии[1]. От Барыбы и Чеботарих, от деревни — к бетону, городу, блеску, высшему свету, жизни, расписанной в мелочах.

Филигранная работа над легковесным материалом, поверхностность, незнание глубины жизни, ее основ — классовой борьбы, противоречий.
По Замятину, в мире две силы: одна — стремится к покою, другая — бунтующая, динамическая, но маленькая, не рабоче-крестьянская, а индивидуалистическая.

Розовый революционный максимализм. Революцию думалось сделать во фраках, бескровно.

«Пещера» — о голоде, холоде, печке. Злобное.

«Мы» — ужас перед реализующимся социализмом. Он — чужой гость, пассажир на нашем корабле[2].

«Социализм» Замятина, как и Уэлса,— тихий. Этот роман — злой памфлет, утопия о царстве коммунизма, где все подравнено, оскоплено.

Замятинство — опасное явление... оно оставило свой след и на «Серапионах».

Написал «Общество почетных звонарей» (пьеса)...

ВОЛОШИН М.

Тип последовательного белогвардейца, у которых он все время был «любимцем».

Мистика, кликушество, причитанья над Россией.

Ему дороги «те и другие».

Его ужаснула даже февральская революция.

Проклятья Октябрьской революции и «предсказанья» («Мир», «Петроград», «Святая Русь»).

«Красная новь» 1922 г. — печатает его стихи о средневековье (а революции как бы и не бывало).

1922 г. в Берлине выходит белогвардейский сборник «Детинец» — передовицей там волошинское стихотворенье «Заклятие о русской земле».

Чуждый современности писатель.

Б. ПИЛЬНЯК

Хаотичность, растрепанность.

Цинизм и сладострастность.

Упоение слепой стихией.

«Speranza» — хороша (о матросах, мечтающих о России).

Пильняк пишет: до РКП мне дела нет, мне дорога только Россия (совещание в ЦК).

Извечные звериные инстинкты.

Физиологичность.

Все скорбно.

Любовь, женщина у Пильняка.

Революция пахнет половыми органами («Иван да Марья»).

Тяготение к первобытной, неусложненной жизни.

Революцию понял как бунтарство; Октябрь увел Русь к XVII веку.

Никакого Интернационала нет, а есть одна национальная мужицкая революция, изгнавшая все наносное.

Против города, за деревню; против власти индустрии, чугунки, интеллигенции etc.

Разочарование в западноевропейской буржуазной культуре (слова Глеба из «Голого года»), где богатство техники, но нет богатства духа, как у нас.

Пильняк не понимает новой деревни, ее новых интересов, передового крестьянина.

Ярко пробудившийся национализм Пильняка, не тоска по Руси XVII века, а лозунг «теперь Русь — настоящая!», но много в нем и славянофильства.

У Пильняка нет цельности.

«Голый год» — окуровская провинция 1919 г., развал интеллигенции.

Свежесть, самостоятельность, оригинальность.

Фабулы у Пильняка обычно нет.

Пишет экономно.

Он начал «подкармливаться» в Доме печати.

О нем звонили больше, чем о других.

Влияние на него Белого.

Пильняка «дочитывают до конца» потому, что ждут оригинальной развязки, а видят — конгломерат.

Не плохи его «Английские рассказы», но борьбы он там не понял.

Спрос на него упал, и Пильняк перевернулся на этнографа и публициста.

Н. КЛЮЕВ

Начал писать 1910—1912 гг. Ему 35 лет.

Книги: «Сосен перезвон», «Братские песни», «Медный кит», «Мать-суббота», «Ленин».

Поет о крестьянстве, нивах, лесах, водах речных.
Мужик Клюева — сытый, самостоятельный, избыточный.
Мастер разукрашивать.
Мир его песен — застойный, замкнутый в себе.
Стихи его не динамичны.
Приемлет революцию, она дает (по Клюеву) мужицкий, пшенично-медвяный рай.
Он, может, и не верит в бога по-озорному, но бога и не забывает, не выбрасывает из обихода.
Насыщенность прошлым.
Отрицательно относится к городской культуре.
Изображает сытого мужика.
Ленин — святоша [1].
Октябрьский переворот — бунт.
1912 г. Сб[орник] «Сосен перезвон», где много революционных стихов.
Пользует широко народное песенное слово.
Блок влиял на него крепко.
Духоборчество, религиозность.

КЛЫЧКОВ

Не общественник.
Певец деревни, пейзажа.
Поет и за кулачка.
Печатается с 1911—1912 гг.
Отрицательно относится к футуристам, калечащим, по Клычкову, русский язык.
Кольцов и Блок — любимые.
Интимность, домашность.

ГЕРАСИМОВ

«Электропоэма» — отрешенность от действительности.
Попытки укрыться от действительности.

КИРИЛЛОВ

Упадочничество, реакционность.
Есть и подлинный пафос.

ОРЕШИН П.

Первая кн[ига] «Зарево» (вышла в 1917 г., стихи 1913—1917 гг.).
Книги: «Снегурочка» (1920), «Радуга» (1922), «Человек на льдине» — рассказ, 1922 г., «Русское солнце» — 1923 г.
«Солом[енная] плаха» — 1924 г.
Поет про нужду, горе, голод, холод.
Любит и ненавидит по-некрасовски.
Любит взбунтовавшуюся вольницу.
Мистико-религиозный налет всюду.
Его мужики — маломощные.

АХМАТОВА АННА

Тематика и идеология Ахматовой — признаки ее социальной сущности.
Поэзия Ахматовой — дневник, автобиография.
Дитя усадьбы, барства, неги, балов...
Узость поэтического кругозора.
Отсутствие общественных интересов.
Мистика, религиозность (после наслаждений).
Эротика, темы любовные.
Коллонтай об Ахматовой [1].
Патриотизм Ахматовой за войну 1914—1917 гг.
Национализм.
Революцию восприняла как «смуту».
Ахматова — крошечная певица старого, умирающего мира.

ЕСЕНИН

Родился 1895 г.
Пишет с 9-ти лет, серьезно с 17-ти.
Хулиганский нигилизм.
Имажинизм, цилиндр, похабщина.

Уход от имажинистов.
Начало политического роста.
Недостаток культурности.
Воронщина его разлагала[1].
Период Вардинодейства[2].
Любовь во всех слоях общества.
Национальность («Тело великого национального поэта Сергея Есенина покоится здесь» — надпись на Доме печати в день похорон).
Мастерски написанная деревня у Есенина.

1. Он — между Клюевым и Маяковским, между старой деревней и городом.
2. Он складывался позже, в годы войны.
3. Потому более податлив на темы революции.
4. Озорство, хулиганство его — не страшно, он отразил настроение предреволюционной крестьянской молодежи.
5. В «Пугачеве» сказался Есенин: есенинский Пугачев — сентиментальный романтик.
6. Любит родину — Русь — сермяжную, иконную, ржаную, монастырную, смиренную.
7. Деревня — идиллическая.
8. Социальный гнев мужика ему незнаком, мало знакома нужда — горе мужичье.
9. Религиозность — в «Радунице», «Голубени», «Трирялнице» (позже он отрекся от религиозности письменно, в предисловии к последнему собранию сочинений).
10. «Неизреченная животность» — все сравнивает Есенин с миром живых существ: небо, луну...
11. Грусть о прошлом.
12. «Песни забулдыги», «Исповедь хулигана», «Москва кабацкая» — разгульничество и хулиганство сочетается с молитвами и елеем.
13. Отразил собственнические чаяния мужика.
14. Фабрика, завод вторгались в деревню, ее перестраивали: поэт настораживается.
15. От «Инонии», где есть мечта о рае человеческом, отдает «дремотной Азией», застоем.

16. В «Инонии» поэтому — реакционная романтика: «свечёная брага вместо чугунки и паровоза».
17. Аполитичность.
18. Подверженность противуречивым настроениям.
19. Его двойственность как вообще качество, свойственное крестьянину.
20. В его миросозерцании не сведены концы с концами, и об этом он не заботится, этим не мучится.
21. «Москва кабацкая» — веет ужасом, но пафос тут неподдельный и лиризм.
22. Тут утеряна вера в революцию, ее будней поэт не понимает, не принимает.
23. В пору своего «имажинизма» он образ ставил как самоцель, сбивался с пути.
24. Более позднее: «Годы молодые», «Русь Советская», «На родине», «Персидские мотивы», «Анна Снегина» — идеологически и художественно крепко.
25. Учился всегда у Пушкина.
26. Стихи последнего периода — симпатии к советской власти.

Вс. ИВАНОВ

(О манере творчества)

1. Часто неряшливость, недоделанность.
2. Сюжет всегда занимателен.
3. Растянутость.
4. Злоупотребление простонародностью.
5. Экзотика, знание языка.
6. Субъективизм.
7. Сравнения хороши.
8. Антипсихологизм, пишет очень просто.

1. Идеологически близкий писатель (автобиография — люмпен-пролетариат).
2. Темы — современные, революционные.
3. Обращение имеет главным образом с крестьянством (крупным) Сибири.
4. Радостность в его творчестве, бодрость, свежесть — его партизаны крепки, сильны.

5. Дает исторический революционный материал (ненависть к Колчаку). Социальных пружин истории не уясняет.)
6. Иванов — бытовик, горьковец.
7. Дает деревню, а не город.
8. Национализм партизан.
9. Ни одного не дал *большого* типа.
10. Иванов растет.

АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ

«Реки огненные» — колоритно.
Стихийность, бунтарство, забубенность.
Сторона организующая — не дана.

Н. НИКИТИН

1. Бытовик, ученик Горького.
2. «Рвотный форт» — невыдержан.
3. Коммунисты — дрянь.
4. Порнографичность, эротомания.
5. «С революцией ничто не изменилось»?
6. Неустоявшийся,

1. Острая нота цинизма.
2. Никитин подбирается к человеку «снизу»!
3. Революция его легко подхватила и завертела — и только.
4. Безверие.
5. По Никитину, революция ничто не изменила.
6. Пренебрежение (например, к китайцу в «18 июня», к цыганам — в «Чаване»).
7. Большевики — насильники (как Катя загоняла цыган в город, переодевала в бане — «Чаване»).
8. Язык колоритен.
9. «Ныне друг дружку все пытается обогнать, да напрасно только это»... («Рвотный форт»).
10. Особенно хорошо дает природу, лес.
11. Культ пола («Рв[отный] ф[орт]»).

12. Значительно слабее места, где необходимо говорить «по политике».
13. Описанья даны мастерски.
14. Темы — по преимуществу из революции.
15. Удачны «чужие» нам типы и негодны люди революции.
16. Симпатиями овеяны воспоминания о «прошлом» («Ночь»).
17. Надо в художественном произведении брать не случайное (Катя распустила цыган по произволу, большевики не таковы вообще), а общее, как, положим, в Каратаеве — крестьянство, во Вронском — офицерство...
18. К революции подходит со стороны.
19. Форма разорванных произведений, неотделанность в целом.

Л. СЕЙФУЛЛИНА

Дает прогрессивную деревню.
Бодрость, радостность, вера.
Среда, ей наиболее знакомая,— крестьянство.
Эпоха — 17-й год излюбленный, вообще начало революции.
Стихийна ненависть к кулаку, к эксплуататору.
Остатки народничества.
Сгущение отрицательного («Инструктор «красного молодежа»).
Понимание детской психологии.
Глумленья нет, есть товарищеская ирония.
Строительство соввласти писать пока не умеет.
Реалистическая манера — по Толстому.
Сочность языка.
Наблюдательность.
Вопросы религии в ее творчестве.

НИК. ТИХОНОВ

1. Биография оригинальная.
2. Темы Тихонова — боевые (много о молодежи).
3. Землю противупоставляет небу [1].

4. Много авантюризма, индивидуализма.
5. Мало песен труда, созидания.
6. Манера творчества — краткость, энергичность.
7. Сюжетность стихов Тихонова (любит баллады).
8. Преобладание повествования над лирикой.
9. Погибла старая Русь икон и церквей.
10. Долой рефлексы, надо быть простым (как гвоздь!)[2].
11. Неустойчивость взглядов (поэтизация махновщины)[3].
12. Большой мастер ритма.
13. Писал поэмы, оставил их (1923) и ушел от прекрасной ясности, например в «Шахматах», где хороши лишь отдельные строки. Этою поэмой он вышел на *новый* путь. Следующая вещь — поэма «Лицом к лицу» (и тут Ленин).
14. «Красные на Араксе» и «Дорога» — две поэмы как следствие поездки по Армении и Кавказу.
15. Начал с Гумилева, прошел через имажинистов, вышел на свой путь.

1. О боевой жизни, о молодежи.
2. Против старой, отмершей Руси.
3. В нашу эпоху — надо быть простым!
4. Удаль, анархистство.
5. Нет сентиментов.
6. Зыбкость мировоззрения (идеализация Махно).
7. Часто непонятность.
8. «Сами» — превосходно.

ЭРЕНБУРГ И.

Начал писать в 1911 г.

«Николай Курбов» — герой развинченный, полубредовый, мечтательный; Аш, Чир, Андерматов, Белорыбова.

«Трест Д. Е.» — мастерской шарж на Европу, ее отпевание, модное шпенглерианство[1].

«Хулио Хуренито»[2] — великий провокатор, странствующая компания.

Восторг перед свободным человеком и неведение путей его освобождения; проповедь освобождения через индивидуализацию, рост отдельной личности.

Разлагающая апатия, неверие — *пессимизм* Эренбурга.

Зло смеется не только над старым, но и новым, неверие в коммунизм. (ЧК и контрразведка — одно; война царская и гражданская — одно и т. д.).

Пожалуй, как «дружеская» критика это и не вредно? Отсутствие живых типов, акробатизм, фельетонизм, рационализм.

Любовь к дальнему, презрение к настоящему.

ИНБЕР В.

«Печальное вино» — стихи, Париж, 1912 г.
«Горькая услада» — 1917 г.
«Бренные слова» — Одесса, 1922 г.
«Цех и путь» — книга стихов.

Разнообразие тем.
Лиричность.
Понимает психологию героя.
Ритмичность.
Экономность.

БАБЕЛЬ

Культурен.
Много работает.
Зрелость таланта.
Бесстрастность.
Медлительность.
Спокойствие.
Сюжетность.
Занимательность.
Лиричность местами.
Миниатюрист.
Любит здоровье, силу, кровь.
Реалист.
Любит брать грубое, сырое.
Нет боев.

Нет массы.
Нет подлинных коммунистов.
Побудительные стимулы борьбы — мелки.
Нежданность мыслей.
Всегда движение, борьба.

Лаконизм, законченность.
Яркая оригинальность.
Органическая связь формы с содержанием.
Сочность языка.
Порой скептицизм.

ЛЕОНОВ Л.

Одаренность бесспорная.
Начал писать в 1922 г.
Сам — участник революции, пишет о ней охотно, чуть с холодком.
Пока он — писатель умирающего, уходящего. Но куда ведет пролом — Леонов не знает. Пугается механизации жизни при социализме.
Леонов чрезмерный ходатай за маленького человека, гибнущего в революции,— надо понять неизбежность этой гибели и ее целесообразность.
Мистицизм.
Под Достоевского.
Отлично дает типы.
Архитектоника проста, стройна.
Сюжет продуман.
Подражания: Ремизову[1] и Лескову — «Петушихинский пролом».
Гоголь — Щедрин — «Записки Ковякина».
Достоевский — «Конец мелкого человека».
Уменье давать *различные* типы — разносторонность его дарования.
Выявляет *через действие* своих героев, а не описательным путем.

«Барсуки». Эпоха, восстания крестьян, зеленых. Тяжба города (Антон — Павел) с деревней и главарями (Жибанда, Настя, Семен).
Брыкин изобразил деревню... Вандеей.

Хорошо дает деревню.

«Ультраобъективность» Леонова при описании *всяких* событий — по существу же холодок.

I ч.— Зарядье, где Паша (Антон) и Семен растут.

II ч.— Барсуки, норы, восстанье.

Не показано, как Семен из зарядьевца стал врагом города, вождем восставших.

Л. ЛЕОНОВ «ПЕТУШИХИНСКИЙ ПРОЛОМ»

Мастерское описание ярмарки, краски!

Мастерское описание вскрытия мощей.

Масса образов, тщательность работы, легкость сравнений, оборотов: само собою.

Нет фабулы как единого, органического: и сюжет разорванный и манера письма родственная, отрывистая, без начал-концов.

Чуткость, понимание того, о чем пишет.

Мистика — с Алешей — мальчиком, образом Егория и вообще многими местами.

На важнейших (социальных) местах почти не останавливается (революция — гражданская война) — их не очень-то знает и чует.

Многое на «ура», начато с лету и не закончено: брошено, и все тут.

ФЕДИН КОНСТ.

Города — Эрланген, Бишофсберг,
Москва, Петербург.

Машинизация, бюргерство; обыватели у нас.

Годы: 14-й — опереточный. Война.
16-й — отравленные газом, калеки;
18-й, 19-й, 20-й — революция, голод, пафос борьбы.

Действуют:

Андрей Старцов
Курт Ван
Голосов
Маркграф... Шенау
Мари Урбах.

Курт Ван застрелил А. Старцова, спасшего жизнь классовому врагу.
Свежесть языка, любит образ.
Хороши описанья.
Когда гов[орит] о фактах — прекрасно; философствует о процессах — плохо.
Развитие типов дано бегло, неглубоко.
Мало муки, борьбы, коллизий.
Созвучие современности.
Роман не единое органическое, а эпизоды, связанные умело.
Действительно ли заимствовано у Эренбурга?
Многообразие взятых форм: эпос, лирика, гротеск...
Манера переставленных глав — заостряет внимание читателя.
Иронический тон по отношению к загранице.
Уделяет больше внимания личности, чем коллективу.
Он больше реалист, хотя детство Мари Урбах описано полумистически.

А. ТОЛСТОЙ

1. Хорошо о ясности и простоте русской литературы говорит Толстой, а сам пишет «Гиперболоид» — уголовку.
2. По манере он — наследник наших классиков.
3. Пишите про человека! (его слова). Дайте эпоху [1].
4. Толстой о западноевропейских романистах.
5. Толстой о талантливости наших начинающих беллетристов.
6. Бытопись разлагающихся дворянских гнезд («Детство Никиты»).
7. «Хождение по мукам» — гниение интеллигентских верхов в годы войны и накануне ее [2]. Телегин и Даша — положительные — больше самолюбуются.
8. «Аэлита» — олигархически устроенное на Марсе общество, социалистическая революция там. Гусев — деклассированный крестьянин, авантюрист. Нам его ненависть к эксплуататорам близка.

9. Судьба Толстого схожа с гоголевской. Он призван разоблачать свою среду.

«Аэлита» списана с Уэлса и Дж. Лондона.

Революцию любит как бунт.

Есть националистический романтизм (см. «Рукопись, найденную под кроватью»).

Толстой — не обыватель-злопыхатель, как Замятин, не скептик-циник, как Эренбург, не пессимист, как Белый,— он свеж, оптимистичен, сочувствует активно.

Он не певец, как Чехов, Терпигорев, Бунин и др., дворянства, а его псаломщик, отпевало, за что его дворянство ненавидело.

Ныне наиболее для него характерными произведениями являются его эмигрантские рассказы («Рукопись, найденная под кроватью» и др. из «Союза пяти»).

Рабочих и крестьян нет.

Толстой как драматург — тут его значение обычно преуменьшают.

Честный эмигрант [3].

Толстой — хранитель русского классического языка.

Ф. ГЛАДКОВ «ЦЕМЕНТ»

1. Хорошо знает то, о чем пишет,— и быт и язык.
2. Простота, естественность развития темы.
3. Богатство образности, эпитетов, сравнений и т. д.
4. Картинность (хотя бы с чешущимся ребенком в детдоме).
5. Брань у Домахи — крепкая, ядрено-ядовитая, а не похабная.
6. Знаменито прост рабочий язык.
7. Тонкая наблюдательность: с голоду здоровались с Глебом лениво!
8. Увлекает и интригует очень медленное раскрытие Даши, она все время словно под густой вуалью: непроницаема, загадочна, непонятна,

МАТЕРИАЛЫ К РОМАНУ «ПИСАТЕЛИ»

Композиция

Начать с перелома на нэп —
охарактеризовать эпоху:
перелом настроений, ожидания;
новые возможности работы:
новые надежды;
новые опасности.
Литература... эге, куда ее загнали!
Общее состояние переломности.
Общее состояние эмбриональности.
Торжество богемы, одиночек.
Зарождение организации пролетписателей.
Наметившаяся сразу классовая борозда.
Пролетписатели демобилизуются
с фронта — примазываются к ним
шкуротыловики.
Первые робкие выступления.
Университеты, лекции, дома писателей — все чужое!
Партии не до литературы — это все понимают и потому не требуют ничего.
Партия вручила это дело Воронскому —
В нем душок либерализма.
Помогая направо, зло косился налево.
Пролетписатели берут его под обстрел.
Развертывается и борьба и творчество.
Годы проходят за годами.

Действовать (беллетристы):

1. *Павел Лужский* — талант, надежда, интеллигент-коммунист.
2. *Борис Буровой* — крепкий орг[анизато]р с большими данными (потенциально).
3. *Глеб Глебыч Труха* — старенький беллетрист, по существу весь в прошлом, тщится вовсе зря стать современником: тля серая, мертвечина, безнадежен.
4. *Иосиф Шприц* — талантливый попутчик, эстет, моралист, сексуалист, любитель «проблем».
5. *Тепломехов* — сменовеховец-эмигрант, принявший всерьез советскую власть.
6. *Леля Кукушкина* — плохонькая беллетристка, ограниченная, играющая советскими словами, не понимающая советских дел.
7. *Ник. Ник. Щеглов* — свой, родной революции попутчик, участник боев, советский работник.
8. *Леонид Банков* — страдал за совласть в боевые дни, а при нэпе сдал, обогемился, живет процентами со старого революционного багажа.
9. *Леонардо Волконский* — бурж., сволочь.
10. *Кузьма Сомов* — талант, от производства, серьезен.
11. *Бумажкин* — середняк, самомнение что надо.
12. *Митька Варежкин* — бездарь, кичащийся рабочий.
13. *Кирилл Плотицын* — вначале пишет, ходит в кружок, но скоро понимает, что это не его путь, уходит в производство, становится хорошим хозяйственником.
14. *Пантелей Стужа* — писатель с подполья.
15. *Соня Лунева* — из кружка, комсомолка, начинающая.
16. *Илья Глухарь* — крестьянский писатель из глуши.
17. Як — литературный маньяк.
18. *Демьян.*
19. *Оксана* — жена Лужского.

Действовать (поэты):

1. *Поэт Бугай* (Степан) — талант по природе, но лодырь.

2. *Поэт Яшка Лунц* — пропадающий талант, не работающий над собою, ударяющийся к богеме: на полпути.
3. » *Сережа Вышинский* — талант, равняется с Бугаем благодаря упорству. Идет все время состязание с Бугаем, взаимозавись. Часто Бойцов — наверху, но лишь только Бугай поработает — тот далеко позади. Внешне — друзья, нутром — враги.
4. » *Егор Жуков* — оторвавшийся от производства, разлагающийся, богема, самоубийца.
5. » *Иннокентий Викентьев* (подписывается полностью) — бездарность, с самомнением, подобающим серо-тусклому. Мелкобуржуазная душонка.
6. *Иван Колобов* — из провинции, босяковствующий, назойливый, просительный — клянча.
7. *Павел Коростелев* — талантливый поэт, рабочий. Лучших человеческих качеств: скромен, честен, прям, мужественно-смел, работник, товарищ.
8. *Ваня Люлькин* — рабочий, середняк.
9. *Булыжник* — «левый» поэт, горлопан.
10. *Евгений Случкин* — из крестьян, пропойца-поэт, талант.
11. *Алебастров* — талант, образцово чеканит стихи.
12. *Шура Кокетьянцева* (она же Кукушкина...) — сладкая рифмоплетка.
13. *Хачар Кашанов* — певец угнетенных наций.
14. *Георгий Старухин*—«умерший» поэт из «стариков».
15 *Крупнов Алексей* — талант, крестьянский поэт.
16. *Ефим Греч* — пройдоха — поэтишко-делец.
17. *Антон Буйвол* — старый пролет. поэт.
18. *Каролина Стальская* — поэтесса из рабочих, талант.
19. *Крючечкин* — бездарь, крестьянский поэт.
20. *Слепой поэт* — Микола Бурьян.

Действовать (критики):

1. *Кирик Бушман* — хорошо подкован, серьезен, талантлив; хороший товарищ.
2. *Ал-ндр Остроухов* — бездарный фразер, любитель общих мест; компилятор — все вынюхивающий,

обобщающий, выдающий за свое. Ни одной свежей мысли. Лезет (неудачно) в большую прессу.
3. *Гордей Бутылкин* — ловкач, а не критик.
4. *Зрачков* — критик из рабочих, талант.
5. *Сладкопевцев Н. Н.*— коммунист, объективный враг пролетлитературы.
6. *Леопольд Грум* — вовсе буржуазный критик.

Кузьма Сомов

1. Талант — беллетрист, в производстве, в кружке.

Семейная трудная обстановка — бедно, голодно, нет места.

Пишет урывками, думает непрестанно.

Стойко борется за пролетарскую литературу.

Работает редактором стенгазеты на заводе, сам рабкор.

Строгость к себе растет.

Писал когда-то «рецензенту-редактору».

2. Слушай в народе не слова, а дела (мы еще вырастем!).
3. Читает в кружке набросок (меткие сравненья, образы).
4. Как почувствовал перелом (начало роста), стал кидать свой материал...

Среднего качества, но большого задора буржуазный писатель бранит пролетписателя:

— Вам партия и по пивнушкам, по притонам не разрешит ходить — где вы возьмете материал?

— Разве только там? А для нас главное — завод, фабрика, крестьянство... Разве это не материал? Это *главный*.— И продолжает:— Вы подслушиваете у народа только *слова* — потому вы его и не умеете показать, он у вас ходульный, а мы *дела* подсматриваем, нутро понимаем... Пусть пишем мы и хуже вас: научимся, это дело времени, тут сноровка, тренировка — десятками лет. А это — у нас впереди.

Пантелей Стужа

Беллетрист еще с подполья, пролетписатель, в первую очередь, впрочем, общественный работник,

удерживает молодежь от увлеченья чистым писательством, богемой, уютом и т. д.

Пишет мало, но сильно, крепко, словно молотом бьет...

Кирилл Плотицын

Рабочий, член кружка, пишет средне. Встреча с Кириком решает его судьбу: тот внушает, что он — середняк. Плотицын уходит в производство, становится отличным хозяйственником, подсмеивается над своим прошлым, по старой памяти с любовью ходит изредка на кружок.

Как перестал вовремя писать!

Два типа

Оба пишут — Колька и Коська. Колька — угловато, но резко, сочно, хоть плохо. Коська — обмусоливает, кругло, но плохо. Хороший критик... не пророчит Коське будущего, советует бросить писание, говорит, что толку не будет, а Кольке, наоборот, советует писать. Коська слушает, прекращает писать, а из Кольки через три года выходит писатель. Коська же сделался хорошим совнархозником. И дело: нашел применение силам, доволен, рад, улыбается прежним мараньям, сознается, что попал больше «по моде», «за компанию», «славу хотел себе составить».

А теперь чувствует, что стоит на верном пути, но и Кольку теперь ценит, уважает.

Так важно вовремя определить себя и избрать верный путь.

Разговоры. Споры. Одному, не переставшему писать, но пишущему плохо, Коська говорит: «Лучше будь хорошим слесарем, чем плохим писателем, поверь мне — я сам чуть не ошибся вроде вот как ты теперь...»

Крупнов Алексей

Поэт из деревни. Большой талант.
Его перетаскивают в город, почувствовав по стихам, что это исключительное дарование.

Павел Коростелев

Поэт. Талант. Рабочий в производстве.
Лучшие человеческие качества.
Член коллегии стенгазеты. Рабкор. Живо интересуется общественной жизнью, разговор у него не только о стихах, а о тарифе, Керзоне и т. п.

Хачар Кашамов

Певец угнетенных нацменьшинств, киргиз или что...
Высокий пафос, режущие темы.
Поэзия для него — орудие борьбы, пропаганды, призыв!

Каролина Стальская

Рабочая девушка, поэтесса. Талант.
Тяжелое детство, нужда, несчастья.

Кирик Бушман

1. Молодой талантливый критик, разносторонне осведомленный, с удивительной памятью, эрудицией не по годам, тщательностью подхода к материалу. Начинающие идут к нему, тянутся инстинктивно. Отличный товарищ, не дурак выпить...
2 Дает советы начинающему.
3. Ему предстоит работать со Сладкопевцевым(?!).
4. Поступил в издательство и сам отвергает... 99% материала!
5 В наши дни есть чем вдохновиться! (пример с афинянками).

6. Наш писатель должен быть всесторонне зрелым!
7. Советует «отстаивать» художественное произв[едение], не торопиться...

Ник. Кузнецов [1]

Дать его в производстве. Работает. Насыщенность энергией, радостью труда, многообразием чувств и впечатлений — он в коллективе свой, родной, нужный... Ротозеет перед стенгазетами. Видит там обличенья некоторых «генералов» в производстве и слышит, как их за эти грехи костят на собраниях рабочие. И сам написал про одного. Потом еще, еще, еще... Втянулся, стал рабкором — непосредственно, как-то сам собою. Затем сидел на собр[ании] рабкоров. Там говорили и о кружке рабкоров-литераторов. Пошел туда на заседание, слушал.

Сердце волновалось необъяснимо. Была не то гордость за товарищей, не то зависть к ним. Ушел потрясенный. И в ту же ночь начал писать стихи: корявые (дать). Потом всегда ходил на кружок. [Рассказал] тайком близкому другу, тоже поэту *(навсегда связанному с производством, не отошедшему от него, оставшемуся твердым)*. Однажды тот ему предлагает поместить стихи Яшки в стенгазету. Тот в испуге отмахивается. Два дня не дает, не разговаривает с другом. Наконец — дает. Помещают. Он со слезами радости и гордости читает свои стихи на стене. И пошло — пошло. Он — в журналах... Рвется в издательство «хоть полы подметать». Уговаривают. Не помогает. Порывает с производством. К нему ходит друг, уговаривает — напрасно: Колька деклассируется, ударяется в богему, пьянство. В конце концов топится.

Ник. Ник. Щеглов

Беллетрист, попутчик, талант.

Советский, был в боях, участвует в сов[етской] работе. Критикует сам попутчиков. видит их шатанья, к про-

летписателям боится идти, опасаясь, что сочтут «примазавшимся» (так иные не вступали в РКП).

Мученик образа, слова, темы, формы — вещи его высокого качества, работает добросовестно, до исступления, рвет — правит — сжигает... Рассказ пишет три месяца... Правит 10—12 корректур...

Горюет за пролетписателя, который еще долго-долго не сможет писать как следует, так как много занят в общественной работе. «Мы-то пишем... учимся, а он — ячейка, профком... кружок... собрание...»

Тепломехов

Беллетрист, талант, сменовеховец, серьезно, убежденно, через испытанья пришедший к соввласти.

Ведет строгую, как сам говорит, «покаянную» жизнь, торопится наверстать потерянное, активен в общественной работе, по клубам, кружкам, газетам (не подлаживается!) — искренне видит в этом огромное новое, с будущим.

Страдает, видя, что старое ему удается очертить мастерски, а новое не выходит, его не знает, не чует.

Иосиф Шприц

Талант. Беллетрист... Эстет. Моралист. Охотник до разрешения «проблем». Сексуалист.

Объективно — мещанин, мелкий буржуа, любитель «салончика».

Революцию видел со стороны, наблюдал, усвоил ее как бунт (Стеньки и подобных), организации не признает.

Не видит вокруг ни одного «настоящего» писателя, глумится над молодой пролетарской литературой... «гм... рабоче-крестьянская?»

Копит деньги на черный день, рвач — всюду торопит, жалуется на грошовые гонорары.

Вещь поместит сначала, перед выпуском книжкой, в десяти местах: «отрывками», «главами», «очерка-

ми», «выдержками», «кусками», «летучками», «страничками», «листками», «частями», «местами» и т. д. и т. п. — в газетах, журналах, альманахах, сборниках, хрестоматиях, «комбинированных» своих книжках (то есть тех, где переставлен так и этак один и тот же материал) и потом лишь — *книгой!*

Ходит в партком, держится как завзято «свой».

Ведет «Интимные записки писателя», где костит советские порядки, где говорит «наедине... со своею душой»... (Вспомни: «На всякого мудреца довольно простоты» — его дневник.)

Держит связь с заграничною шпаной — им он близок и они ему. Там печатается. Там его и хвалят, как «единственного представителя отмершей породы писателей».

Снисходительно-презрительно относится к эмигранту-сменовеховцу Тепломехову, как «коренной представитель новой интеллигенции», все время бывший «на баррикадах», а не где-нибудь там... в Берлинах!..

Леонардо Волконский

Беллетрист, пишет хорошо по мастерству, идеологически — враждебно.

Вместо «Леонид» зовет себя «Леонардо» — в том видит удовольствие.

Глухо ненавидит совласть, скрывает это со скрежетом зубовным.

Живет в пакостной «своей» среде совтузов, совловкачей, нэпов.

Разлагает, заражает сомнениями лучших из попутчиков, активно сносится с эмигрантами в рамках дозволенного.

Мысли свои при нужде ловко вуалирует.

«Многообразность», а по существу — ничего путем не знает.

«Они» в прошлом и теперь. Их вечера — по салонам-будуарам.

Глеб Глебыч Труха

Старичок-беллетрист, мертвечина, подделка под современность.

Зря шегутится — пропитан старым безнадежно, это особенно вскрывается, когда он очутится «в своем кругу».

Производит жалкое впечатление, обтрепан, с него будто всегда сыплется — осыпается пыль. Тычется по редакциям, предлагает, везде с улыбкой отказывают, но он верит обещаньям, не унывает, ходит вновь и вновь...

Дать в домашнем быту; беда чистая: труха...

Егор Жуков

Поэт — богема, оторвавшийся от производства, разложившийся, в будущем — самоубийца. Даны похороны, речи: незрелые и серьезные.

Дается (в воспоминании) детство, отрочество, работа, история постепенного отрыва от производства.

Иван Колобов

Несимпатичен. Поэтик. Приехал из провинции очертя голову, обескураженный тем, что в журнале поместили одно его произведение. Тычется напоказ по всем кружкам, нигде не работает, у всех клянчит то на сапоги, то на дорогу в Ленинград. Сначала давали, потом стали гонять. Со всеми лезет запанибрата: Алешка... Мишка... Кирка... Всюду сует нос. Лезет спорить, доказывать — его отшивают строго. Жалуется на «всеобщий бюрократизм», а на деле — просто сам неприятен и всем надоел назойливостью и попрошайничеством. В кружках на него здоровые ребята указывают как на кандидата в люмпены: потребитель-де, не труженик Коло-

бов и разлагается в силу этого. Там ему Коростелев твердо и прямо высказал однажды общее мнение, примерно в стиле: «Ты, Колобов — кандидат в шпану!»

Услыхал о Пролитфонде[2] — марш туда заявление, и каждый день бранится: почему не выдают, понабрали-де штатов, а нам нет ничего. За это ему на кружке выговор дали: «Не жди, негодяй, а работай, грузить иди али жать в дерёвню, не околачивайся... Мы голодали раньше, да молчали...»

Пишет письмо: дай на брюки, пропил, я — талант, я — чекист!

Ефим Греч

Поэтишко-пройдоха-делец.

Писал раньше «на царскую фамилию», как говорят о нем знающие, а теперь «на Ленина»... Сохранилось по журналам много его стихов 1910—1917 гг., вдребезги бездарных и порочащих его как человека: бряцанье оружием, патриотизм, сладострастничанье.

В МКК присутствовал как беспристрастный свидетель, давал массу «порочащих» фактов против Бурового (которого опасался как конкурента, оттесняющего Греча со всех фронтов): общается-де много со спецами, склочник, не посещает партколлектива писательской организации, зарабатывает много денег (а у того — семьища!), груб с посетителями и т. д. и т. д.— получилась, словом, «картина»! Когда все вскрылось — Греча вывели на чистую воду.

Непременный член всех официальных собраний.

Работая редактором журнала, расхваливает себя в передовице.

Некролог дал (?) Неверову.

По магазинам спрашивает свои же книжонки.

«Испытывает» всех провокационно.

10% удержите в пользу МОПР (ловкость).

Надо уметь ловко устраивать свои произведения.

Иннокентий Викентьев

«Поэт», бездарность круглая, самомнение — ура!

Носится — показывает всем журнал, выпущенный где-то в уездном центрике тайги, журнальчик «Эхо мира», где помещена и его, Викентьева, какая-то «литературная заметка очевидца». Когда его спрашивают: «А вы печатались?» — отвечает: «Как же... несколько лет...»

Георгий Старухин

Отжившая труха (старый булькающий поэт).

Темы: любовь, соловьи, липки...

Форма — песенно-былинная, напевная.

Когда его видишь — вспоминаются какие-нибудь 70—80-е годы, поэты с длинными волосами, вечеринка и т. д.

Александр Остроухов

Критик — бездарь, фразер, любитель общих мест, компилятор, всюду вынюхивающий, обобщающий, выдающий это за свое. Ни одной свежей мысли.

Лезет в большую прессу. Там гонят.

Добивается у доброго Бушмана хорошего отзыва о своей дрянной статье и сбуривает благодаря этому в журнал.

Сует нос повсюду, лезет в панибратство...

Иван Иваныч Сладкопевцев

Как критик-коммунист сложился в прошлом, воспитался на буржуазной культуре, что сам всегда повторяет.

Объективно — враг пролетлитературе, рассуждает: «Сначала дайте шедевры — тогда все признáю».

Редактор крупнейшего журнала, от него, следовательно, зависимо большинство писателей, держит всех в кулаке...

Леопольд Грум

Буржуазный критик, усидевший чудом в России. Ненавидит нутром Советскую Россию, но... заикается.
Объективно — много точек соприкосновения со Сладкопевцевым. «Мы судим только по шедеврам!» (а помочь росту пролетписателя — это вне их поля зрения).
Редактор буржуазного журнала.

Женский тип в среде литераторов (Галина)

Это давний работник издательств. При всех начальствах уживается, держит нос по ветру, водит по комнатам, ознакамливает, предупредительно-вежливо, прислуживается... Были для нас мрачные времена — она любила интимные беседы с Воронским (дать эту беседу на диване, в кабинете), тогда она тонко, небрежно, зло иронизировала над пролетлитературой. Издевалась, отвергала самое ее существование, хохотала весело. Шли годы. Мы победили. Начальником ее становится Керженцев [3], то есть *наш* — это обязывает ее повернуть резко фронт: лицом к нам, спиной к Воронскому, который уже пал, из журнала вышиблен. И вот она «зазывает» всех пролетарских писателей к себе на вечеринку, старается стать «центром» молодой литературы, ее душой и вдохновительницей, в то же время влюбляясь и отдаваясь поэту Сашке.

Небрежно того и другого зовет к себе обедать, фамильярно справляется: «Ты что вчера не зашел, мне нездоровилось, лежала в постели весь вечер? Были X, У, Z... Они ждали и тебя».

Уже бранит Воронского как реакционера и старика.

Редакция стенгаза

Обсуждение плана, споры:
1) Общеполитические вопросы дать или 2) свои, заводские?

Подбор очерков и стихов, переплет интересов — *редакции* (желающей дать злободневное) и *авторов* (торопящихся протолкнуть все, что имеется в запасе на руках).

Номер составлен.

Как любовно пишут на полотнище, рисуют, вывешивают.

Сами же редактора потом останавливаются, перечитывают по три раза, довольны. Публика грудится, хохочут над «продернутыми», восторгаются стихами Яшки Шведова.

Рабочий кружок. Читка материала. Споры. Личные обиды. Брань верхов за пренебрежительное отношение. Зависть к автору одних, уваженье и внимательность других. Обстановка: курево, напряженность, утомление. Завязка любви на почве увлеченья «его» стихами. Идут вместе. Беседа. Любовь. Потом встречаются, охваченные новыми чувствами. Любовь растет. Он — у станка, она — в райкоме поломойкой.

Наезжие писатели

Ребята, комсомольцы. Едут все на ура, не имеют ни средств к жизни, ни комнаты, ничего — все надеются на «дома писателей», которые здесь, якобы, строятся, надеются на пролитфонд, который, по их сведениям, функционирует и т. д. А на деле — голодают. Ждут приема в ВАПП и т. д.

В литкружке

...Дать картину общерабкоровского собранья, где обсуждаются все разные вопросы — тут и наши литераторы. Они пропитаны вопросами фабрики, они неразрывно с нею связаны.

Дать день на фабрике, процесс производства, наших писателей за станком, их интересы, их разговоры: это те же рабочие прежде всего! Вот в чем их сила.

Дать редакцию стенгазеты. Ее приготовление. Настроения. Радость каждому видеть там свое напечатанное.

Наш вечер

Еще не начали. Зал пуст наполовину. Только передние ряды как маком красным усаженные грядки: комсомолки рассыпались. В одиночку, кучками — толкается публика в коридорах, лица вялы, невеселы — уже час, как надо было начать, а докладчика все нет и нет. Наконец он примчался, возбужденный, заизвинялся, объяснил, что с какого-то внеочередного заседанья. По залам — шорох голосов, шепот:

— Приехал... приехал...

Потянулись в зал. На массу пустых мест кликнули красноармейцев из соседней казармы. Зал заполнился.

Докладчик зачал доклад: 10, 20, 40, 60 — за час перевалило. Докладчик все тем же монотонным, ровным голосом поясняет «основные, незыблемые, теоретические предпосылки», как заявил он в начале речи. Кашель уже кругом гудит неудержимо, зашелестели смешки, иные подымаются, выходят, приходят снова, и снова застают все ту же спокойно-сонную фигуру докладчика.

Уже мы ему и головами киваем, и подмигиваем, и пальцами разные штуки показываем — ничто не берет: улыбнется — и дальше. Мы ему записок, думаю, дюжины две отослали, а он только заявил, возмутительно спокойно:

— Заявляю, дорогие товарищи, что на эту массу интересных, вероятно, записок я отвечу вам в печати...

Ну и обормот: записки почти все были о том, чтобы кончал скорее! Кончил. Мы бешено аплодировали от радости. Зал облегченно вздохнул.

Пошли поэты, поэты, поэты...

Видим, как у Вани, у начинающего, только второй раз выпущенного «на народ»,— ноги дрожат, колени пляшут, нервно скулы поскакивают, багровеет от натуги лицо, пот проступает на чистом высоком лбу...

Слова заплетаются, за что-то задевают, свистят за зубами... Но это сначала только. А разгулялся Ваня — соловьем запел певучим.

Другой — все кокетничал с публикой, пытался острить, волосы все откидывал ласково и небрежно назад, улыбался неопределенно... Всяк по-своему себя показывает.

Шум кружка

По какому поводу? А, видите ли, ни одному из членов не повезло: разные издательства, под разными предлогами, отказались печатать их рукописи. Кто что говорил:

1. Портфель перегружен аналогичной литературой.
2. Нет: денег, бумаги, шрифтов...
3. Сужаем производство вообще.
4. Машины заняты выбрасываньем: учебников, крестьянской литературы, агиток по сезону, «универсалки», социально-экономической литературы и т. д. и т. д.
5. Повремените... до октября (какого года?).
6. Рынок завален аналогичной литературой.

Но никто не сказал правду: плохо сделано! И потому шум. Объяснил им это Кирик:

— Писать надо долго, годами — пока не научишься писать хорошо. Кому нужна безграмотная брехня? Не торопитесь, друзья! Наш лозунг, строже чем где-либо, должен быть лишь один: «Лучше меньше, да лучше». К нам это требованье больше подходит, чем куда-либо. Я не знаю другой отрасли труда, производства, где бы так просто, бездумно, безоглядно и даже... цинично относились к продукту своего рукомесла: «Написал, сдал — и ладно!»

Пишут всякую дребедень, кому что вздумается, пишут не зная, не понимая, не чувствуя — совсем, словом, вслепую.

И нет другой такой области, где безответственная мазня процветала бы так махрово, как именно в области художественной литературы.

Ну, кто посмеет все-таки писать про какой-нибудь Сатурн, про Мадагаскар, про тарифную политику или что-либо вообще специальное — кто посмеет писать, *не зная вовсе ничего?* Редко. Бывает, но редко. А в художественном творчестве — да отчего ж не взяться? Разве тут есть какие-нибудь каноны, правила, традиции, разве тут обязательны точные знанья? Да ничего подобного! Наоборот: чем неожиданней (думают иные храбрецы), тем больше надежд на успех, на вниманье. И дуют, кому что охота дуть.

Помню я одного насмешника-поэта. Одна из поэтических школ — не будем говорить какая — просила его написать что-либо исключительное. Он наплел такую чушь, такой вздор и галиматью, что сам ничего не понимал и относился к этому хламу, как к хламу. А там... приняли. Больше того: там восторгались. Там находили разные «новые истины», «неожиданности стиля», «звуковую гармонию», «пляску шумов и криков!» Чего-чего там не находили чудаковствовавшие поэты! А сам он, поэт этот, хохотал до упаду, когда узнал, что в его хламу открыли столько ценностей. Когда он откровенно признался тем хахалям, что подшутил над ними и переслал бред и суматоху,— те и глазом не моргнули.

— Твои объяснения — тьфу! — молвили они прорицательно.— Ты можешь быть любого мненья о плодах своего вдохновения — это личное твое мнение, не больше. И скверное твое мнение о собственных же своих стихах — отнюдь не удержит нас от восторга перед ними, раз они того заслуживают! Разве мало было плодов поэтического вдохновенья у поэтов, даже величайших, которые они-то сами все ж считали хламом. А потомство? Оно считает эти «хламные» вещи шедеврами, да!

И так заморочили парню голову, что он, мягкий и доверчивый по существу своему, стал колебаться, стал и сам подозревать — нет ли тут и на самом деле чего драгоценного, чего он, может, и не видит. Заморочили, словом.

Тоже и критики — звонили разное про эти стихи. Впрочем, критикам и делать было бы нечего, ежели б не выдумывали они разные там «проблемы» из пустого места!

Так вот в кружке шум:

— Почему не печатают пролетарских писателей? Подать протест, жалобу в партком!

Ну что ж, подали. Из парткома им прислали товарища, тот объяснил:

— Работайте годы. Работайте десятки лет, прежде чем печататься. Не торопитесь на столбцы газет или в книгу. Успеете. Нам нужен высококвалифицированный материал. А вы — ученические опыты предлагаете! Да еще в обиду, когда не печатают. Попутчики? Да, они пишут лучше вас. Что ж тут удивительного. Научитесь и вы. А когда научитесь — начинайте. Тогда и печатать будут.

Вспомнили Глебову, принесла мазню «пролетарки, которая... 40 лет у станка, два года назад обучилась грамоте, пишет в «Делегатке», стара, скоро умрет...» (Ну так что же, все умирают, какое до этого дело обществу, читателям, литературе?) А Глебова обиделась, когда отказал.

Старые «литсливки» теперь

Ожили при нэпе (дать имажинистов, разных «истов»). Будуары. Ковры. Запахи духов. Женщины. Ихние «вечера», ихние «субботы». Съезжаются на рысаках, авто. Возлежат с сигарами, чашками кофе. Читают истошно. Слушают. Философски-снисходительно аплодируют. Хихикают насчет «агитпоэтов», снисходительно признают «культурность» Воронского.

Это — оборотная сторона воронщины — ее крайняя, самая гнусная ступень...

Любовные интрижки, подставка ножки друг другу, в глаза — приятности, за глаза — клевета. В один из вечеров — доклад «О современной художественной литературе» — сплошной поклеп, клевета, ядовитая слюна на классовость и прочее...

Дать их за время 1917—1925 гг., когда стихли, вовсе примолкли. Потом бравурно играли словом «революция» и, наконец, бросили при нэпе это слово, стали писать свое «настоящее»: про женщин, любовь, соловья...

«Многообразный» автор

Многообразен ли, многосторонен ли автор?

Нет. Даже наоборот: лишь полное отсутствие литературного чутья позволяет ему писать на самые разнообразные темы.

Ведь для многообразия нужно обладать огромной эрудицией, знаньями, а у автора как раз этого и нет.

Драмы его — не драмы, а пустяки. Там ни одного типа, ни одного характера, язык действующих лиц — это язык автора.

Да и откуда автору (правда, грамотному и начитанному!) знать и королей Англии XVII века и наших крестьян времен Петра, белых и красных, сверху донизу и в 1917, и 20-м, и 25-м годах, попов, генералов, рабочих, обывателей, социал-демократов Бельгии, малайцев и аджарцев, ребенка 3-х лет и старика 92 годов — каждого со свойственными ему особенностями. Он берется за многое и ничего путем не делает!

Разговоры — все на один лад.

Патетические тирады против буржуев — тошны. Пьесы печет он, как блины на масленице. В письме своем к нашему ужасу сообщает: «Скоро пришлю вам еще четыре большие историко-революционные пьесы!»

ПИСЬМА

1. А. А. ФУРМАНОВУ

20 января 1912 г.

С ангелом, милый мой Аркаша.

Времени теперь полночь и, вероятно, придется лечь под самым неприятным впечатлением, если только оно не изгонится самым процессом писания. Дело, брат, в том, что часа два назад вздумал было я почитать «Дух[овное] поз[нание] филос[офии]» Огюста Конта (брошюрка стр. 70—80). Просидел, значит, около двух часов, прочитал страниц двадцать и решил бросить. Черт знает что это за история такая случилась со мной — вот все понимаю, кажется, прекрасно понимаю, нарочно читал и разбирался во всем, а как оглянулся назад — и оказалось, что я ровно ничего не знаю. Почему это? Задаю я себе вопрос и бросаю злосчастную брошюру. На вопрос «почему?» у меня создаются 4 предположения: или перевод отвратителен; или я уж настолько патриот, что все иностранное отскакивает от меня, как горох от стены, не задевая вглубь; или я еще настолько мало развит, что не в состоянии постигать философию, или же (говорю я, хоть и с большим сомнением) вся философия — ерунда, по крайней мере вся та, которая, переливая из пустого в порожнее, порицая все остальные учения, вводя малопонятные, темные философские термины — не дает, в сущности, ничего положительного, и вертится мысль на том, что: «философия-де вещь многообъемная и труднопостигаемая, а потому не отчаивайся, коли не поймешь ее». Но ведь я хочу понять, зачем же

излагать так, чтобы я понял с трудом или даже совсем не понял?

Мне это страшно обидно. Может быть, уж под горячим-то чувством, а может быть, и *вообще* справедливо у меня является мысль, что философы, «забираясь в дебри», мало заботились о том, чтобы их поняли; они сами, конечно, встречали на пути своем массу тайного, неразгаданного, ну... и чтобы как-нибудь обойти эти тайны, они и пускались на всякие хитрости, из которых первой является «запутаннейшее терминологическое, философское *объяснение*», которого, пожалуй, «сам черт не поймет».

Досада, да и только.

Вспомнились мне философские рассуждения Виссариона Белинского; хоть и нет в них научной обоснованности и страсти, зато сколько в них страсти жизненной, понятной и близкой всем... Там только вдумайся — и как живая встанет перед тобою картина жизни, которая захватила «неистового поэта». А тут что? Нет, нет, нет,— все не то, не то... Жизни-то, дела-то мало... Прочитаешь, положишь — и баста: не только задуматься и поверить, а даже разобрать-то хорошенько не хочется — так мало было веры в том, кто писал, ибо с верой писанное, выстраданное душой — отзовется и в душе читающего, коли он хоть немного может понять чужую душу.

Ну что я написал тебе? Словно доклад какой отписал: на, мол, читай; хоша и не хочется, а все ж — читай. Но в этом сказалась основная нотка, которая всегда на первом плане в моих письмах: это то, что в письмо я влагаю то, что в данную минуту волнует или радует меня, и мало сообразуюсь с тем — интересно или нет будет это для адресата. Ведь вот написал истинную чушь, а переписывать не буду, запечатаю и... айда: лети, мол, милое мое, все-таки не пустая бумага, хоть отругает, мол, меня — и то ладно...

Поздравь-ка, Аркаша, с именин[ником] папу, маму и всю семью да прощай, спать лягу...

Брат твой *Дмитрий.*

1912 г.

2. А. С. ФУРМАНОВУ

6 октября 1912 г., Москва.

Среди всей неприятности настоящего проглянул светлый луч счастья и улыбнулся мне. Дело все устроилось как нельзя лучше — на ист[орико]-фил[ологическ]ий меня перевели, и я, таким образом, сразу (хоть не совсем сразу!) сделался тем, чем так давно хотел быть. Желанные мечты мои совершились, и я вступил на твердый путь. Спасибо же Вам стократ за то, что поддерживали меня тогда, когда чувствовал я, что почва колебалась и уходила из-под ног моих. Тогда Ваше твердое, любящее, отеческое слово удерживало меня от отчаяния и давало новые, светлые надежды. Когда просыпается в душе воспоминание о прошлом времени, о годах покойного и беспокойного ученья — всегда вместе с этим воспоминанием живет во мне и другое: Ваша заботливая любовь, осторожность и боязнь потревожить и помешать делу. Или не видел или не чувствовал я, как дорого обходилось Вам это долгое хождение на цыпочках около моей комнаты этот разговор шепотом и робкие приглашения идти с Вами к столу,— не видел?.. Нет, все видел, все чувствовал и знал, и страдал оттого, пожалуй, не меньше Вас. Мне стыдно и больно было отказывать Вам провести вместе несколько минут, но я отказывал и сам чуть не плакал над этими отказами, когда слышал сквозь раскрытое окно удаляющиеся шаги, чутко отдававшиеся в ночной тишине. Помню — особенно грустно было слышать мне эти удаляющиеся шаги. Мое сердце с каждым их ударом почему-то сжималось, и все мрачней и мрачней становились мои мысли... Я уже ясно представлял себе, как сидите Вы там вдвоем и скучно коротаете время до полуночи с тщетной надеждой радости и оживления...

Я сидел один, но видел Вас и тосковал вместе с Вами усталой душой. Но вот кончились труды, успех благословил меня в новый, далекий путь — тут настало уж время полного отдыха. Но вспомните Вы теперь — было ли это время отдыха радостно для Вас

и для меня? Нет, радости снова не было. Чувствовалась какая-то тайная рознь, которая не позволяла сходиться вполне искренне, весело и радостно. Что ж тут было поделать, когда и полное свободы время не изменило положения? Время тянулось как-то вяло и медленно, а любви — той любви, которой хотели и Вы и я,— той любви все не было, она не только не приходила к нам — она как будто со страхом уходила и разъединяла нас. Создавалось поистине тяжелое положение, из которого совершенно не было выхода. Вы спросите, быть может, дорогой мой папа, почему это так все выходило. Я на это скажу всего несколько слов. Неприятности, рознь, даже явная вражда и скандальные споры существуют в каждой семье. Вы посмотрите — всюду отцы ополчились на детей, а дети идут против отцов. Ни те ни другие как будто не понимают друг друга и постоянно спорят. У нас еще, слава богу, тише, чем у многих, даже у очень многих. Только не видим мы, что делается за чужими-то стенами, а как расскажет какой-нибудь друг-приятель по душам,— как живет он со своими родителями да со своей семьей,— так рад я, что у нас еще все так мирно да покойно, и чуть не открещиваюсь от его слов. Итак, вражда эта — вражда общая.

Происходит она главным образом потому, что сын своей свободной, новой, самостоятельной жизнью начинает как бы выходить из-под опеки отца, а отец, в свою очередь, никак не может допустить за сыном его собственной, самостоятельной жизни, считает его чуть не ребенком до 25-ти лет и ни в чем ему не доверяет. Поверьте, папа, что все неприятности выходили у нас только из-за этого. Нам хотелось, чтобы и Вы немного уважали наши 21—22 года, а Вы смотрели все как на детей. Вот что обижало и вот почему иногда, не стерпев, приходилось говорить Вам грубости. Я говорю Вам, папа, вполне искренне, мне так захотелось поговорить с Вами ото всей души. Вы поймете мою искренность и отплатите мне тем же. Часто говорили Вы, что холоден я, что учен, а Вы не учены, и потому я не могу с Вами говорить.

Нет, это все не то... Ученье тут я давно бы отнес в сторону... Я люблю Вас так же, как любил ребенком,— ученье не убило во мне этого святого чувства, и я глубоко храню его в душе моей. Не ученье тут было виною, а ученье сделало только меня умнее, и я понял, почему мы так долго и напрасно враждуем. Уж если нельзя изгнать совершенно этой розни, так можно уменьшить ее так, что она будет почти незаметна,— и тогда будет новая, более приятная и радостная жизнь. Я как сын готов во многом уступить, но и Вы, дорогой папаша, не обижайте своим невниманием уже немолодой возраст.

Целую вас всех крепко-накрепко.
Любящий сын Ваш

Дмитрий
912.10.6.

3. А. А. ФУРМАНОВУ

9 ноября 1912 г.

Братан, братан, вот тебе и братан... Это письмо захватило меня как раз ко времени. Милый мой друг, у меня совершается в душе процесс как раз противоположный тому, который ощутил ты в себе. Говоришь, что явилась вдруг жажда читать, знать, развиваться — при избытке дум, чувств и мыслей? А я все хочу вот отбросить от себя эти книги, отбросить их далеко-далеко, чтобы мысли и думы сменили их, но не могу... Я так втянулся в чтение, что оно решительно заменило мне живую жизнь за последние годы моей одинокой, свободной жизни. Я уже не могу пройти равнодушно мимо заманчивой книги — или читаю, а не читаю, так тоскую по ней!.. Это дурно и особо дурно потому, что я разучился думать, мыслить, рассуждать логически — я могу только творить: случайно, мгновенно, ненадежно...

И это не только в поэзии — что поэзия? Мне, право, кажутся порой смешны все мои занятия по части

лирики и душевных подъемов. «Зачем?» — скажешь себе. И ответ замирает недоговоренным — страшно и стыдно даже перед самим собой выговорить его, и вертится, вертится проклятый: «незачем». Вот ответ — незачем. Как будто все выходит так себе, шутя, из баловства, без всякой серьезной цели. И что дала мне моя лирика за 21 год моей жизни? Правда, она размягчила мою душу — надела на нее очки надежд и упований — но и только?!! Говорили мне, что есть у меня воля, есть какие-то свои убеждения и теории,— поверь, ни черта нет! Я чувствую себя таким беспомощным, таким неуверенным ни в чем и слабовольным, что пойду за потоком каких угодно истин,— все это безвольное малодушие прикрывается только внешней серьезностью да любовью к замкнутому труду — в этом все. Посмотришь вокруг — этот вот защищает одно, этот другое — значит, верят во что-то, если уж решаются так убедительно защищать что-то близко[е] их душе,— а я? Говоришь, иногда горячо говоришь, споришь, как будто отстаиваешь, но как-то это все не то, не так все отстаиваешь — без воли, без страдания... И это-то вот отсутствие серьезного (серьезного по-настоящему!) отношения к своему делу, к своим убеждениям — это-то вот всего больше и тревожит и убивает меня. А почему, думаешь, так все вышло? Да потому, что все читал и читал без конца, а с жизнью-то, с настоящей жизнью не соприкасался — вот и получился крайне неуверенный в себе теоретик жизни, книжный шут, подгоняющий все под аршин психологии разных романных героев. А жизнь идет, жизнь кипит — сама по себе, через край. Нельзя вгонять ее в рамки, как вгоняет ее закон и вообще всякое насилие над чужой свободой; нельзя урезать ее крылья когда вздумается и за что вздумается. Жизнь требует ограничений лишь в немногих, очень немногих случаях, и то со стороны чисто внешней, официальной,— без попыток перестраивать чужую, а след[овательно], непонятную душу на свой лад.

А кабинетный ученый, живая буква — он так всегда делает и потому всегда ошибается, не зная и не понимая живой души человека.

Покойному Надсону (посмотри!) поставлен эпиграф:

Как мало прожито,
Как много пережито.

А я себе, почти в его лета, ставлю:

Как много отжил я,
Но что я пережил?

Окинешь так вот невзначай прошлую жизнь насмешливым и неглубоким взглядом и видишь чушь, чушь, чушь... Чтобы не видеть в прошлом чуши (и наше настоящее через мгновенье ведь отходит уж в прошедшее), чтобы взглянуть на него — ну не скажу горделиво, а просто без злобы и без раскаянья,— для этого нужно создать себе цель, путь жизни...

Нужно продумать и полюбить этот путь, нужно заранее знать, что не встретятся тебе только розы на этом пути, нужно привыкнуть к этой мысли — и тогда жизнь может иметь смысл. Нужно задаться определенной целью, которая влекла бы неудержимо, а цель, так серьезно понимаемая и ощущаемая, может жить в тебе лишь после того, как ты глубоко, вдумчиво и болезненно продумаешь ее, когда родишь ты ее «в болезнях». Вот такого-то серьезного сосредоточения на любимой идее у меня и нет. Ты говоришь, что дорóга, моя любимая дорога — передо мной?.. Широкая... свободная... красивая?!! Полно, так ли, брат? Я уже начинаю сомневаться в себе, начинаю подозревать, что создан я совсем для другого, а не для того, о чем мечталось с такой живостью в дни первой моей юности, паче же во дни далекого детства...

Роль немудрствующего работника поденной жизни будет, пожалуй, сподручнее мне, там больше, может, выйдет. В этом вот почти убежден. Но вот тебе и здесь налицо мое слабоволие. Ведь знаю, ощущаю в себе непригодность для выполнения «высших целей» провидения, знаю, что величия не видать никогда, а в нижних ступенях замирать стыдно,— знаю ведь все это, а не хватает силы, чтобы сразу одним взмахом

порвать со старым, подобрать себе новое по уму да по силам и таким образом принести в этом мире свою посильную лепту... Ведь так, так ведь нужно бы поступить честному и сильному человеку, чтобы не обманывать ни себя, ни других, так?.. Ну, а я вот не могу. Все бреду еще по той самой дорожке, которую полюбило мое еще детское воображенье и к которому дошел как-то случайно, инстинктивно... Ведь не скажу я теперь, что так люблю, так обожаю свое дело, что сгибнуть готов за него. Ну, а это разве уж дело, коли душа не вся ушла в него. Нужно всю, почти всю свою душу отдать любимому делу и пусть только через маленькое окошечко входит туда все иное, чуждое,— а у меня? У меня душа разменялась по частям: сейчас готов работать, работать сильно, интенсивно, упорно, но сейчас же я пойду и плясать, да так еще стану плясать, что жизнь-то в пляске покажется еще краше, чем в труде,— ну, что же тут? Что тут — скажи?

Это не жизнь, а какое-то позорное и гадкое волокитство за радостями жизни, за ее эффектами и фальшивым счастьем. Я сказал тебе, что могу лишь творить — случайно, мгновенно, ненадежно... В этом радость сладких мгновений, но в этом и беда моя. Бывают порывы, которыми поистине сближаешь себя с небесами, но вслед за ними же, через миг — может такая грязь в душе зародиться, такая мерзость заползет туда, что страшно и стыдно и больно станет за себя. Времени ведь ушло уж так много... А что сделано?.. Ну, если уж не в жизни, так в душе-то — что сделано? Ни силы, ни твердой воли, ни покоя — нет ничего, и жизнь все идет так глупо, межуя тоску с пустячным весельем...

Это все к тому говорю, что книги порой опасны, даже вредны, как то сказалось на мне... Читать надо, даже как можно больше, но невозможно читать только для самого чтения. Надо так продумывать каждую мысль, каждое слово, чтобы в душе оставался след, а не пятнышко — тогда плод будет хорош. Главное — надо думать, думать самому... Книга пусть будет только толчком, который то туда, то сюда толкает твою мысль, но мысль пусть остается в тебе своя, род-

ная, продуманная. Я читал много, но думал мало. Теперь плодами явились — слабоволие, нерешительность и неуверенность. Там и в моей маленькой библиотечке есть много ценного, хоть бы и из родной нашей литературы; читай лучше меньше, но продумывай сильнее, глубже, а знанье только для знания — сущая ерунда. Я вот тебе хоть приведу несколько случаев из студенческих бесед, где приходилось быть и мне. Начинаем хоть говорить о различных физических и психических процессах... Постепенно, случайно, но логично подходим к Гамсуну: [1]

— А читал ты его «Викторию»,— говорит один,— прекрасная вещь...

— Да, хороша. А Лагерлеф [2] как пишет?.. А черт ее возьми... Вот пишет!?

— Да, умильности много... И вообще все эти северные писатели хороши...

Зачем? Зачем это? Только объяснились люди о том, что они знают о чем-то внешнем, о писателях. Где же тут душа, самая соль жизни?.. Ее нет... Вот тебе знанье для знанья... Люди говорят, пожалуй даже похваляются тем, что они знают и что другие могут не знать. Соль дела не в знанье, а в пониманье. А, может, оба они, не разобрав хорошенько духа героев,— даже и не согласны совсем меж собой относительно слова «хороший»? Что они понимают под ним? Говорим об Эрлихе.

— А, *кстати,* господа, его лучший товарищ, женщина-ассистент умерла...

Что за черт! Какое тут кстати... И зачем это сообщение, когда можно бы без него. Так, друг мой, много и часто говорим мы затем лишь, чтобы *сказать.* Сказал — и доволен. Вот, мол, подумают: «Много человек-от почитал...» А что в том? Да, быть может, я и не понял ничего из того, что читал; может, я запомнил только название книги да имена героев? А таких немало.

Не смущайся тем, что мало читал. Читай лучше немного, да продумывай лучше, чтобы душа-то твоя была полнее да ум шире, а не то что *объем* знанья увеличивался.

Поверь, брат, что знанье само по себе дрянь, одна посуда, а содержимое переваривается независимо от того сосуда, в котором оно было. Все равно: узнаешь ли ты мысль из многотомного труда или из брошюрки — вдумайся: как душа твоя поняла ее? И тогда только прими ее, а то забудь, забудь скорее.

Душу надо развивать да силу развивать, а это все только думой, болезненной думой и упорным трудом мысли можно родить в себе.

Перечень нужд:

1) Скажи, пож[алуйста] Шуре [3] (что он, как там?), чтобы не пил ничего — ужасно вредно, узнал от проф[ессора] — скажи поубедит[ельней].

2) Напиши, как твой щенок. Так ли все еще интерес[уется] охотой и любит ее?

3) Вербицкая-то [4] у Курносого не вышла?

4) У Малкова [5] возьмите мою кн[игу]: «Воспитание воли» [6].

5) Если из дому когда надумают присылать деньги, то извещай приблизит[ельно] за день, так как повесток здесь нет — носят прямо деньги.

6) Узнай, пожалуйста, *тайно,* порасспроси детей — каких бы им хотелось подарков, то есть не то, что бы я купил, а каких вообще хочется... Сережа там что-то говорил о ружье или сабле — не помню. Может быть, случатся деньги перед рождеством, так хорошо бы милым деткам привезти что-нибудь. Порасспроси получше да напиши. Прошу в секрете ото всех.

7) Да скажи, пожалуйста, производят ли мои письма какое-нибудь впечатл[ение] на папу, особ[енно] то, где говорил я, почему выходят недоразумения «отцов и детей». Помнишь? Ты, верно, сам читал его им. Пожалуйста, напиши — это крайне интересно. Как он на это отзывается, да и вообще-то как он там, милый, живет? Уж о маме не говорю — ей чего же меняться?

Распределил нарочно на отдельные вопросы, чтобы ты ответил на каждый.

Прости, милый брат.

Дмитрий.

912.11.9.

4. А. ВЕСЕЛОВСКОМУ[1]

21 ноября 1912 г.

Жизнью пользуюсь я здесь по возможности шире; лекции посещаю не особенно охотно: слушать их исправно, по моему мнению,— сущая нелепость, бесполезное времяпрепровождение. Даже таких китов, как Челп[анов] (пс[ихология]), Роз[анов] (з[ападная] литер[атура] и Лопатин (фил[ософия]) [2],— даже их слушаю чуть сдерживая зевоту. Они хороши как чтецы, как лекторы, но этого мало. Нужен здесь еще здоровый подъем с нашей стороны, со стороны студенчества — а где он? Все тихо, мертво. Кстати говоря, я ушел с юр[идического] и перешел на сл[овесное] отд[елени]е и[сторико]-фил[ологического] фак[ультета] — на своей дороге (ха, ха, ха!!!). «Горьким моим смехом посмеются». Все мертво, тихо... да, брат, тихо. Даже обидно за то, что у себя, там, на Волге, мы шире и живей пользовали свою жизнь. Там была какая-то крепящая сила, которая из многих создавала одно, а здесь, «в вольном студенчестве» — следа не вижу. Не скажу я, чтоб разобщенность была особо разительна,— нет. Но дружбы, близости, единения — вот чего не вижу я здесь. И теперь ты поймешь, почему приходится бросаться в кружки и общины всякого рода, заключать какие-то глупые «союзы» и все лишь затем, чтоб создать хоть жалкое подобие дружбы и единения. Объявляли тут на днях забастовки,— но все глупо. Преобладает скорей чувство стадности, инертности, нежели единодушного согласия.

Вступил я в Христ[ианский] кр[ужок], в Кр[ужок] изящной литер[атуры]; создали было свой «общекультурный», да, к счастью, распался: одна пустая болтовня.

Читаю значительно меньше (чему душою рад). Особенно приятно ощущать отсутствие сожаления в том случае, когда время не заполнено было чтением. Прежде потеряешь, бывало, часа три и грустишь: «Страниц бы 60—80 прочитал...» Теперь этого нет. Иногда сидишь и думаешь... И пусть ничего не наду-

маю, пусть просижу попусту час-другой, да, в сущности,— попусту ли? Вижу теперь ужасный пробел в прошлом: отсутствие живой мысли и сознательного, самостоятельного обдумывания.

Ты не раз мне говорил об этом, да мало кому верил я тогда, кроме себя, в смысле «избрания правильного пути к совершенствованию».

Теперь ощущается этот недостаток сильно. Мне думается, что не только я, а и все мы — друзья по школе — в столицу явились сущими детьми. Так ли оценил ты себя? Я сразу понял себя невысоко и поосъежился. Я увидел, как мало цены имеет непродуманная. с лету схваченная мысль, как шатка она — и потому постарался потрезвей взглянуть на свое «милое» прошлое — так ли оно уже было «мило» по существу, так ли наметил тогда я свою дорогу: я увидел ошибку и увидел ее, главным образом, в отсутствии самомышления, своей кровной мысли.

«Надо будет перевоспитать себя». Вот тебе и на! Дожил парень до призыву, чего-то все суетился, путался, даже мучился по-своему — и вдруг увидел, что главное-то и упустил, «слона-то и не приметил». А как, брат, трудно привыкать думать!

Задумал вот сосредоточиться на чем-нибудь, ухватился и как будто к чему-то направился... Идешь, идешь... Даже позабудешься — и вдруг застаешь себя на каком-нибудь дрянном размышлении или воспоминании, а то и на несбыточной мечте. Вот тебе и логика мысли... «Впрочем, Шатобриан совершенно не был способен к логичности»,— мелькнет в голове: вот тебе и оправданье, вот и грошовое успокоенье...

А за стеной тут непрестанно орет певец-артист. Му́ка. В голове сумбур какой-то: и много мыслей и нет их. Не знаю, за что схватиться. Не могу никак серьезно вполне, так вот исключительно отдаться делу, забыв о наслажденьях, об отдыхе, о «конфетках» жизни. Мне думается даже, что и «мыслящие-то» лишь мыслят потому, что впереди за это ждут какую бы то ни было награду. Вот тебе мелкий, гадкий пример с самого себя за период хоть небольшой головной

работы. Пишешь что-нибудь, читаешь, думаешь, слушаешь — а в голове уж как-то *бессознательно* живет *сознание,* что вот в 4 часа ты пойдешь обедать, в восемь чай пить будешь, даже халва будет...

Это разве не пошлость? И с кем этого нет? Кто пропустил свой обед? И выходит как будто работа-то «между прочим», а вот насыщенье-то надо поставить коренником. И это мелочное, пустяшное — занимает каждого; сулит ему какое-то пустяшное же наслаждение и отдых именно своей мелочностью — и он ждет, ждет... А обратного вот не видно: средь насыщения ты не подумаешь никогда, что «вот, мол, какую радость буду сейчас ощущать за работой, ах, как приятно...»

Нет,— ты даже умышленно продлишь время насыщения, и тело твое, по существу,— властвует над духом. Глупая тема? Но черт ее знает как раздражает она. Брошу все; скажу несколько слов на письмо — и прощай, дружина! В Кинешму страшно хочется заглянуть. На рожд[ество] постараюсь всеми силами: так интересно свидеться с друзьями недавнего прошлого да поговорить. Все, верно, меняемся — коли уж не изменились. Греческий готовлю — уж и сволочь (прости за грубость). Сдавать буду весной. После рожд[ества], тут же при начале занятий — буду сдавать 2 экз[амена]: историю (XVIII в.) и психологию.

Вале да Конохе[3] мой сердечный привет.

Дмитрий.

912.11.21

5. Е. В. ФУРМАНОВОЙ

26 октября 1914 г., Москва.

Здравствуйте, милая мама!

Жизнь немного у меня переменилась. От доктора[1] ушел неделю назад и живу у Миши[2]. Стипендию мне всего вероятнее дадут. Теперь дело усложнилось при

начале войны с Турцией и студентов требуют всюду, но на военную службу меня не возьмут, потому что я числюсь студентом старшего курса, а будут брать только с первого и второго курсов. Так как в студентах теперь большая нехватка, то я начал посещать санитарные курсы. Продолжатся занятия недели две-три. Это, конечно, не все равно, что добровольцем. Мне придется ездить с санитарными поездами и перевозить раненых из города в город. Решил я это дело крепко, так что, дорогая мама, ничего меня не упрашивайте. Опасного тут ничего нет, а время такое, что помогать надо чем только можешь, дело ведь общее и всякая помощь является святым делом. Если в университете дела у меня немного и позадержатся — ничего. Лучше полгода лишних поучиться, да теперь-то надо помочь сколько могу. Как-то теперь дела у Сони? Адрес такой: Маросейка, Малый Златоустинский, д. 4, кв. 6, студенту Фурманову. Сейчас Шура у меня. Сидим все вместе, пока не скучаем; он остановился на старой квартире. Если меня куда назначат подальше, может приеду домой дня на 2—3, потому что тогда на рождество, может, и не случится приехать. Целую, дорогая мама. Привет нянечке, Соне и ребятам.

Любящий сын Ваш *Дмитрий.*

6. Н. С. СОЛОВЬЕВОЙ[1]

29 октября 1914 г., Москва.

Скажу тебе новость. Лишь только приехал сюда, на следующий день записался в братья милосердия и работаю теперь в лазарете при городской больнице. Дела много и потому не скучаю. Приходится иногда сидеть напролет ночи подле тяжело раненных.

По окончании занятий я уеду на войну, это будет, вероятно, недели через две-три... Жаль университета, жаль маму, тебя... Это самое дорогое, самое близкое, но есть, конечно, и многое другое, что просит и нудит

остаться здесь. Что уезжать тяжело и больно — об этом, конечно, и говорить нечего. Но что-то влечет меня туда неудержимо. Мысль теперь созрела и окрепла, я не изменю ей.

Увидела бы ты меня теперь в белом братском халате, немало подивилась бы. Создалась какая-то хорошая, святая цель, и я отдался ей всею душой. Так и чувствуешь каждую минуту, что здесь вот, за работой, ты приносишь какую-то слишком необходимую, слишком нужную пользу. Понимаешь всем существом своим, что сделался вдруг хоть и маленьким, но необходимым винтиком в этой огромной машине общественной жизни. На душе постоянная радость, жизнь осветилась высшим смыслом, и теперь нет доступа в мою душу ни тоске, ни печали, она полна другим, полна делом... и тобой. Да, тобой она полна, и это совсем не нарушает единства, даже как-то полнее чувствую я необходимость своей работы. Работа захватила меня, заняла время, мысли, душу... Но она пришла извне и прикоснулась ко мне, а в глубине моей ведь осталась еще своя тайная, неуловимая жизнь — жизнь с тобой. Когда я думаю о тебе, то к спокойствию и полноте прибавляется еще радость и какой-то восторг... В долгую ночь сидишь вот в палате и слышишь только протяжные стоны да глубокие и тяжкие вздохи. «Братец»,— простонет больной. Подойдешь, поможешь ему — и снова все тихо, жутко, жутко... Мысли медленно плывут в голове и уносятся как-то невольно к тебе...

Прощай, дорогая моя. Так жду письма, что слов нет сказать. Вспомни, как ты когда-нибудь ждала, и — напиши скорее.

Дмитрий.

7. Н. С. СОЛОВЬЕВОЙ

15 ноября, 1914 г., Москва [1].

...К моему глубокому сожалению, все помыслы и мечты мои, кажется, потерпят крах, если не придет на выручку счастливая случайность. От союза новый от-

ряд отправляется под рождество, и мне нет сил так долго сидеть без главного дела. Уеду, может быть, с санитарным поездом перевозить раненых; словом, самая задушевная мысль моя рассыпается, самое острое желание мое убивается и как-то глупо стирается на нет. Обидно, но делать ничего не остается. Остался я только со своей обидой, и горько мне, словно пощечину получил.

На днях получил свидетельство брата милосердия и, следовательно, теперь могу уже ехать не санитаром, а братом, если только судьба улыбнется. Кстати, не забыть бы: Шура и Аркаша остались [2].

Ни черта мне не удается, и перестаю наконец верить в свои силы и способности. Ты говоришь о широком поприще. Сам я жил только им одним, только и мечтал все, когда дотронусь до настоящего, живого дела. И странно получилось. Словно я ошибся в выборе, словно пошел не туда: такое теперь равнодушие к намеченному делу, такое безразличие, что честному человеку и не стоило бы даже продолжать его при такой скудной наличности интереса и любви. Но я, конечно, поплетусь по избранному пути, сделаюсь тем жалким недоноском, о котором в шутку всегда пророчит мне твой отец-чудак. Из чудака он, кажется, превратился в пророка. Жутко что-то стало, Наташа. Холодно на душе. Пусто в мыслях. Я говорил тебе, что лазаретная работа захватила, что душу всю мне заполнила, так это, кажется, я только сам себя уверил и обманул.

На деле не то: пусто в душе и как-то мерзко самому от этой пустоты.

Мне не верится даже, что могу я снова воротиться к тихой и ровной университетской работе, как-то противна и узка она мне теперь показалась, как-то мало я в ней вижу толку и смыслу, чтобы тратить целые годы бог знает на что. Конечно, она только ступень, я понимаю это, но ступень — какая-то грязная, ненужная. Мрачно, Наташа, не правда ли? Но самому-то мне еще грустней, еще тоскливей потому, что не уйду я от этой ступени, перелезу ее, не веря ни в смысл, ни в пользу ее

Прощай, мой ангел, дорогая, любимая Наташа. Жду немедленно.

Дмитрий.

Маросейка, д. 2, кв. 35.

8. Е. В. ФУРМАНОВОЙ

[*1915 год.*][1]

Здравствуйте, дорогая мама!

Знать, везде такая же сумятица, как и у нас, грешных. Вы говорите о слякотной, дождливой погоде, а мы уж так привыкли к ней, что забыли, как светит солнце. Праздников здесь, собственно, нет, потому что нет колоколов и некому извещать о том встревоженных жителей, но есть здесь свои, особенные, чисто военные праздники. Первый праздник — это солнечный, теплый день, но такие праздники редки; второй праздник — телеграмма о том, что врага поколотили и наши продвигаются вперед, и, наконец, третий праздник — весть о том, что провизией мы обеспечены на целый месяц. Таковы праздники военного времени. Деревенька, где стоим, напомнила мне такое же грязное, глухое местечко на Кавказе, именно Джульфу. Вы, вероятно, помните Джульфу — я писал вам о ней неоднократно. Вот и здесь: та же непролазная грязь, та же тоска, только взамен кавказской тишины здесь погромыхивают пушки да потрескивают раздражительные и торопливые пулеметы. Ни туда ни сюда. Враги застыли в ожиданье, разделенные топями и болотами. Никому не хочется первому напороться на нож — сидят и ждут. А чего тут дождешься, когда с места стронуться невозможно? Теперь вот на юге разыгрались большие события; наши быстро продвигаются вперед, захватывая массу пленных, оружия, орудий и провианта. Все это, конечно, известно Вам и по газетам, нового я ничего не сообщаю. Возможно, что в связи с этим крупным событием — начнутся дела и по всему фронту. Должна же наконец совершиться когда-нибудь эта последняя, страшная и решительная схватка. А жутко. Враг могуч и умен — живым в ру-

ки не дастся, дешево жизнь не отдаст. И думается, что на эту последнюю схватку уйдут многие миллионы людей, потребуется страшная, дорогая жертва.

Сидишь вот и гадаешь, словно старушка на бобах, а на деле — на деле ничего-то я не знаю, ничего-то не понимаю я в этой драме. Да и кто что знает? Определенно сказать невозможно ни за один шаг: разбиваются в прах самые умные, самые глубокие и продуманные планы, а случайные ходы поражают красотой и удачливостью. Вам гадать не приходится — Вас питают газеты, поющие, словно поломанная шарманка, все одну и ту же фальшивую песню о нашем благополучии... Эта песня, как усыпляющая, коварная песня сирены,— завела нас в Карпаты, откуда миллионы страдальцев выбрались только потому, что они — русские и привыкли ко всякому горю. Будь на нашем месте другой народ — погиб бы целиком. Изумляюсь я терпению русского солдата.

Привет нянечке, Шуре, Сереже, Лизе, Насте.

Дмитрий.

9. А. Н. ФУРМАНОВОЙ (СТЕШЕНКО)[1]

29 июня 1916 г.

Ты не знаешь, Аня, настоящую цену эгоизму, потому и расправляешься с ним так свободно и жестоко. Эгоизм — великая сила и сила положительная[2]. Эгоисты не те, которые устраивают свою личную жизнь за счет других, не те, которые чуждаются людей, чтобы уединением избавиться от необходимости помогать,— это попросту трусы, ничего не стоящие житейские отбросы. Настоящий, сознательный эгоист до границы старается развить любовь к себе, к своей личности, развить уважение и прекрасную гордость, чтобы через это сильнее и глубже полюбить человека вообще, приучиться уважать человеческое достоинство.

Чем больше он любит себя, тем больше любит и других. Научиться уважать себя — дело не легкое.

Это не себялюбие, не будничная самовлюбленность, а оценка себя по праву и строгое наблюдение за тем, чтобы никто этого права не оскорблял.

Тот, кто научился уважать себя,— никогда и никому не позволит вторгнуться в святая святых, в тайны личной жизни. Ему не надо ни жалости, ни сострađанья — они только оскорбляют его. Он полон личной жизнью и всегда чувствует в себе силу пережить личные невзгоды наедине с собою. В этом большая красота.

Ты думаешь, что эгоисту нет дела до чужой жизни? Это не так. Его чужая жизнь занимает наравне со своей, только было бы в ней содержание, в чужой-то жизни. Тебя поразило, вероятно, отношение к смерти близких людей. Я людей люблю, пока они живы и красивы, пока в них есть огни, пока они могут принимать радость и давать ее другим. А что же любить и жалеть покойника? Зачем тратить силу на скорбь по мертвому, когда силы этой едва хватает на любовь к живому? Это была бы жестокая, ненужная трата.

Когда разовьешь в себе настоящую, благородную гордость — ты поймешь цену эгоизму. Эта гордость далека от высокомерия и холодности, вся она устремлена к обереганию твоего же личного достоинства. Гордость не позволит лгать, потому что она бесстрашна, и правда ей дороже минутного успеха лжи. Гордость заставит быть прямым и искренним, потому что ценит краткость и ясность. Гордость обережет тебя от оскорблений и тяжелого униженья; она украсит, обовьет тебя, как венец, и этим венцом будут любоваться, будут любить его и уважать...

29 июня 1916 г.

10. А. Н. ФУРМАНОВОЙ

21 июня 1919 г., Чишма.

Ждал я тебя, ждал, моя радость, так и не дождался. Едут обозы, приехали телефонисты, комендантская команда, приехала и административная часть, а тебя все нет.

Уж я было и вдаль-то посматривал, я было и людей-то порасспрашивал — никто не видел, никто не слыхал про тебя. И к чему эти весенние, теплые вечера так мечтательны и грустны. Мне вчера без тебя было скучно, мне так хотелось видеть тебя, что сидеть не мог на месте, все бродил по деревне.

Дела не было, мы в ожидании. Эти два дня решают судьбу нашей крупной операции на Уфу: или пан или пропал. С замиранием сердца следим мы за продвижением красных полков и каждую секунду ждем страшную весть о том, что мост через Белую взорван. Если мост взорвут — нам Уфы не видать надолго. Мы настроены нервно: прямого дела пока нет, а томительное выжидание сосет растревоженное сердце. И к этой военной тревоге еще прибавилась тихая печаль о тебе, моей любимой женке.

Мы с Чапаем скоро уезжаем на позицию, чтобы лично руководить операцией переправы через реку Белую. Ты не успела доскакать вовремя — и снова несколько дней мы будем врозь, снова не увидимся, не обнимем, не поцелуем друг друга. Помнится мне Белебей и комнатка под цветущими, пахучими липами... Эх, не надо вспоминать. Пока прощай, милая женка, любимая Ная.

Чишма, 21 июня, 8 ч. утра.

Дмитрий.

11. В. И. ЧАПАЕВУ

3 сентября 1919 г.

Здравствуй, дорогой Чапаев.

Ты едва ли поверишь тому, как я скучаю по дивизии. Усадили меня помощником заведующего политодом Туркестанского фронта — ну сижу и работаю. Правда, работа широкая, почетная, сразу приходится думать о трех армиях, но не по сердцу мне эта работа, не дает мне полного удовлетворения. Душа-то у меня молчит и не радуется. Бывало — летаем с то-

бой по фронту как птицы; дух занимает, жить хочется, хочется думать живее, работать отчаянней, кипеть, кипеть и не умолкать. А теперь все притихло. Уже не слышу орудийного грохота, не вижу дорогих мне командиров и политических работников — замазанных в грязи, усталых, нервно издерганных. Наоборот — вижу часто отвратительные белогвардейские морды, вижу сытых, довольных и блаженствующих врагов. Они кишмя кишат здесь при штабе — словно черви в жаркую погоду в выгребной зловонной яме. Мне нестерпимо хочется снова на позицию. Здесь тошно и скучно, несмотря на то, что работа широкая и разнообразная. Анна Никитична все хворает, бедняга. У нее развилось малокровие и сильные головные боли. Часто мы вспоминаем родную дивизию, вспоминаем тебя, наши частые ссоры, нашу тесную дружбу.

Прощай Вас[илий] Иванович.

Привет Петруше и тов. Садчикову [1].

Дм. Фурманов.

3 сентября 1919 г.

Буду ждать, что напишешь.

12. А. Н. ФУРМАНОВОЙ

18 декабря 1920 г.

Наюшка, Наек мой!

Чем дальше идет время, тем неспокойнее моя душа. Происходит это по двум причинам. Во-первых, становится все острей и острей моя тоска по любимой Нае, во-вторых, я все больше волнуюсь от скорого свидания с нею. Ведь скоро, скоро, Наюшка. Добрую половину разлуки мы уже перенесли — осталась значительно меньшая половина. Открываются съезды. Завтра, 19-го, первый — съезд при ПУРе.

А через несколько дней, вероятно, через 2—3, откроется и VIII съезд [1]. Покончатся они — и недолги будут уж сроки нашей разлуки. Пиши, пиши, Наюшка, в свою записную книжку — не забывай моего совета. Сейчас вечер. В номере холодно. Забрели в чужой,

напились чаю, сидим. Каждый погружен в свою работу и свои думы: мои думы о тебе. Прощай.

Москва, 18 декабря 1920 г.

Дмитрий.

13. А. Н. ФУРМАНОВОЙ

20 декабря 1920 г.

Наек мой любый.

Уже подошло время настоящих работ. Вчера открылся вечером, часов в 8, Всероссийский съезд п[олит]работников Красной Армии.

В число членов Президиума, между прочим, попал и я: всего избрано 7 чел. Председательствовал на первом заседании нач[альник] ПУРа..., на следующем пришлось мне...

Сегодня вечером, 20-го, вероятно, съезд придется оборвать и закончить его уже после съезда Советов. Съезд Советов как будто завтра, 21-го, открывается, и наши заседания неизбежно прерываются. Пишу из столовки. Позаправился. До начала нового заседания еще 20—30 минут. Не тужи, Наек мой, голубой, любимый Наек.

Дмитрий.

14. А. Н. ФУРМАНОВОЙ

25 декабря 1920 г.

Наек мой любый.

Скажу тебе, что съезд обставлен отличнейшим образом. Все предусмотрено, все сделано и подготовлено: нас всех встретили как любимых, желанных гостей — тепло, сытно, спокойно. Только вот обсуждение вопросов невероятно затянулось — я все-таки полагал, что все кончится значительно скорее. Хочется мне, очень хочется попасть к тебе до рождества. Знаю, что и ты ждешь, рада будешь, моя Наюшка, но толь-

ко вот затянулся очень съезд-то. И все-таки надежды попасть вовремя я не теряю.

Любый Наек, ты чувствуешь ли, как я люблю тебя, как часто вспоминаю про тебя, как целую мысленно твои голубые глаза? Мое солнышко, моя жемчужинка перламутровая. Прощай.

25 декабря 1920 г.

Дмитрий.

15. А. Н. ФУРМАНОВОЙ

22 мая 1922 г.

Наенька. Мое золотко. Здравствуй.

Как только приехал я сюда [1], охватили воспоминания далекого прошлого — детства, юности, незабвенных ушедших годов. Я хожу по двору, хожу по крошечному саду, и думается мне, что снова я дитя, что все по-прежнему — и семья, и ребятишки — друзья мои, и мама... А никого нет. Печаль. Печаль охватит и сожмет сердце безотчетной грустью. Мне и хорошо и тяжело. Никого-никого нет... Я думаю, что у тебя было именно такое состояние, когда осенью 20-го года приехали мы с тобою на Кубань, подошли к родному домику [2], ан там пусто: хозяев нет, там одни чужие люди. И вот в мои воспоминания, в мою грусть — вплетается твой образ, такой милый, так горячо и нежно любимый.

Я уже и не знаю, не пойму тогда — о чем грущу: о своем ли невозвратном детстве, или о тебе, моей Нае. Неизъяснимые чувства, удивительное состояние.

Так вот побуду наедине с собою и станет легче. Эти чувства тебе близки и понятны. У нас с тобою много общего — и в жизни и в судьбе. Когда уеду от тебя — почувствую, как близка ты мне, как горячо я тебя все по-прежнему, по-весеннему люблю... И не может быть никогда, ни к кому такого глубокого чувства, ибо дважды оно не приходит, его дважды не может вместить человеческое сердце.

Все, что светлого в моей жизни,— связано видимыми или тайными нитями с тобою, моя любимая.

Друзья мои, как всегда, встретили меня с радостью. Живу здесь и работаю. Сегодня ранним утром я был уже на Талке: это небольшая речка, за линией железной дороги — историческое место, где у нас в 905-м году происходили массовые рабочие собрания. Со мною ходил и все мне показывал, объяснял глубокий седой старичок, один из старейших революционеров, первый председатель Совета рабочих депутатов в 1905 году [3]. Он показывал мне места, где проходили массовки, где собирался-заседал Совет, где убивали рабочих депутатов, где казаки, открыв пальбу, расстреливали мирных, безоружных рабочих. Великие, драматические места!

Сегодня же вечером иду к одному местному старожилу — историку и коллекционеру: [4] у него собрано много материала по 905-му году и по настоящей революции: станем рыться с ним в исторических сокровищах. Словом, время не теряю даром — работаю, работаю, Наек.

Приехал мой друг детства, сосед, Вася Красовский. Дня через два-три думаем вместе идти пешком к Аркаше в Дунилово [5] (30 верст! Не шутка, так ли?).

Матушку целую в седую головушку, а Витюка [6] — в морковный нос-лепешку.

Прощай, мое дорогое дитятко, жемчужинка перламутровая.

Будь здорова, непременно будь здорова!..

Прощай, моя любимая.

Дмитрий.

22/V-22 г.

16. М. М. ХАЗОВОЙ [1]

10 ноября 1923 г.

Друг, Марта.

Когда читаешь биографии даже самых крупных писателей — поражает и удручает одно общее обстоятельство: огромное большинство из них, особенно публики «разночинной», нуждающейся, — творило

свои великие произведения под хлыстом острейшей материальной нужды. Немного было таких счастливцев, как Лев Николаевич, который имел возможность несколько раз и самым тщательным образом перерабатывать и переписывать свое четырехтомие. Кому это было бы посильно другому? И не только потому непосильно, что не хватило бы терпения, должной заботливости, вкуса, что ли, художественной, скажем, опрятности и чистоплотности... Нет, не только поэтому не стал бы какой-нибудь Достоевский 8 раз переписывать «Карамазовых», а еще гл[авным] обр[азом] потому, что дьявольски секучий бич нужды все время или дрожал над ним, занесенный к удару, или — сек, хлестал, истязал творца в минуты творчества. Поэтому, конечно, многое осталось недообработанным, наспех набросанным, кое-как построенным.

А жаль, черт возьми, очень жаль. Вероятно, многое из того, чему мы просто рады, восхищало бы нас, а чем восхищаемся — то приводило бы в бурно-бешеный восторг: так было бы прекрасно.

И диву даешься — как это еще могли они, мастера, заниматься сосредоточенно столь сложным, особенным процессом, требующим наличия определенных, неизменных условий, а прежде всего духовного равновесия. Духовное равновесие это, конечно, совсем не то, что называем мы «покоем души», мирно-беззаботным, кротким состоянием. Можно быть возбужденным до последнего предела, можно кипеть кипучей радостью или негодованьем, можно (и должно!) быть потрясенным до основания — и все это на пользу настоящему, глубокосодержательному процессу творчества. Больше того — без этой потрясенности немыслимо самое творчество, ибо оно не что иное, как собственное художественное выражение суммы мыслей, чувств и состояний, которыми ты взволнован.

Но это состояние должно как раз содержать в себе элементы того произведения, над которым работаешь. Это потрясенное состояние должно собою представлять ту сдобренную почву, из которой подымутся колосья литературного труда. Не иначе. И совершенно невозможно писать проникновенную эпопею о стра-

даниях человечества в итоге всемирной войны, когда у тебя, положим, имеется своя молочная ферма, ты получил недобрые вести о том, что коровы вдруг сдохли, а ферма сгорела, что ты — собственник, хотя и гуманный, хотя и «социалист»,— остался без своего богатства, ты потрясен, ты взволнован, ты удручен — ну где тебе, хотя и талантливому, работать над избранной темой? Нельзя. Не совладаешь. Это немыслимо, невозможно одновременное сосуществование двух столь разнородных состояний: одно непременно должно быть поглощено другим. И даже — поглощено всецело. Или ты по преимуществу творец своих произведений — тогда подохшие коровы и сгоревшая ферма для тебя ничто; или ты — по преимуществу хозяин, собственник, которому надо бросить писания и заботиться о приобретении новой молочной фермы. Поглощенность в ту или иную сторону будет всецелая. Что-нибудь одно.

Я взял невероятный, крайний пример. В жизни все не так угловато, не так примитивно-схематично.

Положим, ты пишешь. Но у тебя еще масса забот о доме, о семье, о жене, о ребятах, о хозяйстве и т. д. и т. д. Это обременительно. Это непременно кладет отпечаток на твою литературную работу. И чем острее в этом направлении нужда и озабоченность, тем отчетливей сказывается это на плодах работы. Наши «разночинцы» нуждались обычно остро, писали наспех, на рынок, для гонорара, к сроку, без обработки. Это драма большинства пишущей братии. Обрабатывать «потом», при переиздании, в свободную минуту и т. д.— все это химера, потому что «свободных» минут нет, а бич над головою занесен ежесекундно.

Это говорю я о минувшем. Это говорю я о больших. Но это же, конечно, можем отнести к современным, к большим и малым — безразлично.

Я не имею никакой практической цели. Я даже не буду ждать сочувствия. Я просто хотел поделиться с другом своими мыслями, посетовать на свою (и на свою!) долю.

Начал книгу о «Мятеже». И страниц 50 уж написал. А вдруг — стой! Денег нет. Туго. Там, глядишь,

какую-нибудь заметку надо писать, потом рецензию, предисловие к какой-нибудь книжонке или еще что.

И, скрежетнув зубами,— бросаешь на долгие, на неопределенные недели дорогую, основную работу. Пробавляешься мелочами.

А главное стоит. Уходит в тень. Ждет покорно своего срока. Обидно. Надо бы как-то по-иному. Но не выходит пока.

Высказал все, что хотел, в эту минуту. Дайте руку, милый друг.

Дмитрий.

10/XI-23 г.

Адрес: Москва, Рождественка, 4
Госиздат, политич[еский] отдел, мне.

17. А. Н. ФУРМАНОВОЙ

28 июня 1924 г.

Друг мой, милый друг!

Вот и в пути[1]. Проехали Подольск, Серпухов. Тут места все «наши» — такие, как во славной Владимирской, Костромской, по нашей Иваново-Вознесенской. Мои чувства, все мои мысли только с тобою, мой любимый голубой цветочек. Этот первый вечер, первую ночь — как же трудно было тебе остаться одной?! Я так и представляю печальное твое лицо, так и вижу перед собой затуманенные голубые глазенки. Долги сроки, на которые разлучились мы с тобой.

На такие сроки никогда мы не расставались. И будет трудно — особенно тебе и особенно эти первые дни, когда застыла ты на перепутье: отошла Москва с ее напряженной работой, но не пришел еще для тебя и Кавказ с его долгожданным отдыхом[2]. Перепутье — всегда тяжело. Но ведь оно так кратко, всего несколько дней. Уедешь, скоро уедешь и ты, а там — поглотят тебя впечатления новой обстановки, новой жизни. Только пережить тебе спокойно эти промежуточные и тягостные пустотой своей дни.

Каждую, каждую минутку помню тебя; мое серд-

це, как у первовлюбленного, дрожит от радости, чувствуя тебя. И далеко ты и близко мне — так еще свежи все слова твои, взгляды, пожатия рук, твои последние поцелуи.

Потому, что уехал я первым,— и чувствую себя будто в чем-то виноватым перед тобой. Кидаюсь от мысли к мысли и не знаю, что сказать тебе прежде: и чувства свои хочется передать, и сказать про то, что вижу кругом, и вспоминать, вспоминать. Я уже на положении отдыхающего, и голова моя пуста как барабан. Только крепче убедился, что «Капитал» взял вдребезги понапрасну — пробовал читать, а ничего не выходит, мысли никак не могут сосредоточиться на таком серьезном материале — они стали, мысли мои, легкие как пушинки, видимо, серьезно им уже этот месяц не работать. Да и пусть — на то мне и Крым, чтобы побыть некое время глупым. По-настоящему телом отдыхает лишь тот, кто сознательно примиряется с этим временным поглупением. А я примирился, с замиранием сердца ожидаю эти удивительные места, о которых пока рассказывает мне крымский справочник-путеводитель: Ай-ай-Петри... Чайнушка — харчевня, какое-то там Ласточкино гнездо в самом поднебесье.

Все увижу, полюбуюсь, вволю насмотрюсь, закалю себя, накоплю сил, а по осени будем вместе с тобой, моим лучшим другом, работать вместе.

Наек. Милый мой! Ведь осенью мы будем с тобой работать вместе — какая это тебе гордость и какая радость нам обоим! Ты где-то, может, по кино, а я — за свой «Мятеж». Будем приходить ввечеру на любимый наш «Нащекинский, 14» [3] — и будем делиться впечатлениями дня. Это будет тогда, когда здоровые, отдохнувшие, бодрые — мы снова съедемся с тобой в Москве. Жму крепко-крепко твои руки, обнимаю тебя и целую голубые любимые глаза. Головушку глажу, на грудь к себе ее приклоняю. Прощай, мой любимый друг, мой Наек.

Дмитрий.

Вагон № 6
28/VI.24.

18. А. В. ЛУНАЧАРСКОМУ

[18 декабря 1924 г.][1]

Уважаемый Анатолий Васильевич!

Посылаю Вам некоторый материал, быть может, он пригодится при составлении предисловия к «Чапаеву». Прилагаю несколько отзывов о книжке. Кроме того, отзывы были в № 6 «Печать и революция» за 1923 г., №1 журнала «Октябрь», № 2 журнала «Рабочий журнал», № 3 (1923 год) «Политработник» [2].

«Чапаев» идет третьим изданием (первое вышло в прошлом году).

Кроме того, он выдержал еще три издания сокращенных: (первое, в переработке автора, издано Высшим воен[но]-ред[акционным] советом, второе — в переработке Виноградской — Госиздатом (20 т.), третье — выходит в переработке Евдокимова, тиражом в 100 тысяч экземпляров.

Кроме «Чапаева», я написал «Красный десант» — художественный очерк похода нашего на судах в тыл ко Врангелю осенью 1920 г. Издано впервые издательством «Красная новь» в 1923 г.; переиздается Госиздатом, выйдет в январе 1925 г. (Прилагаю отзыв «Правды».)

В том же 1923 г. кубанское издательство «Буревестник» издало мою повесть «В восемнадцатом году» (5 печ[атных] листов) — из времен гражданской войны на Кубани в 1918 г.

Книжка переиздается Госиздатом, к выходу предполагается весной. Серьезно мною исправляется. (Прилагаю отзыв «Правды».)

Принята Госиздатом и выйдет в феврале 1925 года большая работа (около 25 п. л.) под названием «Мятеж» — построено по типу «Чапаева». В книге — о восстании в Семиречье в июне 1920 г.

Мое основное пока — гражданская война. Материалу у меня много. Всю войну провел на фронте.

Считаю, что мои писания не столько для эстетических наслаждений, сколько для соответственного воспитания в духе наших дней.

На всякий случай сообщаю адреса:

1) рабочий: Госиздат, Политредактор Фурманов, № тел. 4-92-39;
2) домашний: Пречистенский бульвар, Нащекинский пер., 14, кв. 1.
Тел.: 2-36-54.

С товарищеским приветом *Д. Фурманов.*

19. НЕИЗВЕСТНОМУ АДРЕСАТУ

[*1925 г*].

Дорогой товарищ!

Я могу вам дать указания самые общие:

1. Читайте как можно больше, все ценное перечитывайте в своей библиотеке, в городской библиотеке, ищите где только можно. Это даст вам знания, даст знакомство с мастерством писания, заставит строго относиться к тому, что пишете.

2. Прежде чем пускать в печать, дайте написанному полежать месяц, другой, третий, загляните в этот материал десять — двадцать раз и сто раз исправьте.

Потом почитайте понимающим товарищам, почитайте и на широком собрании, прислушайтесь к тому, как будет понято все и как воспринято. Не обязательно со всем соглашайтесь, что слышите, но вдумывайтесь серьезно и старайтесь понять причину и смысл сделанных вам замечаний.

3. После читки и обмена мнений — снова посидите над вещью, обработайте вновь, коли это требуется, проверьте заново, пострадайте, порадуйтесь над материалом.

4. Лишь после того как рукопись отлежится, будет серьезно обстреляна, многократно перечитана и выправлена, снова и снова обдумана,— лишь тогда сдавайте в печать.

5. Следите, чтобы каждая вещь была построена «законно» во всех своих частях, то есть чтобы ни одной части не было лишней, и, с другой стороны, ни-

чего не было бы упущено, недодумано, не понято, очерчено бледно и бегло.

6. Следите за словом, за стилем изложения, за каждым выражением. Все должно быть на своем месте, все должно быть обосновано, все должно быть там дано, где это требуется развитием сюжета, и так дано, чтобы ничем уже заменить было это невозможно без ущерба для цельности и красоты всей вещи.

7. Строже, строже и еще раз строже пишите. Торопиться в писании — значит не в гору подниматься, а катиться под уклон, на верную погибель.

20. СОЧИНСКОЙ

29 января 1925 г.

Дорогой товарищ.

В ваших первых произведениях чувствуется неопытность начинающего писателя. Вы очень свежо, непосредственно чувствуете жизнь. Вы очень искренни в попытках запечатлеть виденное, слышанное, чувствуемое — запечатлеть в художественных образах, но вы именно — *начинающий* художник слова, а потому неловки, неопытны, часто наивны и беспомощно слабы.

Мастерство писательское образуется не от одного природного дарования — его надо еще развивать, совершенствовать, пополнять свои знания, много читать, особенно высочайших мастеров слова, больших художников — вдумываться в манеру и в характер их творчества, усваивать (на первое время) от них некоторые бесспорно ценные навыки, приемы и прочее и прочее. Надо учиться ленинизму — глубокому и верному пониманию жизни и человеческих отношений, иначе всем вашим писаниям будет грош цена, раз не поймете и не усвоите себе основного: науки о жизни, о борьбе, обо всем, что найдете в книгах Ленина и в других книгах, освещающих и разбирающих его учение. Это единственный верный путь сделаться значительным художником: с одной стороны, изучать ленинизм, с другой — величайших художников слова.

У каждого учиться своему и пытаться сочетать простую и мудрую ленинскую науку о жизни с простой, но тоже по-своему мудрой наукой о художественном мастерстве, и это все — передуманное, перечувствованное — отражать в своем художественном творчестве, в своих произведениях, в своих образах, в набросках. И знайте, что сразу ничто не удается: пройдет более или менее значительное время, прежде чем вы научитесь в превосходные художественные формы заключать свои мысли, свои чувства, свои настроения. А пока первые опыты неизбежно слабы. И это будет происходить не только потому, что вы безнадежно плохой художник, а еще и потому, что вы — в самом раннем периоде своего естественного роста, что вы еще только-только начинаете писать, что вы неопытны в технике этого процесса, что вы еще очень-очень многого не знаете, не понимаете, не умеете.

Пишите и не отчаивайтесь в том случае, если произведения ваши долго не находят своего места в печати. Это может длиться очень-очень долго — пока действительно не овладеете писательским мастерством, если только у вас вообще есть к тому возможности. А нет их, если убеждаетесь, что нет их, что вы не растете, не двигаетесь вперед, что вовсе не дается вам искусство художественного писания,— лучше прекратите вовсе, этот род деятельности не может успешно развиваться одной натугой, одной усидчивостью.

1. ВСЕУКРАИНСКОМУ ФОТО-КИНОУПРАВЛЕНИЮ

8 мая 1925 г.

Уважаемый товарищ!

У меня есть книга «Чапаев». Год назад Госкино взялся дать эту эпопею на экране, но средств у них до сих пор, видимо, нет. (Гонорар мне, впрочем, уплатили они полностью.) Я хочу теперь взять вещь оттуда обратно и предлагаю вам. Сценарий разрабатывает зав. худ. частью Госкино тов. Леонидов[1]. В случае согласия — мы пришлем вам конспект этого сценария.

Материал — крестьянство, казачество, уральские степи, гражданская война, социальный сдвиг 1919 г., колоритные фигуры Чапаева, Еланя и т. д.

Жду спешно ответа (т. к. в близком будущем должен буду уехать из Москвы на отдых) по адресу:

Москва, Рождественка, 4, Государственное издательство, редактору Фурманову Д. А.

С тов. приветом

Дм. Фурманов.

8 мая

22. В. А. СОКОЛОВУ

[*Вторая половина 1925 г.*][1]

Доброе здоровье, тов. Соколов.

И это стихотворение я считаю превосходным. Избегайте только, избегайте настойчиво малейшего шаблона, паршивенькой, приевшейся обычности, надоевших словечек, сравнений, образов. Берите такие выражения, как это там у вас:

вкруг солнца, на вечном причале
белых облак плывут корабли.

или в другом месте:

тянет к роще, к улыбчатой ниве
голубых васильков батальон.

Это вот чудесно, так и кройте: чем свежей, чище, ароматней образ, тем явственней, богаче от него впечатление. А бросьте там разные: «задумчиво», «тонкий», «ветроструйные», «перезвон», «вселенские»... особенно это скверненькое, избитое «волшебные сны» — не надо этого, не надо, давайте образы только *свои*, только новые и свежие, а не чужие, не проезженные вкось и вкривь.

Так-то. Жму вашу руку.

В вас хороший толк, но весь этот толк берегите

ревниво, не срывайтесь на пустячки уже теперь, с юношеских лет — так-то скорей будете расти, а вырасти рано всегда лучше, чем с опозданием. Жму вашу руку.

23. А. М. ГОРЬКОМУ

[До 27 августа 1925 г., Москва].[1]

Тов. Горький!

Посылаю [вам] две [свои] книжки. Нетерпеливо стану ждать ваше мнение о них. Я пишу вплотную только два-три года, но (уже) писательскую работу считаю [теперь] основной для себя; работаю много, чем дальше — тем внимательней, медлительней, осторожней, больше и больше предъявляю к себе требований. Ваше слово будет мне хорошей подмогой.

Дм. Фурманов.

24. А. М. ГОРЬКОМУ[1]

Москва, 9 сентября 1925 г.

Алексей Максимыч,
дорогой человек.

Вы говорите, чтобы «скорил ответ», ежели в Вашем письме для меня что-нибудь непонятно. Ну, а если все понятно — неужто и написать нельзя? Нет уж, не согласен. Две эти книжки мои — «Чапаев» и «Мятеж» — пока единственный значительный материал изо всего, что написал. Есть еще две-три книжки, но это менее ценно — так по крайней мере кажется мне самому. Вы мне походя надавали тумаков, и каждый тумак — за дело, за дело!

Если я говорю, что в письме Вашем все для меня понятно, так это потому, что все указания и сам я принимаю, разделяю, знаю и чувствую, что верные они указания.

Прежде всего — основная Ваша мысль:

«...историческое и идеологическое значение книг — превышают их значение художественное». Именно. И теперь мне очень горько видеть это и понимать — теперь, через два-три года, когда я бесспорно, уверенно могу сказать, что вырос — хоть на вершок, но вырос как художник. Теперь я не написал бы этих любимых, любимейших моих книг *так*, как они написаны, я писал бы их по-иному. Не знаю, оставил ли бы я ту же основную их композицию (ни очерк, ни роман, ни рассказ) — может, и оставил бы: структура меня еще не так смущает, можно и в этих формальных рамках дать волнующее содержание, можно. Меня заставляет страдать мой скудный, убогий язык, которым книжки написаны. Теперь самому мне тошновато от этого обычненького, тускленького язычишка.

Я недавно, за последние две-три недели, поместил в «Известиях» ЦИК несколько художественных очерков [2]. Можно быть разного мнения об их х[удожественны]х достоинствах, но совершенно бесспорно одно: они написаны несравнимо свежей, несравненно лучше, нежели те мои книги. Я теперь бы сидел над страницей не час — я сидел бы над нею целую ночь; мой «Чапаев» ушел в печать едва ли не с первой корректуры (страшно и стыдно сказать!), а теперь — теперь я легкий газетный набросок переписываю... семь — десять раз!

Милый и строгий Алексей Максимыч, разве это одно не шаг вперед, когда начинаешь робеть и стыдиться своего материала. Я искренне рад пробудившемуся во мне неведомо как и когда строжайшему критицизму: он уцепил меня в колючие шоры и не дает покою, когда пишу. Зато — какая радость, когда после седьмой, восьмой, десятой корректуры получается то, вот то, что хотелось и как хотелось сказать. Расту — это бодрит. И если б теперь писал «Чапаева» с «Мятежом» — сделал бы их лучше. Не раз подымался передо мной вопрос: не распластать ли их по листочкам, не взяться ли за кореннейшую переработку? А потом — сомневаюсь: пусть уж живут такие, как родились. Может, в особой обстановке и при осо-

бых условиях и займусь я этим, но не теперь, когда так много и в мыслях и в сердце нового материала, когда так много скопилось тем, что не видишь им конца, а рвешься, естественно, к новому и новому. Я не спешу, не тороплюсь теперь с обработкой и печатаньем, это меньше занимает, чем самое мастерство, чем достиженья. Но все же неохота браться снова за то, что уже читано, отпечатано,— рвусь к новому, свежему материалу.

Этими мыслями своими я косвенно ответил и на попутные Ваши замечания:

«Вы пишете наспех, очень небрежно...»

Не пишу, не пишу больше, Ал[ексей] Максимыч!

«...рассказываете как очевидец, но не изображаете как художник».

И это тороплюсь изжить, это явление все того же общего, более широкого порядка.

«...обе книжки,— говорите Вы,— написаны не экономно, многословно, изобилуют повторениями и разъяснениями».

Отчего так получилось? Да Вы сами же отчасти и отвечаете:

«Разъяснения эти — явный признак Вашего недоверия к себе самому, да и к разуму читателя».

Разъяснение Ваше верное, но не исчерпывающее. Главное, может, и в этом. Но еще было вот что:

1. Книжкам своим я ставил практическую, боевую, революционную цель: показать, как мы боролись во дни гражданской войны, показать без вычурности, без выдумки, дать действительность, чтобы ее видела и чуяла широчайшая рабоче-крестьянская масса (на нее моя ставка). Вот не удалось, может,— это да, а разъяснения мои вызывались аудиторией, на которую книжки я писал.

2. Второе соображение таково, что я не смотрел на эти книжки как на чисто худ[ожественные] произведения (в прежнем толковании этого термина), как на повесть, рассказ, роман. Потому и форма необычная, потому там и документы, телеграммы, воззвания

и т. п. Я писал *исторические,* научно проработанные вещи, дав их в худож[ественной] форме.

Многословие и неэкономность — от неумения, а разъяснения (может, тоже неумелые) — это давал сознательно. И верно, верно, Ал[ексей] М[аксимы]ч, что для худ[ожественно]го произведения, в чистом смысле этого понятия, разъяснения мои не нужны, излишни, вредны.

Открою Вам свою сокровенную мысль, свой план: я, вероятно, проработаю так же детально и серьезно, как в «Чапаеве» и «Мятеже», материал по гражданской войне на других фронтах. Когда буду вполне им владеть, когда научно буду подкован, стану писать эпопею гражданской войны: это уж в форме романа, там уж руки у меня не будут так связаны историзмом, как связаны были они в этих двух книжках.

В конце — еще одну мысль: Вы говорите о том, что надо «...беспощадно рвать, жечь рукописи». До этого дойти — большая, трудная дорога. Я как будто начинаю подходить, начинаю именно так беспощадно относиться к своим рукописям — это единственный путь к мастерству. И все-таки — не всегда хватает духу: видно, болезнь роста. У меня сложилось даже такое парадоксальное мнение: «жечь рукописи куда труднее, чем писать их!»

На себе я все еще грузом чувствую мертвую власть написанных строк.

Я до сих пор говорил только о дефектах. Но у вас в письме, Ал[ексей] М[аксимы]ч, много и бодрых строк; эти строки мне как живая вода.

Уж если Вы мне крепко жмете руку, так дайте и я Вам пожму, а вот приедете к нам в Россию, в нашу, в Вашу — в Советскую Россию, тогда и на деле пожмем друг другу руки.

Адрес на Москву, Госиздат, Фурманову Дм.

Прощайте, Алексей Максимыч. За письмо спасибо.

Москва, 9 сентября 1925 г.

25. А. М. ГОРЬКОМУ

30 октября 1925 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Это третья моя книжка [1] — тут нового «18-й год», «Красный десант» и «Штарк»,— кроме того, сокращенные «Чапаев» и «Мятеж», они мною в свое время были сокращены по просьбе издательства для дешевого массового распространения. Алексей Максимович, в близком будущем я даю согласие издать собрание моих сочинений в трех книжках, туда войдут «Чапаев», «Мятеж» (полные), «18-й год», «Красный десант» и «Штарк», кроме того «Кавказские очерки» [2], четыре из которых посылаю вам, а два аналогичные еще не напечатаны.

Вы сделали бы мне настоящую радость, если б к этому собранию сочинений прислали хоть короткую статью, в две-три страницы. К Вам обращаюсь к первому — повторяю: это для меня была бы огромнейшая личная радость, Вы сделали бы установку моей литературной работы.

Если Вам по сердцу то, что я пишу,— отзовитесь, подкрепите меня своим словом. В первом письме Вы сказали, чтоб писал. Я написал (месяц или полтора назад), ответа не получил — не знаю, как думать: заняты или нездоровы, или еще как?

Жду непременно ответа — Вы, Алексей Максимович, понимаете, как для меня это важно именно теперь.

Дмитрий Фурманов.

Адрес: Москва, Рождественка, 4, Государственное издательство, Литературно-художественный отдел, мне.

Москва, 30/X-1925 г.

26. Н. О. ПОЛИВАНОВУ[1]

20 января 1926 г.

Уважаемый Наум Осипович!

Посылаю в муках рожденное 1-е действие. Беда просто — сами видите. Перепечатайте и жарьте Радину[2] о читке. Непременно сохраните мне этот правленый экземпляр — я потом попрошу у вас все 4 действия, мною выправленные, — эти *мои* оригиналы мне необходимы для авторского моего архива. Прошу Вас, Наум Ос[ипович], отослать мне при случае в Госиздат и оригиналы «Мятежа», мною выправленные: ваши рукописи пусть у вас, а с моей основной правкой — у меня.

Спасибо Вам за geld.

Жму руку. *Дм. Фурманов.*

20 января 1926 г.

27. В. И. НАРБУТУ[1]

29 февраля 1926 г.

Дорогой Вл[адимир] Ив[анович]!

В жару и в слабости лежу восемь дней[2]. В четверг утром ждут выясненья: так пройдет эта пакость или осложнится воспалением легких.

Если минует — к концу недели (или в начале следующей) буду на ногах.

Как же оно тут не к делу случилось — проплыл пленум[3], я его и не щупнул.

Жму твою руку.

Дм. Фурманов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Автобиография

Впервые напечатана в газете «Известия» 16 марта 1926 г. (№ 61), то есть на другой день после смерти Д. А. Фурманова. Публикуя ее, писатель Вл. Лидин сообщал: «Эта автобиография была мне прислана месяц назад для выходящей вскоре книги «Писатели». Обращаясь с просьбой о ней к молодому, крепнущему, одаренному писателю, я меньше всего думал о том, что автобиографии этой суждено стать посмертной».

[1] Михаил Александрович *Чернов* — друг Фурманова, учился одновременно с ним в Московском университете. В 1916 г. открыл в Иваново-Вознесенске рабочие курсы, где Фурманов стал преподавателем. В период Октября — меньшевик. В годы гражданской войны вступил в большевистскую партию. Позднее находился на партийной и советской работе.

[2] *Ковтюх* Епифан Иович (1890—1943) — герой гражданской войны, руководитель легендарного похода Таманской армии в 1918—1919 гг., командир красного десанта, действовавшего против войск Врангеля.

ДНЕВНИКИ

1910 год

5 июля

[1] Имеется в виду статья К. Ф. Рылеева «Несколько мыслей о поэзии» (1825).

[2] Фурманов перечисляет здесь «думы» Рылеева.

7 октября

[1] Роман М. Арцыбашева «Санин» вышел в свет в 1907 г. Он носил реакционный, декадентско-порнографический характер.

1911 год

24 августа

[1] По-видимому, читали известную в те годы хрестоматию В. Зелинского «Собрание критических материалов для изучения произведений И. С. Тургенева, вып. I», которая выходила с 1884 года несколькими изданиями. В ней о «Рудине» подобраны критические статьи и высказывания А. Дружинина, С. Дудышкина, Н. Шелгунова, О. Миллера, А. Григорьева, Д. Писарева, Н. Чернышевского и др.

[2] *А. В.* — Александр Веселовский, одноклассник, товарищ Фурманова по реальному училищу в Кинешме.

20 сентября

[1] *Пандалевский* — отрицательный персонаж из романа И. С. Тургенева «Рудин» (1855), приживал, интриган и мелкий карьерист.

1912 год

16 мая

[1] Имеется в виду статья Белинского «Менцель, критик Гете» (1840).

6 июля

[1] 6 июля 1912 г. в газете «Ивановский листок» (Иваново-Вознесенск) под псевдонимом Новий напечатано стихотворение Фурманова «Памяти Д. Д. Ефремова» («Мне грустно осенью холодной...»). Д. Д. Ефремов — учитель литературы в Кинешемском реальном училище.

1 августа

[1] В июне 1912 г. Фурманов окончил реальное училище и решил поступить в Московский университет. Для этого необходимо было сдать экзамен по латинскому языку, который в реальном училище не изучался. После успешной сдачи экзамена Фурманов был зачислен на юридический факультет, затем переведен на историко-филологический.

3 августа

[1] *Марта* Михайловна Хазова — ученица Кинешемской гимназии, участница руководимых Фурмановым литературного кружка и рукописного журнала реалистов и гимназистов. В 1912 году, по

окончании гимназии, поступила в Москве на Высшие женские курсы В. И. Герье. Была в дружеских отношениях и переписке с Фурмановым.

25 ноября

[1] Знаменитый русский актер И. М. Москвин в пьесе Л. Н. Толстого «Живой труп» играл роль Феди Протасова.

[2] Правильно: «Не вечерняя» — песня, которую поет цыганка Маша по просьбе Протасова.

1913 год

13 марта

[1] *Наташа и Петька* — герои повести В. В. Вересаева «Без дороги» (1894).

26 марта

[1] Строки из стихотворения А. Пушкина «Поэту» (1830).

[2] По-видимому, университетский товарищ Фурманова.

[3] *Владимир Николаевич* — В. Н. Васильев, врач, знакомый Фурманова.

27 марта

[1] Имеется в виду университетский «Кружок изящной литературы», членом которого состоял Фурманов.

12 ноября

[1] *Футуристы* (от лат. слова futurum — будущее) — представители декадентского течения в искусстве 1910-х годов. *Кубисты* — кубо-футуристы (Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский и др.; к этой группе примыкал и В. Маяковский). *Эго-якобинцами* Фурманов иронически называет эго-футуристов — представителей крайне индивидуалистической группы в футуризме, возглавлявшейся Игорем Северяниным.

[2] Очевидно, имеется в виду кружок Ипполита Терентьева из романа Ф. Достоевского «Идиот» (1869).

[*Конец 1913 г.*]

[1] Фурманов анализирует статью Ф. Достоевского «Г.-бов и вопрос об искусстве» (1861), направленную против статей Н. Добролюбова (в частности, статьи «Черты для характеристики русского простонародья»), которые печатались в журнале «Современник» под псевдонимом «Н-бов».

[2] Фурманов имеет в виду то место статьи Достоевского, где предположительно говорится о том, что было бы, если бы на другой день после известного в истории страшного землетрясения в Лиссабоне (Португалия, XVIII в.) жители разрушенного города вдруг прочли бы в вышедшем журнале стихи вроде стихов А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» (Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского, т. IX, издание А. Ф. Маркса, СПб. 1895, стр. 51).

1914 год

5 января

[1] Эту мысль В. В. Вересаев развивает в своей книге «Живая жизнь, ч. I. О Достоевском и Льве Толстом», М. 1911.

26 января

[1] То есть в романе Достоевского «Братья Карамазовы».

[2] Строки из стихотворения Н. Некрасова «Рыцарь на час». Предпоследняя строка процитирована неточно — надо: «И влекла меня жажда безумная».

[3] Оттуда же.

10 июля

[1] *Зон* И. С.— антрепренер дореволюционного опереточного театра в Москве.

[2] *«Пупсик», «Мариэта»* — модные в то время пошлые песенки.

19 июля

[1] Всеобщая мобилизация в России была начата через два дня после объявления Австрией войны Сербии. Большая манифестация в Москве по этому поводу была организована властями. 19 июля 1914 г. Германия объявила войну России.

[2] Памятник генералу М. Д. Скобелеву (1843—1882), герою русско-турецкой войны 1877—1878 гг., обесславившему свое имя жестоким подавлением национально-освободительного движения в Средней Азии, стоял на Скобелевской площади (ныне Советская площадь).

1915 год

10 февраля

[1] *Александрополь* — город и крепость между Эреваном и Карсом (Турция). До августа 1915 г. Фурманов находился на Кавказе, на Турецком фронте. Служил в санитарном поезде № 209 Земского союза.

15 марта

[1] *Яша* — товарищ Фурманова по санитарному поезду.

[2] *Ренан* Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский историк религии и философ идеалистического толка; автор книги «Жизнь Иисуса» (1863).

[3] В романе Л. Н. Толстого «Война и мир» Каратаев назван «олицетворением всего русского, доброго и круглого» (Л. Н. Толстой, Полное собр. соч., т. 12, М.—Л. 1940, стр. 48).

[4] *Бранд* — герой одноименной драмы (1866) норвежского писателя Генрика Ибсена (1828—1906).

[5] *Остап* и *Андрий* — герои повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба».

4 июня

[1] *Самсонов* (1859—1914) — генерал, командовал 2-й армией Северо-Западного фронта (Восточная Пруссия), которая в августе 1914 г. потерпела крупное поражение из-за предательского бездействия командующего 1-й армией генерала Ранненкампфа.

[2] В мае в Иваново-Вознесенске была крупная забастовка.

16 сентября

[1] С сентября 1915 г. до начала 1916 г. Фурманов служил в боевой летучке санитарного поезда на Киевском направлении Юго-Западного фронта.

1916 год

24 февраля

[1] *«Русское слово»* (1895—1917) — ежедневная умеренно-либеральная буржуазная газета, одна из самых распространенных в России. Очерк Фурманова был помещен в «Русском слове» без подписи.

[2] См. прим. к записи 6 июля 1912 г.

28 февраля

[1] В начале 1916 г. Фурманов некоторое время находился в Москве.

26 октября

[1] В октябре 1916 г. Фурманов демобилизовался и переехал в Иваново-Вознесенск, где стал работать преподавателем на рабочих курсах.

15 ноября

[1] 11 ноября 1916 г. было объявлено о назначении председателем совета министров А. Ф. Трепова.

[2] *Милюков* П. Н. (1859—1943) — буржуазный историк, лидер кадетской партии, министр иностранных дел во Временном правительстве до мая 1917 г. Вдохновитель контрреволюционной борьбы против Советской России. В IV Государственной думе Милюков возглавлял «прогрессивный» блок. Выражая недовольство буржуазии царизмом, не способным выиграть войну и предотвратить опасность надвигающейся революции, на заседании думы 1 ноября 1916 г. Милюков бросил придворной камарилье обвинение в измене.

18 ноября

[1] В Иваново-Вознесенске было организовано землячество студентов, обучающихся в Москве.

[2] Имеются в виду «Исторические письма» (1868—1869) П. Л. Лаврова (1823—1900) — социолога, публициста, теоретика революционного народничества.

1917 год

19 марта

[1] *Воробьево* и *Глинищево* — в то время пригороды Иванова.

[2] То есть набивало погреба снегом и льдом.

[3] Эсдеками зачастую называли и большевиков и меньшевиков, поскольку организационно до 1912 г. они состояли в одной партии (РСДРП) Фурманов пишет о программе большевистской партии.

[4] *В. Я.*— Степанов Василий Яковлевич (1893—1920), рабочий-большевик, слушатель Фурманова на рабочих курсах, активный участник Октябрьской революции.

26 марта

[1] Культурно-просветительная комиссия была учреждена при городском революционном комитете общественной безопасности, который был создан после февральской революции и включал в себя представителей рабочих, армии и различных общественных организаций. В культурно-просветительную комиссию Фурманов вошел как представитель вечерних рабочих курсов. Общество грамотности существовало в Иванове как отделение Московского общества грамотности.

28 марта

[1] *Учредительное собрание* — представительное учреждение от населения России. Учитывая популярность в народе идеи Учредительного собрания, большевики одно время поддерживали ее, но в то же время подчеркивали превосходство Советов как более высокой формы демократии. После Октябрьской революции лозунг «Вся власть Учредительному собранию» был подхвачен контрреволюцией, противопоставлявшей Учредительное собрание победившей советской власти. В январе 1918 г. ВЦИК принял декрет о его роспуске.

16 июля

[1] 18 июня по приказу Керенского русская армия перешла в наступление. Этот приказ вызвал массовые демонстрации в Петрограде, Москве и других городах под большевистскими лозунгами: «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам».

[2] *Лежнево* — село в 25 км. от Иваново-Вознесенска.

[3] В период первой мировой войны партия эсеров распалась на группу «оборонцев», стоявших за поддержку войны, за оборону царской России (эту группу возглавляли Н. Д. Авксентьев и А. Ф. Керенский), и на группу «интернационалистов», выступавших на словах против «оборонцев», но остававшихся с ними в одной партии (эту группу возглавлял В. М. Чернов).

18 августа

[1] Имеется в виду «государственное совещание» контрреволюционных сил в Москве 12—15 августа 1917 г.

[2] *Родзянко* — председатель 3-й и 4-й Государственных дум. В первые дни февральской революции возглавлял Временный комитет Государственной думы, взявший власть в свои руки и арестовавший министров царского правительства.

[3] *«Крайним левым берегом»* Фурманов называет максимализм. Максималисты — мелкобуржуазная полуанархическая террористическая партия, отколовшаяся от эсеров. Организационно разрыв Фурманова с эсерами произошел 3 сентября 1917 г., когда он в числе 19 человек, преимущественно рабочих, ушел из этой партии и встал во главе группы местных максималистов.

[4] *«Трудовая республика»* — максималистский еженедельник, издававшийся в Петрограде.

[5] Письмо не обнаружено.

7 сентября

[1] 14 августа 1917 г. Фурманов был кооптирован в Иваново-Вознесенский Совет, где вел очень большую работу.

[2] Во главе Совета в Иваново-Вознесенске стояли большевики.

23 сентября

[1] То есть рабочими фабрики купца Дербенева П. Н. в Иваново-Вознесенске (теперь фабрика им. Кирова).

3 октября

[1] *Елюнино* — село в 10 км. от Иваново-Вознесенска.

[2] См. прим. 6 к записи 28 ноября 1917 г.

[3] *Кохма* — село (теперь город) в 10 км. от Иванова.

[4] *«Земля и Воля»* — в те годы программный лозунг эсеров.

26—30 октября

[1] *Корниловские дни* — контрреволюционный мятеж под руководством генерала Корнилова, начатый 25 августа 1917 г.

[2] *ЦК* — имеется в виду Центральный комитет профсоюза почтово-телеграфских служащих.

[3] *Куваевы* — владельцы ситцепечатной фабрики в Иваново-Вознесенске. Перед революцией фабрика принадлежала нескольким купцам — товариществу Куваевской мануфактуры (ныне это Большая Ивановская мануфактура — БИМ).

[4] О ликвидации Фурмановым и другими членами Революционного Штаба саботажа почтово-телеграфских служащих есть интересное свидетельство участника этих событий, впоследствии секретаря ВЦИК А. С. Киселева. В статье «Октябрьские дни в Иваново-Вознесенске» он вспоминает: «...Мне пришлось лично докладывать Владимиру Ильичу о положении в Иваново-Вознесенске. Когда я ему рассказал об инциденте с почтово-телеграфными служащими, Ильич улыбнулся и сказал: «Отлично сделали, с саботажниками можно бороться только решительными действиями» («Советское строительство», 1927, № 10—11, стр. 101).

1 ноября

[1] В Учредительное собрание буржуазия проходила в основном по кадетскому списку.

[2] *Четвертая форма выборов* — согласно положению, выборы в Учредительное собрание должны быть всеобщими.

28 ноября

[1] В иваново-вознесенской буржуазной газете «Русский Манчестер» 26 ноября был напечатан фельетон «Герой нашего времени», подписанный Энковым, в котором под именем Митеньки Извозцева высмеивался Фурманов за сотрудничество с рабочими, работу в Совете и т. д. В фельетоне содержатся также намеки личного порядка. Насколько основательны подозрения Фурманова, что фельетон написан по материалам пролетарского поэта Авенира Евстигнеевича Ноздрина, организатора литературно-художественного сборника «Зеленый шум», где опубликовано стихотворение Фурманова «Кавказ»,— сказать трудно.

[2] См. прим. 1 к Автобиографии.

[3] По инициативе Фурманова Штаб революционных организаций принял постановление о прекращении продажи буржуазных газет в Иваново-Вознесенске («Утро России», «Русские ведомости», «Русское слово», «Сигнал» и др.), так как они вели травлю Советского правительства. Появление в газете «Русский Манчестер» фельетона о Фурманове надо рассматривать в тесной связи с этим событием. 20 декабря постановлением Иваново-Вознесенского совета «Русский Манчестер» был закрыт как газета, «вредная для пролетарской революции».

[4] См. дневниковую запись от 24 февраля 1916 г.

[5] В 1915 г., в период пребывания на Кавказе, Фурманов сдружился с Анной Никитичной Стешенко (1897—1941), которая вместе с ним работала в санитарном поезде сестрой милосердия. Летом 1918 года они поженились.

[6] *Сазонов* Егор Сергеевич (1879—1910) — эсер, убил министра внутренних дел, шефа жандармов В. К. Плеве, покончил с собой на каторге. *Балмашов* Степан Валерьянович (1882—1902) — эсер, казнен за покушение на министра внутренних дел Сипягина. *Спиридонова* Мария Александровна (1889—?) — эсерка, за убийство тамбовского вице-губернатора отбывала каторгу до февраля 1917 г. Участвовала в организации восстания левых эсеров в Москве летом 1918 г.

1918 год

16 января

[1] *Скорынин* В. М.— фабрикант, владелец бумаготкацкой фабрики в с. Горки-Павловы (теперь пос. Каминский Ивановской обл.).

17 января

[1] В 1917 г. выходили газета «Максималист» (Москва) и еженедельники «Трудовая республика» (Петроград, Харьков). В конце года прекратили свое существование.

[2] *«Социал-демократ»* (1917—1918) — ежедневная газета, орган Московского комитета большевиков. В марте 1918 г., в связи с переездом в Москву ЦК партии, слилась с «Правдой». *«Новая жизнь»* (апрель 1917 — июль 1918) — ежедневная газета меньшевистского направления, выходила в Петрограде. Группа «Новой жизни» постоянно колебалась между соглашателями и большевиками.

23(10) февраля

[1] Датировка до настоящей записи всюду шла по старому стилю. В дальнейшем дается по новому стилю. Новый стиль был введен декретом Совнаркома РСФСР от 26 января 1918 г., начиная с 1 февраля (по старому стилю).

[2] Это — первая запись о М. В. Фрунзе в дневнике Фурманова. Впервые Фрунзе и Фурманов познакомились в начале декабря 1917 г. на съезде Советов и общественных организаций Иваново-Кинешемского района. 29 января состоялся районный съезд Советов, который избрал исполнительный комитет, положивший начало создания новой, Иваново-Вознесенской губернии.

28 февраля

[1] Борьба эсеров за Учредительное собрание в условиях победы Советов обнаруживала ясно их контрреволюционную позицию. 6 января 1918 г. ВЦИК принял декрет о роспуске Учредительного собрания. По вопросу об отношении к Советам Фурманов все время резко расходился с эсерами, максималистами и анархистами: последние, как правило, бойкотировали Советы, Фурманов стоял за работу в них, за контакт с большевиками.

[2] Имеется в виду наступление германских войск на Советскую Россию. 21 февраля 1918 г. Советское правительство обратилось с воззванием: «Социалистическое отечество в опасности».

27 марта

[1] Имеются в виду трудное военное положение Советской России и тяжкие условия Брест-Литовского мирного договора.

2 апреля

[1] *Эксы* — экспроприация средств у буржуазии. Эксы, проводившиеся анархистами, часто носили грабительский характер и служили средствами личного обогащения.

18 апреля

[1] То есть дома фабриканта Скорынина в Иванове.

[2] *Бурылин* Д. Г.— либеральный фабрикант, владелец ситценабивной фабрики, создатель краеведческого музея в Иваново-Вознесенске.

[3] *Черняков Александр* Яковлевич — лидер местных анархистов.

[4] В начале 1918 г. в Москве имелось свыше двух десятков групп анархистов (около 2000 членов). Анархисты захватили в разных частях города 26 особняков, спрятав в них большое количество бомб, пулеметов и даже орудий. В особняках находили убежище уголовные элементы. В ночь на 12 апреля отряды ВЧК разоружили анархистов, которые в ряде случаев оказывали вооруженное сопротивление. Было арестовано до 400 человек, отобрано много оружия, найдены награбленные драгоценности, много продуктов. Эти московские события со всей очевидностью показали, что анархизм как идейное течение в это время фактически перестал существовать и превратился в орудие контрреволюции и бандитизма.

26 апреля

[1] См. предыдущее примечание. В оценке московских событий Фурманов занимал противоречивую позицию. Осуждая анархистов, он в то же время упрекал большевиков в стремлении воспользоваться этими событиями, чтобы ликвидировать анархизм как идейное течение. Эту точку зрения Фурманов отстаивал и на III губернском съезде Советов в своем выступлении 24 апреля по докладу М. В. Фрунзе о текущем моменте (см. «Рабочий край», 1918, № 51, 10 мая). Позднее он пересмотрел свою позицию (см. дневниковые записи за 2 и 3 июля 1918 г.).

[2] *Лиссагаре* Проспер Оливье (1838—1901) — французский журналист, участник Парижской коммуны, автор книги «История Коммуны 1871 года» (1876). *Арну* Артюр (1833—1895) — французский политический деятель и писатель, член Парижской коммуны, автор книги «Народная и парламентская история Парижской коммуны» (1878). В связи с 47-й годовщиной Парижской коммуны 20 марта 1918 г. в иваново-вознесенской газете «Рабочий край» Фурманов напечатал статью: «Женщины и дети Парижской коммуны», в которой писал: «На уроках Парижской коммуны мы учимся творить и направлять революционное дело».

[3] То есть Черняков А. Я.

[4] *Скороходов* Дмитрий Дмитриевич (1880—1921) — большевик, делегат V Лондонского съезда РСДРП. В 1917—1918 гг.— член исполкома Иваново-Вознесенского совета рабочих и солдатских депутатов.

1 мая

[1] Из состава губисполкома Фурманов вышел после того, как III губернский съезд Советов отклонил проект его резолюции о текущем моменте (см. прим. 1 к записи 26 апреля 1918 г.). В сентябре был снова избран членом губисполкома.

7 июня

[1] *Исидор Евстигнеев* — Любимов Исидор Евстигнеевич (1881—1937) — старый член партии, делегат V Лондонского съезда РСДРП; после революции — член Иваново-Вознесенского горкома РКП(б), товарищ председателя губисполкома, заведующий губернским отделом народного образования.

10 июня

[1] *Ная* — так Фурманов звал свою невесту, а затем жену Анну Никитичну. Эта дневниковая запись относится к тому времени, когда Анна Никитична, расставшись в конце 1917 г. с Фурмановым, уехала к своим родителям на Кубань и оказалась надолго разлученной с ним.

30 июня

[1] *Ярчук и Максимов* — анархисты, приехавшие из Москвы.

[2] Эта запись отражает глубокое разочарование Фурманова в анархизме и его иллюзорные попытки соединить анархизм с большевизмом.

2 июля

[1] *«Анархия»* (1917—1918) — еженедельная общественно-литературная газета анархистского направления. Издавалась в Москве.

[2] См. прим. 4 к записи 18 апреля 1918 г.

[3] То есть А. Я. Чернякова (см. прим. 3 к записи 18 апреля 1918 г.).

5 июля

[1] *Валерьян* — Наумов Валерьян Николаевич (1896—1957), большевик, в то время член Иваново-Вознесенского горкома партии, близкий товарищ Фурманова.

[2] *«Рабочий* край» — газета, орган Иваново-Вознесенского губернского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, начала выходить с 5 марта 1918 г. Предшественницей «Рабочего края» была газета «Рабочий город», выходившая с 4(17) ноября 1917 г.

10 октября

[1] *Воронский* Александр Константинович (1884—1943) — в первые годы революции был в Иваново-Вознесенске членом губкома и губисполкома, редактором газеты «Рабочий край» (1918—1921). См. также прим. 1 к записи 18 января 1922 г.

[2] А. Н. Фурманова уехала в Екатеринодар (Краснодар).

13 октября

[1] В настоящей записи упоминаются следующие члены семьи Фурмановых: *мать* — Евдокия Васильевна (1867—1920), *отец* — Андрей Семенович (1859—1913), старшая сестра *Софья* (род. в 1885; живет в Москве), *старший брат* Аркадий (род. в 1890; живет в Москве), младший брат *Сережа* (1901—1921; погиб в Туркестане — см. статью-некролог Д. Фурманова «Сережа Фурманов».— «Рабочий край», 1922, 21 марта), младшая сестра *Настя*, (род. в 1903; живет в Москве). В последующих дневниковых записях и в публикуемых ниже письмах упоминаются также и другие члены семьи Фурмановых: сестра *Лиза* (род. в 1899; живет в Москве) и брат Александр *(Шура)* (1894—1916; умер от туберкулеза).

[2] Речь идет о выступлении Фрунзе 12 октября 1918 г. на 20-тысячном общенародном митинге по случаю взятия Красной Армией г. Самары.

5 ноября

[1] Карл *Либкнехт* был освобожден из тюрьмы в период Ноябрьской революции в Германии. *Адлер* Фридрих (р. в 1879) — деятель австрийской социал-демократии. Не веря в действенность массовой борьбы, в октябре 1916 г. убил министра-президента графа Штюргка. Был приговорен к смертной казни. Рабочие массы Европы террористический акт Адлера восприняли как протест против империалистической войны. Под влиянием массового движения в защиту Адлера смертная казнь ему была заменена 18 годами тюрьмы. Австрийская революция 1918 г. освободила его из тюрьмы. Однако Адлер отрицательно отнесся к социалистиче-

ской революции в России, стал врагом коммунизма и ярым защитником буржуазной демократии. *Тисса* Иштван (1861—1918) — венгерский премьер-министр, был расстрелян солдатами в октябре 1918 г. во время начавшейся народной революции.

8 ноября

[1] Здесь Фурманов ошибся: он родился в 1891 г.— значит, по новому стилю — 7 ноября.

1 декабря

[1] Екатеринодар в это время был захвачен белыми.

[2] *Екатерина Ивановна* Стешенко — мать Анны Никитичны.

16 декабря

[1] Военным комиссаром Ярославского военного округа, после подавления белогвардейского мятежа в Ярославле в июле 1918 г., был назначен М. В. Фрунзе, а центр округа переведен в Иваново-Вознесенск. В «Краткой записке» о прохождении военной службы, заполненной 12 октября 1923 г., Фурманов указал, что с ноября 1918 г. служил в Ярославском военном округе, находясь «для поручений у Фрунзе» (Центральный гос. архив Советской Армии, личное дело Д. А. Фурманова). С 19 декабря 1918 г. до 1 января 1919 г. Фурманов совершил поездку по воинским частям, расположенным в Ярославской губернии (Ярославль, Ростов, Рыбинск, Пошехонье).

[2] Эти сведения при проверке в основном не подтвердились. В заключительном донесении о своей работе Фурманов писал 1 января 1919 г.: «В настроении воинских частей «ужасного» ничего не встретил; требования красноармейцев обычно разумны и законны; лишь в отдельных частях мутит кулачье...» (Рукописн. отд. б-ки им. В. И. Ленина, ф. 320, 1—33).

1919 год

9 января

[1] В начале февраля Фурманов выехал на Восточный фронт, где 4-й армией (а затем Южной группой войск) командовал М. В. Фрунзе. Приказом Фрунзе с 25 февраля Фурманов был назначен для ведения политической работы в Александрово-Гайской группе, а с 25 марта — военным комиссаром 25-й стрелковой дивизии, известной под именем Чапаевской.

23 января

[1] *Линдов* Гавриил Давыдович (1869—1919) — член Реввоенсовета и политкомиссар 4-й армии; погиб 21 января 1919 г. во время кулацко-эсеровского мятежа, поднятого в 22-й дивизии.

26 февраля

[1] *Игнатий* — Волков Игнатий Парфентьевич (1872—1944), старый коммунист, товарищ Фрунзе по партийной работе в Шуе, комиссар одной из стрелковых бригад в 4-й армии. *Шарай* — Шарапов Павел Иванович (ум. в 1949 г.), активный работник иваново-вознесенской партийной организации; на Восточном фронте — комиссар 3-й кавалерийской дивизии.

7 марта

[1] То есть в Александрово-Гайской группе.

8 марта

[1] Младшие сестры Фурманова Лиза и Настя.

[2] Старшая сестра Фурманова Софья Андреевна.

[3] *Нянечка* — Татьяна Степановна Степанова (ум. в январе 1918 г.).

9 марта

[1] *Пугачев* (до ноября 1918 г.— Николаевск) — город в Саратовской обл.

11 марта

[1] *Потапов* Ф. К. — командир 3-й (75) бригады дивизии Чапаева.

22 марта

[1] *Сиротинский* Сергей Аркадьевич (1889—1957) — старший адъютант М. В. Фрунзе с 1918 по 1925 г.

29 марта

[1] То есть лекцию о Парижской коммуне.

10 апреля

[1] *Гамбург* И. Х. (род. в 1887) — начальник снабжения 4-й армии; до этого — секретарь губисполкома в Иваново-Вознесенске.

[2] См. прим. 1 к записи 26 января 1920 г.

[3] *Кутяков* Иван Семенович (1897—?) — герой гражданской

войны, соратник Чапаева, командир 1-й (73) бригады, входившей в состав 25-й дивизии. После гибели Чапаева стал командиром этой дивизии. Послужил прототипом для образа Еланя в книге «Чапаев».

23 апреля

[1] *Горбачев* Г. А.— комиссар 1-й (73) бригады.

[2] *Новицкий* Федор Федорович — бывший генерал царской армии, ближайший военный помощник и заместитель М. В. Фрунзе в годы гражданской войны, генерал-лейтенант Советской Армии. Умер в 1944 г.

18 мая

[1] *Чеков* П.— начальник дивизионной школы.

2 июня

[1] *Исай* — Исаев Петр, порученец Чапаева.

30 июля

[1] *Батурин* Павел Степанович (1889—1919) — иваново-вознесенский большевик, губвоенком, затем председатель губсовнархоза. Сменил Фурманова на посту военкома дивизии Чапаева.

[2] *Баранов* П. И. (1892—1933) — член Реввоенсовета Восточного и Туркестанского фронтов, автор статьи о Фурманове «Памяти бойца» («Известия», 1926, 18 марта).

9 сентября

[1] *Полярный* Л.— начальник Политуправления Туркестанского фронта. До середины сентября 1920 г. Фурманов был его заместителем (см. воспоминания Л. Полярного «Боец штыка и пера» в ЦГАЛИ, ф. 522, оп. I, ед. хр. 23).

[2] *Савин* В. В. — секретарь М. В. Фрунзе.

[3] *Суворов* — начальник политотдела дивизии Чапаева. *Крайнюков И. А.* — заместитель комиссара дивизии. *Новиков* — начальник штаба дивизии. *Пухов* — комиссар штаба 2-й (74) бригады.

[4] В самарской газете «Коммуна» 10 сентября 1919 г. была напечатана заметка Фурманова «Чапаев жив».

[5] То есть с Барановым П. И.

12 сентября

[1] *Суворыч* — Суворов.

22 сентября

[1] *Пестов* — начальник штаба 2-й (74) бригады.

6 октября

[1] *Садчиков* С. Ф.— инструктор при штабе дивизии. В настоящее время проживает в г. Пугачеве.

24 декабря

[1] В Москве Фурманов принимал участие в работе VII съезда Советов (5—9 декабря), куда был делегирован от «фронтового резерва армий Туркестанского фронта» (ЦГАОР, ф. 1235, оп. 6, д. 83, л. 41), и I Всероссийского съезда политработников.

1920 год

26 января

[1] *Демин* В.— помощник начальника штаба Чапаевской дивизии; *Петруша* — Петр Исаев.

25 марта

[1] Фурманов был назначен уполномоченным Реввоенсовета Туркестанского фронта по Семиречью. 6 апреля прибыл в г. Верный (теперь Алма-Ата, столица Казахской ССР); в Семиречье пробыл до конца июля 1920 г.

15 апреля

[1] Речь идет о национально-освободительном восстании 1916 г., поднятом казахами (Фурманов называет их, как это было тогда принято, киргизами). Свое участие в восстании и возглавляемую им комиссию Туркцик по оказанию помощи участникам этого восстания, бежавшим в Китай, националист Джиназаков использовал в целях подготовки контрреволюционного мятежа, развитие и ход которого описаны в последующих дневниковых записях и подробно воспроизведены в книге Фурманова «Мятеж».

20 апреля

[1] *Альтшуллер* и *Полеес* — члены особой комиссии в Пишпеке по расследованию деятельности Джиназакова.

11 мая

[1] *Кушин* (ум. в 1930 г.) — начальник особого отдела 3-й Туркестанской дивизии, находившейся в Семиречье.

[2] *Пишпек* — старое название г. Фрунзе, столицы Киргизской ССР.

[3] *Масартский* — работник особого отдела, заместитель Кушина.

[4] *Юсупов* — председатель облревкома.

[5] *Иргаш* — один из руководителей басмачества в Средней Азии.

18 мая

[1] *Бочаров* — комиссар 3-й Туркестанской дивизии.

13 июня

[1] *Анненков* — белогвардейский атаман, действовавший в период гражданской войны в Казахстане.

13 августа

[1] По-видимому, туркестанскую делегацию.

[2] *ПурТурк* — политическое управление Реввоенсовета Туркестанского фронта.

[3] *Медведич* — Медведев, вестовой Фурманова во время гражданской войны.

[4] В 1920 г. были образованы Комиссия ВЦИК РСФСР по делам Туркестана (Турккомиссия, Туркцик), Туркестанское бюро ЦК РКП(б) и Временный ЦК Компартии Туркестана.

[5] Окончательный вариант пьесы назван «За коммунизм». Пьеса написана в начале 1921 г., но осталась неопубликованной. Хранится в архиве Фурманова в ИМЛИ.

[*Конец августа*]

[1] *«Мама Катя»* — Екатерина Ивановна Стешенко.

[2] *Витюшка* — брат Анны Никитичны, Виктор.

[3] *Клавдия* — сестра Анны Никитичны.

[4] По-видимому, Медведев — вестовой Фурманова.

[5] *Полуян* Ян Васильевич — председатель Кубанского ревкома и губисполкома, член Реввоенсовета IX армии.

[6] *Ковтюх* — см. прим. 2 к Автобиографии.

26 сентября

[1] *Поарм* — политический отдел армии.

28 октября

[1] В период пребывания на Кубани Фурманов много печатался в газете «Красное знамя» и журнале «Спутник коммуниста», выходивших в Екатеринодаре (Краснодаре). В библиографии С. Тарасенкова «Дм. Фурманов на Кубани», изданной в 1960 г. в Краснодаре, зарегистрировано 73 названия публицистических статей и

выступлений писателя. В это же время Фурманов печатается в газете «Известия» и в журнале «Политработник», выходивших в Москве.

1921 год

7 января

[1] В начале этой записи упоминаются члены группы уполномоченного Реввоенсовета Туркестанского фронта, приехавшие в Семиречье из Ташкента вместе с Фурмановым. Среди них: А. И. Колосов (1897—1956) — впоследствии известный журналист и писатель; И. Т. Никитченко (род. в 1895) — зам. председателя ревтрибунала в Семиречье, ныне генерал-майор юстиции; Л. А. Отмар-Штейн (род. в 1900) — ныне персональный пенсионер; Баранов — семиреченский коммунист, в группу Фурманова не входивший.

[2] *Туркпофронт* — политический отдел Туркестанского фронта.

[3] *Шегабутдинов* Б.— облвоенком, *Белов* И. П.— командир 3-й Туркестанской дивизии, *Кундурушкин* И. С.— председатель трибунала, *Мамелюк* — председатель особой продкомиссии, *Поздньшев* — Чусоснабарм (Чрезвычайный уполномоченный по снабжению армии и флота — должность, введенная во время гражданской войны), *Горячев* — зам. начальника штаба, *Кравчук* — начальник политотдела дивизии.

[4] Имеется в виду Поздньшев.

3 июня

[1] *Полонский* (Гусин) Вячеслав Павлович (1886—1932) — критик, историк, публицист, редактор журналов «Печать и революция» и «Новый мир». В 1921 г. руководил литературно-издательским отделом ПУРа (Политического управления Реввоенсовета).

[2] *Гусев* Сергей Иванович (1874—1933) — видный партийный и военный деятель, тогда член Реввоенсовета Республики, начальник ПУРа.

[3] *Начпуокр* — начальник Политического управления округа.

[4] Приказ о зачислении на эту должность подписан 27 мая 1921 г. С 21 ноября 1921 г. Фурманов заведовал редакцией журнала Реввоенсовета «Военная наука и революция», который с июня 1922 г. стал называться «Военная мысль и революция».

8 июня

[1] *«Мистерия-буфф»* — первая советская пьеса, написанная Маяковским в 1918 г. Ставилась в первую годовщину Октябрьской

революции. В мае 1921 г. ее постановка была возобновлена (во второй редакции). Пьеса и постановка вызвали ожесточенные споры. Фурманов присутствовал на диспуте, который происходил в Доме печати 6 июня 1921 г.

[2] *Кузьма* — Хохлов Кузьма Гаврилович (1885—1947) — писатель, журналист, друг Фурманова. Писал под псевдонимом Козьма Бессеребреник.

[3] *Коган* Петр Семенович (1872—1932) — критик, профессор-литературовед.

[4] *Таиров* (Корнблит) Александр Яковлевич (1885—1950) — режиссер, организатор и руководитель Московского Камерного театра. В постановках Таирова многое шло от эстетства и стилизаторства. В 1933 г. создал спектакль по пьесе В. Вишневского «Оптимистическая трагедия», который стал заметной вехой в истории советского театра.

[5] *Мейерхольд* Всеволод Эмильевич (1874—1942) — известный режиссер, первым осуществлявший постановки пьес Маяковского. В театре Мейерхольда огромное место занимал эксперимент, зачастую, однако, носящий формалистический характер. Это сказалось и на постановке «Мистерии-буфф».

[6] *«Благовещенье»* — пьеса мистического характера, принадлежащая французскому драматургу-эстету Полю Клоделю.

[7] *Якулов* Георгий Богданович (1884—1928) — театральный художник, входил в группу имажинистов.

[8] *Блюм Оскар* — театральный критик, журналист.

9 июня

[1] В «Мистерии-буфф» Фурманов увидел величие и новизну замысла, однако, увлеченный чисто внешними эффектами мейерхольдовской постановки, он недооценил пьесу. Отчасти это объясняется также традиционным подходом к ней («нет психологии» и т. д.). После диспута и просмотра спектакля Фурманов написал статью «Диспут о «Мистерии-буфф» («Рабочий край», 16 июня 1921 г.).

3 июля

[1] *Имажинизм* (от франц. слова image — образ) — богемно-декадентская литературная группировка, проповедовавшая безыдейность и формализм в искусстве, сводившая все его задачи к работе над «самовитым» образом.

[2] *Мариенгоф* Анатолий Борисович (род. в 1897) — современный советский писатель, в те годы — один из активных имажинистов.

[3] *«Стойло Пегаса»* — поэтическое кафе имажинистов.

[4] «За коммунизм».

5 июля

[1] *Глоба* Андрей Павлович (род. в 1888) — советский поэт и драматург. *Гумилев* Николай Степанович (1886—1921) — поэт, глава декадентской поэтической группы акмеистов, занявший после Октября контрреволюционную позицию.

[2] *Сологуб* (Тетерников) Ф. К. (1863—1927) — известный писатель-символист.

[3] *Драму* — имеется в виду пьеса «За коммунизм». *«Записки обывателя»* — написаны в 1921 г., впервые опубликованы после смерти Фурманова в журнале «Молодая гвардия», 1926, № 10. *«Мятеж»* — имеется в виду очерк «История мятежа в Верном», написанный Фурмановым в 1920 г. В 1917 году в иваново-вознесенских изданиях были напечатаны следующие художественные произведения Фурманова: стих. «На Первое мая» («Известия Иваново-Вознесенского революционного комитета общественной безопасности», 1 мая), «Легенда об унглах» («Рабочий город», 12(25) ноября), стих. «Клич» («Рабочий город», 1917, 9(22) декабря), стих. «Кавказ» (сб. «Зеленый шум»).

7 июля

[1] *Львов-Рогачевский* В. Л. (1874—1930) — критик и историк литературы. Участвовал в социал-демократическом движении, примыкая к меньшевикам.

12 августа

[1] *Мишуха* — М. А. Чернов (см. прим. 1 к Автобиографии).

[2] *«Русские ведомости»* (1863—1918) — московская газета, выражала интересы либеральных помещиков и буржуазии, с 1905 г. орган правых кадетов.

[3] *«Ивановский листок»* (1906—1917) — реакционная буржуазная газета, издававшаяся в Иваново-Вознесенске.

22 октября

[1] В университет Фурманов был откомандирован «с сохранением по должности» (Центральный гос. архив Советской Армии, личное дело Д. А. Фурманова. л 28)

24 декабря

[1] *Сакулин* Павел Никитич (1868—1930) — профессор Московского университета, литературовед-академик.

1922 год

15 января

[1] Очерк «Лбищенская драма» был опубликован в юбилейном сборнике «Красная Армия. 23 февраля 1918 — 23 февраля 1922 гг. Четыре года», М. 1922.

[2] Очерки не были закончены. В архиве писателя в ИМЛИ хранится несколько набросков в жанре портретного очерка, а также статья «Рабочие из Дымогара», которая, по-видимому, предназначалась в качестве вступления к очеркам.

[3] *Жугин* А. И. (1884—1946) — иваново-вознесенский большевик, в то время — губвоенком; в дальнейшем находился на ответственной советской и партийной работе.

18 января

[1] В 20-е годы А. К. Воронский редактировал первый советский литературно-художественный журнал «Красная новь» (1921—1942) и выступал как литературный критик. К решению ряда коренных вопросов эстетики подходил идеалистически, принижал роль мировоззрения в художественном творчестве. Скептически оценивал возможности пролетарских писателей; как редактор журнала ориентировался главным образом на писателей-«попутчиков».

[2] Имеется в виду научный и военно-политический журнал «Армия и революция», выходивший при ближайшем участии Фрунзе.

[3] «Красный десант» был затем опубликован в историческом журнале «Пролетарская революция» (1922, № 9) и вышел отдельным изданием в издательстве «Красная новь» (1923).

[4] *«Вера»* — пьеса, оставшаяся незавершенной.

26 февраля

[1] *Байе* Шарль (1849—1918) — французский археолог и историк искусства, автор книги «История искусств» (1886), неоднократно переводившейся на русский язык.

[2] *Жирмунский* В. М. (род. 1891) — литературовед, член-корреспондент АН СССР; *Шкловский* В. Б. (род. 1893) — советский писатель и критик-литературовед. Книги, названные Фурма-

новым, богаты интересными наблюдениями, но содержат формалистические ошибки.

[3] Эти отзывы в журнале «Печать и революция» опубликованы не были. Отзыв о пьесе С. Васильченко см. в 3-м томе наст. издания.

[4] *«Кузница»* — литературная группа пролетарских писателей, отколовшаяся в 1920 г. от Пролеткульта.

[5] *Гирс* Г. Ф. — военный специалист, профессор, член редколлегии журнала «Военная наука и революция».

24 марта

[1] *Бекетова гора* — первоначальное название Пикетная гора. Место в районе г. Иваново-Вознесенска, где проходили революционные массовки ивановских рабочих.

[2] Фурманов приезжал в Иваново-Вознесенск и собирал там материал для произведения о революционном движении 1905 г. (см. в наст. томе письмо к А. Н. Фурмановой от 22 мая 1922 г.). Материал позднее использовал в очерках «Талка» и «Как убили Отца».

[3] Очевидно, в Заволжский Пуокр, то есть в Политическое управление Заволжского военного округа.

[*Начало августа*]

[1] В июле 1922 года Фурмановы проводили свой отпуск в с. Дунилово (в 30 км. от Иванова), где в то время жил старший брат Фурманова Аркадий Андреевич.

19 августа

[1] Третья студия Пролеткульта.

21 сентября

[1] *Дессуар* Макс (1867—?) — немецкий философ, автор ряда работ по эстетике.

11 октября

[1] *Лепешинский* Пантелеймон Николаевич (1868—1944) — видный деятель КПСС, организатор Истпарта. Истпарт имел свое издательство.

29 ноября

[1] Описана в очерках «Как погибли Чапаев и Батурин» (1919), «Лбищенская драма» (1922).

1923 год

4 января

[1] См. запись «Возвращение «Красного десанта» за 18 января 1922 г. и примечания к этой записи.

16 февраля

[1] *Невский* Владимир Иванович (1876—1937) — старый большевик, литератор, историк. Тогда — заместитель заведующего Истпартом.

[2] *«ВНиР»* — журнал «Военная наука и революция».

20 февраля

[1] *«ВМиР»* — журнал «Военная мысль и революция». (См. прим. 4 к записи 3 июня 1921 г.).

3 марта

[1] Замысел книги «Таманцы» был связан с легендарно-героическим походом Таманской армии в 1918—1919 гг. под командованием Епифана Иовича Ковтюха. Замысел не был осуществлен.

[2] Имеется в виду В. М. Чернов, один из лидеров партии эсеров, белоэмигрант, враг советской власти.

[3] Этот древний китайский город-крепость был открыт русским путешественником П. К. Козловым.

18 марта

[1] *Любимов* — см. прим. 1 к записи 7 июня 1918 г. Во время гражданской войны И. Е. Любимов был членом Реввоенсовета Туркестанского фронта, а позднее — членом Президиума ТуркЦИК.

31 марта

[1] *Антоныч* — по-видимому, Антонов-Овсеенко В. А. (1884—1938) — профессиональный революционер, видный партийный и военный деятель, член редколлегии журнала «Военная наука и революция», в 1923—1924 гг.— начальник ПУРа.

[2] Леонидов *Олег Леонидович* — в то время сотрудник журнала «Политработник» и других военных журналов; критик, писатель, автор ряда художественно-исторических книг из эпохи гражданской войны.

7 апреля

[1] *«Живописная Россия»* (1901—1905) — иллюстрированный журнал, посвященный изучению России.

[2] *Матвеев* И. И.— начальник 2-й колонны Таманской армии, прототип Смолокурова в эпопее А. Серафимовича «Железный поток». *Батурин* Г. И.— начальник штаба Таманской армии.

16 апреля

[1] В отзыве говорилось: «Читается она с захватывающим интересом... «Чапаев» должен стать настольной книгой нашей молодежи, которая по ней должна учиться жить и умереть за революцию».

24 апреля

[1] В рецензии сказано: «...Его заслуга не только в запечатлении истории, но и в том, что, как талантливый, «крепкий», насквозь советский писатель, он смог найти... нужные формы... История дана в таком живом и в то же время документально-правдивом изложении, что остро заинтересовывает читателя любой подготовленности».

26 апреля

[1] *Ольминский* (Александров) Михаил Степанович (1863—1933) — один из старейших деятелей революционного движения в России, критик-марксист.

[2] Имеются в виду очерки «На подступах Октября» и «Незабываемые дни».

6 мая

[1] *Хлебников* Николай Михайлович (род. 1895) — начальник артиллерии в дивизии Чапаева; в настоящее время генерал-лейтенант.

14 мая

[1] То есть Хохлов К. Г.

[2] Имеется в виду рассказ А. Чехова «Лошадиная фамилия».

15 мая

[1] Повесть «В восемнадцатом году»..

18 мая

[1] *Матвеев* Н. В.— муж Клавдии, сестры А. Н. Фурмановой.

[2] *Касаткин* Иван Михайлович (1880—1938) — советский писатель, в то время редактировал литературный отдел «Красной нивы» (1923—1931).

26 мая

[1] *Кириллов* Владимир Тимофеевич (1890—1943) — пролетарский поэт, автор многих стихотворений, проникнутых революционным пафосом; с переходом к нэпу не понял новой обстановки, впал в уныние и вышел из рядов РКП(б).

15 июня

[1] *Немирович-Данченко* Василий Иванович (1848—1936) — русский писатель; в 1921 г. эмигрировал из Советской России. Автор посредственных романов, повестей и очерков. В 1884 г. издал книгу «Скобелев. Личные воспоминания и впечатления».

26 июля

[1] *Мещеряков* Николай Леонидович (1865—1942) — профессиональный революционер, видный партийный работник, в то время руководитель Госиздата.

[2] *Иорданский* Николай Иванович (1876—1928) — революционер, советский государственный деятель, дипломат. В то время — член правления Госиздата.

10 сентября

[1] По-видимому, Розен и Штейман, сотрудники Истпарта.

[2] Так шутливо называет Фурманов Мещерякова Н. Л.

[3] 22 августа 1923 г. Фурманов прекратил работу в Высшем военно-редакционном совете. С сентября он стал работать в Госиздате, сначала политредактором, потом редактором отдела современной художественной литературы.

[4] Вариант названия повести «В восемнадцатом году».

14 сентября

[1] *«Октябрь»* — литературная группа пролетарских писателей, организовалась в 1922 г., отколовшись от «Кузницы». Составила ядро РАПП — Российской ассоциации пролетарских писателей. В 1924 г. издавала журнал «Октябрь», ставший с 1925 г. органом РАПП.

18 ноября

[1] *«Прожектор»* (1923—1935) — иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал; в то время выходил под редакцией А. К. Воронского. Названные им материлы в «Прожекторе» не появлялись.

[2] *Литхуд* — литературно-художественный отдел Госиздата.

[3] *Клычков* (Лешенков) С. А. (1889—1941) — поэт, творчество

которого в своей основе противоречило главной линии развития советской поэзии.

[4] *«На посту»* (1923—1925) — литературно-критический журнал, орган Ассоциации пролетарских писателей. В 1926 г. реорганизован в журнал «На литературном посту» (1926—1932). «На посту» активно выступал против критика Воронского и редактируемого им журнала «Красная новь». См. также прим. 1 к записи 25 марта 1925 г.

19 ноября

[1] *Лелевич* Г. (Калмансон Лабори Гелелевич) (1901—1937) — литературный критик; *Волин* Борис Михайлович (1886—1957) — активный участник революционного движения в России, член коммунистической партии с 1904 г., общественный и литературный деятель; *Вардин* И. (И. В. Мгеладзе) (1890—1943) — журналист, один из руководителей РАПП. Все трое принимали ближайшее участие в деятельности журнала и группы «На посту» («напостовцы»). Позднее Волин от группы «На посту» отошел. О *В. Полонском* — см. прим. 1 к записи 3 июня 1921 г.

1924 год

21 июня

[1] *Раскольников* (Ильин) Ф. Ф. (1892—1939).— В то время принадлежал к группе писателей, тесно связанных с редколлегией журнала «Молодая гвардия». В 1938 г., будучи полпредом в Болгарии, не вернулся на Родину. В журнале «Молодая гвардия» (1924, № 9, 10) напечатан отрывок из «Мятежа» — «По Семиреченскому тракту». *«Пролетарская революция»* (1921—1941) — исторический журнал, орган Истпарта. Вторая часть «Мятежа» в этом журнале не публиковалась.

[2] *Межрабпом* — Международная рабочая помощь — организация, созданная на Международном конгрессе в Берлине в 1921 г. для оказания помощи Советской России, пострадавшей от неурожая. Содействовала созданию обществ друзей СССР за рубежом.

11 сентября

[1] *Леф* (левый фронт искусств) — литературная группа 20-х годов, преемственно связанная с футуризмом; издавала журнал «Леф». Революционизирующее воздействие на писателей и поэтов этой группы оказывал В. Маяковский; позже порвал с ней. Под

его влиянием Леф заключил соглашение с Московской ассоциацией пролетарских писателей (МАПП) для совместной борьбы против буржуазных влияний в литературе.

[2] *Воронщина* — от Воронский А. К. Этим словом в 20-е годы обозначали целый комплекс ошибочных положений, которые защищал Воронский: недооценка пролетарских писателей, либеральное отношение к буржуазным явлениям в литературе и т. д.

[3] *Позвали нас* — то есть руководителей МАПП, секретарем которой был Фурманов.

20 сентября

[1] *МАПП* — Московская ассоциация пролетарских писателей.

[2] Осенью 1924 г. ЦК РКП(б) ввел в состав редколлегии журнала «Красная новь» Ф. Раскольникова и В. Сорина. До этого «Красной новью» Воронский фактически руководил единолично.

15 декабря

[1] *Флеровский* И.— зам. редактора журнала «Пролетарская революция» с октября 1924 г. В этом журнале (1923, № 11) был опубликован очерк Фурманова «Мятеж в Верном 12—19 июня 1920 г.», написанный в 1920 г. В журнале «Звезда» материал из «Мятежа» не публиковался.

[2] Отрывки из 3-й части под названием «Из книги «Мятеж» были опубликованы в № 1 «Красной нови» за 1925 г. с предисловием А. Серафимовича.

18 декабря

[1] 18 декабря 1924 г. Фурманов послал А. В. Луначарскому письмо и приложил к нему печатные отзывы о «Чапаеве», «Красном десанте» и «В восемнадцатом году» (см. письмо, опубликованное в наст. томе). Луначарский написал предисловие к «Чапаеву»,— оно было помещено к изданию произведения в Госиздате в 1925 г.

[*До 20 декабря*]

[1] В 1925 г. в Госиздате вышел сборник И. Бабеля «Рассказы», в который вошли и его новеллы о Конной армии Буденного. Книга «Конармия» издана в 1926 г.

[2] *Троице-Сергиевский посад* — теперь г. Загорск, под Москвой.

[3] *Артем* — Веселый Артем (псевдоним Николая Ивановича Кочкурова) (1899—1939) — советский писатель.

[4] См. прим. 2 к записи 20 сентября 1924 г.

[5] *Пильняк* (Вогау) Борис Андреевич (1894—1941) — писатель.

В его произведениях о гражданской войне («Голый год», «Иван да Марья») революция рисуется искаженно.

20 декабря

[1] *Ионов* (Бернштейн) Илья Ионович (1887—1942) — пролетарский поэт, одно время — ответственный работник Госиздата.

[2] Эти слова Бабеля, разумеется, ни в коей мере не раскрывают действительной разницы между «Чапаевым» и «Конармией». Значение «Чапаева» в истории советской литературы несравнимо с «Конармией».

25 декабря

[1] Памятник Александру III, прозванный народом «Пугало». Находился в Ленинграде на площади против Московского вокзала (теперь пл. Восстания).

[2] *Вяльцева* А. Д.— певица, известная до революции исполнительница романсов.

31 декабря

[1] То есть В. Г. Белинскому.

1925 год

21 января

[1] Фурманов присутствовал в качестве делегата на VII и VIII Всероссийских съездах Советов в декабре 1919 г. и в декабре 1920 г. На этих съездах В. И. Ленин выступал с докладами и речами.

25 марта

[1] Здесь и в записях за 18, 22 апреля и 5 мая приведены материалы о борьбе, которая разгорелась в МАППе весной 1925 г. по ряду принципиальных вопросов развития советской литературы. Так называемое «напостовское» руководство РАПП в лице С. Родова, Г. Лелевича, И. Вардина и др., объявив себя проводниками и выразителями партийной линии в литературе (и даже — «Политбюро пролетарской литературы»), на самом деле искажало и вульгаризировало эту линию. Борьбу за пролетарскую литературу и против буржуазных влияний в литературе «напостовцы» вели с сектантских позиций. В писателях-попутчиках они видели врагов советской литературы, подвергая их заушательской критике («напостовская дубинка»). С подозрительностью, более

того — враждебно относились они даже к некоторым литературным группам РАПП, особенно к группе «Кузница». Многие вопросы «напостовцы» решали путем голого администрирования. Журнал «На посту» они сделали фактически органом своей маленькой группы, а не органом, выражающим интересы всей ассоциации пролетарских писателей. Решать литературные воросы «напостовцы» стремились «автономно», независимо от партии, считая свою линию единственно «правоверной» и партийной.

Фурманов стоял близко к группе «На посту» и поддерживал ее борьбу за пролетарскую литературу, ее выступления против идеологически враждебных явлений в литературе. Однако позиция Фурманова не была тождественна «напостовской». Ему чужды были сектантское решение вопросов советской литературы, методы и нравы, насаждаемые в литературе «напостовцами». Весной 1925 г. Фурманов решительно и резко выступил против «напостовского» руководства РАПП и его вредной политики. Эта борьба носила чрезвычайно острый характер и протекала не только в самой писательской организации, в партийной фракции МАПП, в журналах, группах, кружках, но и «за кулисами». Против Фурманова в ход были пущены интриги, склока, обвинения в предательстве, в «правом» уклоне, что видно из его дневниковых заметок: «Вардин агитирует», «О предательстве Фурманова» и «Мой «правый» уклон». Однако Фурманов остался верен занятой им принципиальной позиции, суть которой выражена в тезисах его доклада о «родовщине». Это была борьба писателя за подлинно партийную линию в литературе. После резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», принятой 18 июня 1925 г., стали совершенно очевидными правота и дальновидность Фурманова.

[2] *Вардин* — см. прим. 1 к записи 19 ноября 1923 г.; *Зонин* Александр Ильич (род. в 1901) — советский писатель; *Родов* Семен Абрамович (род. в 1893) — поэт, критик, переводчик; *Авербах* Л. Л. (1903—?) — литературный критик, один из руководителей РАПП, часто решавший вопросы советской литературы с вульгаризаторских и догматических позиций, осуждавшихся Фурмановым.

[3] *Сенька* — Родов С. А.; *Леопольд* — Авербах Л. Л.

[4] *Лелевич* — см. прим. 1 к записи 19 ноября 1923 г.; *Юрка* — Либединский, Ю. Н.; *Раскольников* — см. прим. 1 к записи 21 июня 1924 г.; *Валайтис* Сигизмунд Осипович — член правления МАПП от группы нацменьшинств.

[5] *Гарт* — см. прим. 6 к записи 18 апреля 1925 г.

[6] *«Девятка», «пятерка»* — искусственно созданные «напостовцами» руководящие группочки взамен выборных органов МАПП и РАПП.

[7] *Березовский* — см. прим. 4 к записи 30 декабря 1925 г.

[8] От имени героя романа Ф. Достоевского «Бесы» (1871) Петра Верховенского — провокатора и авантюриста.

[9] Подразумевается работа В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».

18 апреля

[1] *Воронщик* — от «воронщина», Воронский (см. прим. 1 к записи 18 января 1922 г. и прим. 2 к записи 11 сентября 1924 г.).

[2] *Варейкис* И. М. (1894—?) — известный деятель большевистской партии, в 1925 г. заведовал отделом печати ЦК РКП(б).

[3] *Нарбут* Владимир Иванович (1888—1944) — поэт, ответственный работник отдела печати ЦК РКП(б).

[4] *Ольминский* — см. прим. 1 к записи 26 апреля 1923 г.; *Лебедев-Полянский* П. И. (1882—1848) — старый большевик, критик, литературовед-академик.

[5] *Канатчиков С. И.* (1879 — ум. в конце 30-х годов) — профессиональный революционер, литератор; в 1924—1925 гг. заведовал отделом печати ЦК РКП(б). Слово «покойника» здесь надо понимать в фигуральном смысле: к тому времени Канатчиков перестал заведовать отделом печати ЦК РКП(б).

[6] *«Творй!»* — литературная группа, входившая в МАПП; *Гарт* — украинская организация пролетарских писателей.

22 апреля

[1] *Артем* — Артем Веселый. *Дорогойченко* А. Я. (1894—1947) — поэт и прозаик.

5 мая

[1] *Хмара* А. Л., *Роман* (Погоржельский) Р. В., *Ефремов* Е. Е., *Малахов* С. А., *Полосихин* Н.— поэты и писатели, члены МАПП; *Модзалевский* И. — поэт, работник отдела печати ЦК РКП(б).

[2] *Соловей* — ответственный работник отдела печати МК РКП(б).

7 мая

[1] Под Виктором Фурманов, несомненно, имел в виду себя. Можно предположить, что он хотел использовать этот материал в романе «Писатели».

28 мая

[1] В июне — июле 1925 г. Фурманов лечился в Мацесте. В конце июля совершил поездку по Черноморскому побережью Кавказа от Сочи до Батуми, которая дала ему материал для цикла очерков «Морские берега».

[2] В Московской ассоциации пролетарских писателей Фурманов был секретарем с марта 1924 г.

4 августа

[1] В Нащекинском переулке, 14, помещалась квартира Фурманова. Сейчас это улица его имени.

20 августа

[1] Имеется в виду недооценка Воронским пролетарских писателей и либеральное отношение к буржуазным явлениям в литературе.

26 августа

[1] *Накоряков* Николай Никандрович (род. в 1881) — старый член Коммунистической партии, в то время — член правления Госиздата.

[2] В газете Московского военного округа «Красный воин» Леонов Л. М. сотрудничал с июля 1921 по апрель 1922 г., печатая там стихи, очерки, фельетоны и заметки под псевдонимами: Максим Лаптев, Лаптев и Лапоть, а также под инициалами «Л.», «М. Л.», «М. Л-ев», «Л-ов».

5 сентября

[1] *Настя* — младшая сестра Фурманова.

[2] См. в наст. томе письмо Фурманова Горькому от 9 сентября 1925 г.

[*1925*]

[1] *Иван Васильевич Евдокимов* (1887—1941) — советский писатель, автор романа «Колокола», повести о Левитане и других произведений; в то время сотрудник Госиздата.

[*После 27 декабря*]

[1] *Демьян* — Демьян Бедный.

[2] *Тарас Родионов* — Тарасов-Родионов Александр Игнатьевич (1885—?), писатель, автор повести «Шоколад».

[3] Очевидно, поэму «Черный человек», законченную в ноябре 1925 г.

[4] *Малаховка* — дачное место под Москвой. *Тарас Родионыч* — Тарасов-Родионов А. И., *Берзина* (Берзинь) *Анна* — литератор, член МАПП, *Березовский Феоктист* Алексеевич (1877—1952) — советский писатель.

[5] По свидетельству Н. Н. Накорякова, Фурманов был одним из инициаторов издания собрания сочинений Есенина в Госиздате и редактировал это издание.

1926 год

1 января

[1] *Кавказские очерки* — «Морские берега» (1925).

[2] «Как убили Отца» (1925).

[3] *«Писатели»* — задуманный Фурмановым роман. Наброски и планы к роману см. в настоящем томе.

[4] Незадолго до смерти Фурманов подверг основательной правке первые семь глав «Чапаева».

24 января

[1] *Тарас* — Тарасов-Родионов А. И.; *Пиксанов* Николай Кириакович (род. в 1878) — литературовед, член-корреспондент Академии наук СССР.

[2] *Буданцев* С. Ф. (род. в 1896) — советский писатель.

[3] *Полага* — персонаж из повести Н. Никитина «Рвотный форт».

[4] *«Напостовство»* — см. прим. 4 к записи 18 ноября 1923 г. и прим. 1 к записи 25 марта 1925 г. В № 1 журнала «На посту», вышедшем в 1923 г., была помещена статья Б. Волина «Клеветники (Эренбург, Никитин, Брик)», в которой шла речь о повести «Рвотный форт». Произведения Н. Н. Никитина первой половины 20-х годов были далеки от правдивого изображения революционной действительности (см. в наст. томе заметки Фурманова о творчестве Никитина). Позднее он создал романы: «Это было в Коканде», «Северная Аврора» и др. произведения, получившие общее признание.

[5] *Лора* — Лелевич Г.

[6] *Герасимов М. П.* (1889—1939) — пролетарский поэт.

[7] *«Аэлита»* (1922) — первое произведение А. Толстого, опубликованное в советской печати (журн. «Красная новь»).

Вопросы композиции

[1] Героини романа Ф. Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861).

[2] Персонажи романа-эпопеи Л. Толстого «Война и мир».

[Заметки о литературе]

[1] *«Николай Курбов»* — роман Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова» (1924), в котором писатель не сумел показать положительного героя.

[2] *Брик* О. М. (1888—1945) — литератор, связанный с группой Леф, автор повести «Непопутчица» (1923), вызвавшей резкую критику в печати.

[3] Цитата из стихотворения «Жонглер» поэта-футуриста Василия Васильевича Каменского (1884—1961).

[4] *Осинский* Н. (Оболенский В. В.) (1887—1938), *Воронский* А. К., *Сосновский* Л. С. (1886—1937) были связаны с оппозиционными группами в партии, что так или иначе сказалось и в их выступлениях по вопросам литературы; *Чужак* (Насимович Н. Ф.) (1876—1937) выступал в журнале «Леф» с «программными» левацко-вульгаризаторскими статьями.

Общее «измам»

[1] Здесь Фурманов перечисляет то общее, что было характерным для разного рода псевдоноваторских течений в литературе (футуризм, имажинизм и т. п.).

Клара Цеткин вспоминает, с каким осуждением говорил В. И. Ленин о подобных нигилистических антинародных течениях в литературе и искусстве: «Я не в силах считать произведения экспрессионизма, футуризма, кубизма и прочих «измов» высшим проявлением художественного гения. Я их не понимаю. Я не испытываю от них никакой радости!» («Ленин о культуре и искусстве», «Искусство», М. 1956, стр. 520).

Футуризм

[1] Наряду с пунктами, дающими оценку футуризму, Фурманов здесь воспроизводит некоторые положения, содержащиеся в их манифесте «Пощечина общественному вкусу» (1912).

[2] Такие мысли о футуризме высказывали сами футуристы. В действительности футуризм не имел и не мог иметь ничего общего с пролетарским искусством.

Кубо-футуризм

[1] *Кубо-футуризм* — одна из разновидностей футуризма.

[2] *«Дыр-бул-щыл»* — строка из «произведения» футуриста А. Крученых.

«Серапионовы братья»

[1] *«Серапионовы братья»* — группа молодых писателей начала 20-х годов (К. Федин, Н. Тихонов, Вс. Иванов, М. Зощенко, Н. Никитин и др.). Заметка Фурманова излагает положения статьи участника этой группы Л. Лунца «Почему мы «Серапионовы братья»?» В ней декларировался отказ от революционно-демократических традиций русской классической литературы и провозглашались лозунги безыдейного и аполитичного искусства. Необходимо отметить, что лучшие писатели из группы «Серапионовы братья», вопреки этим лозунгам, еще в 20-е годы искали сближения с советской действительностью и, преодолевая заблуждения, выходили на широкую дорогу социалистического искусства.

«Ничевоки»

[1] *«Ничевоки»* — одна из групп-однодневок начала 20-х годов, выражавшая полный литературный распад. «Писатели», входившие в эту группу, давно и прочно забыты. Фурманов передает их «манифест».

«Кузница»

[1] *Гроссман-Рощин* И. С. (1883—1934) — критик; *Кубиков* (Дементьев) И. Н. (1887—1944) — литературовед, критик, уделявший много внимания пролетарской литературе; *Санников* Г. А. (род. в 1899) — советский поэт.

[2] Эти переговоры велись по вопросу о вхождении «Кузницы» в МАПП, что произошло в начале 1925 г.

Горький М.

[1] *Потапенко* Игнатий Николаевич (1856—1929) — русский беллетрист, для которого характерны идеи культурничества, фи-

лантропической деятельности среди масс, либерально-народническая теория «малых дел».

Бунин

[1] Имеется в виду статья В. Воровского «И. А. Бунин» (1911).

Брюсов

[1] *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт-символист, оказавший известное влияние на раннее творчество В. Я. Брюсова (1873—1924).

Иванов Вяч.

[1] *Иванов* Вячеслав Иванович (1866—1949) — реакционный поэт-символист, автор стихов религиозно-философского характера. В 1924 г. эмигрировал за границу.

Игорь Северянин

[1] *Фофанов* Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт, для творчества которого были характерны декадентские мотивы. *Лохвицкая* Мирра Александровна (1869—1905) — поэтесса, близкая к декадентско-символистским кругам.

[2] *«Вена»* — ресторан в Петербурге, где собиралась литературная богема.

Евгений Замятин

[1] До 1917 г. в течение нескольких лет Замятин жил в Англии.

[2] Замятин проживал в Советской России на положении «внутреннего эмигранта». В 1931 г. переселился в Англию.

Н. Клюев

[1] Поэзия Клюева окрашена в религиозно-мистические тона, что сказалось и на его стихах, посвященных Ленину: в них искажен образ вождя революции, который показан, по словам Фурманова, «святошей».

Ахматова Анна

[1] Имеется в виду статья А. Коллонтай «Письма к трудящейся молодежи (письмо 3-е)», напечатанная в журнале «Молодая гвардия», 1923, № 2.

Есенин

[1] См. прим. к записи 11 сентября 1924 г.

[2] Речь идет о критике-«напостовце» И. Вардине, с которым в 1925 г. Есенин ездил на Кавказ.

Н. Тихонов

[1] Имеются в виду следующие строки из стихотворения, открывавшего сборник Тихонова «Орда» (1922):

Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо — небогато,
Но про землю стоит говорить.

[2] Имеются в виду строки из «Баллады о гвоздях»:

Гвозди б делать из этих людей —
Крепче б не было в мире гвоздей.

[3] Имеется в виду стихотворение «Махно».

Эренбург И.

[1] *Шпенглерианство* — от фамилии реакционного немецкого философа-идеалиста Освальда Шпенглера (1880—1936), автора нашумевшей в свое время книги «Закат Европы» (в русском переводе вышла в 1923 г.).

[2] «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1921) — сатирический роман о военной и предвоенной Европе; в последних частях романа изображается Советская Россия.

Леонов Л.

[1] *Ремизов* А. М. (1877—1957) — писатель-декадент, культивировавший форму стилизованного сказа.

А. Толстой

[1] Фурманов имеет в виду высказывание А. Толстого в статье «Задачи литературы», опубликованной в сб. «Писатели об искусстве и о себе» (изд-во «Круг», М.— Л. 1924). В ней А. Толстой говорил, что литература должна писать о *«новом человеке»*, давать *«живой тип революции»*. «Я,— заявлял Толстой,— противопоставляю эстетизму литературу *монументального реализма*. Ее задача — человекотворчество».

[2] Фурманову был известен первый роман из трилогии «Хождение по мукам» — «Сестры».

[3] Имеется в виду решительный разрыв А. Толстого с эмиграцией.

Материалы к роману «Писатели»

Над романом «Писатели» Фурманов работал в последний год своей жизни. Замысел произведения непосредственно связан с участием писателя в литературной борьбе первой половины 20-х годов, в особенности в той борьбе, которая протекала весной 1925 г. в МАПП против «родовщины» (см. в наст. томе дневниковую запись «Как зачались «Писатели» от 20 октября 1925 г.). Судя по сохранившимся материалам к роману, Фурманов предполагал написать произведение, главной темой которого было бы становление молодой советской литературы, тесно связанной с жизнью, с политикой Коммунистической партии. Большое место в нем должны были занять изображение распада буржуазной литературы, борьба с враждебными течениями и явлениями в искусстве. Делая наброски некоторых персонажей, Фурманов, по его словам, имел в виду живые лица. Так, прототипом Тепломехова явился А. Н. Толстой, Булыжника — В. Маяковский, Алебастрова — Н. Асеев и т. д. В дальнейшем писатель предполагал расширить и видоизменить характеристики, «навивая» их вокруг первоначального стержня.

Замысел романа остался неосуществленным. В архиве писателя сохранились планы, наброски отдельных глав, списки действующих лиц, характеристики отдельных персонажей и другие подготовительные материалы к роману.

Некоторые материалы к роману «Писатели» были опубликованы в журнале «На литературном посту» (1928, № 8) и в книге Фурманова «Из дневника писателя» (изд. «Молодая гвардия», 1934). Наряду с печатавшимися ранее здесь даются и новые материалы из архива писателя.

[1] В этом наброске Фурманов, несомненно, отправлялся от реальной биографии талантливого рабочего поэта Н. Кузнецова (1904—1924), покончившего с собой.

[2] *Пролитфонд* — Пролетарский литературный фонд.

[3] *Керженцев* (Лебедев) Платон Михайлович (1881—1940) — литератор и общественный деятель, возглавлявший государственные органы, которые ведали искусством.

ПИСЬМА

3. А. А. Фурманову

[1] *Гамсун* Кнут (1859—1952) — норвежский писатель, автор популярных до революции романов «Мистерии», «Виктория», «Пан» и др. В конце жизни Гамсун загубил свой талант, превратившись в прислужника немецкого фашизма.

[2] *Лагерлеф* Сельма (1858—1940) — прогрессивная шведская писательница.

[3] Брат Фурманова Александр.

[4] *Вербицкая* Анастасия Алексеевна (1861—1928) — дореволюционная писательница, весьма популярная в среде мещанства и учащейся молодежи.

[5] *Малков* Владимир Владимирович — товарищ Фурманова в Иванове.

[6] *«Воспитание воли»* — очевидно, книга Жюля Пено «Воспитание воли»; до 1913 г. издавалась несколько раз в изд. Ф. Павленкова.

4. А. Веселовскому

[1] См. прим. 2 к дневниковой записи 24 августа 1911 г.

[2] *Челпанов* Георгий Иванович (1862—1936) — известный русский психолог, автор популярных учебников по логике и психологии; *Розанов* Матвей Никандрович (1858—1936) — академик, историк западноевропейских литератур. *Лопатин* Лев Михайлович (1855—1920) — философ-идеалист, редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

[3] *Валя, Коноха* — товарищи Фурманова; их фамилии установить не удалось.

5. Е. В. Фурмановой

[1] Имеется в виду врач Г. Я. Леви, у которого с июня 1914 г. Фурманов работал домашним учителем-воспитателем.

[2] *Миша* — М. А. Чернов.

6. Н. С. Соловьевой

[1] *Соловьева* (в замужестве Маргьянова) Наталья Сергеевна (1890—1947) — близкий друг Фурманова. До 1915 г. они регулярно переписывались.

Письмо отражает первоначальное отношение Фурманова к империалистической войне. Затем его взгляды резко изменились. (См. дневник за 1916 г. в наст. томе.)

7. Н. С. Соловьевой

[1] Начало письма не сохранилось. Дата устанавливается по содержанию.

[2] *Шура и Аркаша остались* — то есть братья Фурманова в армию не взяты.

8. Е. В. Фурмановой

[1] В сб. «Д. А. Фурманов» (Иваново, 1946), составленном Г. И. Горбуновым, датировано 1914 г. неправильно. По содержанию письмо относится к осени 1915 г., когда Фурманов находился на Юго-Западном фронте.

9. А. Н. Фурмановой (Стешенко)

[1] *Стешенко* Анна Никитична (1897—1941) — жена Фурманова с лета 1918 г.

[2] В письме чувствуется отзвук «теории разумного эгоизма», разработанной Н. Г. Чернышевским и Д. И. Писаревым.

11. В. И. Чапаеву

[1] *Петруша* — Петр Исаев, порученец Чапаева; *Садчиков* С. Ф.— инструктор при штабе Чапаевской дивизии.

12. А. Н. Фурмановой

[1] VIII Всероссийский съезд Советов открылся 22 декабря.

15. А. Н. Фурмановой

[1] В Иваново-Вознесенск.

[2] А. Н. Фурманова родилась на Кубани, до 1914 г. жила в Екатеринодаре (Краснодаре).

[3] *То есть Ноздрин* А. Е. (1862—1938). В воспоминаниях Ноздрина о Фурманове, хранящихся в ЦГАЛИ (ф. 522, оп. I, ед. хр. 23), подробно рассказывается об этом эпизоде.

[4] Имеется в виду Власов Иван Иванович (1882—1943) — ивановский краевед.

[5] Брат Фурманова Аркадий Андреевич работал в это время в с. Дунилово (см. А. Фурманов, Воспоминания о брате. Сб. «Фурманов в воспоминаниях современников», «Сов. писатель», М. 1959).

[6] *Матушка* (Стешенко Екатерина Ивановна) — мать Анны Никитичны Фурмановой; *Витюк* (Стешенко Виктор Никитич) — ее брат.

16. М. М. Хазовой

[1] См. прим. 1 к дневниковой записи 3 августа 1912 г.

17. А. Н. Фурмановой

[1] Фурманов поехал отдыхать в Крым, где он пробыл весь июль, остановившись в Гурзуфе у брата А. Н. Фурмановой — Николая Никитича Стешенко.

[2] В середине июля 1924 г. А. Н. Фурманова уехала в Ессентуки.

[3] *Нищекинский, 14* — место жительства Фурмановых в Москве (теперь ул. Фурманова).

18. А. В. Луначарскому

[1] Письмо без даты. Написано 18 декабря 1924 г. Датируется по дневниковой записи за это число.

[2] Здесь и далее перечисляются рецензии Г. Лелевича, Лабори, Г. Якубовского, О. Леонидова, Л. Митницкого, Ст. Кривцова.

21. Всеукраинскому фото-киноуправлению

[1] См. прим. 2 к дневниковой записи 31 марта 1923 г.

22. В. А. Соколову

[1] Датируется по письмам Василия Соколова, хранящимся в архиве Фурманова (ИМЛИ). В. А. Соколов (род. в 1908 г.) — в то время начинающий поэт; печатался в «Смене», «Октябре» и др. журналах.

23. А. М. Горькому

[1] Датируется по ответному письму Горького от 27 августа 1925 г. Фурманов послал Горькому, жившему в то время в Сорренто (Италия), книги «Чапаев» и «Мятеж». Печатается по черновому автографу, хранящемуся в архиве Фурманова в ИМЛИ.

24. А. М. Горькому

[1] Представляет собой ответ на письмо Горького от 27 августа 1925 г. По поводу получения письма Горького есть пространная запись в дневнике Фурманова за 5 сентября 1925 г. (См. в наст. томе).

Оценивая произведения Фурманова, Горький писал: «Как читатель я, разумеется, скажу вместе с тысячами других Ваших читателей: и «Чапаев» и «Мятеж» — интереснейшие и глубоко поучительные книги, Дмитрий Андреевич». Вместе с тем Горький высказал и критические замечания, которые Фурманов цитирует в своем письме (Полностью письмо Горького Фурманову опубликовано в кн.: М. Горький, Письма о литературе, «Сов. писатель», М. 1957, стр. 307—308.) Горький неоднократно возвращался к оценке творчества Фурманова. По свидетельству участников рейса эскадренных миноносцев «Петровский» и «Незаможный» в Италию, Горький во время встречи с ними назвал Фурманова «огромнейшим писателем», который «не сочиняет» и у которого «жизнь рвет через уши, рот, отовсюду» («У Максима Горького (Впечатления краснофлотца)» — «Огонек», 1926, № 12, 21 марта, стр. 10; см. также: Н. Болгаров, А. Заостровцев, По южным морям, Госиздат, М.—Л. 1927, стр. 75). После смерти Фурманова его жена отослала Горькому последнюю книгу писателя — сборник очерков «Морские берега». В ответ Горький писал: «Для меня нет сомнения, что в лице Фурманова потерян человек, который быстро завоевал бы себе почетное место в нашей литературе. Он много видел, он хорошо чувствовал и у него был живой ум. Огорчила меня эта смерть» (М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 29, Гослитиздат, М. 1955, стр. 463). «Умер Фурманов. Тоже талантливый парень»,— сообщает Горький М. Ф. Андреевой 14 июня 1926 г. (Архив А. М. Горького, ПГ-рл, 2а-1-61). А в письме Ф. Гладкову читаем: «Да, Фурманова жалко. Хороший, должно быть, парень, судя по его письму ко мне. Да и по книгам, за которые я его не очень похвалил» (М. Горький, Собр. соч. в 30 томах, т. 29, стр. 460).

[2] Очерки из цикла «Морские берега».

25. А. М. Горькому

[1] Имеется в виду книга «Путь борьбы» (1925).

[2] Первоначальное название сборника «Морские берега».

26. Н. О. Поливанову

[1] *Поливанов* (Шенфельд) Наум Осипович — профессиональный драматург, выступал под псевдонимом С. Поливанов. Соавтор Фурманова по пьесе «Мятеж».

[2] *Радин* Н. М. — в то время режиссер и актер Московского драматического театра (бывш. театра Корша).

27. В. И. Нарбуту

[1] См. прим. 3 к записи 18 апреля 1925 г.

[2] Фурманов болел гриппом, который осложнился менингитом, приведшим писателя к смерти (15 марта 1926 г.).

[3] Имеется в виду чрезвычайная конференция Московской ассоциации пролетарских писателей. Фурманов обратился к ней с письмом, в котором говорилось: «Приветствую чрезвычайную конференцию, собравшуюся решить важные вопросы для обеспечения правильного руководства пролетарской литературой. Требую полностью выполнить постановление ЦК о литературе (имеется в виду резолюция ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы». — *Ред.*), привлечения «попутчиков», близких нам, очищения наших рядов от двурушников, интриганов и склочников». (Цит. по кн.: А. Фурманова, Дмитрий Фурманов, Ивановское обл. гос. изд-во, 1941, стр. 108.)

П. Куприяновский.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАПЕЧАТАННЫХ В I—IV ТОМАХ

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Андреевич
Фурманов

Собрание сочинений, т. 4

Редактор *А. Ноткина*. Художественный редактор *Ю. Васильев*
Технический редактор *Ф. Артемьева*
Корректор *Е. Патина*

Сдано в набор 11/VII 1961 г. Подписано к печати 9/XII 1961 г. А 08791. Бумага 84×108 1/32. 16,5 печ. л.=27,06 усл. печ. л. 24,61 уч.-изд. л.+5 вкл.=24,86 л. Тираж 60 000 экз. Заказ 389. Цена 80 коп.

Гослитиздат,
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Главиздата Министерства культуры БССР.
Минск, Красная, 23.